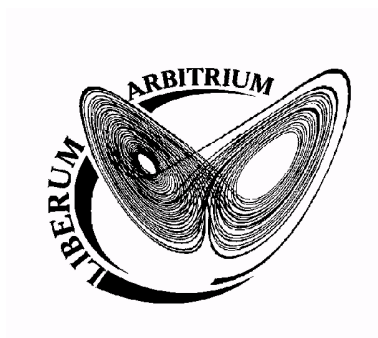


НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

А.Д. Богатуров, Н.А. Косолапов, М.А. Хрусталев

Очерки теории и политического анализа международных отношений



На эмблеме изображен «аттрактор Лоренца» - фигура, воплощающая вариантность движения потоков частиц в неравновесных системах.

Москва – 2002

Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталеv М.А.

Очерки теории и методологии политического анализа международных отношений.
М.: Московский рабочий, 2002. 390 с.

Рекомендовано к печати Экспертным советом
Научно-образовательного форума по международным отношениям

Рецензент
доктор философских наук, профессор
П.А. Цыганков

В книге освящаются узловые вопросы теории и методологии анализа международных ситуаций и исследуются с теоретико-методологических позиций некоторые важнейшие аспекты современной международной политики. Очерки обобщают многолетние наработки авторов в области прикладной теории международных отношений, частично отраженные в их более ранних публикациях.

Работа адресована политическим аналитикам, преподавателям, научным сотрудникам, студентам и аспирантам направлений «международные отношения» и «регионоведение», а также широкому кругу читателей, желающих самостоятельно освоить методологию политического анализа для самообразования и практического применения в сфере анализа международных ситуаций, политического консультирования, индивидуального аналитического сопровождения лидеров.

Публикуется в рамках проекта содействия подготовке молодых исследователей-международников в региональных университетах России.

Проект осуществляется при поддержке Фонда Маккартуров.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Этой книгой начинается серия публикаций Форума «Региональная библиотека международника», целью которой является содействие образовательному процессу в региональных университетах, в данном случае — образованию в области теории и политического анализа международных отношений.

Нашему Форуму — три года, а зимне-летнему межрегиональному Методологическому институту международных отношений (МИМО), который работает при нем, — семь лет, зимой 2002 г. в Воронеже состоялась его очередная 11-я выездная сессия. С 1995 по 1999 г. МИМО работал при Московском общественном научном фонде (МОНФ). Тогда он был частью большой программы, которая называлась «Методологический университет конвертируемого образования». Все пугались слова «конвертируемого» в названии, но оно всех манило и желающих поучиться в университете было много. Между тем, все начиналось с обычной летней школы в 1995 г. в Нижнем Новгороде, которая в 1996-2000 гг. переросла в уникальную для России комплексную программу зимне-летних переподготовок профессорско-преподавательского состава высшей школы и научных сотрудников из городов России и стран бывшего Советского Союза. Работа университета конвертируемого образования покрывала 8 специальностей — международные отношения, историю, политологию, социологию, культурологию, экономику, право и психологию. На сессии ежегодно съезжалось до 160 слушателей и 30 преподавателей университета. Это были своего рода всероссийские съезды молодых ученых и специалистов.

Идея проекта принадлежала Андрею Картунову, «отцу-основателю» и президенту МОНФ в 1993-2001 гг. Первым директором школы в 1995 г. был д.и.н. А.Г.Володин. В 1999-2000 гг. проектом руководил д.пол.н. А.Д.Воскресенский. В 1996-1998 и с 2001 г. управлять программой выпало мне. Финансовую поддержку проекту в разные годы оказывали разные благотворительные организации, но прежде всего — Фонд Макартуров, Фонд Форда, Фонд «Евразия», Институт «Открытое общество».

С 2000 г. формат проекта снова изменился. МИМО вернулся к идее углубленного изучения двух сопряженных специальностей — международных отношений и политологии. Проект отделился от МОНФ и стал работать самостоятельно — на базе Научно-образовательного форума по международным отношениям.

Формы работы проекта стали разнообразней. При МИМО стал работать ежегодный межрегиональный фокус-семинар по вопросам

преподавания международных отношений. Сначала в его рамках обсуждались текущие задачи сотрудничества в сфере подготовки международных кадров. Но вскоре семинар перерос в своеобразную межрегиональную лабораторию — центр апробации новых идей и методических разработок молодых преподавателей. Это был уже не семинар, а фокус-семинар, каждая сессия которого концентрировалась на обсуждении учебной программы какого-то нового учебного курса, никогда еще не преподававшегося в российских ВУЗах. Так появились программы курсов «Безопасность новых пограничных регионов России» (С.В.Голунов, Волгоградский государственный университет), «Новые аспекты международной безопасности» (М.И.Рыхтик, Нижегородский государственный университет), «Политические проблемы неконтролируемых миграций» (В.И.Дятлов, Иркутский государственный университет) и другие. В 2002 г. они были опубликованы в сборнике «Интеллект на завтра. Новые учебные программы по международным отношениям и безопасности» (редактор-составитель М.А.Троицкий). Больше половины программ были разработаны молодыми преподавателями из региональных центров.

Вскоре были «запущены» первые сетевые проекты Форума — оба по вопросам безопасности новых границ России. Один — в Алтайском государственном университете (Барнаул), другой — в Волгоградском. Первым руководили д.и.н., проф. В.А.Моисеев и к.и.н. А.Ю.Быков. Вторым — к.и.н. С.В.Голунов и д.э.н., проф. Л.Б.Бардомский.

МИМО никогда не проводил своих сессий в Москве, всякий раз выезжая и вывозя своих преподавателей и слушателей в другие города — Нижний Новгород, Ярославль, Владимир, Санкт-Петербург, Тарусу, Звенигород, Воронеж. Потому что главной задачей проекта была работа с регионами и региональными учеными и преподавателями. На базе наших встреч и совместной работы в регионах за семь лет сложилась целая региональная сеть «выпускников» наших школ и участников сетевых проектов Форума. Сегодня она включает в себя более 200 молодых преподавателей и исследователей, работающих в 42 городах Российской Федерации и шести странах СНГ и Эстонии. Ядро этой сети составляют слушатели, бывавшие на наших школах неоднократно, включившиеся в наши проекты или сами ставшие организаторами межрегиональных сетевых исследовательских групп, большинство в которых составляют наши выпускники — члены сети нашего Форума. Среди наших выпускников — 7 докторов и более 80 кандидатов наук. Эта книга адресована прежде всего им, их старшим и младшим коллегам, а также студентам московских и региональных ВУЗов международно-политического профиля.

Авторы книги — преподаватели МИМО, многократно выезжавшие в регионы, общавшиеся с преподавательской аудиторией провинциальных вузов и составившие представление о том, что на самом деле может быть полезно для учебного процесса в региональ-

ных центрах. Именно из встреч со слушателями возникло ощущение «растраченности», «потери» многих важных теоретических наработок последнего десятилетия, однажды опубликованных в журналах и затем постепенно затерявшихся под слоем более поздних публикаций. Отсюда родилась идея собрать разрозненные преподавательские тексты и издать их в форме, удобной для использования в преподавании предметов международно-политического цикла — как теории и методологии международных отношений, так и теоретического анализа их современного состояния.

В 2002 г. из печати вышел новый учебный комплекс П.А.Цыганкова — пособие «Теория международных отношений» и сопряженная с ним хрестоматия работ зарубежных теоретиков-классиков. Это — было первое панорамное издание по ТМО, когда-либо выходявшее в России, замечательно успешный результат многолетних трудов автора. Отечественная теория и ее преподавание в нашей стране медленно, но верно выходит на новый уровень. Наша книга — очерковая, и хотя бы поэтому она не может заменить труда П.А.Цыганкова, ее цель — дополнить этот учебник в смысле как обогащения тематики теоретических размышлений, так и разнообразия аналитических подходов и интерпретаций. В основе предлагаемой работы как доработанные, но ранее публиковавшиеся тексты, так и фрагменты прежде никогда не печатавшиеся.

*Алексей Богатуров
29 мая 2002 г.*

РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

1 ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ 1

ГЛАВА 1. ПОЛИТОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

М.А.Хрусталев

I. Политология в системе современного научного знания

Учитывая ту доминирующую роль, которую играет политология в нормативном политическом анализе¹ необходимо начать именно с нее. Как явствует из самого ее названия, которое в дословном переводе означает учение о политике, она является теоретической научной дисциплиной. Ее появление и развитие было обусловлено, с одной стороны, накоплением обобщенного научного знания о политике в целом ряде научных дисциплин и усилением интегративной тенденции в современной науке, с другой.

В принципе, до начала XX века эволюция научного знания проходила под знаком господства дифференциальной тенденции, которая находила свое конкретное выражение в выделении все большего числа предметных областей и субобластей, что вело к быстрому росту числа научных дисциплин и субдисциплин. В настоящее время их число по различным оценкам составляет от трех до пяти тысяч. Каждая из них, естественно, формирует понятийный аппарат и профессиональный лексикон, что стимулирует дивергенцию не только между предметными областями, но зачастую и внутри их самих.

Усиление подобного рода дивергенции объективно создало реальную опасность дезинтеграции научного знания. Неизбежной реакцией на это стало развитие интегративной тенденции, что привело к появлению целого спектра общенаучных и частнонаучных теорий. И если первые выполняют интегративную функцию в рамках науки в целом или одной из ее сфер (например, обществоведения), то вторые делают это в определенной предметной области и, как таковые, представляют собой предметные теории. К категории этих последних относится политология.

Общенаучные теории в известном смысле предметно индифферентны, так как непосредственно не связаны с традиционной пред-

¹ Под нормативным политическим анализом понимается здесь и в последующем процесс познания конкретных политических реалий на основе теоретического знания. Его альтернативой является эмпирический политический анализ, базирующийся на опыте и здравом смысле.

метной дифференциацией. Предметом их исследования является некое атрибутивное свойство, присущее реальности. Первой подобного рода научной дисциплиной можно с полным основанием считать математику, которая исследует такое всеобщее свойство как «количество». На протяжении не одного тысячелетия она выполняла интегративную функцию, в основном, правда, в сфере естественных наук.

Исследованием «качества» занималась философия, но делала и делает это она в синкретической форме, что оказалось явно недостаточным в условиях нарастания предметной дифференциации. Как следствие, произошло выделение отдельных аспектов «качества», исследование которых и стало функцией общенаучных теорий.

Появлению каждой общенаучной теории (группы теорий) предшествовало формулирование соответствующей общенаучной парадигмы, то есть концепции исследования некоего общего свойства. Она определяла не только направление научного поиска, но и формировала определенный стиль научного мышления. Став доминирующим, он оказывал существенное влияние на формирование и развитие частнонаучных теорий до тех пор, пока не возникала новая парадигма, которая оттесняла предшествующую на периферию научного поиска. Вместе с тем, эта последняя, хотя и переставала быть доминирующей, оставалась на вооружении науки и продолжала развиваться.

Таким образом, обеспечивается многосторонний прирост теоретического знания, которое пополняется и частнонаучными теориями, каждая из которых в ходе своего развития также переживает процесс смены специфических (предметных) парадигм. Именно они детерминируют степень включенности общенаучных теорий в предметную область. Зачастую она является чисто формальной, что означает перекодировку, то есть замену одних терминов другими.

Процесс парадигмальной эволюции современной науки представляется в виде следующей формулы: $m \rightarrow \varepsilon \rightarrow I \rightarrow O$ (вещество — энергия — информация — организация). Соответственно, выстраивается ряд последовательно сменявших друг друга общенаучных парадигм: механистическая — энергетическая — информационная — организационная.

Генезис парадигмальной эволюции науки относится к концу XVII — первой половине XVIII века, когда был снят пресс теологии. Становление и развитие первой, механистической парадигмы шло медленными темпами. Ее высшим достижением стал марксизм. С конца XIX века эволюция резко ускоряется. На смену механистической парадигме приходит энергетическая, которая уступает место сначала информационной, а затем организационной. Обе последние получили четкое оформление в соответствующих общенаучных теориях — кибернетике и общей теории систем (ОТС).

Если организационная лишь вступает в стадию совершенствования, то три другие перешли к ней значительно раньше, что нашло свое выражение в их диверсификации, то есть формирования на основе каждой из них не одной, а нескольких общенаучных теорий.

Так, в частности, в зарубежной науке наряду с ортодоксальным марксизмом появились структурный, культурный и гуманистический марксизм, а также так называемая критическая теория. Само собой разумеется, что все эти неомарксистские теории формировались под достаточно сильным влиянием и других парадигм.

Методологическое влияние общенаучных теорий на исследования в предметных областях проявляются в различной степени. Как уже отмечалось выше, оно может быть сугубо формальным, а следовательно, минимальным, или, наоборот, значительным. Этот последний вариант реализуется только при наличии достаточно развитой частнонаучной теории. В свою очередь, она появляется тогда, когда накопление научных знаний в данной конкретной области достигает такого рубежа, который позволяет осуществить их теоретическое обобщение, то есть сформулировать целостную частнонаучную теорию. Однако происходит это отнюдь не автоматически.

Если в силу тех или иных причин создать частнонаучную теорию не удастся, то начинается процесс дивергенции, то есть дробление предметной области на сегменты, в каждом из которых начинается формирование своего рода субтеорий. Предметная область дробится на слабосвязанные между собой части и, как следствие, теряется общее представление о предмете исследования.

Такая негативная тенденция может быть блокирована только частнонаучной теорией. В этой связи нельзя не заметить, что выдающиеся мыслители прошлого осознавали данное обстоятельство достаточно хорошо. Например, Н.Г.Чернышевский писал: «Без истории предмета, нет его теории, но и без теории предмета нет даже мысли о его истории, потому что нет понятия о предмете, его значении и границах»¹. Хотя это было сказано полтора века тому назад, но не утратило своего значения и сегодня.

Формирование частнонаучных теорий может проходить на двух различных уровнях: внутридисциплинарном и междисциплинарном. В первом случае нет сколько-нибудь серьезных заимствований из других предметных областей и наоборот. Политология — продукт междисциплинарного синтеза. Его несомненным достоинством является возможность получения более полного, комплексного представления о предмете, но вместе с тем, он таит в себе опасность замедления формирования частнонаучной теории в силу своей гораздо большей сложности по сравнению с внутридисциплинарным.

Как частнонаучная теория политология занимает вполне определенное место в системе знаний о политике. В рамках известной трихотомии: всеобщее — особенное — единичное, она представляет «особенное», являясь своего рода мостом между «всеобщим» (политической философией) и «единичным» (политической историей). Успешно выполнять функцию такого рода «моста», то есть связывающего

¹ Чернышевский Н.Г. Избранные философские сочинения. М., 1956. Т. I. С. 303.

звена между предельно абстрактным и предельно конкретным, уникальным, она может только при достаточной степени операциональности, которая, кроме того, позволяет ей обеспечивать решение конкретных аналитико-прогностических задач. В свою очередь, достижение необходимой степени операциональности требует преобразования ее в прикладную теорию. Задержка с таким преобразованием или отказ от него, что в силу ряда объективных и субъективных причин присуще отечественной политологической школе, неизбежно ведет к нивелировке ее отличия от политической философии со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.

Преобразование политологии в прикладную частнонаучную теорию происходит в русле той научной революции, которую переживает сейчас обществоведение. Оно стимулируется, прежде всего, быстрым ростом наукоемкости политической практики. Последняя традиционно рассматривалась как чисто эмпирическое искусство, где роль науки в лучшем случае считалось номинальной. И действительно, влияние науки на нее было в основном косвенным, через образование.

Со второй половины XX века ситуация начинает кардинально меняться. Непрерывное усложнение политических реалий и, что не менее, а, скорее, более важно, резкое возрастание цены политической ошибки заставили политических практиков по-новому взглянуть на роль науки. Ставка на эмпирический политический анализ, пусть и проводимый профессионалами, стала все чаще давать серьезные сбои. Теперь в разработке ответственных политических решений зачастую принимает участие значительное число научно-исследовательских учреждений. Научное обоснование подобного рода решений постепенно становится правилом, а не исключением, как это было еще в недавнем прошлом. При этом, естественно, возрастает и значимость нормативного политического анализа. Соответственно, повышаются требования и к политологии в плане строгости и операциональности.

Вообще, операционализация теоретического знания детерминруется уровнем его строгости. «Божьими», то есть строгими, принято считать естественные науки. Общественные же науки квалифицируются как «неточные» (нестрогие). Подобного рода взгляд, сформулированный еще О.Коктом — основоположником позитивистской философии, имеет под собой достаточно серьезные основания. Критерием «точности» считается математизация. Нет, вероятно, особой необходимости доказывать, что до этого общественным наукам и, в частности, политологии достаточно далеко.

В этой связи нельзя не коснуться опыта американской политологической школы, где в течение нескольких десятилетий предпринимались неоднократные попытки «принудительной» математизации. Их авторы — представители естественных наук, пришедшие в политологию, затратили на это немало усилий, однако их результаты были весьма скромными. К середине 80-х годов эти попытки в основном

исчерпали себя¹. Они дали научно значимые результаты только в исследовании электоральных проблем, то есть там, где имеется большой и надежный количественный материал и где использование различного рода математических методик было заведомо обоснованным.

Означает ли это, что политология обречена быть наукой «неточной», а, следовательно, ограниченно операциональной. Думается, что это отнюдь не так. Дело в том, что строгость естественных наук объясняется не математизацией, как таковой. Она становится вообще возможной только при определенном состоянии понятийного аппарата. У естественных наук он представляет собой целостную систему операциональных понятий. В этом их принципиальное отличие от общественных.

Это характерно и для политологии, понятийный аппарат которой далеко еще не системологизирован. Сама по себе системологизация — научная задача не из легких, но ее решение осложняется еще и тем обстоятельством, что политические реалии по существу описываются на трех различных уровнях: понятийного аппарата политологии, профессионального лексикона и политико-публицистического жаргона. В чем-то они, конечно, пересекаются, но далеко не во всем.

Степень системологизации понятийного аппарата политологии пока еще остается недостаточной. Отсутствуют строгие дефиниции ряда ключевых понятий и их четкая декомпозиция. Не составляет исключения и такое основополагающее понятие как «политика». Нет особой необходимости доказывать, что без адекватного представления о его содержании трудно говорить о теоретической строгости.

II. Предмет политологии

Предметная область политологии очерчена на первый взгляд достаточно четко. Ее составляет политика, то есть точнее, политическая деятельность², однако содержание этого понятия в ряде его аспектов продолжает оставаться дискуссионным, а, следовательно, нуждается в уточнении. Можно выделить три основных дискуссионных аспекта.

Во-первых, это проблема генезиса политики как специфического вида специальной деятельности. Здесь налицо две альтернативные точки зрения. Сторонники первой связывают его с возникновением государства (государственный генезис), последователи второй относят его к родоплеменному обществу (догосударственный генезис). В наиболее последовательной форме эта вторая нашла свое выражение в так называемой политической антропологии.

¹ См.: Political science: The State of Discipline. W., 1983. [Ed. A.W.Finifter] С 1985 г. перестал выходить журнал «Political Metodology», специализировавшийся на математизации политических исследований.

² Слово «политика» нередко используется в предельно широком смысле, как любая целенаправленная деятельность. Например, «политика в области градостроительства» или даже «е (его) политика в семье». Такое его употребление к науке отношения не имеет.

Нельзя не видеть, однако, что при таком антропологическом подходе политика отождествляется с управлением (властвованием) в самом широком смысле слова. Между тем, момент управления присущ любой совместной деятельности не только людей, но и высших животных (в их стадах и стаях). Подобного рода отождествление нельзя считать научно-корректным, что и дает основание считать первую точку зрения правильной.

Во-вторых, это проблема содержания политики. Здесь как и в предыдущем случае существуют две противоположные точки зрения. Согласно первой, которая является наиболее распространенной, политика — это «борьба за власть», а в соответствии со второй — «борьба за власть и собственность». Несмотря на то, что первая является, бесспорно, преобладающей, именно вторая представляется более обоснованной.

Лапидарность вышеприведенных формул может вводить в заблуждение, так как речь идет о борьбе за тот или иной порядок распределения власти и собственности в государственно-организованном обществе. В нем именно государство через систему налогов, запретов и ограничений, экспроприаций и т.п. оформляет определенный порядок распределения собственности, который до этого стихийно возникает в ходе экономической деятельности¹. В этой связи весьма характерной представляется политическая борьба за доминирование государственной или частной собственности, которая красной нитью проходит через всю историю человеческой цивилизации.

Третий дискуссионный аспект касается вопроса субъектов политики (политических субъектов). Тут разброс более значителен, чем в двух предыдущих случаях. Тем не менее, весь спектр мнений находится в диапазоне, ограниченном двумя экстремальными концепциями: элитистской и ортодоксальной марксистской. Элитисты рассматривают в качестве субъектов политики только политических деятелей-лидеров, а ортодоксальные марксисты считают таковыми в основном большие социальные общности (прежде всего, классы). С известной долей условности первые могут быть квалифицированы как сторонники микрополитического, а вторые — макрополитического подхода. При первом роль личности гипертрофируется, а при втором — минимизируется.

Оба эти подхода характеризуются экстремальностью, а, следовательно, односторонностью, не говоря уже об их претензии на абсолютность («вне времени и пространства»). Более корректным представляется подход, предполагающий разнородность субъектов политики и вариативность их значимости в зависимости от страны и эпохи,

¹ Оформление в данном случае предполагает не столько некую процедуру, но и организующее начало, которое вносит достаточно серьезные изменения в стихийно возникший порядок распределения собственности. В экстремальном варианте — создание принципиально нового, что и было осуществлено в рамках социалистического эксперимента.

то есть не статический, а динамический. Исходя из идеи разнородности, можно выделить три категории субъектов политики: персональные (политические деятели-лидеры), институциональные (организации и их объединения) и социальные (большие социальные общности).

Рассмотрев дискуссионные аспекты, получаем возможность дать следующее операциональное определение политики. Политика — это социальная деятельность, осуществляемая большими социальными общностями, организациями и их объединениями, а также отдельными личностями-лидерами, и направленная на сохранение или изменение существующего в государственно-организованном обществе (мировом сообществе) порядка распределения власти и собственности. Декомпозиция данной дефиниции позволяет выделить в ней четыре смысловых блока (модуля).

Первый смысловой модуль: субъекты политики

Из трех ранее выделенных категорий субъектов политики две (институциональные и персональные субъекты) представляются достаточно очевидными даже на эмпирическом уровне, чего нельзя сказать по поводу третьей. Дело в том, что число больших социальных общностей велико, но из него необходимо выделить те, которым органически присуща политическая активность. Нет, вероятно, никакой необходимости доказывать, что таковыми могут быть только реальные (групповые), но никак не номинальные (статистические) общности.

В качестве критерия выделения из разряда реальных собственно политизированных общностей можно с полным основанием считать характер возникающих между ними конфликтов и, в частности, их перерастание в массовое вооруженное насилие. Как свидетельствует опыт истории, таковыми являются только три типа социальных общностей: этнические, конфессиональные и классовые. Только конфликты между ними перерастают в односторонний или обоюдный геноцид, достигавший иногда гигантских масштабов.

В отечественной науке было принято, да и то, как правило, весьма осторожно, выделять лишь два варианта геноцида: этнический и конфессиональный, но замалчивать третий — классовый, хотя уже Великая французская буржуазная революция продемонстрировала его весьма наглядно (якобинский террор). В этой связи нельзя не отметить, что в России именно этот третий вариант имеет давнюю традицию, начиная с восстаний С.Разина и Е.Пугачева и кончая гражданской войной. Из трех вариантов геноцида наиболее бесчеловечным является, бесспорно, этнический, ибо он характеризуется поголовным уничтожением всех членов данной общности, включая детей.

Каждый человек от рождения оказывается включенным в эти три общности, но значимость этой принадлежности для него непосредственно детерминируется уровнем развития соответствующего общества. В зависимости от того, принадлежность к какой из этих трех общностей является доминантной, такой оказывается и социально-политическая ориентация населения данной страны. Если под этим углом зрения посмотреть на историю цивилизации, то нетрудно

заметить последовательную смену социально-политической ориентации: от этнической к конфессиональной (после становления мировых религий) и затем классовой¹.

Это лишь общая, магистральная тенденция, которая далеко не во всех странах и даже регионах полностью реализовалась. Как следствие, современный мир являет собой пеструю картину параллельного существования всех трех вариантов такой ориентации и их переходных форм. Кроме того, и это представляется достаточно важным, доминанта той или иной социально-политической ориентации может быть ригидной или эластичной. В первом случае она в известном смысле абсолютна. Классическим примером этого является Черная Африка, где этническая ориентация благополучно пережила колониальную эру.

Во втором случае такого рода доминанта относительна, и, соответственно, одна ориентация может быть сменена на первой позиции другой, хотя, как правило, временно и под влиянием внешних обстоятельств (важно иметь в виду, что история знает примеры и сознательной смены, осуществленной государственной властью). Наиболее эффективной и эффективной в этом отношении можно считать смену социально-политической ориентации германского общества, осуществленную Гитлером (от классовой к этнической ориентации). Это был гигантский и молниеносный рывок назад, ставший возможным в силу особых обстоятельств. При всей своей исторической значимости, он, видимо, все же уникален, так как сознательная смена социально-политической ориентации — дело предельно сложное.

В этой связи нельзя не коснуться социалистического эксперимента, в рамках которого на доктринальном уровне ставилась, а в СССР и решалась задача ликвидации всех трех социальных общностей. Религия подлежала полной ликвидации, этносы преобразованию в единый советский народ, а классы уничтожению путем пролетаризации (бесклассовое общество). Утопичность этой задачи во всех трех ее аспектах была более чем наглядно доказана практикой.

Политическая активность реальных социальных общностей выражается в двух основных формах: спонтанной и регулярной. Первая представляет собой, как правило, непосредственную реакцию на действия других социальных общностей и/или государственной власти. Она по своему существу стихийна и в подавляющем большинстве случаев деструктивна. Регулярная же политическая активность требует определенного уровня политической организованности, а, следовательно, и руководства. Эту последнюю функцию выполняют институциональные и персональные субъекты политики. От них во многом

¹ Более точно, социально-классовая, так как речь идет не только о классах и их слоях, но и о внеклассовых слоях. В частности, в современной электоральной борьбе, причем не только в России, но и в целом ряде других стран, активную роль играют пенсионеры. Поскольку предполагается дальнейшее увеличение их доли в самодеятельном населении, то в будущем она еще более возрастет.

зависит мобилизация соответствующей социальной общности для решения конкретных политических задач.

Говоря о взаимоотношениях социальных субъектов политики с институциональными и персональными, можно выделить два их варианта. Первый — инициативный, когда социальная общность автономно или в коалиции с другими создает институционального и персонального субъектов. Последний отнюдь не всегда является выходцем из ее собственной среды. Второй — адаптивный, когда она выбирает на роль своего руководителя и выразителя своих интересов одного из уже существующих институциональных и персональных субъектов.

При втором варианте выбор носит не односторонний, а обоюдный характер, так как институциональный и персональный субъект должен решать, желательна ли для него эта роль или нет. Решение это отнюдь не простое, поскольку, с одной стороны, чем больше число социальных общностей рассматривают его в качестве выразителя своих интересов, тем шире его социальная база, а, следовательно, в принципе больше вероятность его победы над конкурентами в политической борьбе, однако, с другой, чем шире социальная база, тем сложнее согласовывать противоречивые интересы различных социальных общностей. Если же этого сделать не удастся, то широкая социальная база может оказаться ненадежной, то есть имеющей тенденцию к резкому сокращению в самые ответственные моменты политической борьбы.

Таким образом, перед каждым институциональным и персональным субъектом политики всегда стоит проблема оптимизации своей социальной базы. Чем успешнее он ее решает, тем вероятнее и долговременнее его успехи. Однако существует и прямо альтернативный способ действий, рассчитанный на конъюнктурный успех, который получил название политической популизм. В его основе лежит идея максимального расширения социальной базы в некоторый момент времени, чтобы обеспечить захват государственной власти. При этом демонстрируется стремление удовлетворить интересы всех социальных общностей, хотя в принципе это невозможно. Расчет, как правило, строится на забывчивости массы, низком уровне ее политической культуры, ограниченности ее информационных и аналитических возможностей и т.п. Политический популизм по своей природе авантюрен, но при определенных условиях может оказываться достаточно эффективным¹.

Непосредственно к популизму примыкает такой специфический феномен как политиканство, который присущ только персональным

¹ Необходимо в этой связи четко разграничивать искусственный и естественный популизм. Первый характеризуется тем, что прибегающие к нему персональные и институциональные субъекты политики заранее твердо уверены в том, что их обещания невыполнимы. При втором дело обстоит гораздо сложнее, так как у них может существовать убеждение в их выполнимости в отдаленном будущем. Политический фанатик — это популист, но естественный. Большевики и современные исламисты относятся именно к этой категории.

субъектам политики. Он представляет собой инструментальное использование политической деятельности для личного обогащения и/или удовлетворения личных гедонистских устремлений, не исключая и патологии. Соответственно, политикан это не только, как правило, популист, но, что гораздо важнее, псевдополитический деятельно¹.

Второй смысловой модуль: политика как социальная деятельность

Будучи одним из видов социальной деятельности, политика, вместе с тем, существенно отличается от других ее видов. Данное отличие обусловлено спецификой той функции, которую выполняет политика в структуре социальной деятельности. Сама эта структура может быть представлена следующим образом.

Таблица 1

Характер	I — Матери- альная (m - e)	II — Информа- ционная (I)	III — Организа- ционная (O)	Внутрипо- литический курс
Направленность				
A. Функционирование	Экономиче- ская	Культурная	Политиче- ская	Модерни- зационный
B. Развитие		Научная		Охрани- тельный
C. Стабильность	Правоохра- нительная			
D. Устойчивость	Военная	Идеологи- ческая		

Содержание данной таблицы нуждается, бесспорно, в некоторых пояснениях. Из двух групп критериев, использованных при ее пояснении, одна, а именно, «Характер деятельности» представляется достаточно очевидной в силу вышесказанного (формула: $m \rightarrow e \rightarrow I \rightarrow O$). Что касается второй группы, то тут без развернутых пояснений нельзя обойтись.

По своей природе социальная деятельность призвана удовлетворять определенные потребности общества, что и предопределяет ее «направленность». В самом общем виде социальные потребности могут быть подразделены на те, которые обеспечивают самосохранение общества (его стабильность и устойчивость), и на те, которые обеспечивают эволюцию (функционирование и развитие)².

Понятия «Стабильность» и «Устойчивость» нуждаются в уточнении. Под «стабильностью» принято понимать способность социальной

¹ В России наиболее наглядный пример подобного рода являет собой Жириновский В.В.

² Функционирование понимается здесь как процесс постоянных обратимых изменений, а развитие — необратимых, которые могут быть как конструктивными, так и деструктивными.

системы подавлять возникающие внутри нее деструктивные воздействия, то есть антиобщественную (криминальную) и антигосударственную деятельность¹. Под «устойчивостью» — ее способность преодолевать внешние деструктивные воздействия, то есть противостоять внешним угрозам. В переводе на профессиональный политический лексикон это означает обеспечение безопасности. Если применительно к правоохранительной и военной деятельности данная их направленность в доказательствах не нуждается, то в отношении идеологии дело обстоит несколько сложнее.

В принципе идеологическая деятельность (как в светской, так и в религиозной форме) направлена на формирование и сохранение в общественном сознании определенного эпоса, то есть системы ценностей и норм поведения. До тех пор, пока данный эпос является господствующим, общественное сознание легко блокирует любые деструктивные информационные воздействия. Более того, такое общество противостоит как единое целое внешней военной угрозе.

Даже частичная дискредитация эпоса, носителем которого является господствующая идеология, порождает в общественном сознании сомнения в отношении существующего правопорядка, а следовательно, в существующем политическом и государственном строе. Как результат, при идеологической дезинтеграции общества обычно резко падает эффективность правоохранительной и военной деятельности. Вместе с тем, как свидетельствует опыт истории, эффективная правоохранительная и военная деятельность (успешные внешние войны) может способствовать укреплению положения господствующей идеологии, но лишь на некоторое время. Есть все основания полагать, что начавшийся и набравший темп процесс дискредитации идеологии силой остановить нельзя. Иначе говоря, соотношение «борьбы идей» и «борьбы людей» в конечном счете оказывается в пользу первой.

Таким образом, роль идеологической деятельности в деле обеспечения безопасности достаточно велика. Она обладает определенными компенсаторными возможностями по отношению к двум другим видам. В целом же, в рамках подструктуры, образуемой тремя этими видами социальной деятельности, налицо позитивная корреляция между ними, то есть эффективность одного повышает эффективность двух других и наоборот.

Вторую подструктуру образуют три других вида социальной деятельности: экономическая, культурная и научная. Все они обеспечивают эволюцию общества, то есть стимулируют изменчивость, в то время как виды деятельности, входящие в подструктуру безопасности, ориентированы на обеспечение неизменности. Таким образом, эти подструктуры обладают в известном смысле альтернативной направлен-

¹ В строгом смысле слова антигосударственная деятельность направлена на ликвидацию определенного государства как такового, однако к ней, как правило, относят и политическую деятельность, целью которой является смена политического режима.

ностью. Они, вместе с тем, образуют диалектическое противоречие, то есть не только альтернативны, но и взаимодополнительны в рамках структуры социальной деятельности в целом. И действительно, не обеспечив стабильность и устойчивость, нельзя рассчитывать на успешное развитие, но и отставание в развитии неизбежно ведет к потере устойчивости, а затем и стабильности.

Все виды социальной деятельности, входящие в вышеуказанные подструктуры, характеризуются монофункциональностью или бифункциональностью, то есть однонаправленностью или дуалистичной направленностью. Политическая же деятельность в отличие от них универсальна, то есть полифункциональна. И в этом своем качестве она призвана обеспечить оптимальное сочетание всех других видов социальной деятельности, чтобы удовлетворить соответствующие социальные потребности. Поскольку они не только различны, но и противоречивы, то поиск оптимума — задача весьма сложная.

Решение же этой задачи требует мобилизации необходимых ресурсов, возможность которой в основном детерминирована существующим в данном обществе порядком распределения власти и собственности (социальным порядком). Эти ресурсы подлежат использованию для обеспечения различных видов социальной деятельности. Ввиду того, что их в подавляющем большинстве случаев недостаточно, то есть имеет место ресурсный дефицит, то естественно встает проблема поиска баланса. Он всегда в большей или меньшей степени асимметричен, что предполагает выделение одной из двух вышеуказанных подструктур в качестве приоритетной. Кроме того, и в рамках каждой из них выделяется приоритетный вид деятельности.

В зависимости от того, какая из двух подструктур выступает в качестве приоритетной, таков и внутриполитический курс. Если предпочтение отдается потребностям эволюции, он модернизационный, а если потребностям безопасности, то охранительный. Что касается внешнеполитического курса, то он формируется не только под влиянием внутренних потребностей общества, но под воздействием состояния международной среды¹.

Говоря о соотношении модернизационного и охранительного внутриполитического курсов, следует сразу же подчеркнуть, что первый обеспечивает расширенное воспроизводство ресурсов, второй же лишь их потребление. Здесь необходимо сделать оговорку в отношении военной деятельности. Дело в том, что она при ее осуществлении на чужой территории всегда в большей или меньшей степени сопровождается присвоением имеющихся там ресурсов. Иначе говоря, она может в случае успеха в какой-то степени компенсировать их расход. Для многих войн прошлого был справедлив тезис: «война должна питать войну». История знает немало примеров достаточно

¹ Проблема соотношения внутриполитического и внешнеполитического курсов требует специального рассмотрения и относится к теории международных отношений.

длительного существования военно-паразитарных государств. Однако по мере развития военной техники эта компенсаторная возможность военной деятельности ушла в прошлое. Сейчас она предельно затратна.

Хотя переход к охранительному курсу необходим в случае серьезной военной угрозы, однако, длительное следование ему таит в себе опасность милитаризации политики, что означает установление абсолютного приоритета военной деятельности, это означает прежде всего ее максимальное ресурсное обеспечение в ущерб эволюционным видам. Такой дисбаланс неизбежно ведет к самым серьезным негативным последствиям для общества, что наглядно продемонстрировал пример СССР¹.

Третий смысловой модуль: порядок распределения власти и собственности

В самом общем виде порядок распределения власти и собственности или, иначе говоря, социальный порядок находит свое выражение в делении людей на руководителей (властвующих) и исполнителей (подвластных), на богатых и бедных. Он в принципе неэгалитарен и его генезис восходит к заключительным стадиям биологической эволюции, когда в стадах и стаях высших животных возникает статусная (властная) ранжировка особей.

Это был тот адаптационный механизм, который обеспечивал стабильность структуры стаи или стада, а, с другой стороны, он позволял добиться высокой эффективности коллективных действий. Таким образом, заметно повышались возможности самосохранения. Нет оснований сомневаться, что такого рода ранжировка была присуща и стадам первобытных людей.

В животном мире она базируется на так называемом «праве сильного», но развитие интеллекта первобытного человека, а, следовательно, его социализация исключала возможность его сохранения в качестве доминантного. Ему на смену приходил генеалогический принцип, базирующийся на представлении о кровном родстве. Его утверждение сопровождалось возникновением рода, племени и племенных объединений (групп родственных племен).

Ослабление значимости «права сильного» в рамках рода и племени отнюдь не сопровождалось таковым на уровне межплеменных (неродственных) взаимодействий. Скорее, наоборот, постоянные военные конфликты неродственных племен становились все более ожесточенными. Видимо, к этому же времени относится и окончательное оформление коллективной собственности племени на определенную территорию.

¹ Есть все основания полагать, что именно милитаризм сыграл решающую роль в провале всех попыток реформировать советское общество. Не случайно, руководство КНР, учтя советский опыт, самым решительным образом блокировало его развитие, что обычно остается за кадром при анализе особенностей китайских реформ.

Статусная ранжировка в роде базировалась на принципе генеалогического старшинства, причем применительно не только к отдельным индивидам, но и к семьям. Это вело, с одной стороны, к геронтократии, а, с другой, к делению семей, которое постепенно становилось наследственным, на старших и младших. Такое наследственное закрепление дифференциации в ряде случаев стимулировало возникновение патронажно-клиентельных отношений, когда власть старших и их потомков над младшими и их потомками рассматривалась как нечто естественное, то есть как некое продолжение власти родителей над детьми. Так формировалась родовая аристократия.

Что касается племени, то там дело обстояло несколько по-иному, хотя и существовала ранжировка родов, причем нередко достаточно строгая, но, тем не менее, общим правилом была их борьба за первенство. В ней решающую роль играло появление лидеров-харизматиков. В данном случае термин «харизма» используется в более широком значении, чем это обычно принято, то есть как наличие у индивида неординарных способностей (таланта).

Поскольку талант — это врожденное качество, причем достаточно редкое, то его наличие не могло восприниматься иначе, как особая благосклонность со стороны неких высших сил. С развитием религии он превратился в «божий дар», что соответствует первоначальному значению термина «харизма». Соответственно, в глазах окружающих харизматик становился «богоизбранным» и тем самым возвышался над ними. Его претензия на власть была легитимной, ибо была «властью от бога».

В условиях господства генеалогических представлений прямые потомки выдающихся харизматиков воспринимались также как «богоизбранные», то есть формировалась то, что можно квалифицировать как представление о наследственной харизме, причем не только окружающих, но и самих этих потомков. Чем более выдающимся был харизматик, тем более легитимной выглядела претензия его потомков на власть. Возникала династия, которая теряла свой статус только в случае вырождения.

Первоначально произошло выделение двух категорий лидеров-харизматиков: военных вождей-военачальников и духовных вождей (колдунов, шаманов и т.п.). Последние, видимо, в той или иной степени обладали экстрасенсорными способностями. В сущности, это означало разделение верховной власти в племени на светскую (по преимуществу военную) и духовную, борьба между которыми за верховенство с этого времени продолжалась на протяжении всей истории цивилизации. Есть основания полагать, что она еще окончательно не завершилась и сейчас.

Военачальники в этой борьбе обладали заведомым преимуществом, так как в условиях непрерывных военных столкновений именно от них в немалой степени зависело сохранение и процветание племени. Постепенно присваивая себе административную и, что особенно важно, судебную власть, они превратились в полновластных вождей

племен. Хотя по своей природе они являлись выразителями альтернативного генеалогическому харизматического принципа распределения, они всегда и везде стремились сделать свой властный статус наследственным. В большинстве случаев им это удавалось.

Вождь племени и его род находились на самой вершине статусной иерархии племени, то есть составляли собственно племенную аристократию, которая, будучи через брачность тесно связана с родовой, составляла вместе с этой последний высший статусный слой — родоплеменную аристократию. Стремясь легитимизировать свой привилегированный статус, она присваивает себе звание «лучших», «благородных», «больших» и т.п. Тем самым она как бы возвышается над остальными, то есть простонародием, которое может быть только подвластным и обязано быть таковым¹.

Таким образом, произошла первичная собственно социальная (половозрастная, естественно, была всегда) дифференциация членов племени. Видимо, в это же время наряду с аристократией и простонародием стал формироваться статусный слой рабов. Эта первичная дифференциация при переходе от родоплеменного к государственно-организованному обществу трансформировалась во многих случаях в сословно-кастовую.

Насильственное или добровольное объединение нескольких племен под властью одного вождя вело к появлению протогосударства, что порождало тенденцию возвышения его и его рода над всей родоплеменной аристократией. Его род обособлялся от нее, превращаясь в правящую династию, которая уже представляла собой клан. В отличие от рода, являющегося подразделением племени, клан — совершенно автономная единица, полностью самодостаточная. Легитимизация власти правящей династии, как правило, была связана с ее сакрализацией, которая имела место зачастую уже и в рамках племени.

Параллельно с укреплением власти правящих династий шло формирование аристократических кланов более низкого порядка и, в основном, за счет высшего чиновничества (вельмож). Оно же само было продуктом развития государственного аппарата, который непрерывно рос по мере преобразования протогосударства в государство. С государственным аппаратом появился третий принцип распределения — бюрократический. В соответствии с ним власть и богатство есть атрибуты положения индивида в организационной иерархии.

Таким образом, возникли три основополагающих принципа распределения власти и собственности. Их комбинация образует в известном смысле фундаментальный уровень социального порядка. Они альтернативны, но в то же время взаимодополнительны. В докапиталистическом обществе их комбинация характеризовалась достаточно высокой степенью вариативности в зависимости от времени и стра-

¹ Симптоматично, что аристократия претендовала на определенные псевдо-биологические отличия от простонародья («голубая кровь» и т.п.), которые были призваны подкрепить ее исключительное право на власть.

ны¹. Капитализм снимает эту вариативность, унифицируя социальный порядок в различных странах.

В докапиталистическом обществе действовала общая закономерность: «богатство через власть», то есть субпорядок распределения власти доминировал над субпорядком распределения собственности. Автономность последнего была весьма условной, а в лучшем случае — ограниченной. Только с развитием капитализма его автономность стала реальностью и, как следствие, на смену прежней пришла новая общая закономерность: «власть через богатство». Однако прежняя закономерность была лишь оттеснена с доминирующей позиции, но сохранилась. И сейчас остается вполне актуальной старинная русская пословица: «Не всяк имущий — власть имущий, но всяк власти имущий — имущий».

Утверждение этой новой общей закономерности было естественным результатом завершения процесса автономизации субпорядка распределения собственности. Сам по себе данный процесс начался на стадии перехода от родоплеменного к государственно-организованному обществу, но на протяжении всей докапиталистической истории он был весьма медленным, характеризовался дискретностью и серьезными попятными движениями. Не случайно, только в нескольких западноевропейских странах он достиг такой степени развития, которая обеспечила возможность победы новой общей закономерности, следствием которой стало радикальное изменение фундаментальных основ социального порядка.

Это произошло в ходе буржуазных революций, когда оформилась капиталистическая комбинация основополагающих принципов распределения, где ранее полностью доминирующий генеалогический принцип был заменен харизматическим. В рамках субпорядка распределения власти генеалогический принцип вообще почти потерял свое значение, а в субпорядке распределения собственности его роль заметно ослабла. Свое конкретное выражение данное изменение нашло, с одной стороны, в установлении демократии, а, с другой, в свободном предпринимательстве, возможности которого в докапиталистическом обществе были весьма ограничены. Оно подавлялось мощным налоговым прессом, системой разного рода запретов и ограничений, постоянными экспроприациями и т.п.

В этой связи нельзя не затронуть проблематику революции как быстрого и радикального изменения фундаментального уровня социального порядка. В этом смысле докапиталистическое общество революций не знало, хотя, конечно, и там имели место иногда достаточно серьезные изменения. Более того, видимо, революции присущи определенному историческому отрезку — времени перехода от докапиталистического к капиталистическому обществу. К нему же относится и такой экстремальный вариант, каким является социалистическая революция.

¹ Тут следует отметить, с одной стороны, достаточно подробно исследованные различия между Востоком и Западом, а в рамках последнего — между аграрными обществами и торгово-ремесленными (приморские города-государства).

Нельзя не видеть, что социалистические революции генетически самым тесным образом связаны с буржуазными. Характерная для них эгалитарная тенденция присутствовала во всех буржуазных революциях, но не получила там полного развития, хотя правовое равенство было установлено. Иначе говоря, сохранился неэгалитарный социальный порядок. Социалистические революции ставили своей задачей установление эгалитарного социального порядка почти в абсолютном смысле.

Симптоматично, что в ортодоксальном марксизме, под знаменем которого проходили все социалистические революции, эталоном эгалитарности считалось родоплеменное общество («первобытный коммунизм»). Предполагалось осуществить «отмирание государства». На деле произошло не «отмирание», а наоборот, невиданная «гипертрофия» государственности. Соответственно, оформившаяся на фундаментальном уровне комбинация принципов характеризовалась доминантой бюрократического. Как неизбежное следствие сформировалась достаточно сложная система статусной дифференциации, которая в каких-то своих аспектах стала напоминать сословную¹.

Вместе с тем, нельзя не видеть, что и буржуазные, и социалистические революции в сущности решали одну и ту же задачу — обеспечение трансформации аграрной экономики в индустриальную. Однако, если первые представляли собой финальную стадию достаточно длительного процесса социально-экономической эволюции, то последние происходили в его начальной фазе и в этом смысле играли роль его стимулятора. Как только эта роль была ими в основном сыграна, так сохранение социалистического социального порядка с органически присущим ему доминированием бюрократического и подавлением харизматического принципа распределения стало серьезнейшим препятствием на пути дальнейшей социально-экономической эволюции. Его сохранение вело к стагнации.

Четвертый смысловой модуль: государственно-организованное общество или мировое сообщество

Наличие определенного социального порядка в государственно-организованном обществе достаточно очевидно и каких-либо сомнений вызвать не может. Что касается мирового сообщества, то характерные для всей его истории войны дают основание сомневаться в его наличии и даже утверждать, что ему органически присуща политическая анархия. Основанием для такого утверждения служит от-

¹ Это дало основание некоторым отечественным и зарубежным ученым рассматривать советское общество как сословное (обзор их взглядов см: Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. М.: Наука, 1995), однако сторонники данной точки зрения не делают различия между сословием и статусным слоем, а это — две разные вещи. Например, офицерство — статусный слой, но никак не сословие, так как принадлежность к нему не является ни наследственной, ни пожизненной.

существование в нем высшей, государственной власти. Однако этот тезис не следует возводить в абсолют.

Дело в том, что в мировом сообществе с самого начала возникла и сохраняется до сих пор четкая и, как правило, относительно стабильная статусная ранжировка на государственном уровне: великие державы, крупные, средние и малые страны. Каждая великая держава обладает так называемой «зоной влияния», в которую входит некоторое число малых и средних государств. Их зависимость от нее, то есть в какой-то степени подвластность, хоть и различна, но в принципе достаточно значима. Она может быть оформлена де-юре (соответствующие договоры или соглашения) или существовать де-факто. «Зона влияния» есть не что иное, как форма существования специфических патронажно-клиентельных отношений¹.

В отличие от государственно-организованного общества мировое сообщество представляет собой децентрализованную социальную систему, и в этом своем качестве оно схоже с феодальной государственностью, но при отсутствии номинальной высшей власти. Субпорядок распределения власти в этой системе характеризовался и продолжает характеризоваться доминантой харизматического принципа («силовая харизма»), хотя в ней действует и генеалогический принцип. В этом плане весьма показательным примером является признание России правопреемницей СССР.

В субпорядке распределения собственности сочетание основополагающих принципов несколько иное, то есть доминирует генеалогический принцип, но в результате войн он может оттесняться харизматическим, но не обязательно. Государство обладает традиционным правом собственности на определенную территорию и проживающее на ней население (граждан). В последнее время право собственности на территорию (территориальный суверенитет) распространилось на значительное водное и воздушное пространство. Особое значение в современном мире имеет вытекающее из территориального суверенитета право собственности на природные ресурсы. Оно уже привело к появлению государств-рантье, где сформировалось своеобразное «потребительское общество».

Если сфера территориального суверенитета непрерывно расширялась, то по-иному эволюционировала проблема гражданства. Ранее отдельный человек был, в сущности, «рабом» государства (подданным). Власть государства над каждой отдельной личностью была близка к абсолютной. Замена подданства гражданством означала кардинальное изменение положения, однако, перестав быть «рабом», он, тем не менее, остается подвластным (налоги, воинская повинность,

¹ Само собой разумеется, что отнюдь не все и, в частности, крупные страны оказываются в такой «зоне влияния» (точнее, конечно, зоне власти), но это не меняет общего положения в целом. После холодной войны «зона влияния» США охватила большую часть мира. США превращаются в подлинно глобального патрона.

подсудность и т.п.). Его право на смену гражданства мало что меняет по существу, ибо означает замену одного властвующего субъекта другим. Человек же, не имеющий гражданства, есть политическое, а зачастую и социальное ничто.

Симптоматично, что идея суверенитета государства была с самого начала строго оформлена и ее легитимность до недавнего времени никак не оспаривалась. Многочисленные войны вели лишь к перераспределению собственности, но не более того.

Таким образом, социальный порядок в государственно-организованном обществе и в мировом сообществе имеют общую фундаментальную основу, однако присущая каждому из них специфика и, прежде всего, в субпорядке распределения власти привела к подразделению политологии на две субдисциплины: теорию международных отношений и так называемую сравнительную политологию (теорию внутренней политики). Именно этой последней и будет далее уделено основное внимание¹.

III. Метод политологии

Формирование достаточно полного и научно-корректного представления об исследовательском методе политологии требует прежде всего уточнения самого этого понятия, а также связанных с ним понятий: «методика» и «методология». Под методом принято понимать некий образ действий. Декомпозиция же понятия «образ действий» дает таксономический ряд: метод — способ — прием. В его рамках «метод» есть высшая таксономическая единица. В этом своем качестве он обладает определенной степенью общности, а следовательно, универсальностью.

В качестве образа действий метод, как и две другие составляющие вышеуказанного таксономического ряда, актуализуются только в процессе деятельности. В данном случае это — научно-исследовательская деятельность, которая представляет собой производство некой новой информации (нового знания) путем изучения определенной исходной. Последняя является тем «сырьем», из которого производится новое знание. Однако прежде чем приступить к производству, необходимо решить вопрос, что и из какого сырья производится? В научном исследовании это означает определение объекта (предмета) и цели исследования, то есть формулирование его замысла. Это — исходная стадия всякого исследования, за которой следует стадия получения исходной информации, а затем — стадия ее изучения.

Формулирование замысла далеко не всегда является прерогативой исследователя (заказное исследование), чего нельзя сказать о

¹ Термин «сравнительная» пришел в отечественную науку из американской, где он был обусловлен сопоставлением американских политических реалий, которые брались за эталон, с реалиями других стран. Таким образом, сравнению подвергалась только внутренняя политика с целью выявления общих закономерностей, а это и есть задача теории внутренней политики.

получении, а тем более изучении исходной информации. Вместе с тем, очевидно, что получение и изучение — вещи принципиально различные и, соответственно, различны и применяемые при этом методы. Таким образом, налицо два класса методов: методы получения и методы изучения информации. Именно последние можно считать исследовательскими в строгом смысле слова.

Определение объекта (предмета) исследования позволяет начать сбор информации о нем (исходной информации), которая может быть первичной или вторичной. Первая представляет собой совокупность фактов, упорядоченную чисто внешне, пространственно-хронологически. Ее описание квалифицируется как фактографическое. К категории вторичного относится информация, уже подвергшаяся изучению и, как следствие, обладающая логической упорядоченностью. Она может быть фактологической, аналитической, прогностической и операциональной, то есть содержащей рекомендации практического или научного характера.

Различие первичной и вторичной информации предопределяет подразделение методов получения на первичные (наблюдение и эксперимент) и вторичные (опрос и ознакомление с текстами). Как те, так и другие являются общенаучными, но каждая научная дисциплина «выбирает» для себя наиболее эффективные и тем самым формирует свой частнонаучный метод. Если он тождественен одному из общенаучных, то его можно квалифицировать как унитарный. В противном случае он является комбинированным, где один из общенаучных методов, как правило, играет роль основного, а другие выступают как вспомогательные.

Эволюция политологии достаточно наглядно демонстрирует процесс перехода от унитарного (ознакомление с текстами) к комбинированному методу получения информации, что непосредственно было связано с совершенствованием метода опроса (появление политической экспертизы), с одной стороны, и развитием телевидения (возможность использования метода наблюдения), с другой. Нельзя, однако, не признать, что оба эти метода продолжают оставаться вспомогательными.

Эволюционируют, естественно, не только частнонаучные, но и общенаучные методы получения информации. Тут также серьезную роль играет развитие техники, но не меньшую и совершенствование тех способов и приемов, которые присущи каждому методу и через которые он только и может быть реализован. Их описание принято называть методикой. Таким образом, методика есть описание определенного способа или приема, включающая процедуру его использования.

После получения исходной информации начинается исследовательский процесс в строгом смысле слова, то есть ее изучение. Зачастую его называют информационно-аналитической работой, поскольку имеется в виду анализ содержания информации. Она ведется с помощью двух видов интеллектуальных способностей, которыми человек

наделен от природы, — логики и интуиции. Соответственно, любой исследовательский метод представляет собой их сочетание в той или иной пропорции. Поскольку наука есть сфера применения логики, то в научном исследовательском методе она всегда преобладает, хотя степень такого преобладания различна. Исходя из этого, можно выделить три общенаучных исследовательских метода: логико-интуитивный, моделирования и исчисления.

Традиционный логико-интуитивный метод — преобладание логики при сохранении немалого значения интуиции. Метод моделирования — полное преобладание логики при минимизации значения интуиции. Метод исчислений — полное преобладание символической (математической логики) при минимизации других видов логики и интуиции. Под минимизацией в данном случае имеется в виду тенденция к окончательному устранению, однако ее реализация, видимо, станет возможной на уровне компьютера, но не человека. Дело в том, что интуиция органически присуща ему и исключить ее из процесса мышления он ни при каких обстоятельствах не в состоянии, ибо она есть проявление подсознания.

Логико-интуитивный метод — это непосредственное изучение исследуемого предмета или объекта на основе индивидуальных творческих способностей. Его применение есть сугубо персональное искусство. Создание научных коллективов в этом плане ничего не меняет по существу. Если логику можно понять и повторить, по крайней мере, в принципе, то интуицию — нет.

Метод моделирования предполагает опосредованное изучение исследуемого предмета или объекта с помощью модели — четко фиксированной строгой логической конструкции, выход за пределы которой исключен. Ее наличие дает возможность проведения коллективного научного исследования. Резко ограничивая использование интуиции, он в то же время повышает роль высокоразвитых логических способностей. Если с этой точки зрения посмотреть на различие точных и неточных наук, то нельзя не заметить, что понятийный аппарат первых представляет собой модель, а следовательно, поддается формализации (уточнению с помощью формальной логики) и квантификации, а у вторых он таковой не является, ибо не обладает должной логической строгостью (слабоструктурирован). Именно эта принципиальная особенность первых позволяет им использовать метод исчислений и резко ограничивает или даже исключает его использование вторыми.

Научно-исследовательская деятельность есть в известном смысле информационное производство и, если прибегнуть к аналогии, то логико-интуитивный метод ассоциируется с ремеслом, которое, поднимаясь до уровня искусства, создает шедевры, но в массе своей обеспечивает среднее качество. Два других метода ассоциируются с технологичным производством, где основная масса производимой продукции достаточно высококачественная, но создание шедевров в принципе не предусмотрено. Вопрос о том, насколько внедрение

машинных (компьютерных) технологий изменит ситуацию, пока остается открытым. Очевидно лишь то, что без соответствующей перестройки понятийного аппарата неточных наук серьезные успехи вряд ли возможны.

Соотношение вышеуказанных общенаучных исследовательских методов с частнонаучными аналогично тому, о котором шла речь при рассмотрении методов получения информации. И здесь частнонаучные методы могут быть унитарными или комплексными. Что касается политологии, то ее исследовательский метод проделал ту же эволюцию, что и метод получения информации, то есть превратился из унитарного в комплексный. Бывший унитарный (логико-интуитивный метод), хотя и остался основным, но не является единственным в этом качестве. Постепенно, но неуклонно усиливались позиции метода моделирования, который все больше претендует на роль основного. В этой связи, хотя и со значительной долей условности, можно говорить о дуалистичности исследовательского метода политологии.

Исследовательский метод «работает» на стадии изучения, которая включает три этапа: отбор, обработка и осмысление полученной информации. Под систематизацией в данном случае имеется в виду упорядочение исходной информации с целью выделения релевантной, то есть относящейся к исследуемому объекту, и отбраковки нерелевантной. Необходимость в этом, как правило, имеет место, так как несмотря на знание замысла, в процессе получения информации ее релевантность определяется лишь в первом приближении.

В ходе фильтрации релевантная информация подразделяется на необходимую и избыточную. К этой последней относятся повторная фактология, различного рода компиляции и т.п. Избыточная информация исключается из процесса исследования, а верификации подвергается только необходимая. Ее целью является отбраковка ложной и проверка сомнительной информации.

В настоящее время на первых двух фазах бесспорно преобладает метод моделирования, так как систематизация и фильтрация осуществляются с помощью соответствующих компьютерных программ. Степень же участия в них исследователя, а, следовательно, и применения логико-интуитивного метода непосредственно зависит от совершенства этих программ.

Прямо противоположную картину являет собой фаза верификации, где компьютерная технология практически отсутствует. Преобладает такой элементарный способ как сравнение. Хотя спектр его вариантов достаточно широк, но доминируют простейшие, которые не выходят за рамки логико-интуитивного метода. Это дает основание полагать, что они остаются эффективными.

Следующий этап изучения — обработка прошедшей отбор исходной информации — существенно отличается от предшествующего, ибо в нем нет априорного деления на фазы. Их число зависит от количества используемых информационных методик. В самом общем виде их типология выглядит следующим образом.

Таблица 2

Содержание информации	I — Агрегативное	II — Экстрагативное
Форма информации		
А. — Логико-лингвистические	Конспектирование Редактирование Аннотирование	Контент-анализ
В. — Логико-графические (логографические)	Матрицы, когнитивное картирование	Ивент-анализ
С. — Математические	Шкалирование	Статистические методики

В процессе обработки подвергается преобразованию как форма, так и содержание исходной информации: преобразование формы осуществляется путем формализации или квантификации. В первом случае вербальная форма трансформируется в графическую, а во втором — в математическую, числовую. Соответственно, если начальная, вербальная форма сохраняется, то методика — логико-лингвистическая. Если сменяется на графическую, то — логико-графическая (логографическая). Если же вербальная или графическая заменяется числовой (математической), то на — математическая.

В отличие от формы, которая при обработке может сохраняться, содержание всегда преобразуется — агрегируется (сжимается). В том случае, когда имеет место только сжатие, то методика — агрегативна. Когда же наряду со сжатием происходит выявление латентных аспектов содержания, она экстрагативна. Под латентными аспектами имеется в виду та часть содержания, которая не может быть понята в результате ознакомления с текстом.

Общее число методик обработки информации или, иначе говоря, информационно-аналитических методик весьма велико, особенно с учетом вариативности некоторых из них. В этом отношении выделяется контент-анализ, который имеет не один десяток вариантов¹.

Все информационно-аналитические методики «распределяются» по исследовательским методам, хотя далеко не в равной пропорции. Агрегативные логико-лингвистические относятся к логико-интуитивному методу, экстрагативные математические — к методу исчисления. Все остальные принадлежат к методу моделирования. Данное

¹ Наиболее полный обзор методик контент-анализа содержится в работе: Frai and Rulopp. East-West relations. Cambridge (USA), 1983. Vol. 2. Кроме того, в ней детально описывается процедура его применения (в компьютеризированном варианте).

«распределение» не следует возводить в абсолют, так как могут применяться разного рода гибридные варианты и комбинации.

Применение логографических, а тем более, математических методик реально значимо только тогда, когда полученные при этом результаты могут быть преобразованы обратно в первичную вербальную форму, то есть интерпретированы. Вопрос об интерпретации заслуживает того, чтобы остановиться на нем более подробно.

Понятие «интерпретация» имманентно содержит в себе представление о наличии некоторой неопределенности, обуславливающей многозначность понимания, а следовательно, вариативность обратного преобразования (вербального описания). Соответственно, сама интерпретация — это выбор одного из вариантов, который на том или ином основании считается наиболее адекватным.

Данная трактовка не может вызвать каких-либо возражений, но при этом упускается из виду, вольно или невольно, мера неопределенности, так как имплицитно полагается, что она всегда достаточно велика. Между тем, это далеко не всегда так. Она может быть не только низкой, но нередко даже нулевой. Соответственно, многозначность уступает место в первом случае относительной, а во втором — абсолютной однозначности. При такой мере неопределенности интерпретация приобретает свою простейшую, безальтернативную форму — пояснение.

Применительно к графическим конструкциям даже и пояснения зачастую не требуется (нулевая неопределенность). Более того, во многих случаях они способствуют более точному пониманию вербального описания, если последнее является громоздким и сложным для понимания. Интерпретация оказывается необходимой, прежде всего, при преобразовании числовых выражений в вербальные и реже в графические формы. Именно эти последние демонстрируют самый широкий интерпретационный спектр: от полной определенности до широкой многозначности, которая требует глубокого осмысления.

Переходя к заключительному, третьему этапу изучения — этапу осмысления — следует заметить, что под осмыслением принято понимать выявление отображенных в содержании информации сущностных свойств изучаемого объекта или предмета. Их знание обеспечивает формирование адекватного представления о нем, то есть его понимание.

В отличие от практической деятельности, где понимание есть в основном результат эмпирического опыта и/или здравого смысла, в науке оно имеет теоретическую основу, которая и образует определенный исследовательский подход. Он включает две составляющие: общенаучную и частнонаучную (предметную). В зависимости от их соотношения можно выделить два класса подходов: субстанциональные — преобладает частнонаучная; в рамках изоморфных подходов всегда в большей или меньшей степени имеет место эффект замещения соответствующей предметной теории другой и даже другими, связанными с генезисом данной общенаучной парадигмы.

Вообще, сам принцип изоморфизма предполагает возможность замещения одного теоретического знания другим на основе логиче-

ского подобия закономерностей. Особую роль при этом играет математика, а, следовательно, и метод исчислений.

Если под этим углом зрения посмотреть на современное состояние политологии, то совокупность основных используемых в ней подходов представляется в следующем виде.

Таблица 3

Тип подхода Парадигма	I — Субстанциональный	II — Изоморфный
A. Философская	Историсофский подход	
B. Физикалистская (m — e)	Факторный подход	Синергетический подход
C. Информационная (I)	Кибернетический подход	Теоретико-игровой подход
D. Организационная (O)	Системный подход	Структурно- функциональный подход

Приведенная таблица нуждается в некоторых уточнениях. Во-первых, в том, что касается включения философии. Она возникла на заре развития науки как исходное синкретическое общенаучное знание, которое продолжает сохранять свое значение и сейчас. Парадигмальная эволюция не противостоит ему, а лишь дополняет его и способствует его развитию. В данном случае имеется в виду, естественно, не вся философия в целом, а одна из ее частей — политическая философия, которая с определенной долей условности может рассматриваться как парадигма. Во-вторых, это — «физикалистская парадигма». Под ней имеется в виду механистическая и энергетическая парадигмы. Необходимость их объединения была обусловлена тем обстоятельством, что в настоящее время они далеко не всегда выступают в качестве самостоятельных. Более того, как пример, синергетический подход представляет собой результат влияния систем.

В таблицу включены отнюдь не все используемые подходы, а лишь основные. Кроме них существует и немало других, среди которых есть весьма «экзотические» (например, рельефный подход Р.Аксельрода).

Особой инновационной активностью отличается группа изоморфных физикалистских подходов. Каждое серьезное открытие в теоретической физике обычно ведет к появлению нового подхода. Не составляет исключения в этом плане и весьма популярный сейчас синергетический подход, который «родом из термодинамики».

Данная инновационная активность физики, объясняемая не столько бурными темпами ее развития, а прежде всего тем «культом физики», восходящим еще ко взглядам О.Кокта и присущим философии позити-

визма. И хотя она подвергается все более серьезной критике, но отнюдь не сдала своих позиций, особенно в американской науке. Существенным резервом у нее является математизация и развитие компьютерных технологий.

Сопоставление эволюции двух этих классов исследовательских подходов приводит к выводу, что изоморфные в целом развивались гораздо более интенсивно, чем субстанциональные. Именно им принадлежит основная заслуга во внедрении метода моделирования и экстрагративных информационно-аналитических методик. Вместе с тем, им всем присущи такие недостатки как незавершенность и перекодировка. Есть серьезные основания полагать, что они органически присущи любому теоретическому замещению.

Дело в том, что изоморфизм, как и любая аналогия, по самой своей природе не может претендовать на достаточность. Даже если он обоснован, то его достаточность требует строгого доказательства. Задача эта отнюдь не простая, так как предполагает четкую корреляцию между понятийным аппаратом различных частнонаучных теорий. Тут всегда неизбежны достаточно вольные допущения. Зачастую, чтобы избежать их, прибегают к математике, однако при этом еще больше возрастает опасность перекодировки. Оценивая в целом роль изоморфных подходов, следует заметить, что она, будучи несомненно положительной, все же оказалась ограниченной. Более того, со второй половины 80-х годов она явно ослабевает, что дает основания предполагать, что их возможности, по крайней мере сейчас, исчерпаны или почти исчерпаны¹.

Инициатива переходит к субстанциональным подходам, прежде всего к системному. Однако здесь вновь витает то, что можно назвать проблемой завершения политологического синтеза². Ее неразделенность тормозила и продолжает тормозить развитие субстанциональных подходов.

¹ В этом отношении весьма характерна судьба теоретико-игрового подхода, который в 70-80-е годы претендовал на универсальность («математическая модель борьбы»), однако постепенно стало выясняться, что ему присущ целый ряд ограничений, без преодоления которых его эффективность в политическом анализе, в конечном счете, оказалась невелика.

² Имеется в виду продолжающееся еще становление политологии как самостоятельной целостной научной дисциплины. Как следствие, существуют по поводу ее статуса две альтернативные точки зрения. Сторонники одной считают ее совокупностью субдисциплин других наук (социологии, правоведения, психологии и т.п.), объединенных лишь предметом исследования. Сторонники другой рассматривают как самостоятельную целостную научную дисциплину. Одной из последних попыток найти компромисс можно считать концепцию А.А.Дегтярева (см.: Политическая наука в России: интеллектуальный поиск и реальность. М., 2000).

Наличие альтернативных точек зрения объясняется не столько субъективными, сколько объективными причинами — специфическими особенностями политики и прежде всего ее комплексной природой, а следовательно, ее адекватное отображение возможно только на основе междисциплинарного синтеза (политологического синтеза).

Сама по себе смена общенаучных парадигм не сыграла в этом плане решающей роли, да и не могла сыграть, так как в рамках субстанциональных подходов доминирует частнонаучная теория, то есть политология.

Ее недостатки лишь отчасти могут быть компенсированы общенаучными теориями. Не случайно традиционный исторический подход и неразрывно связанный с ним логико-интуитивный метод продолжают сохранять позиции, причем не только в отечественной, но и в зарубежной науке. Стагнация изоморфных подходов даже усилила их влияние.

Подобного рода органическое единство исследовательского метода и подхода в целом не присуще политологии, поскольку остальные исследовательские подходы, хотя и ориентируются на определенный метод, но далеко не столь строго. В принципе изоморфные подходы ориентированы на метод моделирования, однако далеко не всегда эта ориентация реализуется в силу прежде всего нерешенности многих вопросов замещения. Что касается субстанциональных подходов, то тут налицо дуалистичность, о которой уже шла речь.

Совокупность исследовательских методов и подходов образует методологию соответствующей научной дисциплины. Наличие в ее составе многих разнородных и, в частности, изоморфных исследовательских подходов является несомненным симптомом того, что ее становление еще не завершено. Об этом же свидетельствует и отсутствие доминирующего исследовательского метода, что, как уже отмечалось выше, характерно для современного состояния политологии.

Зоной действия методологии является в принципе только стадия осмысления, но иногда под влиянием субъективных предпочтений исследователя она распространяется даже на стадию отбора и, в частности, на фазу фильтрации. В этом случае к категории необходимой относится только та вторичная информация, которая получена в результате применения определенного исследовательского подхода и метода, а вся остальная квалифицируется в лучшем случае как избыточная, а то и как ненаучная¹.

В рамках этапа осмысления можно в первом приближении выделить три фазы: индуктивную, дедуктивную и креативную. В ходе первой формулируется исходная концепция (гипотеза) с помощью понятийного аппарата определенного исследовательского подхода. Выбор же методологии, а следовательно, и исследовательского подхода происходит еще до начала исследования и, как правило, предопределяется профильной специализацией исследователя (исследователей).

На следующей, дедуктивной фазе происходит преобразование исходной концепции в развернутую. При этом проявляется различие между чисто теоретическим (политологическим) и прикладным (политическим) исследованием. В политологическом осуществляется дета-

¹ Наиболее ярким примером этого можно считать крайне негативное отношение последователей школы «модернизма» (сциентизма) к историческому описанию как к таковому. В экстремальном варианте вообще отрицание истории как науки (необъективность).

лизация и уточнение исходной концепции, а в политическом еще и операционализация. Необходимость детализации и уточнения вытекает из самой природы исходной концепции, которая всегда слишком лапидарна и в этом плане представляет собой слишком грубый аналитический инструмент. От того, насколько успешными будут детализация и уточнение непосредственно зависит эффективность операционализации.

В рамках заключительной, креативной фазы имеет место «наложение» развернутой концепции на изучаемую информацию. В результате происходит устранение той неопределенности, которая существовала до начала исследования, что и означает появление нового знания. О его содержании уже шла речь, когда рассматривался вопрос о типологии вторичной информации.

Несмотря на то, что в ходе осмысления исследовательский метод играет неглавную роль, которая принадлежит исследовательскому подходу, его влияние весьма существенно и особенно на двух первых фазах. При использовании логико-интуитивного метода исходная концепция слабо структурирована, а ее рамки четко не заданы¹. С одной стороны, это — несомненный недостаток, но, с другой, очевидное достоинство, так как делает ее эластичной, способной к внесению существенных изменений, хотя, естественно, осложняет процесс детализации и уточнения.

При использовании метода моделирования строгое структурирование исходной концепции является обязательным, ибо только при этом условии она представляет собой концептуальную модель. Это облегчает как детализацию, так и особенно уточнение, но почти исключает возможность изменений. Таким образом, с известной долей условности можно считать, что логико-интуитивный метод адаптируется к информации, а метод моделирования адаптирует ее. Эта их специфика самым непосредственным образом влияет на характер результатов креативной фазы².

¹ Это вполне естественно, так как определенное число логических связей заменяется интуитивными представлениями. Вопрос лишь в том, сколько их и насколько они значимы? От этого зависит строгость или аморфность концепции, а следовательно, и тех гипотез, которые формулируются на ее основе.

² Не вдаваясь здесь в данную проблематику, необходимо лишь отметить, что в принципе метод моделирования дает более точные и, что не менее важно, подвергающиеся обоснованию результаты. Интуиция по самой своей природе несовместима с вопросом: почему?

ГЛАВА 2. ЯВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ

Н.А.Косолапов

С известным допущением правомерна аналогия: международные отношения сыграли в развитии социальных представлений человека в истории примерно такую же роль, как взгляд на небо, размышления о видимой части Вселенной — в становлении и развитии представлений естественнонаучных. Подобно тому, как небо — от «ближнего», обжитого облаками и птицами, до «дальнего», угадывающегося за еле теплящейся звездочкой, — четко обозначало зрительно доступные человеку пределы его физического мира, международные отношения (столь же обманчиво с точки зрения зримости и доступности) являли собой на протяжении всей истории пределы мира социального. Будучи «рубежным полем» между сегодняшним реальным, труднодоступным, хотя и осязаемым пределом и таинственной, неизвестной, но видимой и потому несомненной бесконечностью (своего рода «запредельем»), небо и международные отношения равно будили мысль, воображение, фантазии и прозрения науки (как и религий, и идеологий).

Во многом именно поэтому международные отношения как объект исследования продолжают ускользать от четкого их определения: все самоочевидное идентифицируется (определяется) и квантифицируется (измеряется) всегда с наибольшим трудом. Между тем анализ явления требует прежде всего выделения этого явления из круга других, ему подобных или с ним смежных — то есть априорного его определения.

Явление имеет системный или несистемный характер, при этом сама системность бывает нескольких качественно разных типов. Идеи и представления, отражающие данное явление, также системны (того или иного типа) или несистемны. В процессе познания из отдельных несистемных наблюдений, идей сперва рождается гипотеза — по сути «единица системности» представлений, сама вписанная в некие более широкие концепции, учения своего времени. После чего начинается длительный и трудный (обычно неосознаваемый в этом его качестве) процесс приведения системности представлений во все большее соответствие с системностью объекта исследования. В случае с международными отношениями проблема затрудняется тем, что интуитивно воспринимаемое явление качественно эволюционирует во времени, притом особенно интенсивно со второй половины XX в. Тем самым многократно усложняется задача корреляции системы представлений с изменяющимся объектом анализа.

Системные природа и характер явления международных отношений не вызывают сомнений. Научное отображение явления начинается там и тогда, где и когда в природе, характере, функционировании

и/или протекании явления находятся некоторые константы, инварианты — свойства и качества, неизменно присущие данному явлению при всех его трансформациях, неотъемлемые от него. Что служит такого рода константами и инвариантами применительно к явлению международных отношений и что есть само это явление?

* * *

Русскоязычное понятие «международных отношений» существенно расходится с вроде бы родственным ему «international relations» в английском — языке, на котором почти исключительно создавались пока наука о международных отношениях и теория международных отношений. В русском языке «международные отношения» в изначальном и прямом смысле суть «отношения между народами». Но тогда неизбежен шлейф вопросов принципиального теоретического и методологического значения: где, как, ради чего и почему могли вступать в отношения друг с другом именно целые народы; что это были за народы; как такие отношения строились и осуществлялись практически; какие последствия имели они для самих народов и мирового, локального социально-исторического развития?

По сравнению с русскими «международными отношениями» понятие «international relations» (IR) значительно более богато смыслом и содержательным контекстом. «Relations» тождественно «отношениям». Приставка «inter-» имеет два значения: «among» («в определенной группе, социальной среде») и «between» («между кем-то, кто разделен пространством, чем-то еще, но одновременно и соединен, сцеплен друг с другом этим разобщающим их пространством»). Слово же «nation» является целой концепцией и в этом своем качестве означает не «народ» и не «нацию», но определенный тип государства — мононационального или с доминированием ведущего этноса; государства, сложившегося в Европе параллельно со становлением капитализма, как своего рода предпосылка и первый его результат. IR в строгом смысле этих слов, следовательно, — отношения между государствами вполне определенного социально-исторического и политико-экономического типа, притом отношения, складывающиеся и действующие в среде именно таких (а не иного типа) государств.

Конечно, с течением времени понятие IR в западной литературе расширилось и ныне распространяется на все многообразие текущих международных отношений. Да и в русском языке, говоря «международные отношения», мы не имеем в виду отечественных или иностранных «челноков», вроде бы осуществляющих самым непосредственным образом прямые «отношения между народами». Тем не менее, различие двух категорий имеет далеко идущие политические, идеологические, научные последствия.

Если IR — отношения прежде всего между родственными духовно и социально-политически, экономически государствами, то только такие отношения и могут быть максимально полными и ценными. Тогда необходимо или делить государства на «касты» — цивилизован-

ные, полудивилезованные, нецивилезованные страны, — причем отношения первых с остальными строятся на разных принципах и осуществляются по разным правилам. Между цивилизованными странами все отношения (включая даже войны) основаны на праве. Между цивилизованными и полудивилезованными право действует выборочно, по усмотрению первых. К нецивилезованным право неприменимо вообще. На таких принципах основывалось европейское международное право XIX — первой трети XX вв. Подкрепленная им психология — одна из причин зверств европейцев в колониальных войнах и в России (считавшейся полудивилезованной) при отсутствии таких зверств в войнах внутри самой Западной Европы. Другая, демократическая альтернатива — добиваться того, чтобы весь мир состоял из однотипных и равно цивилизованных государств. Но если такой мир когда-то возникнет, не отомрут ли, не исчезнут ли в нем «international relations»? Некоторые весьма видные западные ученые склонны полагать, что исчезнут, уступив место иным (например, междивилезационным).

Если же «международные отношения» не связаны жестко с данным историческим типом государства, то, по-видимому, они существовали до (возможно, задолго до) появления этого типа и, эволюционируя по собственным законам, сохраняются как явление и тогда, когда данный тип государства уйдет на второй план или даже в прошлое. Но тогда «международные отношения» — не что иное, как конкретный сиюминутный, реально осязаемый срез мирового развития. В таком случае где граница между первым и вторым, в чем общее и различия в содержании каждой из двух категорий? В отечественной литературе встречается и иная крайность, например, что международные отношений охватывают собой разные сферы общественной жизни — от экономических обменов до спортивных состязаний. Правомерен вопрос, допустимо ли относить к международным отношениям транснациональную организованную преступность? Не размывается ли сама категория «международные отношения» от столь расширительного ее понимания? Тем не менее, русскоязычная интерпретация понятия «международные отношения» представляется в научном плане более интересной, емкой и продуктивной.

За этими терминологическими различиями — трудные поиски и споры об объекте и предмете науки о международных отношениях вообще, теории международных отношений в частности. Объект — реальность, существующая независимо от того, изучает ее кто-то или нет. Что составляет реальность международных отношений? Что такое вообще реальность в приложении этого понятия к отношениям — явлению, существующему исключительно в мире субъектов (между объектами никаких отношений быть не может, как и между объектом и субъектом)? Предмет же — та грань объекта, которую изучает данная наука. Какую именно грань какой именно реальности изучает наука о международных отношениях? Очевидно, для ответа необходимо попытаться проследить эволюцию самого объекта.

* * *

Когда возникло явление международных отношений? Или, в иной постановке того же вопроса, при отсутствии каких необходимых и достаточных условий, какого комплекса их организации (поскольку одни и те же условия, но по-разному организованные, обуславливают и различное качество текущих и исторических социальных явлений) говорить о наличии явления международных отношений заведомо нельзя (еще или уже), а при наличии каких — можно, хотя бы предположительно? Правомерно ли, в частности, считать международными отношениями войны Рима с варварами, завоевания Александра Македонского, этнофеодалы распри Европы раннего Средневековья, борьбу русских княжеств, а потом государства Московского против Золотой Орды? Интуитивно да, правомерно. А войны Афин со Спартой, междоусобицы скандинавских, германских, англосаксонских, русских земель и их предводителей? Здесь ответ уже не столь очевиден. Ключ к нему — объективные обще- и/или внеисторические критерии признания конкретных явлений и процессов общественной жизни и развития международными.

Сейчас, когда среднее по численности населения государство насчитывает порядка тридцати миллионов человек, а крупнейшие подходят к миллиарду или уже перевалили за него, международные отношения невозможно представить себе как «отношения между народами» в прямом смысле этого понятия. На древнейших же этапах человеческой истории, когда очень крупным считалось государство с населением в несколько десятков тысяч человек, напротив, целые народы вполне могли непосредственно соприкасаться друг с другом и, по-видимому, по крайней мере в некоторых районах Земли делали это достаточно регулярно. Такие контакты должны были возникать при сезонных и иных миграциях, массовых бегствах от стихийных бедствий, при силовых разделах территорий, обменах, просто случайно.

Первым и естественным результатом таких контактов было для каждого народа узнавание других. Соприкасаясь с другими племенами и их отдельными представителями, человек узнавал, что существуют иные языки, боги, ремесла и умения, иные способы существования и образы жизни. Это само по себе оказывалось для него величайшим открытием, духовным и психологическим потрясением. Когда общение с представителями других племен и народов становится постоянным и шок от первого открытия проходит, наступает следующая стадия духовного и психологического развития: узнавание себя. Подобно тому, как отдельно взятый человек узнает цену себе через мнение о себе других людей, так и каждый народ вырабатывает самосознание и самооценку посредством сопоставления своих веры, образа правления и жизни, достижений и неудач с тем, что есть у других народов. Следом наступает стадия осознанных сравнения и самоотождествления (индивидуального и коллективного, этнического). Конкретные элиты и группы начинают задаваться вопросом и как-то отвечать на него: почему они склонны сближаться с одними

народами, отстраняться от других, активно не принимать третьих. Причин выбора много: это и характер, образ жизни «других», род их занятий; их политическое, государственное, иное организационное устройство; боги, которым они поклоняются; близость либо различие языков, и многое другое. Немедленные и отложенные последствия выбора не менее многозначны: принятие новой веры; изменения в общественном устройстве, укладе жизни; войны на поражение и уничтожение «неверных», неугодных, неприятных. И как следствие — исчезновение одних племен и народов, возвышение других, эволюция культур и цивилизаций. Эти процессы повторялись в истории огромное число раз: при в целом возраставшей численности населения, на все более сложных уровнях социально-политической организации народов, их развития, их духовных представлений, при умножении и усложнении критериев индивидуального, группового, этнического самоотождествления.

Центральный с точки зрения рассматриваемой темы социально-исторический итог этих процессов — первый качественный рубеж становления международных отношений как явления: первоначальное разделение всех и всяческих социальных взаимодействий, связей, отношений на внутренние и внешние. Первые не осознавались людьми как таковые, пока постоянные и тесные контакты (любого рода) с внешним миром не заставляли почувствовать и понять разницу между «своим», внутренним, и «чужим», внешним. Наличие этих особых, пра-международных отношений выступает на ранних этапах истории общества одним из важнейших условий становления этнического, а затем и более сложных видов самосознания социума. Отношения между подобными, еще только начинающими осознавать себя социумами, однако, суть именно пра-международные в том смысле, что духовные, физические, прочие границы между внутренним и внешним еще только (а) формируются, (б) постигаются, (в) начинают обозначаться. На этом этапе складывается международная жизнь — комплекс постоянно возобновляемых, все более частых и насыщенных, разнообразных по формам, каналам, целям, функциям связей между этносами/социумами, ранее незнакомыми и еще долго остающимися взаимно «чужими».

Часть отношений внутри этого комплекса носит политический характер, хотя осуществляться может (особенно на наиболее ранних этапах истории) различными субъектами: главами родов, вождями племен, шаманами, колдунами, жрецами; в более поздние времена — священнослужителями. Эта часть образует международную политику, из которой со временем выделяется новая, специфическая ее сфера — политика мировая.

* * *

Второй качественный рубеж становления явления международные отношения связан с возникновением института государства. На этом этапе в конгломерат отношений внутренних и внешних, но равно неформальных, вносится принципиально новый момент: разделение тех

и других на формальные и неформальные при властном утверждении доминирования первых. Как внутри данного социума, так и вовне государство стремится к неограниченной власти. Однако если внутри социума такая цель в принципе достижима, то вовне главным фактором ее недостижимости становится историческая ограниченность доступных государству материальных ресурсов и средств управления. Государство суверенно лишь в тех пределах, в каких оно фактически дееспособно. Поэтому различие между внутренним и внешним обретает принципиально новый смысл: внутреннее — все то, что безусловно подчинено данной власти (напомню: государство здесь еще выступает в древнейших его формах); внешнее — все то, что ей условно неподвластно. С этого рубежа правомерно вести речь уже о появлении собственно международных отношений.

Одновременно складывается и мировая политика: особая сфера силовой по преимуществу борьбы за установление и/или изменение фактических норм, процедур и правил, по которым осуществляются на практике международные отношения каждой конкретной эпохи. Участниками мировой политики выступают лишь крайне узкие слои высшей элиты соответствующих стран и народов, реально располагающие властью в своих странах. Народы результатами своего труда и ратных дел определяют макротенденции и параметры национального и мирового развития, международных отношений. Слой крайне малочисленных верхушек властвующих элит определяет зигзаги мировой политики, «включая» своими действиями одни макротенденции и тормозя, сдерживая, перекрывая другие. «Мировая» эта политика не по географическому и/или социальному ее охвату, но лишь в том смысле, что она служит механизмом поддержания международных отношений своего времени, участия в них конкретных субъектов, использования ими процессов, явлений, фактических промежуточных результатов международных отношений.

Таким образом, следующие условия можно полагать необходимыми и достаточными для признания конкретных общественных отношений в принципе международными (при рассмотрении таких отношений строго в рамках теории международных отношений, без привязки их к конкретным исторической эпохе, периоду, обстоятельствам; без дополнения их политическими, идеологическими, оценочными, иными критериями и т.д.):

первое: наличие, как минимум, двух организационно оформленных, устойчивых в их образах жизни социумов, пра-международные связи которых уже подвели их к объективному формированию и субъективному различению внутреннего и внешнего;

второе: наличие внутри каждого из таких социумов явного и в целом бесспорного, любым образом институционализированного центра власти (духовного или светского; наследного или избираемого; абсолютного или такого, за обладание которым ведется борьба);

третье: наличие между социумами названных типов постоянных взаимодействий любого рода, постепенно перерастающих в устойчивые

связи и отношения, будь то позитивные (обмены, взаимопомощь) или негативные (конфликты, войны, завоевания);

четвертое: поддержание и эволюция таких отношений только и исключительно в сферах (территориальных, идеологических, иных), в которых ни один из участников этих отношений не обладает полной и безусловной фактической властью и/или дееспособностью;

пятое: формирующее воздействие этих связей и отношений на внутренние духовные и материально-практические состояние и развитие соответствующих социумов (тоже позитивное или негативное по его содержанию и социально-историческим последствиям).

* * *

Последующие внутренняя эволюция стран и народов, динамика международных жизни и отношений, мировое развитие в целом шли под определяющим влиянием явления государственности, укрепления и развития института государства. Конкретные государства возникали, рушились; разрастались в колоссальные империи, рассыпавшиеся затем на десятки новых государств. Политические, административные границы государства бывали четкими или расплывчатыми; могли как совпадать, так и глубоко расходиться с этническими, языковыми, религиозными, культурными размежеваниями. Международная жизнь заметно усложнилась, в ней постепенно выделялась особая сфера — межгосударственные отношения, со временем оттеснившие на задний план, подчинившие себе прочие стороны международной жизни.

Одновременно сложились, получили мощное развитие, стали все более значимо влиять на мировое развитие специфические, ранее не существовавшие комплексы социальных взаимодействий: «государство и культура», «государство и цивилизация», «государство и религия (идеология)». Государство могло вобрать в себя несколько культур. Но случалось и наоборот, когда одна и та же цивилизация, культура оказывались представлены несколькими государствами, число которых в определенные периоды могло измеряться десятками.

Особенно сложные отношения возникли между государствами и мировыми религиями (идеологиями) после политического становления последних. Проблема отношений между институтами государства и идеологии (частным случаем которой является религия) — вообще одна из важнейших и интереснейших в истории, особенно в истории международных отношений. Здесь лишь назовем, в порядке гипотезы, следующее. По-видимому, по мере увеличения численности населения и усложнения социальной жизни на определенных рубежах эволюции, когда исчерпываются ранее возникшие общественные формы, именно идеологии (а до того — религии) периодически принадлежит лидирующая роль в выдвигании «моделей будущего». Попытки осуществить такие модели неизменно заканчиваются в прямом, механическом смысле неудачей; политически — отстранением соответствующей религии, идеологии от светской власти. Однако все рациональное, что рождается в ходе этого процесса жизнью, секуляризу-

ется и остается не только в истории, но и в светской практике. При этом все связанные с перечисленным процессы на протяжении длительного времени оказывают определяющее воздействие на международную жизнь и международные отношения своей эпохи (что особенно отчетливо видно на опыте политического становления Европы в многовековой борьбе за лишение Ватикана его светской власти; а также региональной подсистемы международных отношений постсоветского пространства в процессе начавшейся с середины 60-х гг. борьбы за отстранение компартий от светской власти в СССР и странах социализма). Однако при этом отстранение религии от светской власти в историческом масштабе времени чаще всего не лишало ее духовного, политического и общественного влияния, хотя меняло механизмы этого влияния, его формы, каналы и последствия. В международной жизни такие подвижки нередко объективно подготавливали формирование новых крупных цивилизационных комплексов.

Несмотря на войны, эпидемии, голод, прочие бедствия, в целом растет население как отдельных стран, так и регионов, континентов и всей планеты. Одни только межличностные отношения уже давно не могут обеспечить все многообразие потребностей общества в связях и управлении. Рождаются отношения формальные, множатся основанные на них и их осуществляющие структуры. Борьба между государством и церковью как носителем идеологии, с одной стороны, и внутри самого государства — между все более многочисленными элитами за более предсказуемое и надежное распределение власти — с другой, приводят к ограничению режимов личной власти и возникновению различных систем конфедерации, федерации, разделения власти. Это, в свою очередь, мощно стимулирует развитие социальных институтов.

С открытием в конце XVIII в. эпохи буржуазно-демократических революций обозначается третий качественный рубеж становления международных отношений как явления: связанный с появлением нового типа субъектов международных отношений — современных государства и общества, отличительная особенность которых заключается в доминировании во всех сферах их внутренней жизни, в том числе в процессе формирования и осуществления внешней политики такого государства, больших социальных групп (не только этнических, но и профессиональных, социально-политических, экономических, иных) и сложных организационных структур (начиная с монополий в экономике и кончая самим государством).

* * *

Таким образом, с древности и до конца XIX века в практике международных отношений выделяются и для этой практики оказываются исключительно значимы несколько достаточно устойчивых черт общественно-исторического развития всех стран и народов:

— борьба светских и духовных властей за административный контроль над обществом, в историческом масштабе времени привед-

шая в конце концов к повсеместному возвышению светской власти в лице ее специфического института — государства;

— абсолютное доминирование в государственном устройстве различных вариантов режима личной власти, а в повседневной жизни — отношений межличностных (включая малые группы), что делало внешнюю политику такого государства решающим образом зависевшей от крайне узкого круга лиц, их личных интересов, взглядов, часто также и патологий (от психофизиологических до социальных);

— особая роль государства как института, существованием и деятельностью своими зримо и по существу проводящего четкую грань между «внутренним» и «внешним»; а также как основного, если не единственного в этот период субъекта международных отношений, однако с названными выше особенностями;

— практически полное отождествление в политической и научной мысли, в сознании мыслящей части общества международных отношений с межгосударственными, а последних по преимуществу с военными кампаниями и дипломатией (суверен, а следовательно, и государство не снисходили обычно до прямого участия в «чисто» экономических отношениях, предпочитая перекладывать связанный с ними риск на частных лиц);

— доминирование в таком образом складывающейся практике международной жизни и межгосударственных отношений насильственных форм осуществления этих отношений (войны, конфликты, завоевания, порабощения и т.п.) при крайне незначительном удельном весе в них взаимодействий обмена, кооперации, сотрудничества;

— практическая и политическая эффективность насильственных форм международных отношений: они и только они позволяют государственным образованиям удерживать собственные территории и население, приумножать свои владения захватами, эксплуатировать присоединенные или временно контролируемые территории, служат источником авторитета, славы, мифологизации династий, режимов, конкретных деятелей, обеспечивая им тем самым поддержку элит и населения в собственной стране;

— значение внешних связей во внутренней жизни и развитии конкретных государства и общества проявляется также главным образом через сферу насилия: экономически позитивно при удачном завершении военных кампаний (что, однако, не ведет автоматически к позитивным социальным и духовным последствиям) или негативно, когда данная страна становится жертвой военных неудач, поражений. За этими пределами, в обычной повседневности роль внешних связей во внутренней жизни абсолютного большинства стран и народов мала, почти ничтожна, достигая высокой значимости только для государств — имперских метрополий. Однако внешние связи как явление в целом на протяжении истории неуклонно возрастали по общему объему, по участию в них различных стран и народов, по значимости для их непосредственных участников и для мирового развития.

В непрерывной изменчивости международной жизни и факторов, под определяющим влиянием которых складываются и эволюционируют международные отношения, можно выделить три уровня констант. Один — структурный, образуемый исторически накапливающимися слоями качественных перемен в самой международной жизни. Другой — жизнь структуры, «технология» ее собственного функционирования вне связи с социальным, политическим, иным содержанием последнего. И третий — связи и отношения явления со средой, в которой данное явление (международная жизнь) возникло и существует.

Первый уровень образуют четыре класса явлений, исторически вырастающих из международной жизни, определяющих структуру ее и на нее влияющих: международная политика, международные отношения, всемирная история и мировое развитие. Между этими явлениями есть как общее, плоскости соприкосновения, так и глубокие различия.

Международная политика есть часть международной жизни, по содержанию ее ограниченная исключительно политическими явлениями, процессами и проблемами. Она в принципе включает: (а) собственно международные политические отношения определенного исторического периода, осуществляемые соответствующими времени субъектами; (б) все случаи международной политизации проблем, отношений, бывших ранее политическими, но не международными; или международными, но не политическими; (в) все виды международной деятельности, уже утрачивающей, но еще не потерявшей окончательно свой политический характер. Пункты (б) и (в) существенны, поскольку в международной жизни процессы политизации и/или деполитизации отдельных проблем, вопросов могут продолжаться десятилетиями и даже веками. Видимо, международная политика как явление может и будет сохраняться, пока будут существовать «чужие» друг другу социумы, в контактах между которыми будет присутствовать потребность в решении каких-то политических проблем, вопросов, отношений.

Международные отношения (МО) как явление возникают из триединого процесса взаимодействия международной жизни, политики и ведущих для своего времени субъектов последней. На определенном этапе истории из международных выделяются межгосударственные отношения (МГО). Но, подобно тому, как появление мировой политики не отменяет, а обогащает политику международную, возвышение МГО не перечеркивает собой все международные отношения: со временем можно ожидать усиления роли и значения иных их субъектов и компонентов. Как МО, так и МГО по содержанию не ограничиваются только политикой: она, безусловно, важнейшая, но всего лишь одна из сфер МО/МГО. Другие включают международные экономические, военные, иные отношения.

Всемирная история в максимально широком и общем смысле есть вся совокупность жизненного пути, который прошли до настоящего времени населяющие Землю народы: по отдельности и все вместе; в их внутренней жизни, развитии и в отношениях друг с другом; в из-

вестных и неизвестных нам страницах этой истории. В более узком и специальном смысле всемирная история есть та часть общей, родовой истории человечества, начиная с которой мир складывается и функционирует все более как единая целостная система, а не просто как сумма отдельных его частей. Иными словами, это тот, неизбежно относительно более краткий (хотя в абсолютном измерении достаточно продолжительный), период общей истории, на протяжении которого бывшие «медвежьи углы» планеты не просто утрачивают свою былую изолированность, но начинают взаимодействовать регулярно, в постоянно растущих объемах, так что, даже не желая этого, влияют на состояние и развитие друг друга неизбежно и значимо. В любом случае всемирная история производна от международной жизни и ее компонентов; иначе это была бы история отдельных народов и стран.

Мировое развитие — возможный, но не обязательный аспект и продукт истории. В широком его понимании мировое развитие — одновременно те направленность, ход и результат общей и всемирной истории, которые предполагают не просто некоторую совокупность явлений и процессов, не только определенную последовательность, систему этих явлений и процессов во времени, но прежде всего изменение их совокупного качества, равно как внутреннего качества субъектов исторического процесса. Поразительная устойчивость ряда культур во времени означает, что история как последовательность событий и состояний у таких культур есть, истории же как развития нет или ее ход предельно замедлен. Такое положение возможно не только в примитивных, но и достаточно высоких общественных формах: социум по меркам времени может быть развитым, даже высоко-развитым, но не развивающимся. Связь между развитием отдельных стран, государств, регионов и мировым развитием сложна, неоднозначна. Высказываются гипотезы (на наш взгляд, в принципе обоснованные), что все виды развития имеют циклический характер, сочетают циклы различных типов, амплитуд и частот.

* * *

Второй, функционально-технологический уровень констант образуют время, пространство, процесс. Характеристики эти тесно взаимосвязаны и существуют лишь в триединстве.

Явление времени имеет в международной жизни особое значение. Его нельзя путать с фактором времени, также важным, но по природе его субъективным, относящимся к деятельности, намерениям и целям человека, тогда как явление времени по природе объективно. В мировой политике и международных отношениях непосредственно сходятся, накладываясь и влияя друг на друга, явления и процессы самой разной временной природы, протяженности. Здесь и действия личности (главы государства, правительства, партии, движения), преследующей подчас какие-то сугубо преходящие цели (добиться переизбрания, ослабить личного соперника). Здесь и события исторически частные, но имеющие социальное происхождение, значение

(крупные удачи или провалы отдельных партий, движений, начинаний). Здесь процессы, эволюция которых занимает десятилетия и которые сами становятся видимы только по прошествии некоторого, обычно существенного времени (например, вызываемые внутренними причинами эволюционные тенденции роста/ослабления экономического потенциала, социальной и политической жизнеспособности, военных и прочих возможностей отдельных государств, регионов, общественных систем). Еще более долговременны процессы становления/упадка культур, цивилизаций, смены социально-экономических формаций. Их полное развитие занимает века и даже тысячелетия; тем не менее, в любой данный момент такие процессы как-то влияют или способны влиять на течение международной жизни, мировую политику и международные отношения, мировое развитие.

События, процессы, явления международной жизни, сколь бы быстротечны или длительны они ни были, непременно проходят череду своего развития: вызревают из неких предпосылок, обретают зримые формы, достигают кульминации, идут на спад и завершаются и/или переходят в какое-то иное качество. При этом все они не просто имеют начало и конец, в принципе измеримые по часам или календарю (то есть хронологическому времени). Все такие события проходят через некоторую последовательность состояний, определенную самой природой соответствующих явления или процесса: время объективное, какое лишь измеряют созданные человеком системы времяисчисления.

Время-явление (объективное время) суть предельный потенциал возможных состояний системы (живой и неживой), заложенный в ее внутренней природе, исчерпание которого приводит к прекращению функционирования, а тем самым и существования системы. Энтропия системы при ее «жизни» означает не что иное, как расходование заложенного в ней (отведенного ей) времени. Чем определяется этот предельный потенциал и насколько он велик, не столь существенно: даже колоссальный, он все равно конечен. Любая система по природе несет в себе неизбежность собственного завершения. И с этой точки зрения объективное время есть нечто, не имеющее предела вовне и заключающее предел лишь в себе самом, точнее, в природе данной системы. Бесконечность времени — иллюзия, порождаемая тем, что в природе и в общественной жизни одни системы постоянно приходят на смену другим. На самом же деле для исчерпавшей себя системы время прекращается и никогда не возвращается вновь.

В международных отношениях и мировой политике, где явления и процессы имеют самую разную природу и, как следствие этого, на несколько порядков различающиеся потенциалы протяженности во времени, необходимо учитывать модуль продолжительности процесса, определяемый как средняя величина протяженности «типичного» процесса данного класса от одной стадии этого процесса до другой либо от начала до конца процесса в целом (в зависимости от того, о процессе какой потенциальной протяженности идет речь). За абсолютный модуль продолжительности принимается период в 30 лет: в демогра-

фии продолжительность активной жизни человека, средняя граница смены поколений. Все, что лежит в пределах этого срока, в принципе поддается предвидению, прогнозированию, влиянию со стороны конкретного человека: ожидаемые результаты наступят (если наступят) в период его активной жизни; человек может как-то ускорить или отсрочить их приход. Все, что превышает абсолютный модуль продолжительности, неподвластно усилиям конкретного человека, принадлежит сфере действия закономерностей социального развития, выступает итогом и средой последнего.

Явление в целом, любые конкретные его формы и частные случаи всегда жестко привязаны к месту, пространству через район, где совершаются действия, происходят события; и через расположение их участников в абсолютной сети координат и относительно друг друга. Пространственные координаты накладывают сильные и значимые ограничения на все стороны человеческой деятельности, особенно в международной жизни, мировой политике и международных отношениях, влияя на военные, экономические, межкультурные и многие иные связи и отношения. Пространство в социальных, включая международные, отношениях характеризуется сочетанием трех его аспектов: физических пределов (территории), социальных масштабов и когнитивных масштабов.

Специфика пространства в том, что у него всегда есть (или в принципе ему могут быть заданы) внешние пределы, сколь бы велики они ни были в абсолютном выражении. Всегда существует или может быть представлена некая граница, которая положит предел данному пространству (но не пространству как явлению), рассечет, искривит его, видоизменит. Если же такая граница почему-либо не возникает, пространство может простираться теоретически бесконечно. Таково понимание явления пространства в физике, математике, философии. В этом смысле пространство есть нечто, не имеющее предела в себе. Ограничить пространство можно только извне него. В политическом плане это означает, что процесс (внутренний, международный; духовный, социальный, экономический, иной), однажды возникнув, непременно будет развиваться в пространстве и во времени, пока не натолкнется на внешние по отношению к нему ограничения или не исчерпает питающие его источники (либо то и другое одновременно).

Политическим пространством называется обычно та сфера жизнедеятельности, которая оказывается фактически включенной, втянутой в реальные политические процессы. Слова «фактически» и «реальные» указывают на то, что при определении политического пространства должны учитываться не только признанные границы государств и союзов, официально утверждаемые пределы данного пространства, но прежде всего все то, что практически охвачено соответствующим процессом. Сравнение фактического политического пространства и его физических пределов с официально признаваемыми может многое сказать о характере данного политического процесса, его протекании, вероятных перспективах, а также об его участниках.

Социальные масштабы политического пространства определяются тем, какие силы активно участвуют в происходящих на данной территории политических процессах или же втянуты в них. Чем больше участников, чем разнообразнее и противоречивее их состав, политическая и практическая значимость каждого из субъектов, его способности и возможности, тем (скорее всего) более сложным и продолжительным окажется данный процесс, тем серьезнее могут быть его последствия. При одинаковых территориальных характеристиках конкретного международного взаимодействия его социальные масштабы могут существенно различаться. Например, сторона, проигрывающая в международном конфликте, нередко идет на втягивание в него ранее не участвовавших сил, рассчитывая повлиять подобным образом на течение и/или исход конфликта в желательном для себя направлении.

Когнитивные масштабы политического пространства определяются идеями и представлениями, находящимися в политическом обороте на этом пространстве. Происхождение и содержание таких воззрений могут варьироваться и взаимосочетаться в широких пределах: табу и мифы, религиозные взгляды и учения, нравственно-этические оценки, социальные доктрины, научные концепции, а также повседневные представления, включая суеверия, предрассудки, псевдотеории, психологические комплексы и их духовные продукты и последствия. В политику по множеству причин выносятся при этом лишь малая, очень специфическая часть имеющегося в обществе в любой данный момент, период набора идей. Благодаря этому все когнитивные компоненты политического пространства международной жизни в принципе могут быть идентифицированы и описаны.

Международная жизнь складывается из некоей последовательности событий. Цепь связей внутри этой последовательности может быть и очень сложной, и предельно простой. Но в любом случае событийный ряд имеет свои причинно-следственные связи, внутреннюю логику и организацию. Конечно, ряд этот не застрахован от случайностей, но в целом последовательность событий, будь то в международной жизни, международных отношениях вообще или в какой-то отдельной их части, никогда не бывает произвольным их набором. Наоборот, между отдельными эпизодами и событиями всегда обнаруживается некоторая взаимосвязь, по-своему закономерная смена состояний «от чего-то к чему-то», позволяющая рассматривать такую последовательность как некоторую целостность.

Такое не произвольное, обнаруживающее внутреннюю логику и закономерности движение некоей сложной совокупности и/или системы явлений от одного их состояния к другому, в ходе которого происходит смена состояний одного и того же объекта и/или системы взаимосвязей, в которую он включен, принято называть процессом. Процесс есть объективное выражение, материализация хода времени. Выявление внутренней логики конкретного процесса международной жизни позволяет в известных пределах прогнозировать его возможную или вероятную эволюцию.

На политическом пространстве, определенном через единство территории, социальных и когнитивных масштабов конкретных политических явлений и тенденций, обычно развиваются, налагаясь и поразному влияя друг на друга, процессы четырех типов:

(1) линейные, равномерно-поступательные (когда на протяжении лет и десятилетий процесс стабильно идет в сторону повышения, сохранения или снижения каких-то основных его параметров);

(2) процессы волнового или циклического характера (особенно выражены они в области национально-страновой и мировой экономики, с разными частотой и амплитудой колебаний, с волнами «правильных» и «неправильных» форм);

(3) процессы стадийной природы (таковы, например, войны и конфликты; жизнь цивилизации, как и жизнь человека с ее отчетливо выраженными качественными этапами);

(4) взрывные процессы, выражающиеся в убыстрении на много порядков протекания данного процесса, от начала и до завершения его, по сравнению с процессами «нормальными», «обычными» (таковы, например, социальные катастрофы и революции).

В международных отношениях крайне существенно различать типы множества одновременно развивающихся, переплетающихся процессов. Линейные регулируются обычно соглашениями, договорами, правовыми нормами, устанавливающими определенные правила соответствующих действий (ведения торговли, обменов и т.п.). Циклические процессы требуют способности своевременно распознавать смену фаз цикла и переходить от одних способов и средств регулирования к другим. Процессы стадийные предъявляют особые требования к реализму политиков, их способности понимать, что возможно, а что в принципе исключено на каждой конкретной стадии процесса. Взрывные же процессы, обычно не поддающиеся никакому регулированию (потому они и взрывные), устраивают экзамен общей готовности политиков и систем, их способности мобилизовываться, дисциплинировать себя, сводить к минимуму неизбежные издержки, эффективно вписываться в новые условия жизни и деятельности.

* * *

Третий уровень констант — связи и отношения явления с его средой — изначально сложился еще на стадии становления международной жизни. Чем сложнее явление и его структура, тем более многообразными и сложными становятся все виды связей и взаимодействий его с внешней для этого явления средой.

Среда международной жизни в принципе включает три категории: природно-физический комплекс, внутренний мир субъектов мировой политики и международных отношений с присущими ему социальными отношениями, и создаваемая человеком сфера его обитания — города, предприятия, инфраструктуры и т.п.

Исторически определяющая роль принадлежала, безусловно, природно-физическому комплексу. Он оснащал человека всем нужным

для жизни и обменов, устанавливал естественные границы владений и ареалов обитания, открывал или блокировал пути торговых, военных, межкультурных связей. Спустя тысячелетия геополитика попытается теоретически осмыслить этот опыт. Внутренний мир субъектов мировой политики и международных отношений веками оставался несложным, особенно учитывая почти личностный характер их государственного устройства и политики. Создаваемая человеком среда обитания им же разрушалась в непрерывных войнах, а затем воссоздавалась вновь почти в прежних ее формах. Казалось, третьему уровню констант международной жизни суждено оставаться малозаметным и малоосознаваемым. Однако XX в. внес к своему завершению поистине революционные перемены в содержание и значение каждой из констант этого уровня — и, как следствие, в международную жизнь, политику, отношения.

Тысячелетия исторической эволюции всех и всяческих обменов и отношений между племенами, народами, странами, культурами привели к возникновению явления международной жизни, сформировали его структуру, базовые компоненты, функционально-технологические внутренние связи, взаимозависимости с внешней для явления средой (природно-физическим комплексом; внутренним миром субъектов международной жизни; создаваемой самим человеком сферой его непосредственного обитания). Возникновение каждого последующего качественного уровня международной жизни вело к ее усложнению, не отменяя уровней исторически более ранних. В итоге сложились три специфических временных и содержательных слоя, каждый из которых представлен в современной международной жизни и влияет на нее.

В реальном масштабе времени, в пределах абсолютного модуля продолжительности, и в конкретных трансграничных взаимодействиях выделяются международная жизнь (все и всяческие взаимодействия за пределами национальных границ вообще), международная политика (вся политическая часть таких взаимодействий) и мировая политика (та часть политической части трансграничных взаимодействий, что имеет в данную эпоху, период мировое значение).

В социальном масштабе времени (до трех абсолютных модулей продолжительности) на основе международной жизни и названных видов трансграничных взаимодействий складываются относительно устойчивые международные отношения, включающие отношения межгосударственные (между особыми суверенными субъектами) и их политическую часть, отливающуюся в определенный, данному периоду присущий международный порядок.

Наконец, в историческом масштабе времени, за пределами жизни трех последовательных поколений людей (более трех абсолютных модулей продолжительности) из конкретных взаимодействий и более длительных, имеющих собственную логику процессов и отношений складываются всемирная история (вся совокупность событий, явлений и процессов в мире) и мировое развитие (та часть этой совокупности, которая ведет к качественным переменам и выражается в них и по-

тому не распределена поровну во всем мире, но концентрируется, особенно изначально, в некоторых центрах развития).

На протяжении тех же тысячелетий в среде международной жизни минимальной изменчивостью отличался природно-физический комплекс; фактически происходившие в нем перемены вызывались, как правило, природными же причинами, и лишь в отдельных случаях деятельностью человека (вырубка лесов). Центральным и важнейшим звеном эволюции среды международной жизни десятки веков оставались субъекты международной жизни и их внутренний мир. От распада родовых, межплеменных отношений до гражданского общества и политической демократии; от охоты и примитивного земледелия до промышленной революции; от стадного инстинкта до высот науки, культуры, самопознания — вот масштабы этой эволюции, длина ее пути, величие результатов.

XX век, особенно вторая его половина внесли революционные качественные изменения во все аспекты жизнедеятельности человека, ее масштабы, организацию и, как следствие, в международную жизнь. Не менее впечатляющей эволюции подверглись вначале создаваемая человеком среда его обитания, а затем и природно-физический комплекс. Обратное воздействие итогов этой эволюции на международную жизнь и ее основные компоненты еще только начинает проявляться.

* * *

Начало XX в. отмечено становлением четвертого качественного рубежа исторической эволюции явления международной жизни: резким расширением доступных человеку возможностей, масштабов и пределов деятельности (в созидании и в разрушениях). Интернационализация основных направлений, видов жизнедеятельности человека и общества стала с конца XIX в. и формой проявления накопленных изменений, и механизмом их осуществления, и их мощнейшим ускорителем.

Предпосылки этого этапа сложились во многом в сфере и через сферу международной жизни. Колонизация, промышленная революция и перешедшая через некий критический порог концентрация капиталов сделали возможным и потребовали широкомасштабного и возрастающего выхода за пределы страновых рынков, то есть хозяйственного освоения планеты и политического оформления такого освоения. Естественно, названные процессы не распределялись равномерно по миру, но концентрировались в объективно наиболее подготовленных для этого центрах (ведущих державах). Столь же закономерно, что оформление этих тенденций изначально пошло по традиционной для международных жизни и отношений прошлого военной колее.

Интернационализация как явление возникла задолго до XX в., который лишь поднял этот процесс на особый качественный уровень. Следует четко различать интернационализацию как историческую тенденцию и как явление современной международной жизни.

Интернационализация как историческая тенденция послужила материальной первоосновой процессов территориальной, социальной,

хозяйственной, политической интеграции. Роды сливались в племена, затем в народности, народы и нации. Поселения складывались в деревни, городища, города. Территории объединялись (как правило, силой) в княжества, царства, каганаты, империи; слабейшие из них распадались, уступая место лучше организованным и более сильным. Мир стягивался воедино одновременно по трем направлениям: росли, усложнялись и укреплялись внутренне субъекты международных отношений — государства; одновременно нарастали, развиваясь количественно и качественно, все виды прямых непосредственных связей и отношений между этими субъектами; и как следствие всего этого, международные жизнь, политика, отношения тоже развивались, связывая мир в единое целое по своим закономерностям и собственными средствами. Со времени, когда весь земной шар оказался таким образом заселен и поделен, берет начало всемирная история.

Современная интернационализация выражается не только во все большем увеличении объемов и разнообразия международных связей и обменов, распространении их на все новые сферы деятельности (хотя это происходит и важно). Главный качественный признак современной интернационализации в том, что она порождает самостоятельные, устойчивые, существующие и действующие во многом уже автономно от государства формы международных взаимодействий (союзы, соглашения и организации), проявляется в них, формирует целые направления и области деятельности, осуществление которых возможно только при международном сотрудничестве и не иначе. Она приводит к ситуации, когда благополучие и процветание даже экономически ведущих стран начинают решающим образом зависеть от внешних рынков и связей (такая зависимость возникает, когда страна экспортирует более 20% производимого и импортирует более 20% потребляемого ею; десятки стран имеют ныне эти показатели на уровне 35-60%). Иными словами, интернационализация превращает международную сферу в главный источник стимулов и средств развития любых страны, государства.

В свою очередь, в современной интернационализации также надо различать эту интернационализацию как одно из явлений XX в. и практические ее случаи, процессы в различных сферах отношений и деятельности; а в интернационализации практической политические и все прочие аспекты. Ценность проведения подобных различий в том, что они позволяют своевременно выявлять периодически вспыхивающие (и имеющие огромное политическое значение) противоречия между общей направленностью исторической тенденции на исторической же шкале времени, с одной стороны, и реальной динамикой конкретных процессов современного мира, отдельных его регионов, с другой.

Конкретно-практическая интернационализация происходит всегда неравномерно и способна в отдельные, измеряемые годами и двумя-тремя десятилетиями периоды создавать у исследователя, политика или общественного мнения ощущение торможения, стагнации, движения вспять. Подобное впечатление, в свою очередь, может продик-

товать политические решения и поведение, которые уже всерьез затрудняют ход интернационализации, ее развитие в каких-то направлениях или сферах. Меняются средства интернационализации, ее движущие силы: если ныне она идет под влиянием преимущественно экономических и научно-технических причин, то в прошлом чаще двигалась факторами военными, военно-экономическими. Меняются и сферы, где процессы интернационализации проявляют себя наиболее сильно и значимо: с развитием производительных сил, экономических связей, технологий, науки и техники одни из таких сфер теряют значение, прекращают существование, их место занимают новые.

На исторической шкале отсчета времени, однако, колебания и неоднозначность процесса интернационализации, чередование «полос» ее относительно бурных проявлений, интенсивного наращивания ее масштабов и значения с периодами затиший и, внешне, отступлений предстают как в целом естественное протекание циклического по природе процесса. Каждое временное замедление или отступление в динамике и содержании конкретных процессов интернационализации позднее оказывалось периодом закрепления в пределах некоторых территорий, сфер деятельности неких достигнутых ранее тенденций, отношений, итогов. Иными словами, то, что внешне предстает как торможение реальных процессов интернационализации или даже их отбрасывание вспять, на деле является не механическими откатами в целом (хотя нередко может сопровождаться откатами по отдельным параметрам), но периодами закрепления ранее достигнутых сдвигов; и, как правило (но не всегда), обеспечивает внутреннюю консолидацию явления перед началом какого-то нового этапа его развития.

Причины приливно-отливного движения интернационализации — в природе процессов, которые «седлает» она в каждый данный период; и том, что собственные амплитуды и частоты циклов этих процессов различны. Максимальных величин они способны достигать в политике, что связано с особенностями функционирования таких мегамасштабных структур социальной мотивации, как общество и/или крупнейшие его подсистемы. Опыт показывает, что, как правило, объективное (через сложившиеся внутренние, внешние, международные условия) и/или субъективное (намеренными акциями) политическое противодействие интернационализации, чем бы оно ни диктовалось (соображениями безопасности, конкуренции, противостояний, т.п.), рано или поздно сменяется спазматическими приливами интернационализации, которые вызываются как политическими прорывами, так и/или назревшими и императивными экономическими, технологическими, иными причинами.

* * *

В XX в. тенденции интернационализации впервые заявили о себе явлением мировых войн, вскрыв в последующие десятилетия одно из центральных противоречий мира XX столетия: неадекватность военных средств и решений радикально изменявшимся условиям,

характеру надвигавшихся задач. Нараставшая сложность, а позднее целостность и взаимозависимость мира делали цену социальных и международных импровизаций все более высокой, доведя ее к последней четверти века до неприемлемой. Тем самым новая среда международной жизни, еще только формировавшаяся, уже начинала объективно диктовать требования предсказуемости внутренних и международных процессов, максимизации гарантий получения желаемых результатов.

Война — процесс, веками эффективный, в целом оправдывавший себя как политический аргумент, инструмент власти и обогащения. В XX в. ни одна из войн не закончилась так, как желали агрессор или инициатор войны перед ее началом; большинство увенчались итогами, прямо противоположными тем, что ожидалось инициаторами войны.

Так, I-я мировая война привела к краху австро-венгерской, российской, германской монархий; итогами II-й мировой войны стали крах колониализма, утрата великими державами Западной Европы их прежних места и роли в мировой политике. Войны Франции и США в Индокитае, Португалии в ее колониях, СССР в Афганистане не принесли военной победы сторонам, имевшим многократное силовое превосходство, но вызвали болезненные и значительные перемены во внутренней жизни этих государств. Подобных итогов не предвидели, не хотели и не могли хотеть политические силы и государственные деятели, непосредственно принимавшие решения о начале войн.

В международной жизни, более чем где-либо, необходимо видеть различия между происходящими в мире процессами, их результатами, последствиями и итогами. Процесс, его системные (закономерные, неслучайные) итоги (последствия немедленные, зримые, измеряемые на определенный момент времени) и последствия (отложенные, более долговременные и не всегда однозначные следствия) объективны. Отношение людей, социально-политических сил, государств к итогам и последствиям неизбежно субъективно. Результат же есть следствие продвижения к осознанно преследуемой цели. Поэтому результат процесса, в том числе войны, есть субъективная оценка объективных политических, экономических, иных последствий данного процесса с позиций интересов, устремлений, меры одержанного успеха тех или иных социально-политических сил, структур, субъектов международных отношений.

При достаточно протяженных войнах промежуточные последствия и итоги часто резко расходятся с окончательными, краткосрочные — со средне- и долгосрочными. Войнам, особенно масштаба мировых, предшествуют годы и десятилетия подготовки. На протяжении этапов вызревания, начала, ведения и завершения войны, политического оформления ее итогов интересы и цели участников меняются, иногда неоднократно. При некоторых условиях субъекту могут навязываться такие задачи, цели, понимания интересов, которые сам он не выбрал бы, постарался избежать, не предвидел на

ранних фазах процесса. В обстановке войны, (пред)военного времени цели и задачи страны формулируются и отстаиваются гораздо жестче, чем в условиях мира. Война беспощадно выявляет реальные, действительные устремления и возможности ее участников. В мирной жизни все это, как правило, бывает «размыто»: процесс нормальной мирной международной жизни значительно более масштабен, всеобъемлющ, многозначен, нежели война. Современная война небывало капиталоемка и разрушительна даже при ведении ее неэкзотическими техническими средствами. Но гарантии желаемого исхода (за пределами отдельных операций) она не дает и дать не может. Вот почему войны конца XX в. начинают тяготеть к ограниченным военным операциям прогнозируемых и управляемых масштабов (типа операций «по принуждению к миру»).

На протяжении последнего полувека впервые в истории сложился также комплекс специализированных и прикладных наук и дисциплин, сделавших международные отношения, другие общественные отношения объектом и предметом исследований. Наука прочно утвердилась как профессиональный, социальный и политический институт, стала неотъемлемой частью системы принятия государственных, политических, военных и иных стратегических (например, корпоративных) решений, как минимум, в наиболее развитой части мира. Фактически место науки в политике и деятельности государства является ныне одним из ключевых факторов и показателей принадлежности страны к числу тех наиболее развитых государств, что определяют направленность, тенденции и темпы всей международной жизни. Под воздействием перечисленного происходят значимая эволюция взглядов на важнейшие проблемы международной и внутренней жизни и, как следствие, эволюция политической практики.

Принципиально важный вывод, обретенный на опыте прежде всего войн XX столетия, заключается в том, что последствия и итоги, складывающиеся в разных сферах и областях международной жизни в определенный период или к определенному рубежу, носят неизменно промежуточный характер. Такие итоги непременно изменятся, вопрос лишь, когда, как это произойдет, на каких конкретных направлениях обозначатся новые тенденции. Отныне более чем когда-либо хорошая позиция, которую со временем можно развить в стратегические преимущества, становится в международной жизни и политике гораздо ценнее, особенно с учетом перспективы, нежели получение крупного, но разового выигрыша. Создание, удержание, развитие таких позиций возможны только в контролируемой среде (которой требуют также и экономика, инфраструктуры, технические, информационные системы). Война такую среду не создает, но разрушает. Потребность же в этой среде существенно меняет психологию соответствующих субъектов международных отношений.

В центре новой психологии ведущих субъектов международных отношений — отказ от идеи и цели статус-кво в международных и внутренних отношениях, замена ее идей и целями направляемых и

контролируемых перемен (orderly change). Попытки зафиксировать статус-кво, сохранять его любой ценой приводят рано или поздно, но неизбежно к взрыву и катастрофе, что блестяще доказано опытом Священного Союза в XIX — начале XX в. и Союза ССР под занавес XX в. Опыт цеплявшихся за статус-кво имперских стран Европы оказался и во внутреннем, и в международном планах столь же катастрофическим, как и попытка коммунизма «великим скачком» обогнать Историю и построить некий идеальный, но основанный также на статус-кво (лишь содержательно ином) мир в отдельной стране и во всем мире. Коль скоро перемен в любом случае не избежать, целесообразно стремиться их направлять, а иногда и подстегивать, форсировать, инициировать. Бесспорно, со временем и этот подход принесет в международные отношения свои проблемы.

Другой принципиально важный вывод касается изменившегося под влиянием экономических теории и практики отношения к кризису вообще, социальным и международным кризисам в частности. Явление кризиса рассматривается не как признак надвигающейся катастрофы (от которой необходимо спастись как можно скорее любой ценой), а как нормальная, неизбежная, при разумном, ответственном отношении к ней — полезная и необходимая фаза циклического процесса, будь то в экономике, социально-политической или международной сферах. Кризис закладывает предпосылки последующих перемен, витков роста, эволюции, развития. Без таких предпосылок очередная циклическая фаза процесса наступить не может; следовательно, явление кризиса (сопряженное с рисками) объективно выполняет важнейшую функцию открытия пути к переменам (в том числе желаемым и контролируемым) и выведения эволюции на этот путь. Тем самым международный кризис при условии его контролируемости становится (может стать) одним из важнейших средств направляемого развития мировой политики, международных отношений. История XX в. «вылеплена» кризисами — от национально-страновых революций до мировых войн и распада СССР. Функции и роль кризиса объективны, нужно лишь освоиться с ними в международной жизни так же, как это давно сделано в экономике (в этом прежде всего смысле и говорят об «управлении кризисами»).

Еще один практически и научно значимый вывод из опыта войн и социальных потрясений XX в. связан с предыдущим и состоит в том, что для оказания серьезного, устойчивого, надежного по получаемым результатам воздействия на крупные и крупнейшие социальные, иные процессы, их направления в желаемое русло, для управления ими в такие процессы необходимо эффективно включаться, а не стремиться оставаться от них в стороне. Международная (и иная) стабильность возможна лишь как прогнозируемый процесс направляемых и ожидаемых перемен и только для участников таких перемен; для всех остальных подобный процесс может выглядеть стабильным лишь в смысле их постоянного аутсайдерства. Самоисключение из международной жизни и важнейших ее процессов возможно

только ценой утраты роли, веса, места страны в мировых экономике, политике, развитии.

Особый теоретический и практический интерес представляют те случаи и периоды, когда большое число разнохарактерных процессов, взаимоналагаясь и многократно усиливая друг друга и производимый совокупный эффект, порождают явления своеобразного исторического и/или социально-политического резонанса. Внешне это выражается в том, что неожиданно для современников на территории отдельного государства, группы стран, региона, мира в целом наступает полоса необычайно крупных по масштабам, глубине и значению, интенсивных, быстротечных перемен — иногда в сторону расцвета и благополучия, иногда в сторону провалов, потрясений, кризисов. Формы таких перемен многообразны: от гражданских войн, революций до миграций, промышленных и технологических переворотов. Природа и механизмы подобных социальных резонансов теоретически пока изучены крайне слабо. Но именно в эти, обычно весьма непродолжительные периоды происходит взрывоподобное становление нового качества глобальной и/или региональных систем международных отношений, другие принципиального значения и весомых долговременных последствий сдвиги в международной жизни.

* * *

Во второй половине XX в. возникает качественно новое явление международной жизни — глобализация. Суть его — в обретении отдельными государствами, другими субъектами международной жизни и отношений возможностей и потребностей осуществлять какие-то или все основные функции своей жизнедеятельности в масштабах земного шара (территориально), мировой экономики и политики. В последний из проявлений и следствий глобализации стало с конца 60-х гг. явление сверхдержавности: появление в одной или нескольких областях, направлениях глобальной деятельности государств, по их потенциалу и возможностям на порядок и более опережающих в этих сферах ближайших конкурентов. Изначально сверхдержавность заявила о себе в военной сфере — в ракетно-ядерной конфронтации СССР-США. Однако с распадом СССР правомерно ожидать распространения явления сверхдержавности на другие области, прежде всего на экономику, финансы, социальные и технологические нововведения.

Интернационализация и глобализация тесно взаимосвязаны, во многом взаимообусловлены, но не тождественны друг другу. Первая предполагает выход чего-то ранее сугубо внутреннего за начальные рамки; или же объединение действий нескольких субъектов мировой экономики, политики вокруг общих задачи, цели, вида деятельности, предприятия. Интернационализация не универсальна по охватываемым субъектам и пространству, не обязательно вовлекает всех или почти всех участников международной жизни. В каких-то случаях она может достигать (и достигала) подобных масштабов. Но гораздо

чаще и намного эффективнее она происходит на региональном уровне и/или в приложении к отдельным сферам, видам, направлениям деятельности. Конкретный ее случай по типу и характеру участников, по видам и объемам их деятельности может иметь сугубо локальное значение и оставаться практически незамеченным в международных отношениях; тем не менее, он тоже будет одним из множества проявлений процесса интернационализации.

Глобализация в качестве главного ее признака предполагает выход какой-то проблемы или деятельности непременно на глобальный (общемировой) уровень. При этом такая деятельность не обязательно должна быть интернациональной по составу участников. Она может осуществляться одной страной, организацией, фирмой (при условии, что те располагают для этого соответствующими возможностями). В таких случаях обычно говорят о глобальных державе, политике.

Явление интернационализации существует на всем протяжении истории человечества. Меняются его конкретные формы, направления, сферы, масштабы, последствия. Но сама интернационализация (выход неких процессов за изначально внутривосточные их рамки) остается. Явление же глобализации возникло только во второй половине XX в. Интернационализация не приводит к размытию, исчезновению ее участников (хотя способна со временем приводить к изменениям отдельных значимых их характеристик и признаков). В исторической перспективе она порождает новые, более сложные формы общественной организации, как внутренние, так и международные. Долговременные последствия процессов и явления глобализации с этой точки зрения пока неясны. Интернационализация создает новые центры влияния, координации, регулирования; множит источники силы и власти; в ней заключено мощное демократизирующее начало. Глобализация несет начала централизации, подчинения, авторитаризма. В совокупности два явления отражают противоречивую природу современных экономики и политики, объективно требующих сочетания и взаимодополнения авторитаризма и демократии (а не выбора в пользу чего-то одного) и всегда заключающих в себе гены того и другого.

* * *

Интернационализация всех сторон жизнедеятельности человека и общества имела последствия, выходящие далеко за рамки традиционно рассматриваемых в связи с ней экономических отношений. В самом общем виде перемены эти можно просуммировать следующим образом.

1. Начавшаяся еще в XIX в. промышленная и развернувшаяся с рубежа 60-х годов XX столетия научно-техническая революции не просто открыли перед человеком невиданные возможности прогресса и достойной жизни. Становится все очевиднее, что главный итог обеих революций — создание к рубежу III-го тысячелетия искусственной среды обитания человека — техносферы, опирающейся на современные отрасли науки, промышленности, инфраструктуры, формы производства и распределения. Техносфера в процессе своего

функционирования все более выходит за исторически сформировавшиеся политические и административные государственные границы, интегрируя хозяйство, коммуникации, инфра- и организационные структуры различных стран.

2. Техносфера втягивает в оборот беспрецедентные территории, массы людей и материальные ресурсы. Она не может существовать без ежедневного «питания» ее огромными объемами энергии, информации, сырья; строгого соблюдения технологий материального производства и функционирования общества в целом, включая его политические и государственные структуры. Серьезный сбой в одном из звеньев цепи рождает шлейф последствий в системе в целом, подчас крайне далеко (социально, структурно, географически) от точки начального сбоя.

3. На этой основе формируется все более взаимозависимый и целостный мир, причем особенно ускоренно в последние 20-25 лет. Целостность не означает ни гармоничности этого мира (в нем крайне много противоречий); ни того, будто он управляется (или должен управляться) из некоего единого центра (это пока технически невозможно, не говоря о препятствиях ценностного и политического плана). Целостность мира в том, что взаимодействия в нем приняли системный характер, когда мало-мальски серьезные сдвиги в одной части мира неизбежно дают отзвук в других его частях, независимо от воли, намерений участников таких процессов. Еще в начале XX в. мир был иным: кризисы, катастрофы, войны в одних его частях могли оставаться без последствий и незамеченными в других.

4. Наиболее развитые в промышленном и иных отношениях страны и регионы, объективно выполняющие роль центров жизнедеятельности современного человечества (Европа, Северная Америка, Япония) даже при желании не могли бы вернуться к традиционному хозяйствованию и образу жизни («переехать из города в деревню») без тяжелейших для себя социальных последствий: для этого там просто нет свободных территорий и ресурсов. Поэтому вокруг центров техносферы начинают объективно складываться концентрические круги стран и регионов, выполняющих по отношению к ней функции поддержки и обеспечения энергией, сырьем, кадрами; зоны, в которые выносятся вредные или сопряженные с перемещением особенно больших масс производства. За этими пределами лежат пространства, техносфере (пока?) не нужные, не имеющие непосредственного значения для ее функционирования.

5. Техносфера объективно требует отказа от архаических форм, средств и методов регулирования социальной жизни в пользу научно обоснованных рациональных критериев управления, развитой системы обратных связей, высокого профессионализма исполнителей. Однако, сталкиваясь с исторически сложившейся системой социальных связей, отношений и интересов, эти требования находят выход и выражение в унаследованных в основном от прошлого общественно-политических и идеологических когнитивных системах. Во внутренней

жизни стран распад авторитарных форм, вытеснение их политической демократией, автономиями и самоуправлением, сами по себе прогрессивные, часто объективно открывают пути усилению сил консерватизма и реакции. В международной жизни этот же по сути процесс выразился в распаде колониализма, утверждении политического и правового равноправия народов и государств, в образовании системы международных органов и организаций, регулирующих различные стороны отношений между государствами, другими субъектами мировой экономики и политики. В целом как во внутренней, так и в международной жизни политика как стихийное столкновение социально-исторических сил все заметнее теснится началами сознательного, целенаправленного, рационального регулирования, основанного на праве, институциях и знаниях, пока при доминировании в них консервативного социального содержания.

6. Относительная нормализация повседневных условий жизни, ограничение масштабов и вытеснение крайних форм насилия, успехи сельского хозяйства, медицины, социальных программ (в том числе международных) привели к резкому росту численности населения. За последние 40 лет суммарный прирост населения Земли был таким же, как за предшествующие 500000 лет. Не всегда осознается, что выживание и тем более благополучие и развитие человечества напрямую зависят от стабильного, социально эффективного в мировых масштабах функционирования техносферы. В определенном смысле ее центры (промышленно развитые страны) принадлежат уже не только себе, но всему миру. Это означает, что современное человечество физически не сможет выжить, полагаясь лишь на стихийные механизмы регулирования социально-исторического процесса, центральных его направлений и компонентов: ни при эгоистическом использовании техносферы лишь в интересах «золотого миллиарда», ни в случае ее революционного и/или техногенного (само)разрушения. Техносфера — основа выживания всей планеты, возможного лишь через сохранение, укрепление, развитие, повышение эффективности техносферы и всех механизмов регулирования, включая международные.

7. Вопреки всем войнам, революциям, конфронтациям (во многом диалектически благодаря им) международные отношения на протяжении XX в. обнаруживали устойчивую тенденцию все более превращаться в особую область регулируемых общественных отношений: единственную, субъектами в которой выступают сложные социальные образования, обладающие собственной внутренней организацией и структурой. От создания Версальской системы, через Лигу Наций, ООН, комплекс международных финансовых (МВФ, ВБ, МБРР, ЕБРР) и экономических (ГАТТ/ВТО) институций, региональные структуры (ЕЭС/ЕС, ОБСЕ, ЛАГ, ОАЕ и др.) до неформальных «клубов» и G7 возрастала регулятивная компонента мировой политики и международных отношений. Содержание мировой политики и международных отношений все более перемещается со стихийной борьбы, основанной на праве сильного, к функциям координации,

согласования, а для этого — к отказу от исключительно военно-силовых форм и средств и их постепенному дополнению и замещению нормами международного права, функциями и процедурами международных организаций, неформальными договоренностями на высшем уровне.

8. Однако в целом регулятивный потенциал современных международных отношений все более отстает от потребного. Прекращение конфронтации, избавление от угрозы глобальной ракетно-ядерной войны с особой силой выявили практически почти полное отсутствие в современном мире надежных, эффективных и демократических международных механизмов, способных обеспечивать силовое (при необходимости) поддержание принятого регионального и международного порядка, динамическую стабильность международной жизни, направляемый и контролируемый ход перемен. Олигархический характер мирового порядка конца XX в. со временем чреват возможностью серьезных дестабилизирующих последствий. Пока неясно, в какой степени «полюса» многополярного мира готовы будут пойти на налаживание действительно демократических институтов регулирования международной жизни и получают в этом поддержку иных слоев мирового сообщества. Современный акцент на темах отделения, самоопределения, суверенитета и т.п. делает вероятной опасность того, что отставание регулятивного потенциала международных отношений от потребностей в объективно необходимом регулировании может в обозримом будущем (в перспективе до 15-20 лет) стать одной из центральных угроз международной стабильности и выживанию человека.

9. В результате создания техносферы и под ее воздействием масштабы хозяйственной и иной деятельности человека стали таковы, что уже оказывают огромное разрушительное воздействие на природу. Долговременные последствия этого неясны, но тревожны. Техносфера вовлекает в оборот такое количество материальных ресурсов, в том числе невозобновляемых или возобновляемых чрезвычайно медленно, что уже в 2010-2050 гг. человечество может испытать нехватку ряда жизненно необходимых ресурсов. Человек впервые вынужден осознать, что Земля есть космический корабль, потенциал жизни (отведенное время) на котором небеспредель, и надо думать о рациональном их расходовании и о будущем, которое неизбежно потребует широкого хозяйственного выхода человечества в Мировой океан и в космос.

10. Идеология устойчивого развития (sustainable development) привлекательна по целям и как идеал, но (как и всякая идеология) неопределенна по путям и средствам достижения поставленных целей. Она — первый ответ мирового сообщества на бесспорный и пугающий факт резкого и глубокого дестабилизирующего воздействия человека на природно-физический комплекс. Вместе с тем, уже сейчас очевидно и в целом признано, что возврат к прежнему экологическому балансу невозможен, а установление нового потребует в качестве условия и предпосылки коренных перемен не только в технологиях,

но и образе жизни, социальных ожиданиях, во всем устройстве общества и мира. В обозримом будущем мировая политика и международные отношения станут ареной политических столкновений по проблемам, вызываемым к жизни растущими масштабами последствий влияния всей деятельности человека на природно-физический комплекс.

* * *

Все перечисленное — не завершившиеся процессы, но более или менее проявившиеся тенденции. Развиваясь циклически, со многими взлетами и падениями, они, однако, уже рожают собственные итоги и последствия, оказывают растущее влияние на характер и динамику мировой политики и международных отношений конца XX — начала XXI в. Можно выделить, как минимум, семь групп такого рода последствий для международной жизни.

Первая — принципиальное изменение значения международной сферы для внутреннего развития государств и народов и, в итоге, глубокая эволюция связей между внутренней жизнью государства, общества и факторами, влияющими на страну и ее развитие извне. На ранних этапах истории участие в международной жизни было необязательным дополнением к жизни внутренней. Войны, агрессии могли существенно помешать внутреннему развитию. Но за этими пределами внешние причины редко выступали постоянным и значимым фактором внутренней жизни, эволюции. Десятки племен, народов и стран существовали в (почти) полной изоляции от внешнего мира, обходясь внутренними ресурсами и добываясь при этом неплохих для своего времени результатов. Так продолжалось веками.

К заключительной трети XX в. сложилось принципиально новое положение: ни одна страна не имеет и не может иметь серьезных перспектив развития, не участвуя активным образом в международных материальных, информационных и культурных обменах. Более того, ни одно из наиболее развитых государств не смогло бы сохранить достигнутые уровень, качество и образ жизни, социальную и политическую стабильность, место и вес в международной жизни, не участвуя энергично и эффективно в процессах интернационализации. Мир конца XX в. характеризуется насыщенной, плотной структурой трансграничных связей практически во всех областях, прежде всего, в имеющих ключевое значение для современных экономики, финансов, информации, технологии, науки и техники, культуры. Конечно, в нем возможны отдельные исключительные случаи национального прогресса в условиях кризиса внешней среды и, напротив, застоя и упадка данной страны при в целом восходящем развитии региона, мира. Но на статистически значимом уровне для абсолютного большинства земель и государств развитие собственных стран уже стало возможным и достижимо лишь через их включенность в мировое развитие.

Вторая группа — возрождение и качественное развитие явления международной жизни. Международные отношения не утратили исторически сформировавшихся основных их черт. По-прежнему веду-

щее место занимают отношения межгосударственные (единственные, субъекты которых суверенны), а в них политические и политико-экономические. Как и прежде, важны факторы силы. К военным ее сторонам добавились невоенные (финансовые, экономические, научно-технические, информационные); технология использования силы существенно усложнилась сообразно условиям современного мира и задачам, какие он ставит перед политикой. Но характерное для европоцентристских международных отношений XVIII — первой половины XX в. засилье отношений межгосударственных, надолго подавивших иные формы и уровни международной жизни/мировой политики/международных отношений, все заметнее отходит в прошлое (что дало основания ряду авторов с рубежа 70-х гг. говорить о кризисе государства как социального института и субъекта международных отношений). Возродившиеся в новом качестве и/или впервые возникшие многочисленные новые явления и процессы все заметнее выступают как определяющие по отношению к международным отношениям и мировой политике, международной жизни в целом и внутренней сфере государств. Международная жизнь, сводившаяся некогда к прямым межродовым, межплеменным, межэтническим обменам, начиная со второй половины XX в. бурно развивается в небывалом диапазоне сфер, направлений деятельности, составе участников.

Третья — складывающаяся в заключительной трети XX в. новое, более сложное разграничение общественных явлений, процессов и отношений на внутренние, внешние и международные. Граница между внутренним и международным пролегла в соответствии с видимыми и потому понятными критериями. Вычленение из этого конгломерата внешнего требует обращения к такому особому структурообразующему признаку, как суверенитет.

Суверенитет — политическое и властное верховенство, носящее в пределах данного исторически сложившегося социума абсолютный характер. Понятие ведет происхождение от «суверен» — в Европе средневековья властелин, никому не обязанный своими владениями (добившийся их сам либо получивший по наследству, но не в порядке дара или награды от вышестоящего). Такое верховенство означает, что обладающая им власть — высшая на данной территории и/или по отношению к данному населению. В этих пределах власть свободна управлять, повелевать, принимать решения, не подчиняясь никому и ничему кроме того, что установит для себя сама. Все остальные властные структуры данных территории и социума являются низшими по отношению к высшей и обязаны подчиняться ей. Попытки внешних сил вмешаться в дела данной власти (в пределах ее территории и социума), а также ликвидировать данный суверенитет, сместить саму власть (идут ли они изнутри или извне страны) рассматриваются как враждебные акты, на которые власть вправе ответить, как сочтет нужным. По признаку суверенитета внутреннее — то, что фактически является объектом высшей власти суверена, будь то монарха или государства; внешнее — то, что под такую власть не подпадает;

международное — то, что не подпадает под власть ни одного из суверенов. Последнее с ростом числа международных организаций, субъектов международной жизни и мировой политики увеличивается количественно и по диапазону.

Четвертая — энергичное возвращение явления мировой политики в новом составе субъектов. Многообразие и интенсивность международной жизни и ее политических компонентов требуют политического оформления, тем более что в ней действует множество разнорядковых субъектов. Уже давно нормой стали «интернационалы» идеологически родственных политических партий, международные объединения профсоюзов, разных политических, идеологических, религиозных течений. Своя традиция сложилась у ООН, международных организаций межправительственного характера. Все чаще в мир выходят с политическими вопросами, инициативами неполитические международные объединения. Субъекты мировой политики по-своему строят отношения (от сотрудничества до конфликтов) с государствами. Конец XX в. отмечен также становлением единого мирового информационного пространства. Политика, политическая жизнь могут развиваться лишь в тех пределах, где есть общность информационного поля: иначе невозможны ни политические, ни иные отношения между субъектами. Но и наоборот: расширение целостного информационного пространства неизбежно тянет за собой политику, увеличивает потребности в ней, практические пределы и возможности ее функционирования. Взлом (с приходом в конце 60-х гг. эпохи компьютеризации и электронных СМИ) былой монополии власти на информацию распаивает государства и общества влияниям внешнего мира. Повседневной практикой стало обращение внутренних сил к использованию внешней политической, моральной, практической поддержки, что дополнительно стимулирует развитие мировой политики, усиление ее роли и влияния в международных и во внутренних делах. Мировая политика становится во второй половине XX в. ареной и важнейшим средством гуманизации государства как социального института, его превращения из силы, господствующей над населением и обществом, в силу, призванную им служить. Если в итоге государство перестанет выступать лишь орудием элит, это повлечет новые глубокие сдвиги в международной жизни и межгосударственных отношениях.

Пятая группа — новая мировая политика в условиях все более целостного, взаимосвязанного мира объективно трансформирует былую среду международной жизни в неотъемлемую составную часть процесса и организации жизнедеятельности человечества, в сферу внутреннюю по отношению к единому, целостному и взаимозависимому миру. Тем самым обнаруживается и подтверждается суть международной жизни и международных отношений как особого, исторической протяженности процесса трансформации ранее «чужих», разобщенных между собой социально-территориальных систем (от рода до государства) в нечто по социальному качеству более масштабное, сложное, высокоорганизованное и цельное. Такое нечто не должно

быть единым в политико-административном смысле; но требует общих компонентов политических психологии, сознания, культуры, чтобы оказалось возможным и необходимым поддержание такого единства в повседневности и на макрошкале времени. Наличие международных структур, выполняющих информационно-координирующие и регулятивные функции, доказывает, что соответствующие отношения в мире и/или его части достигли объема, уровня, значения, когда такие функции необходимы; открывает новые возможности для дальнейшего развития связей, отношений. Одно из последствий — формирование и развитие стабильных структур международных отношений: плотной сети связей, норм, отношений, институтов и процедур (политических и иных), уже автономных от конкретных государств и правительств, давно ставших данностью, не считаться с которой все более затруднительно.

Шестая группа — цикличность описываемых процессов, которые развиваются, как правило, через внутривосточный сепаратизм и международный регионализм. Один из парадоксов такого развития — появление «суверенитетов внутри суверенитетов» (бывшие союзные республики в составе СССР, Бавария в Германии, некоторые субъекты РФ). Объективно ускоряя эрозию суверенитета — «священной коровы» внутренней и международной политики — эти процессы подготавливают неизбежное в XXI в. ниспровержение государства с пьедестала его социально-политической и правовой исключительности, перевод в ранг корпорации по управлению социально-территориальной системой.

Седьмая группа последствий сопряжена с исподволь объективно назревающей на протяжении уже нескольких десятилетий потребностью в постепенном «вытягивании» и налаживании «вертикали» органов самоуправления, управления и координации от уровня крупных внутривосточных регионов (штаты, провинции, земли) до регионов международных и до глобального уровня в целом. Такая структура — не замена государств и межгосударственных отношений, а дополнение к функциям и роли того и другого. В какой мере подобные процессы могут и будут сопровождаться появлением политических и/или иных самоидентификаций на уровне цивилизаций — вопрос открытый, как и то, приведут ли цивилизационные самоидентификации (если они будут иметь место) к каким-либо межцивилизационным трениям, проблемам, столкновениям. Но в любом случае институт государства как рубеж разграничения внутренних, внешних и международных процессов будет испытывать нарастающие по силе и масштабам вызовы традиционной интерпретации своей роли; а межгосударственные отношения, теряя свободу взаимодействий по законам «дикого поля», станут все более трансформироваться в регионально-и глобально-внутрисистемные, не достигая еще при этом плотности и интенсивности внутривосточных.

По-видимому, международные отношения как «дикое поле» смогут возродиться вновь лишь при теоретически допустимых столкно-

вении с внеземными цивилизациями и/или в случае политического отмежевания от Земли развитых инопланетных поселений землян — перспектива в любом случае весьма неблизкая.

По данной теме может быть рекомендована следующая литература:

- Артемов В.А.* Социальное время. Новосибирск, 1987;
Бродель Ф. Время мира. (Материальная цивилизация и капитализм. Т. 3.) М., 1992;
Бурдые П. Физическое и социальное пространство. М., 1993;
Введение в теорию международных отношений. Учебное пособие / Отв. ред. А.С.Манькин. М., 2001;
Данэм Б. Герои и еретики. Политическая история западноевропейской мысли. М., 1967;
Моргачев С. Пространство, время и поле в мировой политике // Мировая экономика и международные отношения. 1989. № 7;
Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М., 1979;
Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время. В поисках утраченного. М., 1997;
Серов Н.К. Процессы и мера времени. Проблемы методологии структурно-диахронического исследования в современной науке. Л., 1974;
Система, структура и процесс развития современных международных отношений / Отв. ред. В.И.Гантман. М., 1984;
Цыганков П.А. Теория международных отношений / Учебное пособие. М., 2002;
Чешков М.А. Развивающийся мир и пост-тоталитарная Россия. Новые конфигурации мирового пространства. М., 1994;
Шахназаров Г.Х. Грядущий миропорядок. О тенденциях и перспективах международных отношений. М., 1981;
Banks M., Shaw M. (eds) State and Society in International Relations. L.; N.Y., 1991;
Cox R.W. Production, Power and World Order. Social Forces in the Making of History. N.Y., 1987;
Fukuyama F. The End of History and the Last Man. N.Y., 1993;
Giddens A. The Constitution of Society. An Outline of the Theory of Structuration. Cambridge, 1984; Chicago, 1990;
Goldstein J.S. Long Cycles: Prosperity and War in the Modern Age. New Haven; L.; 1988;
Huntington S. The Clash of Civilizations and the Restructuring of World Order. N.Y.; 1996;
Kennedy P. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. N.Y., 1987;
Linklater A. Beyond Realism and Marxism: Critical Theory and International Relations. L.; N.Y., 1990;
Modelski G. Long Cycles in World Politics. Seattle, 1986; Wash., 1987;
Rosenau J. Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity. Princeton, N.J., 1990;

Singer D., Small M. The Wages of War, 1816-1965. A Statistical Handbook. N.Y., 1972;

Wallerstein I. Geopolitics and Geoculture. Essays on the Changing World-System. Cambridge and N.Y.; 1991;

Wallerstein I. The Modern World System I. Capitalist Agriculture and the Origins of the World-Economy in the Sixteenth Century. N.Y.; L., 1974;

Wallerstein I. The Modern World System II. Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy 1600-1750. N.Y.; L., 1980;

Wallerstein I. The Modern World System III. The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World Economy 1730—1840s. San Diego, 1989.

ГЛАВА 3. ЭПИСТЕМОЛОГИЯ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Н.А.Косолапов

Задача всякой науки — как минимум, объяснять свой предмет, его отдельные аспекты; как максимум, указывать на пути и условия перехода от объяснения явления, процесса, эффекта к использованию и знания, и стоящей за ним реальности в каких-то практических интересах человека. Когда отдельные объяснения, охватывающие более или менее широкий круг взаимосвязанных явлений и процессов объективного мира, начинают складываться в некоторую внутренне согласующуюся между собой целостность, говорят о становлении теории; несколько взаимосвязанных теорий, имеющие общий объект и предмет изучения, образуют конкретную научную дисциплину.

Но что значит «объяснение» в международных отношениях? Какие элементы оно включает или должно включать, каким необходимым и достаточным признакам соответствовать? Если скрупулезный анализ позволил нам во всех существенных деталях восстановить и понять внешнюю политику некоего государства (или даже всех важнейших государств) определенного периода, можно ли обретенное понимание считать объяснением международных отношений этого периода? Если можно (на самом деле нельзя!), или если нам удалось каким-то иным образом постичь, скажем, международные отношения Средиземноморья II-I вв. до н.э., то насколько правомерно распространять добытое объяснение на другие регионы и на позднейшие, резко отличающиеся по всем основным признакам периоды? Каковы критерии, позволяющие определять те временные и пространственные пределы, за которыми данное объяснение перестает действовать? Все это применительно к теоретическому исследованию международных отношений пока вопросы без ответов. Но тогда что такое «теория международных отношений»?

Ответы на подобные вопросы всегда лежат на пересечении объекта, субъекта исследования и познания как единства процесса, средств и методов, а также результата обретения опыта, понимания, знания и способности использовать все это в прикладных целях. В данной статье рассматриваются основы познания международных отношений; объект же и субъект такого познания характеризуются лишь в той мере, в какой это абсолютно необходимо для понимания поднятой темы. Не имея возможности подробно разбирать используемые философские и психологические категории, автор вынужден адресовать читателя к соответствующей специальной литературе, энциклопедиям и словарям.

* * *

Из всех качественных признаков международных отношений как явления и их особенностей как объекта познания здесь необходимо выделить четыре главных:

во-первых, их протяженность во времени. Как бы ни определять международные отношения как явление, бесспорно, что какие-то международные отношения сопровождают человека на протяжении всей известной Истории. Опора международных отношений нового и новейшего времени — отношения межгосударственные — по определению существуют столько, сколько институт государства. Учитывая столь уникальную продолжительность международных отношений во времени, можно признать их единым и целостным явлением лишь в том случае, если в международных отношениях всех времен, континентов, народов будет установлено наличие признаков, одновременно и всегда присущих международным отношениям, неизменно в них присутствующих, инвариантных; и принципиально важных для определения природы и сущности международных отношений как явления. Иными словами, социально-историческая суть международных отношений времен Древнего Египта и современного ядерно-компьютерного мира должна быть в основе ее одна и та же. Не аналогичная, в чем-то сходная и т.д., но именно одна и та же: в противном случае неправомерно будет говорить о целостности международных отношений как общественного и исторического явления;

во-вторых, выполнить это условие оказывается очень непросто. По ходу Истории непрерывно развивались количественно и, главное, качественно, все известные нам компоненты и факторы международных отношений как явления: личность и общество, экономика и политика, идеология и наука, культура и религия, военное искусство и все виды обменов и коммуникации, государство и политические институты и системы, сами конкретные международные отношения. Но признак развития сам по себе не является определяющим для международных отношений, поскольку присущ и другим явлениям общественной жизни и истории. Можно ли, однако, найти нечто неизменное в развитии, что служило (могло бы служить) одним из определяющих признаков явления международных отношений? Насколько вообще правомерно рассматривать как целостное явление нечто, все компоненты и факторы которого претерпели, продолжают претерпевать глубочайшие внутренние изменения? Вопросы эти принципиально важны теоретически и методологически для построения любой теории международных отношений;

в-третьих, во все времена и на всех качественно разных фазах и уровнях развития международных отношений неизменно существовали, проявляли себя, эволюционировали и оказывали многообразные социальные влияния как бы в трех временных плоскостях сразу: как нечто историческое, надвременное; как один из важнейших отличительных признаков определенных эпохи, периода, социально-исторического уклада; и как весьма конкретный, уникальный комплекс теку-

щих, современных проблем и отношений международной жизни и мирового развития. Мало есть других сфер жизнедеятельности человека и общества, в которых история, эпоха и сиюминутное переплелись бы столь нерасторжимо в реальном масштабе времени. Исследователь международных отношений оказывается перед труднейшей методологической и теоретической задачей: какой бы период международных отношений он не изучал, возникает проблема вычленения из этого неразделимого комплекса отношений «истинно сегодняшних», текущих;

в-четвертых, самостоятельная, теоретически и методологически важная проблема — пространственные координаты международных отношений. Известно, что всякое явление непременно существует в некоем пространстве; в противном случае оно просто не могло бы состояться. Но что может быть признано пространством международных отношений? Если считать таким пространством неоткрытые, неосвоенные, неподделанные земли, то подобных территорий в мире давно уже нет. Если международные отношения строятся на том же пространстве, что и внутренние, то каковы критерии различения первых и вторых? Наконец, если международные отношения протекают в духовном пространстве (во взглядах, представлениях, культуре и психологии людей), тогда тем более каковы критерии, позволяющие отграничивать международные отношения от всего остального, выделять их в особый тип отношений, в специфическое явление?

Ответы на перечисленные выше вопросы в принципе могут быть (и даются в научной литературе) очень разные. Важно подчеркнуть, что без каких-то ответов на них не могут состояться ни подлинно научная методология исследования, ни теория международных отношений.

* * *

Проблема субъекта познания изучается в философии; однако в приложении к теории международных отношений, насколько известно, даже не ставилась. Но именно тут (а также применительно к теориям мирового и социально-исторического развития) проблема эта имеет особое значение. Что именно принимается за знание; какое мировоззрение служит общей методологической основой получения и развития знания; что и на каком основании принимается за доказательство или воспринимается как заведомо не имеющее доказательной силы; какими представляются людям причинно-следственные связи явлений — ответы на эти, важнейшие для методологии и теории любой системы знания вопросы решающим образом зависят от духовно-исторического уровня развития субъекта познания.

Проиллюстрируем сказанное одним примером. Существует, как минимум, два исторически полярных типа сознания (со множеством градаций между ними): религиозное и научное. Первое приписывает все причинно-следственные связи проявлениям субъективного, притом высшего начала — воле Божьей, Провидению. Второе видит комплекс типов причинно-следственных зависимостей (линейные, веро-

ятностные и много-многозначные) и задается вопросом, полон ли этот перечень и какие механизмы «включают» в конкретных обстоятельствах тот или иной из типов. Религиозное сознание считает «знанием» откровение, приходящее в моменты религиозного озарения, экзальтации. Причем за доказательство подлинности откровения принимается сам способ его обретения; факты же реальной жизни чаще всего не имеют вообще никакого отношения ни к содержанию откровения, ни тем более к обоснованию или отрицанию его религиозной истинности (почему и оставались неизменно тщетными все попытки «доказать» верующим, что «Бога нет»). В научном сознании статус «знания» завоевывается многократными подтверждениями опыта и соответствием аргументации принятой логической системе. Интереснее всего то, что культуры, даже не дошедшие до появления самого понятия науки, обнаруживают высокую жизнестойкость и способность справляться с повседневными задачами (хотя, конечно, не могут дать промышленного и духовного развития европейского типа, почему и считаются «примитивными»). Ясно, что столь разные типы сознания будут совершенно по-разному воспринимать, объяснять, истолковывать одни и те же международные отношения.

Субъект познания международных отношений как явления не может отождествляться с отдельным исследователем или даже со всей их совокупностью, сколь бы многочисленна она ни была. Явление столь огромной протяженности во времени может изучаться только человеком как родовой единицей. А потому неизбежен и важен вопрос, как сам человек менялся на протяжении подобного изучения: качественные перемены в его психике и сознании, во внутренней организации его мыслительных возможностей и способностей оказываются в историческом масштабе времени определяющими для хода и направленности, средств и методов, результатов и смысла процесса познания. Наиболее значимыми с точки зрения нашей темы оказываются при этом такие духовно-исторические характеристики субъекта познания, как присущие ему тип сознания и структура мышления; диапазон и качество доступных ему ассоциаций; место и роль, занимаемые в содержании его сознания компенсаторикой и ее духовными продуктами, а также степень осознанности этого явления.

Тип сознания и структура мышления определяются по шкалам «дорелигиозное-религиозное-преднаучное-научное»; преимущественно эмоциональное или рациональное; бесструктурное, художественно-образное или систематизированное; ассоциативное или логическое.

Диапазон и качество доступных ассоциаций задаются сочетанием типа сознания и структуры мышления с объемом и содержанием как собственного жизненного опыта, так и усвоенных знаний. Дело в не количестве возможных ассоциаций (оно у человека древности могло быть весьма значительным), но в тех эмоциональных и рациональных связях, которые при этом устанавливаются, делая более вероятными одни типы, шаблоны поведения и блокируя, исключая другие. (Так, в Древнем Риме были все материалы и технологии, необходимые для

изготовления фонографа, который донес бы до нас голос Юлия Цезаря или Брута; не было и не могло быть, однако, идеи волновой природы звука, без чего не может возникнуть и «концепция звукозаписи».)

Место и роль компенсаторики, мера ее осознания субъектом — производны от типа сознания, структуры мышления, числа и качества ассоциативных рядов субъекта познания. Психика (индивидуальная и общественная) не может обойтись без различного рода компенсаций. Проблема заключается, во-первых, в их относительных объеме, месте и роли в функционировании соответствующих психологии и сознания; а во-вторых, в том, сознает ли сам субъект, что какие-то действия (и какие именно) он предпринимает в порядке психологических компенсаций. Даже наши современники и даже в личной их жизни не всегда способны отдавать себе отчет в глубинных причинах своих слов и поступков. В общественных же психологии и сознании нормой является положение, когда духовные продукты компенсаторики (идеи, книги, концепции, публицистика, политические и общественные учения, продукты художественного творчества и т.д.) принимаются как самоценность, всерьез (для сравнения: любясь в музее даже реалистическими картинами художника, мы уже не воспринимаем их как документальное отражение действительности или как технический проект; в общественных науках, политике «ван-гог» или «врубель») сплошь и рядом принимаются пока еще за руководство к действию).

Естественно и закономерно, что международные отношения как уникально сложный объект познания открывает богатейшие возможности для проявлений всех духовно-исторических особенностей субъекта познания. Что, в свою очередь, находит отражение в содержании и причудах эволюции взглядов на природу, содержание, развитие международных отношений как явления и как конкретной системы политических взаимодействий.

* * *

Эпистемология — раздел философии, занимающийся проблемами теории познания: анализом природы познания как явления, изучением предпосылок возникновения познания как практического процесса, закономерностей его эволюции, природы и сущности знания как явления, соотношения познания и знания, реальности и знания, условий достоверности знания, поисками определения и критериев того, что вообще следует считать знанием.

Современное понимание знания выделяет в нем прежде всего его многоуровневый характер и сложнейшую систему связей с реальностью (объективным, внешним по отношению к человеку миром) и внутренним миром человека — его психикой и сознанием. Различные уровни знания включают непосредственный индивидуальный и социальный опыт и опыт опосредованный, всегда социальный; знания художественные (эстетическое освоение действительности) и эмоциональные как их основу; донаучные и научные (последние делятся на

эмпирические и теоретические). Никакое знание к тому же не рождается сразу: ему неизбежно предшествует период накопления, осмысления информации и опыта, систематизации фактов, оценок, мнений и взглядов, их неоднократное переосмысление. Все это сопровождается сомнениями, выдвижением априорных идей, предположений, концепций, в науке — гипотез. Знание (при всей его относительности) — продукт этого процесса, продолжительность которого (от вопроса до формулировки такого ответа на него, который может быть признан за «знание») определяется прежде всего тем, за какой срок при данном уровне развития общественного сознания, наличия других общих познаний, при используемых методах и средствах сбора и оценки информации может быть получен ответ на поставленный вопрос.

Ясно, что на одни вопросы ответы могут быть получены почти мгновенно; поиск ответов на другие может занять недели, месяцы, годы; на третьи — десятилетия и века; четвертые же принадлежат к категории «вечных». И на протяжении всего, измеряемого нередко продолжительностью жизни многих поколений людей, времени, пока ответы на поставленные вопросы нет и/или предлагаемые ответы еще не достигли признания и статуса «знания», бок о бок с полезными наблюдениями, ценными гипотезами, правильными предположениями, верными интуитивными догадками и прозрениями существуют гораздо более многочисленные заблуждения, иллюзии, ложные учения — а главное, упомянутые выше духовные продукты индивидуальной и социально-психологической компенсаторики, агрессивности которых нет равных именно потому, что ее требуют законы психологии. На протяжении всего этого времени нет или практически нет никаких объективных мер, критериев, ориентиров, которые позволили бы как можно раньше разделить зерна истины и плевелы невежества. Кроме того, на протяжении всего этого времени человек со свойственными ему пылом, энтузиазмом, вдохновением искренне и истово верует в каждое очередное свое духовное, интеллектуальное открытие, часто абсолютизирует его, искренне не подозревая, что на самом деле оно — в лучшем случае добросовестное заблуждение.

К теории познания международных отношений все перечисленное имеет самое прямое и непосредственное отношение. По их социальным масштабам, продолжительности во времени, по связи с Историей и основополагающими, принципиальными вопросами теории общественных наук международные отношения, особенно в последние 250 лет, занимают уникальное место в духовной жизни людей, в процессах поиска и обретения знания, в содержании того, что ныне считается знанием и/или является таковым. Отсюда — теснейшая взаимосвязь политики и философии, международных отношений и философии. Не случайно с рубежа 80-х годов, когда стали рушиться привычные, само собой разумеющиеся ранее представления, многие отечественные обществоведы обратились прежде всего к философии.

Последняя — особая сфера. Философия — скорее, состояние и склад сознания, разума, нежели знание как таковое. Психология фи-

лософии еще ждет своего исследования (подобно тому, как есть исследования по психологии религии или дорегиозного сознания). Философия возникает, когда человек знает уже достаточно много, чтобы быть не только в состоянии, но и вынужденным задаваться самыми сложными на достигнутом уровне познания вопросами; но когда имеющихся знаний и средств их добывания еще заведомо и далеко недостаточно для получения ответов на такие вопросы, а потому место ответов вынужденно занимают гипотезы и априорные концепции макро- и мегаровней пространства, времени и социальных явлений и процессов. Если и когда такие гипотезы доказывают со временем свою правоту, на их основе формируются, отпочковываясь от философии, специализированные области знания — науки. Сама же философия с течением времени все более тяготеет к превращению в процесс и результат самопознания сознания и психики, в своего рода науку самопознания. Тем не менее, каждая наука неизменно и сама вынужденно задается подобными же центральными для нее — а потому и самыми трудными — вопросами собственной методологии и теории. Соответственно, говорят о философии науки, философии общественных наук, частью последней можно полагать и философию международных отношений.

Даже беглый взгляд на историю философии и науки о международных отношениях обнаруживает, как менялась психология их познания. Философы античности полагали знание копией предмета и обращали главное внимание на поиск средств и механизмов «точного» перевода предмета в такую копию. Их интересовали прежде всего соотношение и взаимосвязь знания и мнения, истины и заблуждения. Средневековье, долгий период засилья клерикализма с его верой во всемогущество Провидения, отбросило подобные поиски по причине их не только бесплодности (разрешить проблемы в античной их постановке было все равно невозможно), но и реальной вредности: как иначе прожил бы человек долгие столетия, нуждаясь в ответах, но не имея возможности их получить? Вера в волю Господню в этих условиях объективно была тем психологическим механизмом, который раскрепощал повседневное поведение, открывал дорогу к накоплению опыта и его последующему осмыслению. Но уже с XVII в. успехи естественных наук возвращают в европейское мышление и философию поиск «абсолютно достоверного знания». Подобная психология до сих пор доминирует на уровне бытового и массового сознания.

Рационализм европейской и американской культуры, философской и общественной мысли сильнейшим образом повлиял на ранние идеи в сфере международных отношений. Родившись в XVII-XVIII вв. как производное от «механического» (физика) и «математического» естествознания, став попыткой прямого переноса психологии и методов естественных наук на все остальные сферы познания и практики, рационализм сыграл определяющую роль в становлении нормативного подхода к международным отношениям — подхода, сохраняющего свое научное и духовное влияние и поныне.

Между тем, в тех же XVII-XVIII вв., параллельно рационализму и как антитеза ему, в европейской культуре, философии и сознании развивалось и другое направление — эмпиризм, в центре внимания которого оказались взаимоотношения и взаимообусловленность чувственного и разума, эмпирического и рационального; проблема логического обоснования (по существу, предпосылок психологической приемлемости) знания; а главное, значение внутреннего, духовного опыта человека в обретении, содержании, истолковании знания. Лишь во второй половине XX в., с развитием информатики, психологии и поведенческих наук долговременное значение эмпиризма становится признанным и оцененным.

Эмпиристы изначально адресуются к центральному для всех общественных наук, включая и теорию международных отношений, вопросу: насколько допустимо методологически и возможно практически распространять на объяснение «поведения человека» (в самом широком смысле: от поведения отдельной личности до хода Истории в целом) принципы, подходы и методы, принятые в естественных науках. Если считать подобное недопустимым, то чем заменить и/или дополнить такие принципы, чем общественные науки отличаются от естественных, можно ли считать общественные учения наукой и что такое вообще наука. Теоретическая и методологическая сложность заключается в том, что человеку, во-первых, свойственно научение, способность менять с опытом свои представления и поведение. А во-вторых, он обычно как-то интерпретирует поведение собственное и других людей и строит свои действия сообразно такой интерпретации. В сфере международных отношений обе эти особенности проявляются весьма сложным и причудливым образом, а потому проблема «что считать объяснением, знанием» стоит тут особенно остро.

К настоящему времени в философии общественных наук сложились (и распространяют свое влияние также на философию и теорию международных отношений) три основных направления в решении этой центральной проблемы эпистемологии. Последователи рационализма полагают, что следует искать и в конечном итоге можно будет найти какое-то объяснение (сумму, комплекс, систему объяснений) поведению человека и всем социальным процессам. Адепты философии и методологии марксизма доводят эту точку зрения до крайности и уверенно отстаивают тезис о наличии неких закономерностей общественных явлений и социально-исторического процесса, хотя на практике подменяют открытие этих закономерностей нормативным гипотезотворчеством (по-своему весьма интересным, способствующим развитию общественной и научной мысли, социально-политической практики). Последователи же эмпиризма отстаивают необходимость понимания другого субъекта, его мыслей, действий, поведения — примерно так же, как актер, входя в роль, стремится представить себе своего персонажа, понять особенности его психики, мотивы его слов и поступков.

Различие между тремя подходами можно проиллюстрировать на следующем примере. Рационалист, объясняя возникновение и ход

«холодной войны», будет искать причины ее в неких инвариантах системы международных отношений: геополитических факторах, логике «политического реализма», балансе сил и т.п. Для него «холодная война» лишь один из частных случаев всего перечисленного: таких или подобных им «холодных войн» было в истории множество и еще будет не меньше, они производны от устройства и функционирования самой системы международных отношений. Хотя, конечно, отличие «холодной войны» 50-80-х гг. XX в. — наличие в мире ядерного оружия, не существовавшего ранее. Для марксиста «холодная война» не более чем проявление социально-исторических закономерностей, в данном случае материализующихся в противоборстве двух систем. То есть она выступает как явление, производное от мирового развития, а не от системы международных отношений — хотя марксист не станет отрицать роли всех остальных факторов: системы международных отношений, ядерного оружия, персональных особенностей политических лидеров стран-оппонентов. Эмпирист же добросовестно постарается войти в положение как США, так и СССР, лидеров и элит двух государств и двух блоков, увидеть события как бы изнутри, глазами каждого из их участников. Для него, таким образом, «холодная война» будет единственным и неповторимым, уникальным эпизодом Истории: другой такой войны не могло быть раньше и не сможет возникнуть никогда впредь. Аналогии возможны, точное повторение исключено в принципе. Самое интересное, что каждый из троих в чем-то по-своему прав.

Практическое различие трех направлений становится наиболее зримым и принципиально важным, когда речь заходит о выборе методологии и методов исследования международных отношений и об отношении к методу вообще как средству добывания и верификации знания. Сами методы при этом могут быть весьма схожими или даже одними и теми же. Важно именно отношение к ним.

Рационалист боготворит метод, видит в нем единственно возможное и допустимое для науки средство обретения и проверки истинности знания; предельно придирчив к чистоте метода и потому предпочитает методы объективные, количественные. Парадоксально, но по этим самым причинам он способен легко отказаться от таких методов вообще (если должного, по его мнению, метода не создано или же применимость метода в конкретном случае вызывает серьезные возражения) и заменить их нормативным гипотезотворчеством, лишь бы в последнем выдерживались требования формальной логики.

Для марксиста главное — методология, под которой обычно понимается сплав диалектики, материализма и исторического подхода (в том смысле, какой вкладывался в эти понятия на рубеже XIX-XХ вв.). Если «методологии» в его глазах ничто не грозит, марксист в принципе готов принять любой конкретный метод исследования, коль скоро его применение в данном случае обосновано. С середины 70-х гг. в бывшем СССР, а ныне и в КНР (труды одного из теоретиков китайских реформ Ву Чже) развивается любопытный

синтез марксизма и системного подхода, о научных итогах которого применительно к теории международных отношений говорить пока преждевременно.

Для эмпириста метод вообще не имеет значения: главное понять другого, войти в его положение, проникнуться его представлениями, чувствами, отношением к происходившему или происходящему. Годится любой метод (включая полное его отсутствие), коль скоро он решает названные задачи. Для изучения одной и той же проблемы, ситуации одному ученому предпочтительнее один метод, другому — иной, третьему — какое-то их сочетание; выбор за самим исследователем, а потому метод для эмпириста всегда субъективен.

* * *

Смысл обращения науки к методу и методологии в том, чтобы по возможности придерживаться определенных достаточно строгих правил и приемов, во-первых, исследования изучаемых явлений и процессов; во-вторых, размышления над итогами наблюдений, опыта и вывода на их основе неких умозаключений; и в-третьих, пересмотра ранее сформулированных положений и выводов (будь то в сторону отказа от них, их частичной корректировки или дальнейшего развития). Только наличие таких правил и их строгое соблюдение делают сравнимыми, совместимыми, взаимопроверяемыми результаты всего множества отдельных наблюдений, исследований, размышлений, открывая тем самым возможности для формирования науки как системы выверенного определенным образом знания, способного неограниченное число раз и с высокой надежностью обеспечивать получение предсказуемых, однообразных результатов своего применения в сходных условиях. Наличие и использование таких правил дают также возможность в принципе оценить (иногда весьма точно) вероятные погрешность или ошибку наблюдения, опыта, эксперимента и тем самым указать на пределы (диапазон) надежности полученного знания. Если бы каждый исследователь придерживался во всем перечисленном своих собственных принципов и правил, человек, конечно, обрел бы набор разрозненных знаний и представлений (в том числе и истинных), но целостных наук такие знания бы не образовывали (как не произошло этого в тех культурах, где наблюдения и размышления над природой мира и вещей по разным причинам не были своевременно подкреплены формированием философии как прародительницы методологии).

Имевшее одно время широкое хождение представление, будто каждая наука имеет собственный метод, возможно, годилось для того времени, когда количество наук, и методов было весьма невелико, а междисциплинарные исследования не стали еще магистральным направлением развития науки. Начиная со второй половины XX в., нормой становится положение, когда каждая наука имеет в своем распоряжении арсенал собственных методов и при этом расширяет еще и круг тех, которые может заимствовать для решения определенных

классов задач из смежных (а нередко и очень далеких) сфер знания. В наше время метод, скорее, подобен сети, конфигурация, крепость и размер ячеек которой выбираются в зависимости от того, на кого предположительно ставится сеть.

Понятие «метода» находится в едином понятийном ряду с такими категориями, как «метод-методология-методика-техника эксперимента (исследования)». Единство ряда указывает на наличие общностей у всех входящих в данный ряд понятий; многочисленность же последних — на наличие также и принципиально важных различий.

Методом принято считать совокупность приемов и операций, при помощи и посредством которых осуществляется какая-либо конкретная практическая и/или теоретическая деятельность. Метод проистекает из практики: соприкасаясь с действительностью, человек задолго до появления науки вынужден был отыскивать приемы, которые позволяли бы ему достаточно уверенно получать необходимый или желаемый результат. Метод опирается на достигнутое ранее и становится исходным пунктом и условием последующих практических действий и размышлений (не обязательно научно-теоретических). Так, уверовав в Бога, человек оказался перед необходимостью наладить с Ним «рабочие» отношения, а для этого как-то разобраться, что нравится или может понравиться Богу, а что способно вызывать Его гнев. Тем самым фактически был запущен процесс познания — за тысячи лет до того, как он смог привести и привел к появлению абстрактных мысли и понятий, а позднее и науки. Сумма фактически использовавшихся человеком методов предшествовала методологии как учению о методе.

Понимание метода остается весьма широким. О методе говорят применительно к фазе процесса познания (методы эксперимента, обработки эмпирических данных, построения научной гипотезы и/или теории, верификации теории, изложения научных результатов); делят их на философские и специально-научные; различают качественные (описательные) и количественные; подразделяют по типу причинности на однозначно-детерминистские, вероятностные, много-многозначные. Современные науки на определенном этапе своего развития проводят глубокую философскую и практическую ревизию всех используемых ими методов, что является обычно принципиально важным шагом в росте самосознания и самопознания данной науки, ее возможностей. Наука о международных отношениях, резко расширившая с начала 60-х годов арсенал своих методов, объективно стоит сейчас перед потребностью и перспективой такой ревизии.

Под методологией в современной науке и теории познания понимаются, во-первых, учение о системе принципов и способов организации какой-либо сферы деятельности (как теоретической, так и практической); а во-вторых, конкретные набор, комплекс, система конкретных принципов и способов организации данной деятельности. В последнем смысле одинаково правомерно говорить не только о методологии науки, но и о методологии обучения, политической деятельно-

сти, аппаратной работы, разведки, журналистики и т.д. При этом тот факт, является ли конкретная совокупность принципов и способов организации данной деятельности набором, комплексом или системой, служит принципиально важным указанием на уровни специализации и развития соответствующих сферы или вида деятельности: набор обычно свидетельствует об этапе ее становления, система — об уже высокой развитости.

Применительно к теоретическому изучению международных отношений правомерно пока говорить о завершении в общем и целом формирования комплекса методологических приемов и средств этой науки и появлении (но не более, чем появлении) первых признаков начинающейся качественной трансформации этого комплекса в систему. Ранее накопленное знание и его организация образуют одну из важнейших частей методологии; поэтому отсутствие у науки ее собственной общей теории объективно препятствует формированию системности методологии этой науки.

Если метод складывался в практике и даже науке стихийно, то методика — следствие научного осмысления метода как явления, а также совокупностей конкретных методов и опыта их использования. Методика суть искусственно создаваемый (на базе общей методологии и теоретико-методологических положений конкретной науки) комплекс методов, предназначенный для решения определенного класса задач (как правило, особо важных и/или наиболее часто повторяющихся) с тем, чтобы обеспечить высокую степень стандартизации множества конкретных исследований во всех их составных частях, а тем самым и высокую стандартизацию получаемых результатов, определение их вероятностных характеристик для дальнейшего использования таких результатов в фундаментальной, прикладной науке и практике.

В области теории международных отношений методик в строгом смысле слова пока не существует (поскольку неясны критерии стандартизации), но попытки их создания предпринимаются давно и целенаправленно. Ближе всего к методикам в строгом смысле этого понятия подходят исследования, авторы которых ставят целью выявление объективных, по их мнению, количественных характеристик явлений международного конфликта и войны (проект «корреляты войны», осуществляемый Д.Сингером с середины 60-х гг., и направление «корреляты конфликта»).

Наконец, техникой исследования и/или эксперимента называют обычно совокупность предельно конкретных приемов и методов, характеризующих данное исследование во всех его частях, а также специфические средства и способы получения, сбора, обработки ключевой для данного исследования информации. В таком смысле нет и не может быть исследования, которое не обладало бы собственной техникой (что справедливо для всех работ по теории международных отношений). Уровень развития каждой науки, однако, диктует свой минимум стандартных требований к организации и проведению исследования, эксперимента. И в этом смысле эксперимент в исследо-

вании международных отношений вообще невозможен, а каких-либо стандартов в отношении организации и проведения конкретного исследования (кроме самых общих, действующих во всех сферах науки) пока не существует. И это также подтверждение того, что наука о международных отношениях лишь вступает в стадию формирования своей теории в строгом смысле этого понятия.

Методологическую базу современной науки о международных отношениях образуют, таким образом, общенаучные принципы и положения науки методологии, а также широкий спектр исторически сложившихся методов, пришедших в теорию международных отношений как из других наук, так и из практики.

Различают методы формальные и неформальные, причем вторые стали выделяться как класс методов только с конца 60-х гг., после широкого вторжения в науку о международных отношениях первых.

Под формальными методами понимают в узком смысле применение формальной логики и математического аппарата к изучению и/или объяснению международных отношений в целом либо их отдельных явлений и процессов; в широком смысле — вообще достаточно дисциплинированное и жесткое использование в методике исследования четко определяемых понятий и категорий, понятийных рядов, уровней описания, сравнения и т.п.

Под методами неформальными понимают те, что обходятся без перечисленных выше особо жестких самоограничений, хотя и следуют каждому своим правилам и принципам. Именно эти методы исторически легли в основу современной науки о международных отношениях. В силу их относительно свободного характера каждая из групп неформальных методов может включать значительное число более частных методов и методик.

Ведущее среди неформальных методов место исторически безусловно принадлежит историко-описательному методу, сущность которого понятна из названия. Он — основа истории дипломатии, международных отношений и внешней политики отдельных государств, многочисленных работ по анализу явлений и процессов текущей международной жизни. Его разновидностью является политико-описательный метод, по существу, часто сводящийся к реферированию документальных источников. В то же время оба описательных метода нельзя недооценивать: они дают ту первичную фактологическую информацию, лишь на которой и могут основываться все последующие теоретические построения. Ясно, что полнота и качество такой информации решающим образом определяют ценность ее последующих анализов и интерпретаций.

Весьма существенное место в науке о международных отношениях принадлежит также двум родственным — нормативно-идеологическому и нормативно-гипотезотворческому методам. Первый выводит положения науки о международных отношениях из той или иной идеологии, либо не сознавая этого, либо сознавая, но будучи неколебимо уверен в собственной правоте (этот метод дал концепции

«политического реализма» и геополитики). Второй следует логике разума, а не веры: сознавая дефицит эмпирического и/или теоретического материала, он компенсирует его выстроенными на базе тех или иных концепций гипотезами, отдавая при этом себе отчет в возможных издержках такого подхода (концепции внешней политики государств, концепции международной интеграции).

Интуитивно-логический и формально-логический методы едины в стремлении руководствоваться логикой, но отдают предпочтение различным ее видам. Второй, как следует из названия, опирается на логику формальную (распространенный в исследованиях международных отношений вариант — на логику права). Первый же руководствуется, скорее, тем, что на момент проведения исследования принято считать «здоровым смыслом», «само собой разумеющимся» — в науке, политике, массовом сознании (что не одно и то же и может даже противоречить друг другу). Этот метод иногда очень трудно отличить на практике от нормативно-гипотезотворческого.

Еще одну группу родственных неформальных методов составляют операционально-прикладной и аналитико-прогностический. При многих различиях их объединяет нацеленность на решение прикладных задач и получение результатов, которые могли бы найти прежде всего прямое политическое (и не обязательно теоретическое) применение. К операционально-прикладным можно отнести разные методы анализа ситуации (простое и включенное наблюдение, изучение документов и объективных материальных источников, сравнительный анализ); методы анализа содержания (контент-анализ, анализ событийных данных, когнитивное картирование), методы анализа вариантов поведения (имитации, ситуационные анализы, деловые, штабные и стратегические игры).

Аналитико-прогностические методы нацелены на прогноз более сложных, чем отдельные ситуации и варианты поведения, процессов и явлений: динамики международной системы в целом, ее отдельных географических и проблемных направлений и т.д. Сама прогностика — одна из наиболее динамично развивающихся сфер методологии, в ней исключительно много дискуссионного. В последние годы получают признание и распространение такие интересные теоретические ее ответвления, крайне важные для изучения международных отношений, как альтернативистика (вероятные и/или возможные реально исполнимые варианты будущего), ретроальтернативистика (реально возможные, но упущенные варианты прошлого). С точки зрения ценности практической отдачи пока лучше всего зарекомендовали себя сценарный метод (построение сценариев гипотетического хода развития событий и выдача принципиальных рекомендаций на случай материализации каждого из сценариев) и методы экспертного анализа (мозговая атака, метод «дельфи», др.).

На стыке традиционных неформальных и широко понимаемых формальных методов расположился с конца 60-х годов системный подход. Это направление принадлежит к числу наиболее интенсивно

развивающихся в науке, многое в нем пока остается дискуссионным. Родившись в биологии, быстро и продуктивно акклиматизировавшись в кибернетике, системный подход по мере наступления компьютеризации начал агрессивное и в высшей степени успешное вторжение во все сферы теории и практики, не миновав и исследования международных отношений.

Явление научной и политической моды распространено не менее, чем моды на одежду, виды отдыха или дизайн автомобиля. Благодаря ему в науке о международных отношениях утвердился к настоящему времени широкий спектр понимания системы: от банального «все со всем взаимосвязано» до осознанного, принципиально разного видения разных типов систем. В числе последних выделяются:

— система как комплекс «взаимодействий в одной плоскости» (концепции «баланса сил», геополитики);

— система как иерархический комплекс взаимосвязей единого целого (практический вариант — анализ процессов принятия решений во внешней и общей политике, государственном управлении, военной сфере, вопросах безопасности; анализ процессов формирования и осуществления внешней политики государства и т.д.);

— система как многоуровневый комплекс взаимодействий ряда (множества) иерархических комплексов-субъектов международных отношений (концепции интеграции, стабильных структур международных отношений, взаимозависимого мира);

— система как процесс формирования новой иерархической целостности из относительно более простых (но все же внутренне достаточно сложных) целостностей «низших» порядков (концепции мирового сообщества, «глобальной деревни» и т.п.).

Наконец, сплав идеи системности с концепциями эволюции и развития естественно и закономерно приводит к постановке проблемы самоорганизации систем (синергетики) — ее природы и причинности, движущих сил, предпосылок начала и критических точек («точек бифуркации», в которых зарождаются последующие глубокие кризисы, мутации и трансформации уже существующих систем. Именно тут легко узнается наиболее важный и потенциально продуктивный «стык» международных отношений (и их теории) со сферами внутренней эволюции субъектов международных отношений, их внешней политики, а также с ходом и промежуточными результатами процессов мирового развития. Марксистская мысль поставила эти вопросы еще полтора столетия назад, но не могла решить их на базе знаний того времени. Современные общественные науки, прежде всего теория международных отношений, возвращаются к их постановке, но уже на принципиально иной теоретической и методологической основе.

К числу узко понимаемых формальных методов относятся прежде всего модели международных отношений в целом и/или отдельных их граней, явлений. Построение моделей считается относительно новым направлением в методологии и до сих пор принадлежит к числу так называемых «модернистских», хотя самая первая модель в

области международных отношений, до сих пор сохраняющая свою теоретическую, методологическую и практическую ценность — модель гонки вооружений Л.Ричардсона, — была создана вскоре после окончания Первой мировой войны. Построению моделей принадлежит в теории международных отношений, несомненно, большое будущее, особенно в сочетании с научными методами построения макрогипотез, методами прогностики. Имеющийся в этой сфере опыт свидетельствует — всякая модель может быть создана лишь на базе соответствующих теории и/или гипотезы. Корректно выстроенная модель способна в принципе подтвердить, скорректировать, опровергнуть теорию. Она, однако, не может сама по себе такую теорию создать, особенно «на пустом месте» (на что надеялись отдельные энтузиасты этого метода на стадии его первого соприкосновения с изучением международных отношений в 60-е гг.). Но моделирование (прежде всего теория игр и основанные на ней методики) показало свою ценность и полезность в подготовке и обучении кадров, их специальных тренировках.

Чисто количественные (статистические) методы в приложении их к изучению отдельных областей международных отношений (войны, конфликты; материальный потенциал государств) пока не дали впечатляющих результатов. Как отмечается в литературе, связано это с отсутствием общей теории измеряемых явлений и процессов; трудностями измерения или даже принципиальной неизмеримостью многих важнейших их характеристик; сложностью взаимосвязей между внешними проявлениями и сущностными аспектами явлений и процессов международной жизни.

По теме может быть рекомендована следующая литература:

- Барг М.А.* Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987;
Бестужев-Лада И.В. Прогнозное обоснование социальных нововведений М., 1993;
Коллингвуд Д. Идея истории. М., 1986;
Концепция самоорганизации в исторической ретроспективе. М., 1994;
Кун Т. Структура научных революций. М., 1977;
Научный метод // *Thesis* (Спецвыпуск альманаха). Том II. Вып. 4. М., 1994;
Новиков Г.Н. Теории международных отношений. Иркутск, 1996;
Панарин А.С. Философия политики. М., 1996;
Поздняков Э.А. Системный подход и международные отношения. М., 1976;
Поздняков Э.А. Философия политики. В 2-х тт. М., 1994;
Современные буржуазные теории международных отношений. Критический анализ. М., 1976. Главы III, IV;
Утопия и утопическое мышление. Антология зарубежной литературы. М., 1991;
Цыганков П.А. Международные отношения / Учебное пособие. М., 1996. Главы III, IV;

- Cioffi-Revilla C.* The Scientific Measurement of International Conflict // A Handbook of Datasets on Crises and Wars, 1495-1988. Boulder; London, 1990;
- Doyal L., Harris R.* Empiricism, Explanation and Rationality. L., 1986;
- Feyerabend P.K.* Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge. L.; N.Y., 1993;
- Groom A.J.R., Light M. (eds)* Contemporary International Relations: A Guide to Theory. L.; N.Y., 1994;
- Haglund D., Hawes M. (eds)* World Politics: Power, Interdependence and Dependence. Toronto, 1990;
- Hollis M., Smith S.* Explaining and Understanding in International Relations. Oxford, 1991;
- Knorr K., Rosenau J. (eds)* Contending Approaches to International Politics. Princeton, 1969;
- Knutsen T.L.* A History of International Relations Theory. Manchester, 1992;
- Most B.A., Starr H.* Inquiry, Logic and International Politics. Columbia, S.C., 1989;
- Olson W.C., Groom A.J.R.* International Relations Then and Now. L., 1992;
- Reynolds C.* The Politics of War: A Study of the Rationality of Violence in Inter-State Relations. Hemel Hempstead, 1989;
- Reynolds C.* The World of States: An Introduction to Explanation and Theory. Aldershot, 1992;
- Singer J.D. (ed)* Quantitative International Politics: Insights and Evidence. N.Y., 1968;
- Singer J.D., Diehl P.F.* Models Methods and Progress in World Politics. Beverly Hills, 1990;
- Singer J.D., Diehl P.F. (eds)* Measuring the Correlates of War. Ann Arbor, 1990;
- Warren D.M., Slikkerveer L.G., Brokensha D. (eds)* The Cultural Dimension of Development: Indigenous Knowledge Systems. L., 1995.

ГЛАВА 4. НОРМАТИВНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

М.А.Хрусталеv

I. Содержательное политическое исследование

Нормативный политический анализ — это, в сущности, применение политологии для проведения прикладного политического исследования, объектом которого являются существующие реалии политической жизни общества, и которое, в принципе, ориентировано на получение практически полезных результатов. Последнее положение не следует понимать излишне упрощенно, хотя бы в силу того, что практическая полезность может быть не только непосредственной, но и косвенной, причем первая далеко не всегда больше второй.

Нормативный политический анализ актуализуется в трех видах прикладных политических исследований: содержательном, экспертном и модельном. Двум первым присущ логико-интуитивный метод, а третьему, естественно, метод моделирования. Что касается исследовательских подходов, то отнюдь не все они в нем активно задействованы. Особенно это относится к замещающим, среди которых наиболее распространенным можно считать в настоящее время «теоретико-игровой» подход (применение теории игр). Из субстанциональных в этом плане выделяются историософский и факторный подходы. Наиболее продвинутый в общенаучном смысле системный подход для своего эффективного применения нуждается еще в достаточно серьезной доработке.

Из трех указанных типов прикладных политических исследований изначальным является содержательное. Его генезис (в нормативно-эмпирическом варианте) относится к очень далекому прошлому. Первым политическим аналитиком по праву считается древнегреческий историк Фукидид, который был отцом аналитической истории. В отличие от истории описательной для нее характерно сочетание фактологии с аналитико-прогностическими положениями. Мощным стимулом ее развития стала разработка Аристотелем основ политической философии, что привело к формированию историософского подхода, который стал использоваться в политическом анализе. Появление политологии ослабило его значение, но не в такой степени, чтобы можно было считать его рудиментом прошлого. Его сильной стороной является принцип историзма, то есть представление исследуемого объекта не в статике (по состоянию на некий момент времени), а в динамике (в процессе развития).

В этой связи сразу же возникает вопрос о роли принципа историзма в прикладном содержательном исследовании, которое по своей природе не является историческим. Вместе с тем, нет, видимо, осо-

бой необходимости доказывать, что без достаточных знаний об эволюции объекта очень сложно сформировать адекватное представление о нем и перспективах его развития, а, следовательно, фактологическое описание должно присутствовать. Соответственно, возникает необходимость наметить, хотя бы в первом приближении ту границу, которая отделяет историческое исследование от прикладного политического.

Ответ на него в каком-то смысле дает аналитическая история, в которой разработан и применяется, хотя и не всегда строго, понятийный ряд: этап — период — эпоха — эра. Образующие его таксономические единицы отображают временную структуру процесса социальной эволюции в целом и политического развития в частности. Несмотря на то, что каждая из этих единиц представляет собой некий отрезок времени, но он не фиксирован жестко. Это некий временной интервал, причем, чем выше по таксономической иерархии, тем его временные рамки менее четки. Более того, сама таксономическая иерархия на деле не отличается строгостью, то есть эра может включать наряду с эпохами и отдельные (в известном смысле автономные) периоды, а эпоха не только периоды, но и отдельные этапы. Наличие такого ряда отдельных периодов и этапов есть отражение феномена переходности¹.

Отсутствие правильной (в количественном отношении) политической ритмики в немалой степени обусловлено тем, что принято называть субъективным фактором. Появление выдающегося государственного деятеля оказывает серьезное влияние на ход политического развития, хотя отнюдь не всегда позитивное. Как правило, оно формирует политическую эпоху, если такой политический деятель стоит во главе страны длительное время. В этом плане история нашего Отечества дает немало ярких примеров, да и не только она. Конечно, в условиях авторитарного политического режима его возможности выше, чем в условиях демократии, однако пример М.Тэтчер демонстрирует, что они не так малы, как кажется на первый взгляд.

В вышеприведенном понятийном ряду низшей таксономической единицей является понятие «этап». Он представляет собой время бытия определенной ситуации, понимаемой как относительно неизменное состояние изучаемого объекта. В этом и только в этом смысле ситуация статична. Политика — это всегда борьба, что делает временные рамки существования ситуации достаточно ограниченными.

¹ Данный таксономический ряд представляет собой не что иное, как результат использования логико-интуитивного метода для выявления процесса политической ритмики. Его принципиальной особенностью является представление о временной нестрогости таксономических единиц. В качестве альтернативы ему выступает представление о наличии в социальной, а следовательно, и политической жизни строгих временных циклов (от 3 лет до 1000). На этой основе разработан целый спектр моделей (см.: Социс. 1992. № 6) явно изоморфной природы.

ми, хотя в зависимости от страны они могут варьироваться в большей или меньшей степени.

На смену одной ситуации приходит другая, генетически связанная с предшествующей, причем различие между ними может быть существенным или несущественным. Соответственно, в первом случае налицо начало нового периода, а во втором — продолжение предыдущего. Иначе говоря, период — это ряд взаимосвязанных ситуаций, объединенных некоей общей тенденцией развития. Период, будучи частью процесса политической эволюции, является в известном смысле единицей политической диалектики, то есть элементарным подпроцессом в процессе политической эволюции.

Что касается двух других понятий — «эпоха» и «эра», — то в отличие от периода для них характерно наличие не только различных, но и альтернативных тенденций, но при сохранении атрибутивных свойств объекта. Например, советская эра в истории нашего Отечества характеризовалась наличием тоталитарного политического режима, а эпоха Сталина — террором, но в одни периоды его власти он был массовым, а в другие — нет.

Исходя из сказанного, хотя и в первом приближении можно наметить тот рубеж, который отделяет историческое исследование от прикладного. Им является период. В сферу прикладного исследования входит нынешний этап (существующая ситуация) и текущий период (незавершившийся подпроцесс). Все остальное относится к сфере исторического исследования. Прикладное содержательное исследование, будучи актуальным, в принципе обладает непосредственной политической полезностью, а историческое — лишь косвенной. Причем говоря об этой последней, следует иметь в виду, что таковой обладают не описательные, а аналитические исторические исследования.

Содержательное политическое исследование как в прикладном, так и в историческом вариантах имеет две основные формы: статью и монографию. Их подготовка и публикация требуют достаточно длительного периода времени. Для статьи это обычно месяцы, а для монографии — годы. Видимо, нет особой необходимости доказывать, что подобный лог заказывания является серьезным недостатком прикладного содержательного исследования¹.

Данный недостаток проявляется особенно наглядно в условиях политической нестабильности, когда политической жизни присущ динамизм. За время написания монографии в таких условиях может несколько раз поменяться тенденция развития, а иногда даже сам исследуемый объект может стать достоянием прошлого. Быстрое развитие событий переводит прикладное содержательное исследова-

¹ В качестве паллиатива зачастую используются научные доклады, однако, в силу их лапидарности их практическая полезность достаточно ограничена, и кроме того, недостаток времени на их подготовку может влиять негативным образом на их качество, сближая их с политической публицистикой.

ние в разряд исторических. Стремление свести на нет данные лог заказывания, присущий любому содержательному политическому исследованию, привело к появлению и развитию экспертного политического исследования (политической экспертизы).

II. Политическая экспертиза

В самом общем виде под экспертизой принято понимать опрос высококвалифицированных специалистов (экспертов) с целью получения от них вторичной информации об исследуемом объекте. Объектом политической экспертизы, как правило, является существующая политическая ситуация или один из ее аспектов, так как она в подавляющем большинстве случаев является одной из стадий процесса подготовки политического решения. В отличие от содержательного исследования она проводится в сжатые сроки и по четко определенной ее организаторами тематике.

Несмотря на то, что появление политической экспертизы — явление относительно недавнего времени, ее генезис относится к далекому прошлому. Уже в древности любое сколько-нибудь серьезное политическое решение не принималось без обращения за консультацией к гадалкам, астрологам и другим универсальным «экспертам» того времени. Особенно влиятельными политическими консультантами были жрецы, которые были своего рода монополистами по выяснению «воли богов». Не зная ее, что либо предпринимать считалось тогда делом более чем рискованным.

В сущности, за этим стояло вполне естественное стремление людей устранить неопределенность, а то и заручиться поддержкой потусторонних сил, могущество которых гарантирует успех любого начинания. Значение мнения этих универсальных «экспертов» резко возрастало в сложных и, особенно, в кризисных ситуациях. По всей вероятности, именно это обстоятельство породило тенденцию инструментального использования представителями правящей элиты этого мнения для манипулирования настроениями масс: особенно успешно это делали полководцы, использовавшие «благоприятные предсказания» для подъема боевого духа войск.

Утверждение мировых (универсальных) религий и прежде всего христианства и ислама заметно подорвало влияние универсальных «экспертов», но, тем не менее, они благополучно дожили до наших дней и продолжают играть роль политических консультантов. Их услугами и сейчас достаточно широко пользуются политические и государственные деятели, причем не только в развивающихся, но даже в развитых странах.

Появление профессиональных политических консультантов, то есть экспертов в полном смысле слова связано с появлением института постоянных советников в государственном аппарате, а затем в политических партиях и общественно-политических организациях. Однако только использование ученых в качестве советников привело к возникновению экспертизы в строгом смысле слова. Оно стало

возможным, прежде всего, благодаря появлению нормативного политического анализа.

Во второй половине XX века развитие политической экспертизы проходило достаточно быстрыми темпами, что привело к появлению разнообразных ее форм, совокупность которых представляется в следующем виде.

Таблица 4

Регламентация \ Участие	I — Свободная	II — Регулируемая	III — Программируемая
A. Индивидуальная	Консультация Интервью	Тематическая разработка	«Экспертная система»
B. Коллективная (очная)	«Круглый стол»	«Мозговой шторм», «Комиссия»	Имитационная игра
C. Групповая (заочная)	Анкетирование (открытые вопросы)	Анкетирование (закрытые вопросы)	«Экспертные оценки»

Приведенная таблица требует некоторых пояснений. В ней использованы две группы критериев, обозначенных как «участие» и «регламентация». Первая характеризует количество экспертов и форму их участия в экспертизе, а вторая — степень регламентации их работы. При свободной экспертизе она — минимальна, а при программируемой — максимальна. Вообще, необходимость регламентации обусловлена прежде всего тем обстоятельством, что экспертная информация, по крайней мере в принципе, предназначена для разработки вполне конкретного политического решения, а, следовательно, должна быть строго целенаправленной. Перед содержательным исследованием такая задача, как правило, не стоит.

Хотя в таблицу занесены далеко не все, а лишь наиболее распространенные формы экспертизы, тем не менее, она дает достаточно полное представление не только о ее современном состоянии, но и позволяет проследить основные тенденции ее эволюции. Первичными формами были индивидуальная и коллективная свободная экспертиза. На основе этой последней развились все остальные более сложные ее формы, для которых была характерна ярко выраженная тенденция к усилению регламентации, с одной стороны, и увеличению числа опрашиваемых экспертов, с другой.

В ее основе лежало вполне понятное стремление добиться максимальной объективности, достижение которой виделось только че-

рез количественный результат. Немалую роль в этом плане сыграла и практика массовых социологических опросов, где действует принцип: «один человек — один голос» и где чем больше выборка, тем надежнее результат. В экстремальном варианте данная тенденция привела, например, к тому, что в рамках методики «экспертных оценок» задача эксперта сводилась к проведению сугубо измерительной операции (оценке вероятности, значимости и т.д.). В сущности, это уже был переход к моделированию.

Своего пика данная тенденция достигла в 70-е годы, затем постепенно наметился ее спад, так как не удалось решить большинства из порожденных ей проблем. Прежде всего, оказалась нерешенной проблема соотношения мнения меньшинства и большинства. Попытки ее игнорировать и ограничиваться лишь констатацией наличия различных мнений были заведомо несостоятельными, так как сохраняли неопределенность, ибо в групповых формах экспертизы фактически отсутствовала аргументация сторонников различных точек зрения. Разработка все более сложных и, в частности, интерактивных (многоуровневых) методик опроса к сколько-нибудь серьезным успехам не привела¹.

Кроме того, увеличение числа участников экспертизы отнюдь не повышало, а иногда и понижало точность результата. Дело в том, что в этом случае возрастала вероятность включения в состав экспертов лиц, которые не отвечают тем требованиям, которые предъявляются к эксперту.

Осознание значимости вышеуказанных проблем стимулировало возврат к эксперту как к явлению неординарному и, следовательно, интерес к его мышлению (особенно выдающихся экспертов). Это привело к созданию так называемых «экспертных систем», то есть компьютерных моделей мышления выдающихся экспертов, однако их возможности оказались ограниченными, поскольку интуиция остается слабоисследованным объектом современной науки².

В нормативном политическом анализе очевидное предпочтение отдается коллективным формам свободной и регулируемой экспертизы, прежде всего традиционному «круглому столу». Это отнюдь не случайно, поскольку их применение позволяет оптимально использовать сильные стороны логико-интуитивного метода. При этом особую роль, естественно, играет строгий отбор экспертов. Соответственно, представляется целесообразным остановиться на тех качествах, которые делают эксперта таковым.

¹ В этом отношении весьма показательны многочисленные попытки совершенствования методики «Дельфи». (См.: Бурков В.Н., Палкова Л.А., Шнейдерман М.В. Получение и анализ экспертной информации. М.: Институт проблем управления, 1980 (препринт)).

² Подробно об экспертных системах см.: Элти Дж., Кумбс М. Экспертные системы: концепции и примеры. М., 1987.

Эксперт-политолог: профессионально-психологический портрет

Вся совокупность тех качеств, которыми должен обладать специалист для того, чтобы считаться экспертом, может быть подразделена на четыре группы: компетентность, профессиональный опыт, интеллект и характер.

В качестве исходного требования к эксперту выступает компетентность, то есть наличие большого объема специальных знаний, ибо эксперт — это прежде всего высококвалифицированный специалист в определенной предметной области. Однако только этого для эксперта-политолога явно недостаточно. В силу комплексной природы политики ему необходимы также достаточно серьезные знания в ряде смежных областей (экономика, право, военное дело). Таким образом, потенциал компетентности эксперта-политолога включает две составляющие: профильную и сопряженную.

Несмотря на то, что профильная составляющая является, бесспорно, доминантой, значение сопряженной также достаточно велико, поскольку от ее состояния непосредственно зависит такое качество эксперта, как эрудированность. В принципе, неэрудированный специалист экспертом быть не может. Недостаточный уровень эрудиции даже при наличии больших и глубоких профильных знаний резко ограничивает аналитические возможности специалиста, превращая его во многих случаях лишь в источник чисто фактологической информации и не более. Это и понятно, так как в рамках профильной составляющей всегда имеет место определенная специализация. В самом общем виде она выражается в подразделении политологов на специалистов в области внутренней политики (политологи-страноведы) и внешней политики (политологи-международники). Подобного рода дифференциация может и не иметь места в том случае, если изучаемая специалистом страна небольшая, слабо развитая или относительно недавно стала независимой. Как правило, в этом случае выделение внешней политики не имеет особого смысла, то есть политолог-страновед выступает как универсал.

И наоборот, если изучаемая страна большая, да еще и развитая, указанная дифференциация оказывается совершенно необходимой. Для великих держав и ее оказывается недостаточно, то есть происходит специализация по отдельным аспектам внутренней политики, что ведет к разделению политиков-страноведов на специалистов узкого и широкого профиля. Что касается политологов-международников, то для них характерна не только ни меньшая, но даже большая дифференциация. Обычно выделяются четыре их основные категории: проблемники, страноведы, регионалисты, глобалисты. Кроме того, они могут быть специалистами как широкого, так и узкого профиля.

Из сказанного следует, что степень дифференциации профильной специализации достаточно велика, что ставит перед организаторами коллективных и групповых экспертиз проблему определения относительного сочетания экспертов различных категорий с тем, чтобы

обеспечить всестороннее изучение исследуемого объекта. Далеко не всегда это ими осознается в должной мере.

Высокий потенциал компетентности для того, чтобы быть эффективно реализованным, нуждается в обязательном подкреплении профессиональным опытом, а точнее, опытом самостоятельного политического анализа, причем, как минимум, нормативно-эмпирического, но лучше, естественно, нормативного. Дело в том, что самые глубокие и обширные знания без отработанных навыков их прикладного применения не гарантируют желаемого результата. Именно достаточный профессиональный опыт делает соответствующие знания прикладными в полном смысле этого слова. Профессионализм эксперта, в конечном счете, выражается в наличии у него оптимального сочетания знаний и навыков.

Формирование данного сочетания имеет некоторые особенности, которые не следует упускать из виду. Во-первых, отработка аналитических навыков всегда сопровождается накоплением знаний, но не наоборот, то есть никакое накопление знаний само по себе не ведет к выработке данных навыков. Более того, накопление знаний об исследуемом объекте всегда имеет некий рациональный предел, который можно квалифицировать как «порог информационного насыщения», переход которого не повышает, а понижает аналитические возможности. Дело в том, что вполне естественное стремление получить предельно полную информацию постепенно и даже вопреки воле исследователя, концентрирует его внимание на все более мелких деталях ситуации, и это ведет достаточно часто к утрате целостного представления о ней. Очень метко этот феномен выражен русской пословицей: «за деревьями не видит леса»¹.

Во-вторых, пополнение знаний требует значительно меньшей затраты времени и усилий, чем отработка аналитических навыков. Соответственно их утрата или ослабление могут оказаться невосполнимыми, чего никак нельзя сказать о знаниях.

Накопление профессионального опыта происходит как в ходе практической политической, так и научно-исследовательской деятельности. И хотя границы между ними по мере быстрого повышения наукоемкости практической деятельности перестают быть столь четкими, как это было еще в недавнем прошлом, тем не менее, существенные различия между ними остаются. Каждая из них по-своему обогащает профессиональный опыт эксперта и, соответственно, необходима. Вопрос об их пропорции решается сугубо индивидуально с учетом состояния интеллекта эксперта.

Интеллектуальный уровень эксперта всегда достаточно высок, так как без этого он не смог бы стать таковым, а остался бы лишь более или менее квалифицированным специалистом. Вместе с тем, это

¹ Видимо, можно говорить об определенном психологическом феномене, когда стремление к профессиональному совершенствованию гипертрофируется до такой степени, когда оно трансформируется в любопытство.

не исключает, а предполагает наличие качественной разнородности интеллекта. В силу того, что эксперты используют логико-интуитивный метод исследования, сущностные различия их интеллекта предопределяются соотношением логических способностей и интуиции.

С достаточным основанием можно полагать, что природой заложено некое сбалансированное их соотношение, которое и является нормальным. Сбалансированность не следует, конечно, понимать упрощенно, как нечто абсолютно строгое. Известно, например, что мужчины обладают большими логическими способностями, чем женщины, а женщины более развитой интуицией. Иначе говоря, природная норма достаточно вариативна. Выход за пределы нормы приводит к появлению людей с выдающимися логическими способностями или высокоразвитой интуицией. Исходя из этого, можно подразделить экспертов на ординарных и неординарных, и последних на экспертов-рационалистов и экспертов-интуитивистов. Как и любое отклонение от природной нормы, неординарные эксперты представляют собой достаточно редкое явление.

Если оценить аналитические и прогностические возможности вышеуказанных типов экспертов, то получается следующая картина. Ординарный эксперт обладает хорошими аналитическими и средними (реже — хорошими) прогностическими возможностями. Эксперт-рационалист — отличными аналитическими и хорошими прогностическими возможностями, а эксперт-интуитивист — средними (реже — хорошими) аналитическими и отличными прогностическими возможностями. Таким образом, ординарные эксперты в принципе могут обеспечить надежные аналитико-прогностические результаты, а неординарные — выдающиеся. Оценивая роль экспертов-рационалистов и экспертов-интуитивистов в получении выдающихся результатов нельзя не признать определенное превосходство первых. Дело в том, что любое серьезное политическое суждение нуждается в строгом обосновании, а самая высокоразвитая интуиция этого дать не может. Она в силу своей природы исключает ответ на вопрос: почему?

Не случайно, логическое обоснование своей точки зрения дается эксперту-интуитивисту, как правило, с большим трудом и далеко не всегда является убедительным. Именно по этой причине он предпочитает излагать свое мнение в устной, а не письменной форме. Он также избегает участия в составлении тематических разработок. Специфические особенности его интеллекта тесно связаны с чертами его характера.

Он — коллективист и охотно участвует в дискуссии. Она стимулирует его творческую активность и в ее ходе у него могут родиться наиболее удачные прогностические соображения. В отличие от него эксперт-рационалист — это в большинстве случаев ярко выраженный индивидуалист. Необходимость участия в дискуссии зачастую порождает у него ощущение дискомфорта. Он предпочитает письменное изложение своих взглядов и ему предпочтительнее поручать составление тематических разработок.

Что касается ординарных экспертов, то у них не наблюдается столь очевидной связи между состоянием интеллекта и отмеченными чертами характера, которые нельзя квалифицировать ни как негативные, ни как позитивные, а следует лишь учитывать при организации экспертизы, чтобы не побуждать эксперта делать то, что создает у него ощущение дискомфорта, отрицательно влияющее на эффективность его работы.

При всем разнообразии характеров экспертов-политологов у них, тем не менее, вырабатывается ряд психологических особенностей, среди которых обычно наиболее четко выраженными являются неконформизм и толерантность. Первый находит свое конкретное выражение, прежде всего, в скептическом отношении к официальным оценкам и мнениям, особенно если они подкрепляются широкоформатными кампаниями в средствах массовой коммуникации (СМИ).

По мере развития пропагандистских технологий и, в первую очередь, в электронных СМИ, противостоять их психологическому давлению становится все сложнее, так как зрительные образы воздействуют на подсознание, а следовательно, формирование отношения к объекту оказывается латентным, неподконтрольным сознанию. Противостояние подобному прессингу СМИ — задача не из легких. Она облегчается, если существует альтернативная официальной точка зрения, которая бывает демонстративной, если ее высказывает политическая оппозиция, или замаскированной, если отражает ведомственно-корпоративные интересы.

И наоборот, эта задача существенно усложняется, когда альтернативная официальной точка зрения отсутствует или слабо выражена, то есть налицо общее мнение, с которым эксперт не может согласиться. Вместе с тем, его открытое выступление против подобного рода общего мнения, да если оно еще опирается на определенные идеологические императивы и политические мифологемы, ничего не даст. Оптимальным способом действий для него является дозированная конструктивная критика, а это требует достаточно высокого уровня толерантности. Эффективность указанной дозированной критики во многом предопределяется формой ее подачи, что зачастую делает необходимым использование разного рода дипломатических приемов.

Вообще, роль толерантности, естественно, не ограничивается указанным случаем. Она, в принципе, вводит неконформизм в рациональные рамки и, что не менее важно, значительно понижает уровень эмоциональности при восприятии критики. В этой связи следует отметить, что повышенная эмоциональность представляется тем существенным недостатком, который ставит под вопрос целесообразность использования обладающего ей эксперта, причем не только в коллективных формах экспертизы.

Экспертное исследование

Несмотря на то, что экспертиза — это получение информации, тем не менее, она может включать и ее изучение. Когда экспертная информация подвергается изучению, налицо уже не просто эксперти-

за, а экспертное исследование. Ее изучение осуществляется организаторами экспертизы по полному циклу (включая отбор, обработку и осмысление) или, что гораздо чаще, по неполному. Необходимость изучения экспертной информации имеет место только при коллективных и групповых формах. Индивидуальная же экспертиза по своей природе это исключает, так как предусматривает лишь фиксацию мнения экспертов и не более, и наоборот, групповая экспертиза всегда включает изучение и, обязательно, стадию осмысления, ибо, как уже отмечалось выше, количественные результаты требуют интерпретации. Еще более вариативна в этом отношении коллективная экспертиза.

В отличие от индивидуальной экспертизы, где роль эксперта в известном смысле абсолютна, групповые и особенно коллективные формы нуждаются в тщательной организации. Соответственно, их успех или неудача зависят не только от экспертов, но и в немалой степени от организаторов. Особенно существенна роль последних при проведении экспертного исследования, где им приходится выполнять не только чисто технические, но и определенные исследовательские функции.

Как таковое, экспертное исследование состоит из трех стадий: подготовки, проведения и оценки результатов. Первая из них, стадия подготовки, является организационно наиболее сложной и трудоемкой. Допущенные на этой стадии просчеты и недоработки в дальнейшем, как правило, непоправимы. Она включает пять фаз: оценку условий, целеполагание, выбор формы, отбор экспертов и разработку необходимой документации.

В качестве основных критериев условий проведения экспертизы принято выделять: наличный ресурс времени, степень ответственности и уровень информационной обеспеченности. Ключевым является первый, так как недостаток времени практически ничем нельзя компенсировать. В сочетании с низкой информационной обеспеченностью и высокой степенью ответственности он делает условия экстремальными (крайне неблагоприятными). Они объективно порождают состояние стресса не только у организаторов, но и у экспертов, хотя, естественно, в меньшей степени. Хорошо известно, что в состоянии стресса люди делают гораздо больше ошибок, в том числе и элементарных.

Если ресурс времени значителен, то недостаток информации в принципе может быть устранен, а к высокой ответственности участники экспертного исследования (организаторы и эксперты) в той или иной мере адаптируются (действует эффект привыкания). И хотя высокая ответственность не позволяет полностью снять состояние стресса, но его влияние не столь сильно. Это дает основание все же рассматривать подобного рода условия как неблагоприятные, поскольку состояние стресса сохраняется, если не у всех, то у некоторого числа участников экспертного исследования. Условия экспертизы можно считать нормальными, если для стресса нет оснований.

Характер условий влияет на формулирование целей экспертизы. Это делают ее организаторы, исходя из стоящих перед ними задач, но с учетом условий. Поскольку целью экспертизы является получение вторичной информации, а она может быть фактологической, аналитической, прогностической и операциональной, то и целеполагание ориентировано преимущественно на получение какого-то одного или нескольких их указанных типов. Для получения фактологической информации нет, как правило, особого смысла проводить экспертное исследование, ибо достаточно эффективной тут бывает индивидуальная экспертиза (эксперт-страновед узкого профиля). На практике перед экспертным исследованием ставятся следующие цели: информационно-аналитическая, аналитико-прогностическая и операциональная. В рамках первой преобладающей является аналитическая, второй — прогностическая, а третьей — операциональная информация. Данное преобладание не следует понимать упрощенно, поскольку любое прогностическое суждение, а тем более рекомендация требуют серьезно аналитического, а зачастую и фактологического обоснования.

Информационно-аналитическая цель ставится тогда, когда у организаторов экспертизы отсутствует достаточно четкое представление о ситуации в силу ее сложности и/или отсутствия необходимой информации. Получение же этой последней помимо экспертов или вообще невозможно или требует больших затрат и времени, ресурс которого невелик. Аналитико-прогностическая цель предполагает выявление основных тенденций развития ситуации и их оценку с точки зрения интересов организаторов (выделение благоприятных и неблагоприятных). И, наконец, операциональная цель ориентирована на определение тех конкретных мероприятий, которые могли бы подавить неблагоприятные и стимулировать благоприятные тенденции¹.

В связи с проблематикой целеполагания нельзя не затронуть вопроса о псевдоэкспертизе. Она проводится отнюдь не для выяснения мнения экспертов, а для обоснования точки зрения организаторов, а иногда уже принятого политического решения. В этом последнем случае оно формально выступает как научно обоснованное, подкрепленное авторитетом экспертов, на плечи которых тем самым перекладывается немалая часть ответственности за него. При проведении псевдоэкспертизы главную роль играет подбор экспертов, разделяющих точку зрения организаторов. В их единодушие — залог ее успеха.

Цель псевдоэкспертизы сугубо инструментальна и, в сущности, альтернативна самой природе экспертизы. Псевдоэкспертиза — это чисто пропагандистское мероприятие. Это непосредственно отражается на ее форме. Как правило, она представляет собой свободную коллективную экспертизу («круглый стол»), где заранее организованное единодушие легко маскируется дискуссией по деталям, не

¹ Как правило, для политических руководителей (лиц, принимающих политические решения) особый интерес представляют именно операциональные рекомендации экспертов, так как именно они облегчают выбор оптимального решения.

имеющим серьезного значения. Одним из наиболее надежных признаков псевдоэкспертизы является ее открытость, а тем более публичность, так как без этого ее пропагандистский эффект теряется. Реальная политическая экспертиза всегда носит закрытый характер.

Возвращаясь непосредственно к целеполаганию, необходимо остановиться в самом общем виде на его связи с условиями. В экстремальных условиях, как правило, ставится операциональная цель. Для реализации других просто нет времени. Тут корреляция между условиями и целеполаганием достаточно строгая, чего нельзя сказать о других вариантах условий. Однако и при этих других предпочтение все же отдается именно операциональной цели, что объективно обусловлено нуждами политической практики. На втором месте стоит аналитико-прогностическая цель, а на третьем — информационно-аналитическая. Видимо, недооценка значения последней в немалой степени связана с психологией разработчиков политического решения, которые, осуществляя слежение за ситуацией, считают имеющуюся у них информацию достаточной.

Корреляция между целями и формами экспертизы не отличается строгостью, хотя определенная совместимость имеет место. В частности, операциональная цель слабо сочетается с групповыми формами, для которых явно предпочтительной представляется аналитико-прогностическая. Информационно-аналитическую цель перед ними ставить вообще нецелесообразно, так как она по существу достигается при разработке соответствующей документации (анкеты, проблемные «деревья» и другие тематические разработки). Примерно аналогичным образом обстоит дело и с коллективными формами, где полностью универсальными являются лишь свободная и регулируемая формы.

За выбором формы следует фаза отбора экспертов, которая проводится с учетом необходимости обеспечения их независимости, объективности и эффективности. Под независимостью имеется в виду способность эксперта противостоять давлению внешних сил, заинтересованных в определенном исходе экспертизы. Эксперт-ученый в принципе всегда более независим, чем эксперт-практик, который, даже если он этого не осознает, в большей или меньшей степени связан своим должностным статусом, а, следовательно, и официальной точкой зрения, естественно, если она достаточно четко выражена.

Независимость эксперта, вне всякого сомнения, есть обязательная предпосылка его объективности, но не гарантия ее. То, что зависимый эксперт не может быть в ряде случаев объективным, видимо, нет необходимости доказывать, но и независимый эксперт не всегда бывает объективен. Следует сразу же подчеркнуть, что речь может идти лишь о неумышленной необъективности. Она тем более опасна, что является латентной для самого эксперта, так как порождается объективно присущими ему социальными и/или личностными свойствами. К первым относятся национальность, социальное происхождение и т.п. Трудно, например, рассчитывать при рассмотрении Карабахского конфликта на объективность экспертов армян и азербайджанцев,

даже если они искренне будут стремиться к этому. Не меньшее значение в этом плане могут иметь такие личностные особенности как идеологическая заданность или корпоративный стиль мышления.

Под идеологической заданностью имеется в виду не наличие у эксперта тех или иных идеологических предпочтений (таковые есть всегда), а их экстремальное выражение. Тут существенную роль играет характер самой идеологии. Все радикальные идеологии стимулируют формирование у человека максимальной идеологической заданности (фанатизма). В ходе групповой экспертизы она может быть сублимирована, но этого трудно добиться при проведении коллективной экспертизы. Там под влиянием идеологической заданности когнитивный конфликт (расхождение во мнениях) имеет очевидную тенденцию перерастания в идеологический, а зачастую в межличностный, что фактически означает провал экспертизы. Стремление к развязыванию идеологического конфликта, как правило, присуще последователям радикальных идеологий.

В отличие от идеологической заданности корпоративный стиль мышления не проявляется обычно столь ярко. Его отличительной особенностью является гипертрофированное представление о роли определенного рода деятельности для государства или общества. Зачастую и сам этот род деятельности отождествляется с определенным ведомством или организацией. Как следствие, интересы данного ведомства или организации рассматриваются как жизненно важные для государства или общества. Более того, вся картина мира видится только через их призму. Наиболее опасным является милитаристический стиль мышления, который присущ не только военным (что, в сущности, вполне объяснимо), но и определенной части гражданских политологов-международников¹.

Наряду с независимостью и объективностью отбор экспертов должен обеспечить и эффективность, то есть достижение той цели, которая была поставлена перед экспертным исследованием. Поскольку эта цель может быть различной, то необходимо выбирать тех экспертов, профессиональные и психологические особенности которых в наибольшей степени отвечают данной цели. Об этом уже шла речь выше, когда давалась типология экспертов по их профессиональной специализации и интеллектуальным особенностям. Следует лишь добавить, что задача оптимизации отбора экспертов стоит в полном объеме только перед организаторами коллективного экспертного исследования, так как коллективная форма налагает достаточно жесткий лимит на число экспертов (не более 10-12 чел.), с одной стороны, и требует обеспечения их психологической совместимости (включая учет межличностных отношений), с другой.

¹ В 60-70-е годы в американской политической науке очень влиятельной была группа так называемых «профессиональных стратегов», которые, будучи гражданскими, занимались разработкой проблематики ядерной войны, которую они считали в принципе допустимой.

При групповой экспертизе, где обычно число экспертов исчисляется несколькими десятками, причем их опрос является заочным и анонимным, вышеуказанная задача далеко не столь серьезна. Объясняется данное обстоятельство тем фактом, что при групповой экспертизе в принципе происходит своего рода жертва качества во имя количества, ибо надежность статистического результата напрямую зависит от числа опрошенных. Чем меньше опрошенных, тем сомнительнее большинство.

Вообще, стремление к повышению статистической надежности за счет увеличения числа опрашиваемых, восходящая к практике массовых социологических опросов, в принципе неприемлемо для политической экспертизы. Во-первых, ввиду того, что в число экспертов попадают просто специалисты, а зачастую даже дилетанты. Во-вторых, имеет место нивелировка опрашиваемых (принцип: «один человек — один голос»). Профильная специализация и особенности интеллекта остаются вне зоны внимания. О каком-либо использовании потенциала неординарных экспертов не может быть и речи, а следовательно, господствует тривиальное, но не оригинальное мышление.

В коллективных формах, где требуется достаточно строгий отбор экспертов, перед организаторами стоит проблема формирования представления о составе экспертного корпуса, то есть о всех тех экспертах, которые действительно являются таковыми и реально могут быть использованы. Обычно в первом приближении оно формируется на основе формальных критериев (публикации, ученые звания, должностное положение и т.п.).

Сам по себе данный способ не лишен рациональности, так как позволяет в какой-то степени отделить экспертов от специалистов и выявить их профильную специализацию. О психологических особенностях по этим критериям судить весьма сложно, а они, как уже отмечалось выше, играют немалую роль.

Не случайно при индивидуальной экспертизе предпочтение отдается неформальным критериям (авторитет, личное знакомство и т.д.). Осознание недостаточности формальных критериев побудило начать разработку системы неформальных критериев и методик их применения (самооценка, взаимооценка, «снежный ком» и т.п.). Однако сколько-нибудь широкого применения они не получили, видимо, в силу чисто психологической дискомфортности и громоздкости.

Параллельно с отбором экспертов ведется разработка необходимой документации, которая подразделяется на две части: справочную и тематическую. К первой относятся справочные материалы об экспертизе. Иногда они дополняются минидосье, содержащим последнюю информацию об исследуемой тематике. Все справочные материалы готовятся организаторами. Что касается второй части, то она включает различные тематические разработки. Они готовятся экспертами с участием или без участия организаторов. Эти эксперты, как правило, в дальнейшей работе участия не принимают. Исключение в этом

плане составляет эксперт — автор постановочного доклада для свободной коллективной экспертизы.

На этом завершается стадия подготовки. За ней следует стадия проведения, которая и представляет собой процесс получения экспертной информации. При групповых формах он представляет собой, в сущности, чисто техническую операцию (распространение и сбор анкет), а соответственно, сам термин «проведение» весьма условен. В строгом смысле слова он применим лишь к коллективным формам, где имеет место взаимодействие экспертов и их совместный творческий труд. Как таковой, для того, чтобы быть эффективным, он нуждается в управлении, а, следовательно, в руководителе (руководителях). При прочих равных условиях от его способностей зависит результат совместного труда экспертов.

Руководитель коллективной экспертизы управляет ее проведением по трем основным аспектам: регламентационному, содержательному и психологическому. На первый взгляд может показаться, что соблюдение установленного регламента — дело сугубо формальное, но это далеко не так. В условиях ограниченного лимита времени строгое соблюдение регламента есть обязательное условие сохранения элементарного порядка.

Оно обеспечивает относительно равномерное распределение ресурса времени между экспертами, не допуская тем самым доминирования одних за счет других. Особенно негативное влияние на весь ход коллективной экспертизы оказывает нарушение регламента в пользу эксперта, занимающего высокое должностное положение. Как неизбежное следствие этого у остальных участников возникает обоснованное подозрение, что экспертиза организована в сущности лишь для выяснения мнения данного должностного лица (лиц), а следовательно, их мнения организаторам малоинтересны, если не сказать больше. В этом случае эксперты теряют всякий интерес к происходящему, минимизируют свое участие и стремятся как можно быстрее завершить экспертизу. Коллективной работы, естественно, не получается.

В рамках содержательного аспекта управления основной задачей можно считать недопущение подмены обозначенной тематики. Она может иметь место как в результате действий одного из экспертов, так и в ходе стихийного развития дискуссии. Подобного рода подмена происходит в подавляющем большинстве случаев или путем необоснованного расширения рамок дискуссии и переключения внимания экспертов на вопросы, в лучшем случае лишь косвенно связанные с обозначенной тематикой, или ее перевода с конкретного на абстрактный, доктринальный уровень. Если руководитель не сможет пресечь в зародыше подобного рода подмену, то экспертиза, как правило, оказывается сорванной.

Третьим по счету, но отнюдь не по значению, является психологический аспект управления. Едва ли не самой сложной задачей руководителя при проведении коллективной экспертизы считается (и не

без оснований) поддержание нормального психологического климата среди участников дискуссии¹. Его нарушение всегда в той или иной степени связано с несоблюдением этических норм и, как следствие, возникновением межличностных конфликтов, которые не только отвлекают внимание самих их участников, но и крайне негативно воздействуют на других экспертов. Неизбежные эмоциональные всплески создают общую стрессовую обстановку.

Если межличностный конфликт возникает спонтанно, то при умелом поведении руководителя он остается лишь неприятным эпизодом. В гораздо более сложном положении оказывается руководитель, если подобного рода конфликт является застарелым, имеющим немалую предысторию. Его погасить гораздо труднее, так как он в ходе экспертизы развивается волнообразно. Конечно, радикальное решение в этом случае достигается во время отбора, когда один из участников этого конфликта не приглашается для участия в экспертизе, однако для этого нужно хорошо знать межличностные отношения экспертов, что далеко не всегда возможно.

Наряду с вышеперечисленными аспектами перед руководителем экспертизы может встать и ряд других. В частности, он должен стимулировать дискуссию в случае ее преждевременного затухания, предотвращать доминирование одного из экспертов (появление псевдолидера) и т.д. Таким образом, круг обязанностей руководителя достаточно широк и сложен, что предъявляет к его выбору весьма серьезные требования, среди которых следует особо выделить волевые качества и жизненный опыт.

После проведения экспертизы следует финальная стадия — оценка ее результатов, которая проходит на двух различных уровнях: организационном и содержательном. Предварительным условием этой последней является изучение полученной экспертной информации.

Начальной является организационная оценка, то есть определение того, насколько качественно осуществлена подготовка и проведение экспертизы. В случае, если выявляются очевидные ошибки и недоработки, то организационная оценка оказывается отрицательной и, соответственно, содержательная оценка, как правило, теряет смысл. Например, при групповой экспертизе не удалось собрать значительную часть разданных анкет, а в собранных, много заполненных небрежно или даже неправильно. Во время коллективной экспертизы возник идеологический конфликт, в который оказалось втянутым большинство ее участников. Такие грубые провалы достаточно редки, но менее значимые недостатки встречаются достаточно часто. Их примерная значимость и предопределяет общую организационную оценку.

¹ В этой связи организаторы экспертизы должны избегать приглашения экспертов, между которыми в силу тех или иных причин существуют неприязненные личные отношения. Сделать это не всегда удается, так как они могут быть латентными (например, скрытая ревность одного к успехам другого).

В том случае, когда организационная оценка положительна, за ней должна следовать содержательная, однако это может быть сделано только после изучения полученной экспертной информации. Содержательная оценка есть результат изучения организаторами экспертизы данной информации. При групповой экспертизе она представляет собой совокупность заполненных экспертами анкет, которые подвергаются статистической обработке. Полученные количественные результаты осмысливаются, и дается более или менее развернутая их интерпретация. Следует подчеркнуть, что объектом осмысления выступает только совокупность мнений экспертов, но не тематика экспертизы. Соответственно, и интерпретация носит преимущественно поверхностный характер, ограничиваясь в основном очевидными моментами и, в частности, количественным соотношением мнений. Вопрос о степени их обоснованности, как правило, не затрагивается.

При коллективной экспертизе экспертная информация представлена в виде распечатки магнитофонных записей и гораздо реже стенограмм. Это — несравненно более «сырой» материал по сравнению с анкетой. Он нуждается как в техническом, так и в содержательном редактировании. Последнее также осуществляется организаторами и представляет собой не что иное, как уже упоминавшуюся стадию отбора, поскольку в его ходе происходит отбраковка нерелевантной, избыточной и отчасти ложной информации.

Если на этом работа с экспертной информацией заканчивается, и она передается разработчикам или лицам, принимающим политическое решение (ЛПР), то налицо элементарное экспертное исследование. Сложным оно становится только тогда, когда отредактированная экспертная информация подвергается обработке (реферированию).

Обычно сложное экспертное исследование представляет собой реферат с более или менее развернутыми комментариями.

Экспертное исследование передается разработчикам или даже непосредственно ЛПР, которые и дают содержательную оценку проведенной экспертизе, исходя из того, насколько удалось реализовать намеченные цели. Поскольку данные цели в конечном счете основываются на практических потребностях, то содержательная оценка дается в зависимости от практической полезности экспертной информации, хотя в некоторых случаях на нее могут влиять и субъективные мотивы¹.

Завершая на этом рассмотрение проблематики экспертного исследования, следует констатировать, что оно имеет ряд несомненных преимуществ перед содержательным, но, вместе с тем, ему присущ и весьма серьезный недостаток. Он заключается в сохранении относительно высокой степени неопределенности, что обусловлено различием мнений экспертов. Опора на мнение большинства, учитывая пре-

¹ В частности, негативная содержательная оценка может быть дана ЛПР в тех случаях, когда экспертная информация противоречит ведомственным интересам, ранее высказанному им мнению и т.п.

обладание ординарных экспертов, далеко не всегда оказывается обоснованной.

Более того, когда в процессе экспертизы высказываются не два, а несколько альтернативных мнений, то неопределенность нарастает, и опора на относительное большинство (если оно есть) весьма сомнительна. Зачастую бывает так, что эти мнения в общих чертах известны еще до экспертизы, а она организуется именно для выяснения степени их обоснованности (в частности, при постановке операциональной цели). Тогда отсутствие ярко выраженного большинства означает, что по существу существовавшая до экспертизы степень неопределенности осталась неизменной, то есть значимый результат отсутствует.

Если под этим углом зрения проанализировать эволюцию форм экспертизы, то нельзя не заметить, что она была направлена именно на устранение данного недостатка. Однако задача снятия или минимизации неопределенности так и не была решена. Видимо, возможности ее решения в рамках отдельно взятой экспертизы практически исчерпаны. Представляется, что этого можно добиться путем перевода развития экспертизы на другой уровень — системы экспертиз, организуемых специальной постоянно действующей экспертной службой.

III. Политическое моделирование

Инициатива внедрения метода моделирования в нормативный политический анализ принадлежит американской политологической школе, и, в частности, такому ее направлению как «модернизм». Оно оформилось в 60-70-е годы на волне «интервенции» естественных наук в обществоведение. Она была обусловлена общей тенденцией операционализации теоретического знания, что нашло свое конкретное выражение в преобразовании частнонаучных теорий в прикладные, а также во все более набравшем силу процессе тотальной компьютеризации.

Однако, несмотря на широкий разворот модельных исследований и определенные частные успехи, в целом полученные результаты оказались достаточно далекими от ожидаемых. Основной причиной этого стала уже неоднократно упоминавшаяся незавершенность политологического синтеза. «Модернисты», будучи в своем большинстве представителями естественных наук, так и не смогли, а возможно, и не захотели этого понять. Оказалось, видимо, пренебрежительное отношение к неточным наукам.

Начавшийся во второй половине 80-х годов спад в модельных исследованиях в основном продолжается и сейчас. Между тем, необходимость в их ускоренном развитии становится все более настоятельной и прежде всего ввиду явно обозначившейся тенденции падения эффективности логико-интуитивного метода. Оно не есть нечто временное, а обусловлено действием долгосрочных объективных причин. Среди них главную роль играет прогрессирующее усложнение

политической жизни и повышении ее динамизма. Как неизбежное следствие — быстрое повышение плотности и диверсифицированности того информационного потока, с которым вынужден работать исследователь.

Поскольку логико-интуитивный метод по своей природе сугубо индивидуален, то исследователь испытывает большое интеллектуальное напряжение в сочетании с информационной перегрузкой. И если последняя может быть в известной степени снята путем использования компьютера, то применительно к первой этого сделать нельзя без моделирования, так как «диалог» с компьютером, как известно, возможен только на уровне модели.

В рамках же логико-интуитивного метода естественным выходом из положения является изменение баланса логики и интуиции в пользу последней, что неизбежно ведет к ослаблению нормативности, а, следовательно, и научной корректности. Таким образом, налицо в известном смысле понятное движение, которое и ведет к падению эффективности метода. Можно с достаточным основанием полагать, что данная тенденция будет сохраняться и в будущем в силу того, что разрыв между поступательным развитием объекта исследования и попятным движением исследовательского метода будет сохраняться или даже возрастать.

Учитывая наличие этой негативной тенденции, переход метода моделирования на позицию основного в рамках нормативного политического анализа представляется неизбежным. Однако нельзя не видеть, что в своем нынешнем состоянии он пока еще не готов к этому, что и подтвердил опыт «модернистов». Проводившиеся ими модельные исследования лишь в ограниченном числе случаев продемонстрировали свои преимущества по сравнению с содержательными и, тем более, экспертными. С тех пор положение не претерпело кардинальных изменений. Соответственно, задача совершенствования методологии модельного исследования остается столь же настоятельной, как и прежде.

Модельное политическое исследование обладает рядом специфических особенностей, которые отличают его не только от экспертного, но и от содержательного, хотя их структура в целом идентична. Они проявляются уже на стадии формулирования замысла. Несмотря на то, что в рамках нормативного политического анализа объектом исследования всегда является существующая политическая ситуация или какая-то ее часть (проблема), то есть выбор объекта исследования в принципе предопределен, однако встает вопрос о степени строгости данного выбора, и тут сразу же проявляются различия между моделированием и двумя другими видами исследования.

Дело в том, что само по себе такое определение объекта исследования является вполне достаточным для содержательного и экспертного исследования (точнее, его свободных форм). Уточнение и детализация выбора — это прерогатива исследователя, который решает,

какие составляющие ситуации подлежат изучению, а какие могут быть опущены. Делается это, как правило, в первом приближении, что позволяет осуществить в дальнейшем корректировку в случае необходимости. При моделировании уточнение и детализация производятся заранее и окончательно, так как от этого зависит класс модели, подлежащей построению.

Применительно к политическим моделям можно выделить два их класса в зависимости от охвата субъектов политики. Если модель включает все три их типа, то она квалифицируется как *общая*, а в противном случае, как *частная*. Если модель ограничивается лишь социальными субъектами политики, то налицо моделирование *социально-политической ситуации*.

Применительно к частным моделям весьма остро стоит проблема повышения степени адекватности в силу органически присущего им отрыва части от целого. Она решается путем включения в модель в предельно лапидарной форме остальных частей, которые образуют так называемый «фон». Использование «фона» обусловлено стремлением обеспечить полноту отображения объекта.

Наиболее распространенным вариантом частной модели внутри политической ситуации является модель, включающая персональных и институциональных субъектов политики и, соответственно, в качестве «фона», выступают социальные субъекты. Они образуют внутренний «фон», который может быть дополнен внешним (международным). Частная модель с включенным внутренним и внешним «фоном» считается сложной. Аналогичным образом обстоит дело и с общей моделью, если в нее включен внешний «фон». Справедливо и обратное, когда общая модель внешнеполитической ситуации дополнена внутренним «фоном». Общая модель без «фона», а также частные модели с внутренним «фоном» относятся к категории простых.

В связи с проблематикой «фона» необходимо подчеркнуть, что, хотя в идеале, чем полнее модель, тем она адекватнее, однако на деле использование «фона» всегда в большей или меньшей степени загромождает модель со всеми вытекающими из этого негативными последствиями, не говоря уже о вопросах обеспечения его лапидарности. Исходя из этого, можно считать, что общая модель, обладая относительной полнотой, обеспечивает достаточный уровень адекватности. Что касается частной, то хотя о ней этого в принципе сказать нельзя, но на практике ее адекватность может быть высока. Соответственно, использование «фона» именно для нее может быть наиболее рациональным.

При формировании замысла наряду с выбором объекта исследования происходит и целеполагание, под которым имеется в виду определение того типа новой информации, которая явится результатом исследования. Выше уже говорилось о четырех типах вторичной информации (фактологическая, аналитическая, прогностическая и операциональная). Фактологическая информация как самоцель исключается, а в качестве таковой выступают или аналитико-прогности-

ческая или прогнозно-операциональная информация. Первая предполагает, как правило, выбор статической, а вторая — динамической модели.

На следующей стадии — стадии получения исходной информации — специфика модельного исследования выражается в том, что предпочтение отдается первичной (фактографической) информации, а из вторичной используется только фактологическая, так как сбор вторичной информации трех других типов, как правило, ведет к превращению моделирования в экспертизу даже вопреки воле самого исследователя ввиду того, что ожидаемые результаты оказываются на руках и моделирование зачастую представляет собой уже формальную процедуру. Происходит своего рода «подгонка» модели под заранее известный результат.

Избежать этого даже самому добросовестному исследователю отнюдь не просто, если собранные им аналитические прогностические соображения представляются ему вполне обоснованными. Если прибегнуть к аналогии, то это — решение задачи с известным ответом (хотя он может быть не обязательно верным). Видимо, нет смысла пояснять, что между решением задачи с известным и неизвестным ответом — «дистанция огромного размера».

В этой связи нельзя не затронуть проблематики исторического моделирования, которое в последнее время развивается достаточно активно. Не отрицая его несомненной полезности, следует все же иметь в виду, что все исторические модели — это задачи с известным ответом, что заставляет относиться к ним с большей осторожностью.

На стадии изучения особенности модельного исследования проявляются различным образом на каждом из его этапов. Они практически отсутствуют на этапе обработки информации, если не считать крайне ограниченного использования агрегативных логико-лингвистических методик, минимальны на этапе отбора и максимальны на этапе осмысления. На этапе отбора они сводятся к значительно более строгой оценке состояния исходного информационного массива, что объясняется невозможностью использовать при моделировании компенсаторную функцию интуиции, которая может быть весьма эффективной при содержательном, а тем более экспертном исследовании. Для последнего вопрос о качестве информационного массива, как правило, второстепенен и, наоборот, для моделирования чрезвычайно важен. В условиях информационной недостаточности иногда приходится прибегать к использованию экспертной информации для заполнения лакун.

Моделирование в принципе весьма «чувствительно» к состоянию информационного массива. При оценке состояния информационного массива принято использовать три основных критерия: достоверность, полноту и целостности информации. Первый из них призван характеризовать долю сомнительной информации, верификация которой не могла быть проведена в силу тех или иных причин или была

не очень надежной. Второй нацелен на выявление степени детализации описания исследуемого объекта. Соответственно, выделяется поверхностная и подробная информация. Поверхностная информация дает только самые общие, лапидарные сведения об исследовании объектов, которые позволяют составить о нем весьма приблизительное представление и наоборот.

Что касается третьего критерия, то он направлен на определение степени неравномерности описания объекта. Вообще, любой информационный массив всегда относительно неравномерен, так как одни его части и свойства описаны лучше, чем другие, однако дело не в этом, а в наличии информационных пустот — лакун. Они могут быть точечными — отсутствует информация о чем-то единичном (факте, свойстве и т.п.) или зонными — отсутствует информация о ряде чего-то. Соответственно, при отсутствии лакун информационный массив может считаться целостным, а при их наличии — фрагментарным.

Однако при этом следует иметь в виду, что фрагментарность на уровне точечных лакун может быть в большинстве случаев устранена с помощью несложных логических приемов, то есть фрагментарный информационный массив может быть преобразован в условно целостный. Это гораздо сложнее делать применительно к зонным лакунам, особенно если их число велико. Информационный массив, изобилующий зонными лакунами, содержит по существу лишь отрывочные сведения об объекте, что делает возможность моделирования весьма сомнительной или даже вообще исключает ее.

Оценка состояния информационного массива позволяет определить степень реалистичности замысла с точки зрения его информационной обеспеченности и скорректировать его, если имеющиеся возможности не позволяют устранить выявленную информационную недостаточность. Обычно это ведет к замене общей модели на частную, динамической на статическую и т.д. Таким образом, происходит адаптация замысла к состоянию информационного массива. Хотя само по себе это нельзя считать специфической особенностью модельного исследования, так как такого рода адаптация может иметь, а зачастую имеет место и при содержательном исследовании, но там она не носит императивного характера, поскольку в принципе устраняема благодаря широкому использованию вторичной информации различного рода.

Построение же модели происходит на этапе осмысления. В качестве первичной выступает концептуальная модель, которая затем претерпевает целый ряд преобразований, завершаемый построением конкретной модели (объект моделирования — существующая политическая ситуация). Этот ряд преобразований представляет собой по существу серию переходов от одного типа модели к другому. Во избежание громоздкого вербального описания используем графическую форму, позволяющую наглядно отобразить варианты перехода.

Таблица 5

Форма модели	I - Вербальная	II - Формализованная	III - Квантифицированная
Содержание модели			
A. - Концептуальная			X
B. - Абстрактная (теоретическая)			
C. - Конкретная	▼	▼	▼

Приведенная в данной таблице типология политических моделей отображает информационную характеристику модели. Поскольку в форме информации (естественный язык, графика и число) уже шла речь выше, то в каких-либо дополнительных пояснениях она не нуждается. Следует, однако, заметить, что естественный язык является обязательной составляющей формализованных и квантифицированных моделей, хотя там он не несет основной смысловой нагрузки. Сложнее обстоит дело с вербальными моделями, где графика и число (точнее, конечно, математические выражения) могут также нести немалую смысловую нагрузку, хотя, естественно, второстепенную.

Что касается дифференциации моделей по содержанию, то тут основная разграничительная линия проходит между концептуальной и теоретической моделью. Обе они являются абстрактными, но первая характеризуется предельной степенью абстрактности и соответственно, в ней используются философские и общенаучные понятия, а во второй используется понятийный аппарат частнонаучных (предметных) теорий. При прояснении субстанциональных исследовательских подходов таковым является понятийный аппарат политологии, а при изоморфных — понятийный аппарат других частнонаучных теорий, но не в «чистом» виде, то есть с обязательным использованием политологических понятий.

Вышеприведенная таблица является в известном смысле «картой», на которой можно наглядно видеть возможные направления движения, ведущие к одному из вариантов конкретной модели из исходной точки — вербальной концептуальной модели. Последняя может быть формализована, но не нуждается в квантификации. Ее формализация, хотя и не обязательна, но весьма желательна, так как позволяет определить уровень ее логической строгости. Если же

формализовать ее не удастся, то это — верный признак того, что налицо не концептуальная модель, а лишь концепция — продукт использования логико-интуитивного метода. В отличие от вербальной графическая форма гораздо более эффективна в плане выявления логических пробелов и неточностей, так как обладает преимуществом наглядности, а, следовательно, обеспечивает возможность одновременного охвата целого. При ознакомлении с вербальным описанием сделать это значительно сложнее, особенно самому исследователю.

Переход от концептуальной к конкретной модели возможен только через построение теоретической модели. Последняя представляет собой, в сущности, декомпозицию первой, которая осуществляется на основе определенной частнонаучной теории, что и обеспечивает ее научную корректность. Однако поскольку становление политологии еще не завершено, а возможности изоморфных подходов оказались достаточно ограниченными, то именно проблема построения теоретических моделей оказалась и продолжает оставаться трудноразрешимой. Как следствие, появилась тенденция использования так называемого «здравого смысла» в качестве замены частнонаучной теории. Возник крупный массив нормативно-эмпирических моделей.

Их создателям представлялось, что, поскольку «здравый смысл» — это эмпирическое обобщение социальной практики вообще и политической в частности, то подобного рода замена не только вполне допустима, но даже желательна, ибо обеспечивает надежную связь «снизу вверх» в рамках модели, и тем самым предполагалось окончательно избавиться от спекулятивности¹.

Однако их надежды не оправдались, ибо по самой своей природе «здравый смысл» — слабоструктурированный феномен. Соответственно, в каждом конкретном случае отдельный исследователь вынужден решать задачу его локальной системологизации (упорядочения), но делает он это исходя из уровня собственных знаний и субъективных предпочтений. Иногда такая локальная системологизация оказывалась успешной, но в большинстве случаев происходило превращение модельного исследования в нормативно-эмпирическое содержательное, хотя данный факт самими исследователями, как правило, не осознавался. В немалой степени это объяснялось широким применением квантификации, которая рассматривалась как надежная гарантия научной строгости².

¹ В частности, стремление идти в исследовании «снизу вверх» было характерно для «модернистов», которые, будучи представителями естественных наук, весьма скептически относились, да в ряде случаев и продолжают относиться, к теоретическим построениям в сфере общественных наук, считая их чисто спекулятивными (науки неточные).

² Сама по себе квантификация (представление качественных характеристик в количественной форме) представляет собой универсальный способ преобразования информации, но поскольку отсутствуют достаточно четкие правила

Преобразование теоретической модели в конкретную происходит путем заполнения первой фактографической и фактологической информацией, что ведет к формированию представления об объекте (политической ситуации или проблеме). Если оно адекватно реальности, то модель эффективна и наоборот. Вместе с тем, степень эффективности может быть различной. Она оценивается путем сопоставления полученного представления с начальным. Когда удастся полностью снять ту неопределенность, которая была присуща начальному представлению, то модель — высокоэффективна. Если сколько-нибудь значимого снятия неопределенности не произошло, то она — малоэффективна. Модель просто эффективна, если сохраняющаяся неопределенность не отражается на целостности представления или, иначе говоря, хотя неопределенность снята не полностью, но оставшаяся серьезно не затрудняет понимания, так как не относится к существенным аспектам.

Снятие неопределенности есть результат получения новой вторичной информации, опровергающей или подтверждающей ранее существовавшие представления в целом или в каких-то его частях. В свою очередь, это, в принципе, включает три составляющие: о прошлом, настоящем и будущем объекта. Нет, видимо, особой необходимости доказывать, что степень неопределенности возрастает от прошлого к будущему. Именно представление о нем наиболее неопределенно и трудно поддается уточнению. Соответственно, с точки зрения политических практиков, которые разрабатывают и принимают соответствующие решения, именно прогностическая и операциональная информация является наиболее полезной. Самым надежным источником получения этих типов информации являются динамические модели, но они же являются наиболее трудоемкими.

применимости ее вариантов, то и сам их выбор оказывается зависимым от субъективных предпочтений исследователя.

В этом отношении весьма характерен пример простейшего варианта квантификации — школьных оценок, которые в разных странах измеряются различными шкалами, но вопрос об эффективности каждой из них остается открытым. Если даже здесь нет общепринятого критерия эффективности, то что говорить о научном исследовании.

І ПОДХОДЫ И ПАРАДИГМЫ І

ГЛАВА 5. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И ЭВОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В XX ВЕКЕ

А.Д.Богатуров

Цель главы — дать системное освещение процесса развития международных отношений. Системным наш подход называется потому, что в его основе не просто хронологически выверенное и достоверное изложение фактов дипломатической истории, а показ логики, движущих сил важнейших событий мировой политики в их не всегда очевидной и часто не прямой взаимосвязи между собой. Иными словами, международные отношения для нас — это не просто сумма, совокупность каких-то отдельных компонентов (мировых политических процессов, внешних политик отдельных государств и т.п.), а сложный, но единый организм, свойства которого в целом не исчерпываются суммой свойств, присущих каждой из его составляющих в отдельности. Имея в виду именно такое понимание для обозначения всего многообразия процессов взаимодействия и взаимовлияния внешних политик отдельных государств между собой и с важнейшими общемировыми процессами, мы будем пользоваться в этой главе понятием система международных отношений. Это ключевое понятие нашего изложения.

Понимание несводимости свойств целого лишь к сумме свойств частей — важнейшая черта системного мировидения. Такая логика объясняет, почему, скажем, взятые в отдельности, шаги дипломатии СССР, двух атлантических держав (Франции и Британии) и Германии в период подготовки и во время Генуэзской конференции 1922 г., казалось бы нацеленные на восстановление Европы, в целом, привели к закреплению ее раскола, резко сократившего шансы общеевропейского сотрудничества в интересах поддержания стабильности.

Второй — является акцент на связях и отношениях между отдельными компонентами международной системы. Иными словами, нас будет интересовать не только то, как в конце 30-х годов нацистская Германия двигалась по пути агрессии, но и то, каким образом на формирование движущих сил ее внешней политики в предшествовавшее десятилетие повлияли Великобритания, Франция, Советская Россия и США, которые и сами являлись объектом активной германской политики. Аналогично, Вторая мировая война будет рассмотрена нами не просто как рубежное событие мировой истории, но прежде всего как экстремальный результат по-своему неизбежной

ломки той конкретной модели международных отношений, которая сложилась после окончания Первой мировой войны (1914-1918).

В принципе сложно взаимосвязанный, взаимно обуславливающий характер межгосударственные отношения приобрели достаточно рано, однако не сразу. Чтобы приобрести черты системности, системной взаимосвязи те или иные отношения и группы отношений должны были созреть — то есть приобрести устойчивость (1) и достигнуть достаточно высокого уровня развития (2). Скажем, о формировании глобальной, общемировой системы международных экономических отношений мы можем говорить не сразу после открытия Америки, а только после того, как была налажена регулярная и более или менее надежная связь между Старым и Новым Светом, и экономическая жизнь Евразии оказалась прочно увязанной с американскими источниками сырья и рынками.

Глобальная мирополитическая система, система международных политических отношений складывалась гораздо медленнее. Вплоть до завершающего этапа Первой мировой войны, когда впервые в истории американские солдаты приняли участие в боевых действиях на территории Европы, Новый Свет в политическом отношении оставался если не изолированным, то явно обособленным. Понимания мирополитического единства еще не было, хотя оно уже, несомненно, было в стадии формирования — процесс, начавшийся в последней четверти XIX века, когда в мире уже не осталось «ничейных» территорий и политические устремления отдельных держав уже не только в центре, но и на географической периферии мира оказались тесно «притертыми» друг к другу. Испано-американская, англо-бурская, японо-китайская, русско-японская и, наконец, Первая мировая войны стали кровавыми вехами на пути формирования глобальной мирополитической системы. Однако процесс ее складывания к началу описываемого ниже периода так и не закончился.

Единая глобальная, общемировая система политических отношений между государствами еще только складывалась. Мир в основном продолжал состоять из нескольких подсистем. Эти подсистемы ранее всего сложились в Европе, где отношения между государствами в силу природно-географических и экономических факторов (относительно компактная территория, достаточно многочисленное население, развитые и относительно безопасные дороги) оказались наиболее развитыми.

Сначала XIX века важнейшей подсистемой международных отношений была европейская, Венская. Наряду с ней стала постепенно формироваться особая подсистема в Северной Америке. На востоке евразийского материка вокруг Китая в хронически застойном состоянии существовала одна из самых архаичных подсистем, Восточноазиатская. О других подсистемах, скажем, в Африке, в тот период говорить можно только с очень большой долей условности. В дальнейшем, однако, они стали постепенно развиваться и эволюционировать. К моменту окончания Первой мировой войны наметились первые признаки тенденции к перерастанию североамериканской подсистемы

в евро-атлантическую, с одной стороны, и азиатско-тихоокеанскую, с другой. Стали угадываться очертания ближневосточной и латиноамериканской подсистем.

Все эти подсистемы развивались в тенденции как будущие части целого — глобальной системы, хотя само это целое, как уже отмечалось выше, в политико-дипломатическом смысле еще только начинало складываться; лишь в экономическом отношении его контуры уже просматривались более или менее отчетливо.

Между подсистемами существовала своя градация — иерархия. Одна из подсистем была центральной, остальные — периферийными. Исторически вплоть до окончания Второй мировой войны место центральной неизменно занимала европейская подсистема международных отношений. Она оставалась центральной и по значимости образовывавших ее государств, и по географическому положению в переплетении главных осей экономических, политических и военно-конфликтных натяжений в мире.

Кроме того, европейская подсистема далеко опережала другие по уровню организации, то есть степени зрелости, сложности, развитости воплощенных в ней связей, так сказать, по присущему им удельному весу системности. По сравнению с центральной уровень организации периферийных подсистем был гораздо ниже. Хотя и периферийные подсистемы по этому признаку могли между собой весьма сильно отличаться.

Так, например, после Первой мировой войны центральное положение европейской подсистемы (Версальский порядок) осталось бесспорным. По сравнению с ней азиатско-тихоокеанская (Вашингтонская) была периферийной. Однако она была несоизмеримо более организованной и зрелой, чем, например, Латиноамериканская или Ближневосточная. Занимая главенствующее положение среди периферийных азиатско-тихоокеанская подсистема была как бы «самой центральной среди окраинных» и второй по своему мирополитическому значению после европейской.

Европейская подсистема в разные периоды в исторической литературе, а отчасти в дипломатическом обиходе называлась по-разному — как правило, в зависимости от названия международных договоров, которые в силу тех или иных обстоятельств признавались большинством европейских стран основополагающими для межгосударственных отношений в Европе. Так, скажем, принято называть, европейскую подсистему с 1815 г. по середину XIX века — Венской (по Венскому конгрессу 1814-1815 гг.); затем Парижской (Парижский конгресс 1856 г.) и т.д.

Следует иметь в виду, что в литературе традиционно распространены названия «Венская система», «Парижская система» и т.п. Слово «система» во всех подобных случаях применено для подчеркивания взаимосвязанного, сложно переплетенного характера обязательств и обусловленных ими отношений между государствами. Кроме того такое употребление отражает и укоренившееся на протяжении

веков в умах ученых, дипломатов и политиков мнение: «Европа — это и есть мир». Тогда как с позиций современного мировидения и нынешнего этапа развития науки о международных отношениях, строго говоря, точнее было бы говорить «Венская подсистема», «Парижская подсистема» и т.п.

Во избежание терминологических накладок и исходя из необходимости акцентировать видение конкретных событий международной жизни на фоне эволюции глобальной структуры мира и ее отдельных частей, в этом издании термины «подсистема» и «система» будут, как правило, использоваться при необходимости оттенить взаимосвязи событий в отдельных странах и регионах с состоянием общемировых политических процессов и отношений. В остальных случаях, когда речь будет идти о комплексах конкретных договоренностей и возникавших на их основе отношений, мы будем стремиться употреблять слово «порядок» — Версальский порядок, Вашингтонский порядок и т.п. Вместе с тем, в ряде случаев, учитывая традицию употребления, выражения типа «Версальская (Вашингтонская) подсистема» в тексте сохранены.

Для понимания логики международно-политического процесса в 1918-1945 гг. ключевым является понятие многополярности. Строго говоря, вся история международных отношений протекала под знаком борьбы за гегемонию, то есть бесспорно преобладающие позиции в мире, то есть в той его части, которая в конкретный момент исторического времени считалась миром-вселенной или ойкуменой, как ее называли древние греки.

Скажем, с позиций Геродота, историка времен Александра Македонского, Македонская держава после покорения Персидского царства, несомненно, была мировым государством, империей-гегемоном, так сказать, единственным полюсом мира. Однако лишь того мира, который был известен Геродоту и ограничивался, по сути дела, Средиземноморьем, Ближним и Средним Востоком и Центральной Азией. Уже образ Индии казался эллинистическому сознанию настолько смутным, что эта земля не воспринималась в плоскости ее возможного вмешательства в дела эллинистического мира, который для последнего только-то и был миром. О Китае в этом смысле говорить вообще не приходится.

Подобным же образом государством-миром, единственным мировым полюсом-источником силы и влияния воспринимался и Рим эпохи расцвета; его монопольное положение в международных отношениях было таковым лишь в той мере, как древнее римское сознание стремилось отождествлять реально существующую вселенную со своими представлениями о ней.

С позиций соответственно эллинистического и римского сознания современный им мир, или как бы мы сказали, международная система, были однополярными, то есть в их мире существовало одно-единственное государство, практически безраздельно господствовавшее на всей территории, представлявшей реальный или даже по-

тенциальный интерес для тогдашнего «политического сознания», или, как бы мы сказали современным языком, на доступном для соответствующего общества «цивилизационном пространстве».

С позиций сегодняшнего дня относительность «античной однополярности» очевидна. Но не это важно. Важно, что ощущение реальности однополярного мира — пусть и ложное — перешло к политическим и культурным наследникам античности, еще более искажившись при передаче. В итоге тоска о вселенском господстве, постоянная на исторических сведениях и преданиях о великих древних империях, если и не полностью возобладала в политическом сознании последующих эпох, все же сильно повлияла на государственные умы в очень многих странах, начиная с раннего средневековья.

Повторить уникальный и во всех отношениях ограниченный опыт империи Александра Македонского и Римской не удалось ни разу. Но большинство сколько-нибудь могущественных государств так или иначе пыталось это сделать — Византия, Империя Карла Великого, монархия Габсбургов, наполеоновская Франция, объединившаяся Германия — это только самые очевидные и яркие примеры попыток и неудач такого рода. Можно сказать, что большая часть истории международных отношений с позиций системности может быть объяснена как история попыток то одной, то другой державы сконструировать однополярный мир — попыток, заметим, во многом вдохновленных ложно понятым или сознательно искаженно интерпретируемым опытом античности.

Но с тем же успехом можно констатировать и другое: фактически со времен распада «античной однополярности» в межгосударственных отношениях сложилась реальная многополярность, понимаемая как существование в мире, как минимум, нескольких ведущих государств, сопоставимых по совокупности своих военных, политических, экономических возможностей и культурно-идеологическому влиянию.

Возможно, изначально она возникла более или менее случайно — в силу стечения неблагоприятных обстоятельств претендующая на гегемонию держава, скажем Швеция времен Тридцатилетней войны (1618-1648), не смогла мобилизовать необходимые ресурсы для реализации своих целей. Но очень скоро другие страны стали рассматривать сохранение многополярности как своего рода гарантию собственной безопасности. Логика поведения целого ряда государств стала определяться стремлением не допустить слишком явного усиления геополитических возможностей своих потенциальных соперников.

Под геополитическими понимается совокупность возможностей государства, определяющихся природно-географическими факторами в широком смысле слова (географическое положение, территория, население, конфигурация границ, климатические условия, уровень экономического развития отдельных территорий и связанная с этим инфраструктура), изначально задающими положение той или иной страны в системе международных отношений. Традиционным путем усиления геополитических возможностей было присоединение новых тер-

риторий — либо путем прямого захвата военной силой, либо — в династической традиции Средних Веков — путем приобретения через брак или наследование. Соответственно, и дипломатия все больше внимания уделяла предупреждению ситуаций, способных результативаться в «чрезмерное» приращивание потенциала какого-то уже достаточно крупного государства.

В связи с этими соображениями в политическом лексиконе надолго утвердилось понятие баланса сил, которым почти безгранично широко стали пользоваться как западные авторы, так и исследователи разных школ в России и СССР. Злоупотребление этим броским термином привело к размыванию его границ и даже частичному обесмысливанию.

Часть авторов, использовала термин «баланс сил» как синоним понятия «равновесие возможностей». Другая, не усматривая жесткой смысловой привязки между «балансом» и «равновесием», рассматривала «баланс сил» просто как соотношение возможностей отдельных мировых держав в тот или иной конкретный исторический период. Первое течение ориентировалось на то лингвистическое значение, которое слово «balance» имеет в западных языках; второе отталкивалось от понимания слово «баланс», присущего русскому. В этой книге авторы будут использовать словосочетание «баланс сил» именно во втором смысле, то есть в значении «соотношение возможностей». Таким образом будет понятно, что «баланс сил» есть некое объективное состояние всегда присущее международной системе, тогда как равновесие сил, даже и приблизительное, складывалось в ней далеко не всегда и, как правило, бывало неустойчивым. Равновесие сил, следовательно, представляет собой частный случай баланса сил как объективно существующего соотношения между отдельными государствами в зависимости от совокупности военных, политических, экономических и иных возможностей, которыми каждое из них обладает.

По этой логике выстраивались в Европе международные отношения на основе Вестфальского (1648) и Утрехтского (1715) договоров, венчавших, соответственно, Тридцатилетнюю войну и Войну за испанское наследство. Попытка революционной, а затем наполеоновской Франции круто изменить соотношение сил в Европе вызвала ответную реакцию западноевропейской дипломатии, которая, начиная с Венских основоположений 1815 г., сделала заботу о сохранении «европейского равновесия» едва ли не главной задачей внешней политики империи Габсбургов, а затем Великобритании.

Сохранение многополярной модели равновесия было поставлено под серьезнейшую угрозу возникновением в 1871 г. Германской империи на базе объединения германских земель в мощнейший сплошной геополитический массив, включивший в себя преимущественно французские Эльзас и Лотарингию. Контроль Германии над ресурсами двух этих провинций (уголь и железная руда) в момент, когда определяющую роль для военно-технических возможностей государств стали играть металлоемкие производства, способствовал возникновению

ситуации, когда сдерживание единой Германии рамками традиционного «европейского равновесия» методами дипломатии и политики оказалось невозможным. Таковы были структурные предпосылки Первой мировой войны — войны, которая может быть описана как попытка укрепления структуры многополярности через насильственное встраивание «выбившейся из ряда» Германии в ее новом, объединенном, качестве в архаичную структуру многополярности в том виде, идеалом которого с позиций многих европейских политиков начала XX века по-прежнему виделся Венский порядок начала XIX-го.

Забегая вперед и апеллируя к геополитическим урокам Первой и Второй мировых войн, мы можем сказать, что и к началу XX века в принципе, теоретически существовало, как минимум, два способа стабилизации международной системы политическими и экономическими методами — то есть не прибегая в крупномасштабному использованию военной силы.

Первый предполагал значительно более активное и широкое вовлечение в европейскую политику России, которая в этом случае могла бы эффективно сдерживать Германию с востока методом проецирования своей мощи, а не прямого ее использования. Но для осуществления этого сценария требовались такие важные дополнительные условия, как существенное ускорение хозяйственного и политического развития России, которое бы сделало ее невоенное присутствие в Европе более убедительным и ощутимым. Однако все западноевропейские государства, включая и саму Германию, и соперничавшие с ней Францию и Британию, хотя и по разным причинам, боялись укрепления русского влияния в Европе, подозревая в России нового европейского гегемона. Они предпочитали видеть Россию способной сковать, ограничить амбиции Германии, но не достаточно сильной и влиятельной, чтобы пробрести в «европейском концерте» голос, в более полной мере соответствующий ее гигантским по европейским меркам потенциальным, но не реализуемым возможностям.

Трагедия состояла в том, что в силу как внутренних обстоятельств (косность российской монархии), так и внешних причин (колебания и непоследовательность Антанты в оказании поддержки модернизации России) к началу Первой мировой войны страна оказалась не в состоянии эффективно выполнить принятые (мы не касаемся вопроса об оправданности ее решения) ею на себя функции. Итогом были беспрецедентно затяжной по критериям XIX века характер войны, страшное истощение и сопутствующие ему неизбежный политический крах России, равно как и крутая, почти одномоментная ломка сложившейся мировой структуры — ломка вызвавшая шок и глубокий кризис европейского политического мышления, который оно так и не смогло полностью преодолеть до начала Второй мировой войны.

Вторым способом стабилизации международных отношений мог стать выход за рамки евроцентристского мышления. Скажем, если Россия при всей своей важности потенциального противовеса Герма-

нии все же внушала — не без оснований — Британии и Франции страхи своим потенциалом, то и самой России можно было поискать противовес — например, в лице неевропейской державы — США. Однако для этого надо было мыслить «межконтинентальными» категориями. К этому европейцы не были готовы. Не были готовы к этому и сами США, четко ориентировавшиеся почти до конца 10-х годов XX века на неучастие в европейских конфликтах. Более того, не будем забывать, что в начале XX века Великобритания рассматривалась в Соединенных Штатах как единственная держава мира, способная, благодаря своей военно-морской мощи, представлять угрозу для безопасности самих США. Ориентация Лондона на союз с Японией, в которой Вашингтон уже разглядел важного тихоокеанского соперника, отнюдь не способствовали росту готовности США выступить в назревавшем европейском конфликте на стороне Британской империи. Лишь на заключительном этапе Первой мировой войны США преодолели свой традиционный изоляционизм и, бросив часть своей военной мощи на помощь державам Антанты, обеспечили ей необходимый перевес над Германией и, в конечном счете, победу над австро-германским блоком.

Таким образом, «прорыв» европейцев за рамки «евроцентристского» видения все же произошел. Однако это случилось слишком поздно, когда речь шла не о политическом сдерживании Германии, а об ее военном разгроме. Кроме того, «прорыв» этот оказался все же только кратковременным интуитивным прозрением, а не радикальной переоценкой тех приоритетов, которые европейская дипломатия периода между двумя мировыми войнами унаследовала от классиков, как бы мы сказали сегодня, политологии XIX века, воспитанных на традициях К.Меттерниха, Г.Пальмерстона, О.Бисмарка и А.М.Горчакова.

Это доминирование школы политического мышления XIX века, запаздывавшего с осознанием новых геополитических реальностей и нового состояния общемировых политических отношений, и определило то обстоятельство, что главная задача упорядочения международных отношений после Первой мировой войны, по сути дела, была понята не столько как радикальная перестройка мировой структуры, в частности, преодоление относительной самодостаточности, политической обособленности европейской подсистемы от США, с одной стороны и ареала Восточной Евразии, с другой, а более узко: как реставрация классического «европейского равновесия» или, как бы предпочли сказать мы, многополярной модели международной системы на традиционной, преимущественно европейской основе. Этот узкий подход уже не соответствовал логике глобализации мирополитических процессов и постоянно растущей политической взаимозависимости подсистем мировой политики. Это противоречие между европейским, а часто даже только евроатлантическим видением международной ситуации и появлением новых центров силы и влияния за пределами Западной и Центральной Европы — в России и США

— наложило решающий отпечаток на всю мировую политику периода 1918-1945 гг.

Вторая мировая война нанесла по многополярности сокрушительный удар. Еще в ее недрах стали зреть предпосылки для превращения многополярной структуры мира в дуполярную. К концу войны обозначился колоссальный отрыв двух держав — СССР и США — от всех остальных государств по совокупности своих военных, политических, экономических возможностей и идейному влиянию. Этот отрыв определял суть биполярности, почти так же, как смысл многополярности исторически состоял в примерном равенстве или сопоставимости возможностей относительно многочисленной группы стран при отсутствии резко выраженного и признаваемого превосходства какого-то одного лидера.

Сразу после окончания Второй мировой войны дуполярности как устойчивой модели международных отношений еще не было. Для ее структурного оформления понадобилось около 10 лет. Период становления завершился в 1955 году созданием Организации Варшавского Договора (ОВД) — восточного противовеса сформированного на 6 лет раньше, в 1949 году, на Западе блока НАТО. Причем биполярность до того, как она стала структурно оформляться, сама по себе не предполагала конфронтационности. Изначально символизировавший ее «ялтинско-потсдамский порядок» ассоциировался, скорее, со «сговором сильных», чем с их противостоянием.

Но, естественно, идея дудержавного управления миром вызвала стремление «менее равных» государств (роль, особенно тяжело давшаяся Британии) разобщить своих сильных партнеров, чтобы придать недостающий вес себе. «Ревность» к советско-американскому диалогу стала чертой политики не только Британии, но и Франции, и полуформально признаваемых Москвой правительств центрально-европейских стран. Действия всех их вместе подогревали взаимное недоверие СССР и США. На этом фоне начавшаяся вскоре «встречная эскалация» советских и американских геополитических претензий привела к вытеснению кооперационного начала в советско-американских отношениях конфронтационным.

Буквально за два-три года — со второй половины 1945 по приблизительно 1947 год — сформировался вектор взаимоотношения обеих держав. Вехами к нему были американские попытки политически обыграть свою ядерную монополию, советские амбиции в Южном Причерноморье и Иране и неприятие восточноевропейскими странами плана Маршалла, зримо обозначившее очертание будущего «железного занавеса». Конфронтация стала превращаться в реальность, хотя «холодная война» еще не началась. Ее первый факт, берлинский кризис, так или иначе спровоцированный финансовой реформой в западных секторах Германии, относится к лету 1948 года. Этому предшествовали и «нажимные» акции СССР в «советской зоне влияния» — сомнительные в части свободы волеизъявления выборы в законодательный сейм Польши в январе 1947 г. и спрово-

цированный коммунистами политический кризис в Чехословакии в феврале 1948 г.

Говорить о согласованном управлении миром в интересах СССР и США, прежде всего, а в интересах других стран — в той мере, как они были представлены этими двумя, уже не приходилось. Идея порядка, основанного на сговоре, сменилась презумпцией возможности сохранить достигнутое соотношение позиций и одновременно обеспечить себе свободу действий. Причем, на самом деле свободы действий не было и быть не могло: СССР и США боялись друг друга. Самоиндукция страха определила их естественный интерес к совершенствованию наступательных вооружений, с одной стороны, и «позиционной обороне», поиску союзников, — с другой.

Поворот к опоре на союзников предрешил раскол мира. США стали во главе Организации североатлантического договора. СССР не сразу увидел в своих восточноевропейских сателлитах полноценных союзников и потратил много времени для политической подготовки к созданию Варшавского блока. Но вплоть до провала парижской конференции «большой четверки» в мае 1960 г. СССР не оставлял надежд на возвращение к идее советско-американского соуправления. Как бы то ни было, с 1955 года созданием двух блоков биполярность в конфронтационном варианте была структурно закреплена.

Раздвоение мира оттенялось не только появлением «разделенных государств» — Германии, Вьетнама, Китая и Кореи, — но и тем, что большая часть государств мира была вынуждена сориентироваться относительно оси центрального противостояния НАТО — ОВД. Слабые должны были либо обеспечить удовлетворительный для них уровень представительства своих интересов в цепке великодержавного регулирования, либо пытаться действовать на свой страх и риск, отстаивая национальные интересы самостоятельно или в союзе с такими же, как они, политическими аутсайдерами. Таково структурно-политическое основание идеи неприсоединения, которая стала реализовываться в середине 50-х годов — почти одновременно с зарождением у теоретиков китайского коммунизма схем, вылившихся позднее в основанную на дистанцировании от «сверхдержав» теорию трех миров.

«Дух конфронтации» казался выражением сути мировой политики еще и потому, что с 1956 по 1962 г. в международной системе особенно явно преобладали военно-политические методы разрешения кризисов. Это был особый этап эволюции послевоенного мира. Его самой яркой чертой были ультиматумы, грозные заявления, силовые и парасиловые демонстрации, советские подземные ядерные испытания в 1961 году после американских угроз, в свою очередь последовавших за возведением Берлинской стены. Наконец, едва не разразившийся мировой ядерный конфликт из-за предпринятой СССР попытки тайно разместить на Кубе свои ракеты, сама идея которой, впрочем, тоже была почерпнута Москвой из американской практики установки нацеленных на СССР ракет в Турции и Италии.

Преобладание в отношениях противостоящих держав военно-силовых методов не исключало элементов их взаимопонимания и партнерства. Бросается в глаза параллелизм шагов СССР и США во время франко-британо-израильской агрессии в Египте — особенно любопытный на фоне происходившего вмешательства СССР в Венгрии. Повторная заявка на глобальное партнерство имела в виду и во время состоявшегося в 1959 г. в Вашингтоне диалога между Хрущевым и Эйзенхауэром. В силу неблагоприятных обстоятельств 1960 г. (скандал, вызванный полетом американского самолета-разведчика над советской территорией) эти переговоры не смогли сделать разрядку фактом международной жизни. Но они послужили прототипом разрядки, реализованной на 10 лет позднее.

В целом в 50-х и начале 60-х годов политико-силовое регулирование явно доминировало в международных отношениях. Элементы конструктивности существовали как бы полулегально, готовя перемены, но до поры мало проступая на высшем уровне. И только Карибский кризис решительно вытолкнул СССР и США за рамки мышления категориями грубого силового давления. После него на место прямой вооруженной конфронтации стало приходиться опосредованное проецирование мощи на региональных уровнях.

Новый тип двудержавного взаимодействия постепенно выкристаллизовался в годы войны во Вьетнаме (1963-1973) и на ее фоне. Несомненно, СССР косвенно противостоял в этой войне США, хотя даже тени вероятности их прямого столкновения не просматривалось. И не только потому, что, оказывая помощь Северному Вьетнаму, СССР не участвовал в боевых действиях. Но и оттого, что на фоне вьетнамской войны в середине 60-х годов развернулся невиданной интенсивности советско-американский диалог по глобальным проблемам. Пиком его было подписание в 1968 г. Договора о нераспространении ядерного оружия. Дипломатия потеснила силу и оказалась главенствующим инструментом международной политики. Такое положение сохранялось приблизительно с 1963 до конца 1973 г. — рубежи периода преимущественно политического регулирования мировой системы.

Одним из ключевых понятий этого этапа является «стратегический паритет», понимаемый не как суммарное математическое равенство численности боевых единиц советских и американских стратегических сил, а, скорее, как взаимно признаваемое превышение обеими сторонами качественного рубежа, за которым их ядерный конфликт при всех обстоятельствах гарантировал бы каждой стороне ущерб, заведомо превышающий все мыслимые и планируемые выигрыши от применения ядерного оружия. Значимо то, что он стал определять суть советско-американского дипломатического диалога с того времени, как пришедший к власти в 1968 году президент Р.Никсон официально заявил о наличии паритета в послании американскому конгрессу в феврале 1972 г.

Вряд ли было бы правомерным утверждать, что с этого времени сверхдержавы принципиально переориентировались на конструктив-

ное взаимодействие. Но если в 50-х годах высшим позитивом советско-американских отношений были ограниченные параллельные акции и единичные попытки ведения диалога, то в 60-х годах имело место настоящее сотрудничество. Произошел сущностный сдвиг: не прекращая взаимной критики, СССР и США на практике стали руководствоваться геополитическими соображениями, а не идейными постулатами. Это обстоятельство не осталось неизменным. Администрации Р.Никсона, а затем Дж.Форда доставалось и от демократов, и от крайне правых республиканцев за «пренебрежение американскими идеалами». Критику социал-империализма в лице Советского Союза на своем знамени начертало и руководство Китая. Ослабление позиций стоявшего за новым советским прагматизмом А.Н.Косыгина указывало на присутствие сильной пуристской оппозиции его гибкому курсу и в самом СССР.

Однако все это не помешало Москве и Вашингтону отладить политический диалог, усовершенствовать механизм интерпретации политических сигналов и уточнения намерений сторон. Была усовершенствована линия прямой связи, создана сеть амортизирующих устройств, аналогичных тому, что в критический момент Карибского кризиса позволило организовать в Вашингтоне встречу советского посла А.Ф.Добрынина с братом президента Робертом Кеннеди. В мае 1972 г., обобщая накопленный опыт, стороны подписали принципиально важный в этом смысле документ «Основы взаимоотношений между СССР и США».

Рост взаимной терпимости и доверия позволили в том же году заключить в Москве Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1). Оба договора открыли путь серии последовавших за ними соглашений.

Результирующей этих разрозненных усилий было общее советско-американское взаимопонимание в том, что касалось отсутствия у обеих сторон агрессивных намерений, по крайней мере, в отношении друг друга. К прочим это прямо не относилось. Но желание Москвы и Вашингтона уклониться от любого столкновения само по себе оказывало сдерживающее влияние на их политику в третьих странах, ужимая рамки международной конфликтности, хотя, конечно, не блокируя ее рост полностью.

Во всяком случае, не без учета реакции Вашингтона складывалась позиция Москвы в советско-китайском противостоянии летом-осенью 1969 г., пиком которого стали упорные на Западе и не опровергавшиеся в СССР сообщения о возможности превентивных ударов советской авиации с аэродромов на территории МНР по ядерным объектам в КНР. Очередной кризис был предотвращен не только благодаря гибкости советской дипломатии, но и под влиянием США, которые без экзальтации, но твердо заявили о неприемлемости непредсказуемого разрастания советско-китайского конфликта.

Такова, между прочим, одна из до сих пор опускаемых в российских исследованиях глобально-стратегических предпосылок «внезапной» китайско-американской нормализации 1972 г., а в более широком смысле и разрядки на всем ее азиатском фланге. При том, что в США ослабление напряженности в 70-х годах вообще воспринимается прежде всего через призму прекращения вьетнамской войны и установления новых отношений с Китаем, тогда как в России — в основном фокусируясь на признании нерушимости послевоенных границ в Европе.

К середине 70-х годов из десятилетия «эры переговоров» обе сверхдержавы сделали весьма существенный вывод: нет угрозы попыток резкого, силового слома базисных соотношений их позиций. По сути дела, было достигнуто взаимное согласие на «консервацию застоя», сама имея которого так хорошо укладывалась во внутривнутриполитическую ситуацию терявшего динамику Советского Союза под руководством его дряхлевшего вождя.

Это, конечно, не исключало обоюдного стремления добиться преобладания постепенно. Компромисс в «консервации застоя» не мог быть особенно прочным уже потому, что лежавшая в его основе имея разведения интересов СССР и США, предполагавшая большую или меньшую устойчивость «зон преимущественных интересов», противоречила логике развития. После зафиксированного в 1975 г. в Хельсинки общеевропейского урегулирования на первый план в международных отношениях выступили вызовы, связанные с непредсказуемым пробуждением развивающегося мира. Чем импульсивнее были возникавшие там сдвиги, тем теснее казались рамки советско-американского взаимопонимания.

Тем более, что и главный, и подразумевавшийся смысл этого взаимопонимания интерпретировался и на Востоке, и на Западе по-разному. В СССР — ограничительно. Сохранение «базисных» соотношений считалось совместимым с расширением позиции на региональной периферии, особенно нейтральной, не входящей в зону традиционного американского преобладания. Не случайно в середине 70-х годов наблюдалось усиление интереса советских идеологов к вопросам пролетарского, социалистического интернационализма и мирного сосуществования, которое по-прежнему сочеталось с тезисом об обострении идеологической борьбы. От солидарности с единомышленниками в «третьем мире» (реальными или предполагаемыми) отказываться никто не собирался.

Со своей стороны, США дорожили согласием с СССР во многом из-за полученных от него, как казалось администрации, обязательств его сдержанности и в отношении «неразделенных территорий», то есть стран, не успевших себя связать проамериканской или просоветской ориентацией.

Дело осложнялось идеологической ситуацией в США, где после окончания вьетнамской войны и на волне доставшегося от нее синдрома происходил мощный всплеск политического морализма с харак-

терным для него болезненным вниманием к этической базе американской внешней политики и защите прав человека во всем мире.

На фоне жестких мер Москвы против диссидентов и ее неуступчивости в вопросе увеличения еврейской эмиграции эти тенденции неизбежно приобрели антисоветскую направленность. Попытки администрации сначала Дж.Форда (1974-1977), а затем Дж. Картера (1977-1981) умерить натиск правозащитников успеха не имели. В последнем случае против компромисса с Москвой активно выступал и помощник президента по национальной безопасности Зб.Бжезинский, в котором даже в пору пребывания на официальном посту уязвленное национальное чувство потомка польских эмигрантов бросало тень на профессиональную безупречность «эксперта по коммунизму».

События, словно нарочно, благоприятствовали обостренному восприятию Америкой советской политики. После Парижских соглашений по Вьетнаму (1973 г.) США резко сократили численность армии и отменили введенную было на время войны всеобщую воинскую обязанность. Общий настрой в Вашингтоне был против любых вмешательств в «третьем мире». В фокусе общественного мнения США оказались рецепты лечения внутренних недугов американского общества.

В Москве сосредоточенность США на себе заметили и сделали выводы. Было решено, что разрядка создала благоприятные условия для развертывания идеологического наступления и оказания помощи единомышленникам. В 1974 г. военные свергли монархию в Эфиопии. Победившая в том же году «революция гвоздик» в Лиссабоне вызвала распад португальской колониальной империи и образование в 1975 г. в Анголе и Мозамбике очередных авторитарно-националистических режимов, не мудрствуя, провозгласивших прокоммунистическую ориентацию. СССР не преодолел соблазн и устремился в открывшиеся бреши, «на полкорпуса» опережаемый Кубой.

Но и это было не все. В 1975 г. слабый и непопулярный южно-вьетнамский режим в Сайгоне рухнул под натиском коммунистов, и Вьетнам объединился под руководством Севера на базе верности социалистическому выбору. В то же году при самом деятельном участии «народно-революционного» фактора произошла смена режимов в Лаосе и Камбодже. Правда, в последнем случае преобладающим оказалось влияние не Вьетнама или СССР, а Китая. Но как бы то ни было, и Камбоджа, и Лаос провозгласили верность социалистической перспективе. Та недвусмысленная роль, на которую стал претендовать Вьетнам в Индокитае, могла давать основания обвинять СССР в распространении коммунистической экспансии и экспорте революции.

События не позволяли огню подозрительности затухнуть хотя бы ненадолго. В 1978 г. происками неких «прогрессивных» сил была свергнута вполне дружественная по отношению к СССР монархия в Афганистане, что оказалось прологом к будущей десятилетней трагедии. А летом 1979 г. коммунисты вооруженным путем взяли власть в Никарагуа.

К этому времени в СССР военные уже добились принятия новой военно-морской программы. Отдаленная мировая периферия заняла умы советских политиков — плотнее, чем это могло быть оправдано реальными геополитическими интересами страны. На преобладание их расширительных интерпретаций существенно повлияли устремления военно-промышленного комплекса, возможности которого в начале 70-х годов сделали экспорт вооружений в государства-партнеры мощным политико-формирующим фактором.

США не оставались, конечно, безучастными. Правда, они по-прежнему не помышляли о столкновении с СССР. Американская политология предложила вариант «асимметричного» сдерживания советского продвижения. Были приняты меры к усилению косвенного давления на Советский Союз со стороны его протяженных и уязвимых восточноазиатских границ.

Развивая успех американско-китайской нормализации, администрация Дж.Картера стала работать над закреплением Китая на позиции противостояния СССР, поддерживая стабильно высокий уровень их взаимной враждебности. Одновременно американская дипломатия помогала «укреплять тылы» КНР, содействуя улучшению китайско-японских отношений, которые развивались круто по восходящей с быстрым охлаждением связей Японии с Советским Союзом.

Дело дошло до того, что к концу 70-х в части советских политико-формирующих сфер сложилось мнение о превращении китайской, точнее объединенной китайско-американской, угрозы в главный вызов безопасности Советского Союза. Теоретически эта опасность намного перевешивала все мыслимые и немыслимые угрозы для безопасности США со стороны советской активности в третьем мире.

Закрытые архивы не позволяют судить о том, насколько серьезно американские руководители могли рассматривать возможность конфликта такой конфигурации. Отчетливая попытка Дж.Картера дистанцироваться от Китая в момент его военного конфликта с Вьетнамом в 1979 г. не склоняет к завышенным оценкам перспектив тогдашнего американско-китайского стратегического партнерства. Бесспорно другое: напряженность на восточной границе не позволила Советскому Союзу приостановить наращивание вооружений, несмотря на улучшение обстановки в Европе и наличие стратегического паритета с США. В то же время высокие расходы Москвы на оборону принимались в расчет американской стороной, формулировавшей концепцию экономического истощения СССР.

К этой идее подталкивали и потрясения, охватившие международные отношения в середине 70-х годов — «нефтяной шок» 1973-1974 годов, повторившийся в 1979-1980 годах. Именно он оказался прессингом, побудившим часть международного сообщества, полагающуюся на импорт дешевой нефти, за 6-7 лет путем колоссального напряжения перейти на энерго- и ресурсосберегающие модели экономического роста, отказавшись от многолетней практики расточительства природных запасов.

На фоне относительно высокой глобальной стабильности в центр мировой политики сместились вопросы снижения экономической уязвимости государств, обеспечения их индустриального роста и производственной эффективности. Эти параметры стали более явно определять роль и статус государств. В разряд первых фигур мировой политики стали продвигаться Япония и Западная Германия. Качественные сдвиги показывали, что с 1974 г. мировая система вступила в период преимущественно экономического регулирования.

Драматизм ситуации состояла в том, что СССР, полагаясь на самообеспеченность энергоносителями, упустил возможность провести перезакладку научно-исследовательских программ, нацеливающих его на новый этап производственно-технической революции. Тем самым было предопределено снижение роли Москвы в управлении миром — снижение, пропорциональное ослаблению ее экономических и технико-экономических возможностей.

Совещание 1975 г. в Хельсинки, формально увенчавшее первую разрядку, состоялось в момент, когда тенденция к улучшению советско-американского взаимопонимания уже выдыхалась. Инерции хватило еще на несколько лет. Антишахская революция в Иране и начало афганской войны обозначили лишь формальную событийную канву уже ставшего фактом провала разрядки. С начала 80-х годов резко возросла международная напряженность, в условиях которой Запад сумел реализовать свои технологические преимущества, накопленные на волне разработок второй половины 70-х годов.

Борьба за экономическое истощение СССР через его научно-технологическую изоляцию вступила в решающую стадию. Тяжелейший кризис управления внутри Советского Союза, который с 1982 по 1985 г. приобрел карикатурные формы «чехарды генсеков», в сочетании с окончанием эры дорогой нефти, обернувшимся для СССР разорением бюджета из-за резкого сокращения поступлений, довели дело. Придя к власти весной 1985 г., М.С.Горбачев во внешнеполитическом плане не имел другой рациональной альтернативы кроме перехода к глобальным переговорам о согласованной ревизии «ялтинско-потсдамского порядка».

Речь шла о преобразовании конфронтационного варианта bipolarности в кооперационный, поскольку продолжать противостояние с США и другими державами Советский Союз был не в состоянии. Но было ясно, что так просто Соединенные Штаты на предлагаемый Москвой сценарий «перестройки в мировом масштабе» не пойдут. Необходимо было договориться об условиях, на которых Запад, США прежде всего, согласятся гарантировать СССР пусть несколько меньшее, чем раньше, но первостепенно важное и почетное место в международной иерархии.

Поискам взаимоприемлемой цены по сути дела и были посвящены пять-шесть лет до лишения М.С.Горбачева президентской власти в конце 1991 г. Цена эта, насколько можно судить по небывало возросшему политическому авторитету Советского Союза — на фоне

всем очевидного ослабления его возможностей — в принципе была найдена. Он фактически добился права на недискриминационное сотрудничество с Западом при сохранении своего привилегированного глобального статуса. Несмотря на то, что основания для этого были не бесспорными, например, на фоне искусственного отстранения от решающей мирополитической роли новых экономических гигантов, прежде всего, Японии. Свой раунд борьбы за место в мире дипломатия перестройки выиграла, пусть платой за выигрыш были объединение Германии и отказ в 1989 г. от поддержки коммунистических режимов в странах бывшей Восточной Европы.

Позиция СССР, занятая им в начале 1991 г. в отношении подавления вооруженными силами США и ряда других западных государств, действовавшими по санкции ООН, иракской агрессии против Кувейта, была своего рода апробацией нового советско-американского взаимопонимания о соучастии в международном управлении при асимметрии функций каждой из держав. Эта новая роль СССР, очевидно, сильно отличалась от его положения доперестроечных времен, когда стандартом считалось церемонное, не раз и подводившее, почти ритуализованное и длительное согласование мнений.

Но и в новых условиях Советский Союз сохранял достаточно влиятельную роль ключевого партнера США, без которого мировое управление было невозможно. Однако заработать в полную меру это модели было не дано. В результате радикализации внутренних процессов в 1991 г. Советский Союз перестал существовать. Ялтинско-потсдамский порядок распался, а международная система стала сползать к дерегулированию. Возник своеобразный *кризис миросистемного регулирования*, который, однако, не достиг критической остроты и не привел в общему обострению международной ситуации, способной угрожать новой мировой войной. Из кризиса миросистемного регулирования ко второй половине 90-х годов стала вырастать новая структура международных отношений и новая машина мироуправления, получившая название «*плюралистической однополярности*». Эта модель международных отношений продолжает существовать в международных отношениях сегодня. Ее теоретические особенности будут рассмотрены в главе 14, а основные содержательные характеристики — в главе 17 этой книги.

ГЛАВА 6. СОВРЕМЕННЫЙ МИР: СИСТЕМА ИЛИ КОНГЛОМЕРАТ? ОПЫТ ТРАНССИСТЕМНОГО ПОДХОДА

А.Д.Богатуров

Этот текст задуман и написан как попытка усомниться во всемогуществе анализа на базе системного подхода, в русле которого автор работал всю предшествующую творческую жизнь, что не помешало ему, тем не менее, прийти к необходимости «размягчения», существенной ревизии традиционного системного понимания мира в том виде, как оно представлено в зарубежных и отечественных трудах по политологии, социологии и международным отношениям. Предлагаемая гипотеза не опровергает и не пытается опровергать системного видения уже просто потому, что она в известном смысле как раз из него произрастает. Задача главы, скорее, в том, чтобы отрешиться от абсолютизации системности и отказаться от упрощенного понимания целостности и единства социальных организмов, международного сообщества, мира в целом. Требовалось вырваться за рамки системного подхода — вот почему появилось слово «транссистемный» (то есть «насквозь прошедший» или «насквозь идущий») в заглавии этой главы.

Крайне болезненные трансформации, которые пережила и продолжает переживать Россия с момента начала реформ 90-х годов, обусловили острую потребность произвести в наших интеллектуальных исканиях поворот от преимущественного освоения *западной теории* к формулированию гипотез, которые объясняли бы *фактическое развитие* России в ее соразвитии с окружающим миром. И до него часть ученого сообщества, чудом сохранявшая способность к самостоятельному размышлению, выражала скептицизм по поводу возможности объяснить российский «феномен» только через призму западного опыта. Отечественная мысль в лучшем случае осмеливалась указать на несоответствия российских реалий «общемировым закономерностям» строительства демократии и смущенно «оправдывала» нашу действительность молодостью (?) российских реформ. Этот по-своему важный этап критического освоения западного знания был очень полезен и совершенно необходим. И все же кризис показал, что этот этап во многом — позади. Отправной точкой предлагаемого рассуждения служит констатация: привычные представления о глобализации как о нарастающей однородности мира неполно отражают многообразие живой реальности и не позволяют приемлемо объяснить, каким образом с ней соотносится российский опыт. От констатаций «несоответствия» нашей жизни той *идеальной* картине ожиданий, которая выростала из изучения западной теории, началось движение к построению

гипотез, которые объясняли бы фактическое развитие России в ее соразвитии с окружающим миром.

Одной из актуальных задач сегодня остается уточнение вопроса о траекториях мирового развития. Требуется прояснить вопрос о том, запрограммирован ли мир на уподобление Западу посредством модернизации не-Запада или на самом деле взаимодействие разнородных пластов бытования на планете происходит по более сложным законам, чем «линейно-прогрессивное» преобразование «отсталого» и «традиционного» в «передовое» и «современное».

Если окажется, что растворение «традиционного» в «современном» — всеобщая закономерность и преодоление внутренней разнородности любого общества — лишь вопрос времени, то придется признать убедительной и популярную версию о движении планеты к однородному «мировому обществу», в основе которого «по факту» будут, скорее всего, положены западные стандарты. Наоборот, если увидится, что «традиционное» и «современное» в сложно организованных обществах не обязательно «пожирают» одно другое, а, например, долго и успешно сосуществуют, дополняя друг друга, то уместно будет оспорить и сценарий «линейно-прогрессивной» трансформации в единый массив «современного», то есть либерального и демократического, мира-государства.

Смысл статьи — в попытке построить вариант такого объяснения при помощи включения в инструментарий анализа элементов «несистемного видения» процессов внутри отдельных общественно-государственных единиц и между пластами, которые они образуют в рамках планетарной общности.

I

Очевидная невестимость современных российских реалий в рамки теоретически ожидавшихся результатов «третьей волны модернизации» 90-х годов (если двумя первыми считать петровскую и большевистскую), дает основания с долей упрощения рассмотреть соотношение происходящего в России с зарубежным опытом как частный случай взаимодействия разнородностей. Поэтому и к построению искомой гипотезы логично идти через переосмысление природы связей между разнородными сегментами общественно-экономического, политического и культурно-цивилизационного бытования в формах, в которых они существуют как внутри отдельных обществ, так и между отдельными обществами и государствами в мировой политике. С этой точки зрения ключевыми объектами рассмотрения должны стать три пары отношений: системность — конгломеративность, прогресс — соположенность, интегративная глобальность — реальная мироцелостность.

Поскольку исходным объектом рассмотрения являются общества, стоит начать с уточнения типологии и подразделить их на традиционные, современные и конгломеративные, причем Россия — и это очень многое объясняет — относится к числу последних.

При этом под первыми понимаются общества, поведение членов которых основано не на рациональном целеполагании (в современном

смысле), а на опыте, традиции, ритуале, воспроизводстве устойчивых форм мышления. Основной мотив действия — следование уже известному образцу («свой путь»), а не разуму («умствование»). Модель поведения задается культурным опытом, который, как правило, выражается в изустной традиции, неписаных регламентах быта, религиозных катехизисах, сборниках изречений и т.д. В таких обществах новации выступают в известном смысле «актами бессознательного» (то есть, скорее, «интуитивными прозрениями», чем «интеллектуальными прорывами»), а сфера сознательной активности ограничивается контролем за соблюдением ранее определенных правил и норм.

В обществах второй группы, понимаемых как «современные», модели поведения строятся, напротив, с опорой на осмысление, рациональное целеполагание, нахождение завершенных форм знания («цельных картин действительности»). В «рационально ориентированной» культуре основа бытия — правила рассудочного поведения, а новации выступают как результат сознательного, рационального осмысления, искомым итог «мобилизации интеллектуальных усилий». Современное общество в этом смысле — общество рациональное в отличие от иррационального традиционного общества.

Общества третьей группы названы **конгломеративными**¹. Под ними понимаются общества, для которых характерно длительное

¹ Наиболее распространенной в литературе остается «бинарная» типология обществ: «традиционные» — «современные». Например, британский исследователь Эндрю Вебстер в своей работе о социологии развития весьма подробно рассуждает об относительности понятий «традиционного» и «современного», подчеркивая их взаимную «диффузию» и сосуществование «внутри имеющихся социальных отношений». Но он не видит в «смешанных» обществах особого феномена. (См.: Webster A. Introduction to the Sociology of Development. L.: MacMillan, 1984. P. 57-58, 62). Такой же логики придерживается большинство отечественных авторов. Например, любопытный анализ приводят в своей статье «В чем секрет “современного общества”» В.М.Сергеев и Н.И.Бирюков, рассматривая взаимодействие «традиционного» и «современного» через призму становления общественных институтов. (См.: Полис. 1998. № 2. С. 52-63.)

Гораздо больше параллелей с излагаемой в данной статье точкой зрения обнаруживает превосходная для своего времени и теперь уже классическая в отечественной традиции коллективная работа российских авторов «Эволюция восточных обществ. Синтез традиционного и современного» под ред. Л.И.Рейснера и Н.А.Симони (М., 1984). Ее участники не только точно зафиксировали устойчивость сосуществования «традиционной» и «современной» составляющих в обширной группе стран незападных ареалов, но и ввели понятие «смешанного типа» образований (С. 160), для обозначения которых они предложили термин «синтетическое общество». По смыслу это выражение употребляется в цитируемой работе так же, как в нашей — слова «конгломерат» и «конгломеративность».

Разница, очевидно, в несовпадающем понимании «синтеза». В классической и современной западных философских традициях, включая ортодоксально марксистскую, «синтез» прежде всего подразумевает «расплав» и «слияние». В «Эво-

существование и устойчивое воспроизводство пластов разнородных моделирующих элементов и основанных на них отношений. Эти пласты образуют внутри общества отдельные **анклавы**, эффективность организованности которых позволяет анклавам выживать в рамках обрамляющего общества-конгломерата, сохраняя между собой неизменные или мало изменяющиеся пропорции.

Значимы в такой постановке вопроса четыре момента: 1) конгломеративные общества — это мегаструктуры, опирающиеся на анклавы; 2) конгломеративность — нейтральная характеристика, обозначающая один из типов организации (обществ и мира); 3) анклавы — не остаточные явления чего-то отжившего (анклавы могут представлять и новации), а устойчивые структурные единицы конгломерата, относительная изолированность которых друг от друга не ведет автоматически ни к расцвету, ни к упадку; 4) конгломеративно-анклавный тип самоорганизации может быть и бывает инструментом чрезвычайно успешного приспособления общества к индустриальной и постиндустриальной среде.

Анклавы «традиционного» не обречены раствориться в окружающей его среде. Точно также анклавы «современного» не гарантировано преобладание в масштабах всего общества. Среда может стремиться поглотить анклавы через распространение на него присущих ей связей. Но анклавы могут успешно сопротивляться ей, попутно способствуя приобретению обществом более сложной («сдвоенной», «строеной») структуры. Подобная структура способна позволить обществу, с одной стороны, адаптировать достижения техногенной цивилизации, а с другой — сохранить условия для воспроизводства архаичных трудовых мотиваций так, что последние в соединении с современной техникой дадут экономический эффект, превосходящий тот, что возможен в стране происхождения этой техники на основе характерного для нее отношения к работе и производству. Современные Китай, Япония и Тайвань — иллюстрации эффективности обществ конгломеративного типа.

Уместно предположить, что несмотря на подсознательно-негативные ассоциации, связанные с этим определением, было бы, наверное, ошибкой рассматривать конгломеративные общества как «внутренне противоречивые» (по Марксу) или «надломленные» (по Тойнби) и обреченные. Конгломеративность — ни хорошо, ни плохо, она воплощает частный вид несистемной (или «системно-несистемной») организации; и общества, организованные таким образом, не обязательно уступают по характеристикам типичным для Запада однородным обществам «системного типа».

люции восточных обществ» это обстоятельство было учтено по-своему: авторы говорили в примечаниях, что они понимают «синтез» только в значениях «соединение», «единство» — то есть в тех значениях, которые «формально-исходно» принадлежали ему в древнегреческом языке (С. 543). В этом смысле впервые термин «синтез» употребил Н.А.Симония в 1975 г.

Конгломеративность невольно выступает как оппозиция системности, хотя сама конгломеративность может быть представлена и как вариант системности — в этом смысле первая не отрицает вторую. Тем не менее оба типа общества воплощают разные типы связей.

Идея системности лежит в основе распространенного видения «стандарта» общественной организации, постулирует единство через наличие всепроникающих, относительно жестких **«сквозных» лучевых связей**, тяготеющих к однородности и однородность стимулирующих. Системная общность не обязательно однородна исходно, но она однородна в тенденции. Системность связана с представлением о единстве исторического процесса. В теории мирового развития на логике системности построены такие важные постулаты как взаимозависимость и интеграция. В свою очередь из историко-философской школы системности вышла теория модернизации, а в рамках ее историко-политического направления возникла концепция глобализации — две крупнейшие мета-идеи современности, которым предстоит таковыми оставаться в начале следующего века.

Конгломеративность как идея ничем сопоставимым похвалиться не может, и как теория она — на раннем этапе становления, отчасти оттого, что системность — высшее порождение западной науки и ныне сфокусирована на осмыслении западного опыта; в то время как конгломеративность воплощает опыт не-западный, опыт взаимодействия не-Запада с Западом. В той мере, как последний остается доминирующей силой, изучение первого остается узко направленным: исследуется то, чем не-Запад отличается от Запада и как имеющиеся различия преодолеть.

Конгломеративность тоже воплощает единство, но единство конгломерата — соединение разнотелностей, а не слитность в однородности; это единство «по внешнему контуру», через со-развитие разного, а не через слияние в одинаковом. В отличие от системно организованных общностей, конгломерат свободен от преобладания единственного типа связей. Для конгломеративного общества типичны **«несквозные», опоясывающие связи**¹. Они отличаются большей мягкостью и не рассчитаны на стимуляцию однородности. Каждый анклав в конгломерате автономно воспроизводит свой тип отношений — в этом они с позиций общества в целом «не-системны». Но анклавы взаимодействуют между собой, вступают в отношения, которые с позиций всего общества можно назвать «системными» — с чем и связано допущение о комбинированном, «системно-несистемном», типе организации в конгломерате.

Сказанное не означает, что конгломераты — «недосистемы», и что со временем они станут «нормальными» системами. Они не ста-

¹ Н.А.Симонией также удачно вброшено применительно к связям и отношениям в том, что он сам еще не называл «синтетическим обществом», определение «обволакивающие» (Симония Н.А. Страны Востока: пути развития. М., 1975. С. 163.).

новятся и вряд ли станут таковыми в силу веской причины: системам и конгломератам присущ разный тип взаимодействия образующих элементов.

Отношения разнородных составляющих в системах складываются по диалектической формуле отрицания отрицания. Противоположности, сливаясь, образуют новое качество, одновременно утрачивая свойства исходных частей, происходит синтез.

Отношения между разнородными составляющими в конгломератах построены не на синтезе и превращении одних форм в другие, а на параллельном — но разноплоскостном — со-развитии. Анклавы в конгломератах взаимодействуют между собой косвенно: они взаимно влияют и соприкасаются, но не сливаются, не образуют сплав, не приобретают новых качеств за счет утраты исходных. Синтез отсутствует так же, как отсутствует разрушение исходных свойств.

При этом разноанклавные элементы могут образовывать целостность. Русский, чеченский и ингушский уклады на Северном Кавказе не сплывались в «советский уклад» Чечено-Ингушской АССР, что не мешало им тридцать лет воплощать единство в рамках одной административно-политической единицы. Еврейский и арабо-палестинский уклады в Израиле ничем, походящим на сплав, мир не поразили, но обе общины образуют целое — геополитически и политико-административно. То же можно сказать о единстве русских и эстонцев в Эстонской Республике, или русских и латышей в Латвии.

Еще показательнее пример Китая, где в пределах одной общности пласты прото-западного типа организации в прибрежных зонах сосуществуют с секторами традиционного экономического, политического и бытового поведения во внутренних районах, образуя причудливое единство, воплощенное в форме общих политических институтов и идеологии и мало ощущаемое на уровне каждодневного существования.

Во всех примерах целостность — налицо. Но она не является системной в том смысле, что не тяготеет к «сплошной однородности» составляющих. Унифицирующие связи не преобладают над автономизирующими и разъединяющими. Разнородные элементы сосуществуют, сохраняя автономию; сопологаются, но не взаимопроникают, не взаиморазрушают друг друга, порождая в процессе взаиморазрушения новые сущности. Рискнем повториться: в системе элементы взаимодействуют на основе взаимопроникновения и синтеза-сплава, в конгломерате — на основе «взаимосохранности» и соразвития в рамках общего обрамления.

Единство и выживание конгломеративных обществ достигается не через равномерное распространение однородных связей на всю толщу общественной материи, а через отстраивание комбинированной структуры, при которой общество способно развиваться в качестве целого, оставаясь состоящим из анклавов, воспроизводящих себя и свои отличия от соположенных структурных единиц.

Развиваясь в разных плоскостях, анклав способен выживать неопределенно долго. Они не паразитируют на обществе. Анклавы «традиционного», могут выполнять важные регулирующие функции даже в тех случаях, когда эти функции в силу разных мотивов не признаются или «не распознаются». Так, преодоление классового видения позволило увидеть роль, которую в превращенной форме играют родо-племенные и клановые отношения в странах Закавказья, Юго-Восточной Европы и исламских республиках России, а греко-католичество — на Украине.

В то же время снобистский отказ российских ученых от разработки важнейшего вопроса о современной политической функции архаичной русско-византийской аскезы (как традиции самоограничения, сдерживания плоти, «нормативной» скудости быта) в России отдал ее на откуп публицистов-заклинателей «мистико-почвеннического» толка. Между тем, «антисовременный» пласт этических норм, восходящих к аскетическо-православным ценностям составляет мощный анклав «традиционного» в жизни российской провинции. С одной стороны, он выступает моральной антитезой западничеству и Москве. С другой — выполняет роль поглотителя-канализатора «низового бунтарства», которое (скрытым от нас по нашему же неразумению образом!) направляется в русло «мученического терпения» (голодовки, пассивные формы протеста, «миссионерское» подвижничество лишившихся оплаты учителей и врачей) и не приобретает формы революции — как было бы уместно ожидать в условиях провала радикальных реформ.

Хотя речь шла об анклавах *традиционного*, анклав может состоять и из *современного*, то есть современное не обязательно выступает в роли доминирующей среды по отношению к традиционному. Показательные примеры — московская либерально-западническая «тусовка» конца 90-х годов на фоне консервативной провинции, слой бывшего советского партхозаппарата в Средней Азии, англоговорящая элита Индии в сравнении с остальным населением страны.

В принципе можно допустить, что тип отношений, свойственный одному анклаву, в конкретный момент может пользоваться поддержкой власти, получая благоприятные условия для экспансии в сопредельные анклав и даже их полного освоения. Но так происходит в теории. **Для конгломеративных обществ характерна устойчивая востребованность всех типов отношений** и специализация каждого анклава на той или иной функции: общество равномерно воспроизводит типы связей, характерные для всех анклавов, и прагматично пользуется этим многообразием.

Например, большинство российской элиты независимо от политических симпатий мыслит одновременно и «современно», и «традиционно». «Современно» при решении вопросов приватизации (жилья и т.п.), но «традиционно» — при отладке механизма внеинституционального управления страной, когда волевые импульсы транслируются не через официальные институты, а помимо них — через фаворитов

(если речь идет о Президенте) или через «партийные группы в непартийных организациях» (если — о практике КПРФ).

II

Конгломеративные общества представляют собой целый сектор мировой политики, хотя составляющие его страны не образуют сплошной массив, хотя его границы не легко распознаются: «быть конгломеративным» не престижно, конгломеративность воспринимается как сопутствующая «незрелости». Между тем, взаимоотношения конгломеративных и неконгломеративных составляющих международного сообщества — крупная проблема, не нашедшая удовлетворительного разрешения в уходящем веке и способная обостриться в веке наступающем.

В самом деле, международный порядок в тех формах, которые он принимал в Новое время, всегда тяготел к евроцентризму. Он во многом строился путем проецирования европейских идей общественного и межгосударственного устройства на не-европейские ареалы. И мировое регулирование — в той мере, как оно существовало в виде Лиги Наций и ООН, Бреттон-Вудских основоположений и их модификаций «группы семи(восьми)» — неизменно выступало продуктом западных интеллекта, энергии и ресурсов. Международный порядок был исходно порядком западным, в который включали (или включались сами) не-западные государства. Причем включенность в этот порядок с оговорками и неохотой (Китай) или с вождением (Прибалтика) воспринималась как знак приобщенности к высшему и прогрессивному. Имелось в виду, что прогресс со временем чудесным образом преобразит всех, мир станет подлинно единым и международное сообщество станет мировым обществом как общностью высшего порядка на базе разделяемых всеми ценностей¹.

Такое видение мировой гармонии отражает европейское понимание исторического времени как времени (прямо)линейного и необратимого («время-стрела»), а исторического процесса — как последовательно-стадиального. Его посылками являются представления об историческом прогрессе как восхождении от низших форм к высшим, от простого — к сложному и худшего — к лучшему через смену форм².

¹ Bull H. The Anarchical Society. L.: MacMillan, 1986.

² Из новых политологических публикаций на тему времени интереснее других — статья В.И.Пантина и В.В.Лапкина «Волны исторической модернизации в России», в которой авторы по сути дела говорят о «возвратно-поступательном» («волнообразном», как они пишут) времени применительно к циклам российских реформ. Это любопытное прочтение, тем не менее, не выходит по сути за рамки (прямо)линейного понимания времени, хотя и отрицает его «стреловидность» (См.: Полис. 1998. № 2. С. 39-50).

В отличие от упомянутых исследователей В.Л.Алтухов весьма энергично указал на необходимость учета нелинейных форм общественного развития (помимо спирали — зигзаг, маятниковая пульсация, петля, наложенные волны,

В свою очередь, на презумпции линейного прогресса возведена теория модернизации «традиционных» обществ, из которой следует, что вступившие на путь модернизации страны должны стать аналогами западных обществ — в других географических ареалах. С учетом настроения линейно-прогрессивного видения на растворение «низших» форм в «высших» развития, линейно-прогрессивное развитие можно назвать **«поглощающим»**.

Между тем, жизнеспособность конгломеративных обществ на протяжении длительных исторических периодов и опыт их модернизации заставляет пристальнее рассмотреть вопрос о векторах исторического времени, в рамках которого они развиваются и воспринимают новации.

«Современные» Япония, Южная Корея, Китай (и Россия, несмотря на три века модернизации) подобными Западу не стали. Они остаются многослойными структурами, в которых сосуществуют пласты «традиционного» и «современного». Объясняется ли их «слоистость» только «отставанием» от, скажем, Западной Европы в движении по шкале линейного времени? С точки зрения линейного времени устойчивость конгломеративной организации, если и объяснима, то лишь как патология «нормального» развития. С такой позиции и не может сойти изрядная часть зарубежных коллег.

Ситуация становится менее непонятной, если принять допущение о нелинейном (или нелинейно-линейном) развитии, иначе говоря о том, что модернизаторские усилия в отношении конгломеративных обществ, хотя не пропадают впустую, оказывают свое действие по иной логике, чем та, что предписывается «прямолинейным» видением истории. Импульсы новаций не приводят и не могут привести к возникновению *на месте конгломеративного общества однородной социо-культурной амальгамы «современного» типа. Они приводят к воспроизводству новой (обновленной), но тоже конгломеративной общности*, каждая из составляющих которой, восприняв «свою долю» исторических новаций «порознь», не утрачивает своей «отдельной сущности» и, следовательно, не растворяется в гомогенном общественно-государственном массиве.

Такой тип воспроизводства противоречит линейности и, напротив, указывает на иной, предположительно, спиралевидный, тип развития конгломератов во времени. Точнее, конгломеративные общества взаимодействуют с потоком модернизирующих импульсов и *по спирали, и линейно*: по спирали — на внутриобщественном уровне, и отчасти линейно — во взаимоотношениях с воздействиями внешней среды. Каждый анклав развивается одновременно и в своем собственном, «параллельном», времени, и в «оплетающем» его временном

взаимовложенные спирали и т.д.) при постановке новых исследовательских задач в своей интеллектуально весьма насыщенной работе «О смене порядков в мировом общественном развитии». (См.: Мировая экономика и международные отношения. 1995. № 4. С. 5-21, особ. с. 6.)

потоке, в который «вписан» весь конгломерат. Общество может, с одной стороны, воспринимать новации каждым анклавом в отдельности и постепенно в целом увеличивать в себе присутствие инновационного содержания, а с другой — сохранять стабильной свою внутреннюю структуру, то есть типичные для общества соотношения между «порознь обновившимися» анклавами.

Как очевидно, и **спиралевидное развитие**, подобно линейно-прогрессивному, предполагает взаимное влияние «современного» и «традиционного», но в отличие от него оно **не предполагает поглощения** одного другим. Напротив, спиралевидное развитие **предполагает гораздо лучшие шансы для взаимосохранности** противоположностей. Эта взаимосохранность не исключает появления у целого новых общих свойств, но эти свойства не приобретают «всепроницающего» характера и концентрируются главным образом на внешнем, обрамляющем контуре целого.

Иначе говоря, при линейно-прогрессивном развитии противоположности уничтожают одна другую или уничтожаются обе, чтобы дать новое качество целому. При нелинейном — они сопологаются рядом, образуя объединяющий их по внешнему периметру слой качеств и отношений, но и сохраняя базовые качества частей.

Конгломеративная модель способна привести к приобретению новых качеств не через разрушение свойств частей, а посредством растянутого во времени образования нового макросвойства через ряд повторяющихся, схожих, но и различающихся циклов, в процессе монотонного набегания которых друг на друга соположенные элементы испытывают взаимное влияние и меняются, но сохраняют критическую массу исходных микрокачеств.

Инстинктивно-эмоциональная непривычность такого видения может быть связана с характером отечественного образования как преимущественно западного в базово-понятийном отношении. Интеллекту в норме присуща позитивная оценка «прогресса» как универсального критерия приобщенности к высшему (достижениям цивилизации, передовым технологиям, лучшим стандартам личной свободы, творчества, быта и т.д.). Соответственно, иное, чем «прогрессивное» — спиралевидное — развитие-движение воспринимается как консервирующее косность, рутину — нечто, от чего принято избавляться (хотя бы избавиться полностью было и невозможно без разрушения органической основы жизни страны).

Констатация восприятия прогресса как последовательности смены форм не вызывает желания ни восхвалить, ни осудить ее. Во многом западное мировидение российской образованной публики — данность, на которую стоит делать поправку. Но важно помнить, что развитие на основе по-европейски понимаемого прогресса заставляет ожидать результатов в форме приобретения развивающимся субъектом нового качества через отрицание его «недостойных сохранения», «регрессивных» составляющих и опережающий рост «достойных поддержки», «прогрессивных» компонентов. Поэтому «традиционное»

(к которому нередко относят все, что не имеет аналогов в западном опыте) может казаться лишь национально своеобразной «предстадией» современного¹. Не удивительно поэтому, что образованное сознание испытывает шок, всякий раз «внезапно» обнаруживая, сколь устрашающими могут быть выбросы «иммунных ответов» на модернизацию: Чечня внутри России, Косово внутри Югославии, Белфаст — Великобритании, Баскония — Испании, Курдистан — Турции и, возможно, даже черных жителей, скажем, Северной Калифорнии — в США.

Отказавшись от одномерного видения развития через призму «стреловидного прогресса», можно перестать сетовать на живучесть конгломератов и повернуться к их изучению как исторически непреходящих субъектов — тем более, что конгломеративность и конгломераты как общественно-государственные единицы распространены шире, чем можно подумать.

Примеры конгломератов с выраженной корреляцией анклавов «традиционного» и «чужеземного» — упоминавшийся Израиль или Турция с Турецким Курдистаном. К этой же группе можно причислить и Индию, где «современное» поведение коррелируется с принадлежностью к высшим кастам, а «традиционное» — к низшим.

Как ни странно, в этот же ряд в 90-х годах стало уместно помещать и Соединенные Штаты, на глазах утрачивающие способность оставаться «плавильным котлом» разноэтничных групп. Стоит задуматься над тем, отчего с таким накалом латиноамериканское и черное меньшинство в США демонстрируют отсутствие у них желания следовать «современным» правилам поведения и, напротив, тягу к тому, что в американской литературе именуется «традиционным образом жизни». Последнее же выливается только в приспособление архаичных архетипов бытования к американским законам, в результате чего вывезенный из Африки первыми рабами инстинкт собирательства трансформируется в не осуждаемое местной моралью и легислатурой воинствующее попрошайничество «афро-американцев» на улицах американских городов.

Группу этнически гомогенных конгломератов дают Япония и Южная Корея, в которых границы анклавов «современного» и «традиционного» поведения существуют в «перемежающейся» форме: одни и те же индивиды (или их группы) воплощают в зависимости от ситуации то «современный» (в бизнесе, в городе), то «традиционный» (в быту, в деревне). К этой второй группе есть основания

¹ Показательно, что, на взгляд европейцев, до проникновения Запада в Китай истории в Китае не было — он «спал». Возможность истории-развития появилась только в середине XIX в., когда произошел первый ощутимый контакт, столкновение традиционного китайского и современного европейского. Тогда — для европейцев в большей степени, для китайцев в меньшей — проблема виделась в нахождении форм перехода к прогрессивному, передовому типу социально-экономического устройства.

отнести Россию и Китай, поскольку в обеих странах в пределах одних и тех же этнических массивов хорошо различимы анклав «современного» («меркантилистского» — по А.С.Ахиезеру¹) и «традиционного» типов поведения с той разницей, что в КНР ось соположения проходит по линии «побережье — внутренние районы», а в России она сопрягается с водоразделом «столицы — провинции».

Многообразие форм конгломератов и их относительная автономность от «универсальных» закономерностей дают основание говорить о существовании особого типа развития обществ и межгосударственного сообщества в целом. Как антипод «поглощающему» линейно-прогрессивному развитию его можно назвать **равноположенным развитием**.

Первое, линейно-прогрессивное, акцентирует неизбежность перехода одних форм (не-западных) в другие (западного или протозападного типа), «не оставляя места и перспективы» не-западным формам общностей. Порождается теоретико-концептуальный тупик, очевидность которого нарастает по мере накопления материала об устойчивом воспроизводстве не-западных укладов и возрастании их мощи — как экономической (страны Восточной Азии), так и военной (Индия).

Через второе — равноположенное — преодолевается «историко-мессианская» воинственность западной цивилизации в отношении не-западных. Равноположенность постулирует возможность неразрушительных форм взаимовлияния помимо классической триады «слияние-отрицание-синтез» и задает альтернативную парадигму обновления общества и мира при сохранении автономии и многообразия скоростей и форм развития и на базе сочетания линейного и нелинейного движения сущностей во времени. Возникает более органичное, ненасильственное обоснование цельности мира как общности, соединяющей противоположности, но не обрекающей их враждебному противостоянию в борьбе за сохранении идентичности каждой.

Равноположенное развитие не представляет фронтальной оппозиции линейно-прогрессивному. Оно одновременно и противостоит, и дополняет его, подчеркивая, что *разноорганизованные сущности могут равнополагаться, сохраняя каждая за собой достаточные перспективы на будущее*. Но признание равноположенности как альтернативы линейности означает преодоление «поглочительного», инструментально-наступательного взгляда на мир и историю в пользу «сберегающего» слитно-органического видения вселенной и своего места в ней. При внешнем благополучии нынешних «поглочительных» (в отношении природы и ресурсов) пост-индустриальной и информационной моделей «устойчивого развития», обе они обнаружили к концу XX в. относительную истощенность. Если XXI в. заставит человечество

¹ Ахиезер А.С. Оппозиция типов сознания и феномен двоевластия // Запад-Россия. Культурная традиция и модели поведения / Научные доклады. Вып. 55. М.: МОНФ, 1998. С. 9-20.

обратиться к «сберегающим» вариантам самоорганизации, которые могли обеспечить человечеству способность к восприятию новаций без расширения антропогенной экспансии в природно-вещный мир, равноположенное развитие как вариант «щадящего» взаимоотношения противоположностей (человека и природы) может определять магистраль мирового процесса так же, как до сих пор ее определяла линейность.

III

Учет равноположенности развития уберегает от одномерного взгляда на мир, но и усложняет его картину. С одной стороны, не-Запад перестает казаться несообразной помехой для планетарного торжества «современной цивилизации». С другой — возникает потребность объяснить соотношение между унификацией, постулируемой глобализацией, и феноменом равноположенности, который своим существованием намечает пределы нарастания однородности мира.

Равноположенность не опровергает глобализации как важнейшего из направляемых Западом процессов «сжатия» планеты по времени и пространству и движения мира к единству. Но она вносит в происходящее предостерегающую ноту: глобализация при ее нынешних формах представляет логику «поглощения», в то время как «обреченные быть поглощенными» составляющие мира и сам этот мир стали иными, чем они были на протяжении последних двух-трех веков, когда «поглодительная» философия складывалась и безопасно срабатывала.

К началу XXI века не-западные секторы мира не без культурного влияния Запада выработали новые стандарты миро- и самовосприятия. Возросла самооценка не-Запада, что связано с укреплением его позиций в мировой экономике (страны Восточной Азии), политике и военной сфере (Индия, Китай, исламские и латиноамериканские страны). Не-западные составляющие мира не готовы увидеть в себе лишь «предполье» Запада, которое хочет и, возможно («если будет себе хорошо вести»), сможет стать его частью. Обретение ядерного оружия Индией и Пакистаном — самые грозные аргументы против чрезмерного оптимизма на этот счет.

Более того, опыт восточноазиатских (Япония) и ряда других стран девальвировал ценность западной модели и указал на реальность приобретения не-западными обществами новых характеристик (экономическая эффективность), не уподобляясь Западу и находя оригинальные формы самосоотнесения с новациями, обобщенным выражением чего является «цитирование в конгломератах». *Конгломеративная самоорганизация не-западных обществ возникла как их иммунный ответ на модернизацию, выступив в роли избирательно-проницаемой «защитной брони»: с одной стороны, она позволяла обществам дозированно воспринимать и осваивать новации; с другой — предохраняла органические основы воспроизводства не-западных обществ от полного разрушения; с третьей — смягчала противоречия по линии «Запад-не-Запад», предохраняя их от эскалации взаимной агрессивности и «взрывного» отторжения.*

Признавая воздействие глобализации в широко понимаемой сфере экономики и финансов, не-западное сознание вряд ли готово воспринять глобализацию в качестве воплощения цельности мира. Уместно полагать поэтому, что *реальная мироцелостность не равнозначна глобальности, если последнюю понимать как воплощение гомогенной планетарной общности, в основе которой — западное цивилизационное ядро.*

Глобализация олицетворяет возникновение мощной сети общемировых связей, рост интенсивности которых придает международному сообществу качество глобальности как, во-первых, состояния возрастающей слитости, сплавленности стран и народов в планетарную общность, а во-вторых, осмысления и признания этой слитности и ее последствий. В той мере, как источником импульсов к глобализации является «индустриальное сообщество», она является вариантом «поглотительной», линейно-прогрессивистской версии философии международных отношений.

Мироцелостность, напротив, воплощает одновременно и системное единство, и суммативность субъектов мировой политики. Она вбирает в себя идеи и общемировых связей как инструментов формирования единства, и анклавной автономности равнополагающихся субъектов. Она не противопоставляет одно другому, а предоставляет каждому функциональную нишу. Достигается это за счет преодоления присущей концепциям глобализации одномерности в понимании природы связей в пределах мироцелостности. Согласно глобалистскому видению, общемировые связи — преимущественно **всепроникающие** «по толще пласта». Согласно мироцелостному — большая часть общемировых связей относится к разряду **всеоплетающих**. Но всеоплетающие связи не пронизывают всю глубь мировой материи, оставляя в ней место для анклавов и автономности. В таком прочтении целостность мира не обрекает его вестернизации, хоть и не отрицает моделирующей роли последней в современном мире.

К ограничительному пониманию глобализации как преобладающей, но не безусловно позитивной и не безальтернативной тенденции развития подталкивают изменения, которые происходят в природно-материальном мире. На протяжении тысячелетий человечество «вылуплялось» из естественной природной среды, а критерием развития считалась «удаленность от природы». К концу XX века мир достиг крайней стадии самовыделения из природы, свидетельством чего стало торжество техногенной цивилизации. Но начало нового тысячелетия может стать конечным рубежом этого вектора¹. И хотя контуры другого, органичного варианта отношения к среде просматриваются мутно, наступающий этап жизни планеты воплощает переход от эпохи инструменталистско-потребительского отношения к природной обрамляющей к ненасильственному самовстраиванию в нее обществ.

¹ *Петрухин А.* Откуда вышло и куда идет человечество. Как отвечает на эти вопросы русский ученый Никита Моисеев // Независимая газета. 1998. 10 июня. С. 16.

Связанная с этим переходом смена оценочной парадигмы низводит с пьедестала значимые для XIX-XX вв. героики борьбы противоположностей и умеряют ее привлекательность. Непривычным образом начинает терять актуальность присущая лучшим умам уходящей «старой современности» (modernity) от Маркса до Леви-Стросса склонность осмысливать мир в бинарных оппозициях. Двоичность размывается, противопоставление и противоположность перестают быть стандартной матрицей анализа. Мир начинает опасаться бинарности и искать концепции, которые позволяли бы обосновать шансы неконфронтационного существования в новом, вольно или невольно отрешившемся от биполярности мире.

Если в структурно-политическом смысле рост международной конфликтности связан с распадом СССР, то с позиций философии международных отношений современную конфликтность можно понимать и как результат попыток регулировать отношения во всех секторах международной жизни с позицией односторонне постулируемой неизбежности исходить из нормативности опыта и этики Запада.

По-своему и еще неконкретно ощущая это противоречие, автор удручающе популярного положения о «конflikте цивилизацией» образно обозначил вероятный источник роста конфликтности. Равноположенность как альтернатива «поглощающей линейности» объясняет конфликтогенный механизм конкретнее, намечая путь к разработке версий преодоления «конflikтов равноположенности».

После пятнадцати лет упоения конвергентностью стоит критичнее взглянуть на проблему единства мира и перестать относиться к нему как к завлекательно абстрактной схеме. Феномен мироцелостности слишком сложен, чтобы его изучение возможно было оставить в рамках какой-то одной аналитической парадигмы¹. Матрицы анализа требуется обогатить с учетом необходимости улавливать специфику всех составляющих современного мира — включая феномен России².

¹ Скептицизм по поводу способности системного подхода служить универсальной парадигмой исследования современных реалий в деликатной форме осмелился до сих пор выказать, кажется, только ведущий российский теоретик-методолог международных отношений М.А.Чешков. См.: Чешков М.А. Россия в мировом контексте. Глобальная общность человечеств // Мир России. Социология, этнология, культурология. 1997. № 1. С. 107-125.

² Дискуссия с целью найти способ теоретически совместить концепцию «унифицирующей глобальности через глобализацию» с фактической невозможностью описать с ее помощью мирополитическую реальность (по счастью) не затухает. Более или менее удачный ее пример — круглые столы Центра сравнительных исследований России и Третьего мира в ИМЭМО РАН, материалы которых были опубликованы (См.: Запад-Незапад и Россия в мировом контексте // Мировая экономика и международные отношения. 1996. № 12; 1997. № 1). Более прикладными (ознакомительно-аналитическими) были две статьи на тему глобализации, опубликованные, например, В.Кузнецовым (См.: Что такое глобализация? // Мировая экономика и международные отношения. 1998. № 2-3).

Глобализация как форма распространения западной модели самоорганизации — глубинная тенденция. Но она не обязательно «обрекает» Россию на трансформацию в часть «цивилизованного мира». Жесткое внутреннее сопротивление российского материала вестернизации в форме радикально-либеральных реформ заставляет размышлять об исторических перспективах России в контексте не только ее единства-слияния с Западом или Востоком, но и конгломеративной со-равно-положенности с тем и другим.

Равноположенное развитие не противоречит партнерству ни с Западом, ни с Востоком. Оно дает методологический ориентир для нахождения предельных рамок, вне которых попытки форсировать включенность России во внешний мир при игнорировании ее существенных характеристик могут иметь трагические последствия для России и оказаться контр-продуктивными для окружающего мира.

Поэтому с точки зрения российского государственного интереса центральная проблема ориентации среди сложностей мира — выработка Россией выверенного отношения к глобализации как важнейшему международному процессу, которым однако не исчерпывается ни многогранное содержание мироцелостности, ни перспективы планетарного развития.

* * *

Постановка проблемы о равноположенности как о равноценном варианте планетарной самоорганизации не ставит под сомнение фундаментальный факт: в мире доминируют линейно-прогрессистское видение мирового развития и воплощающая это видение модель мироустройства. Она победила в Новое время и продолжает преобладать, хотя перспективы ее доминирования перестали быть такими же благоприятными, как еще пятьдесят лет назад. Пафос сомнения адресуется не глобализации, а ее некритическому восприятию, которое угрожает дезориентацией относительно долговременных мировых тенденций: упрощения, заблуждения и зигзаги, которые могут позволить себе обладающие неограниченными ресурсами США, способны оказаться фатальными для стесненной в выборе средств России. Глобализация ставит перед ней дилемму: вхождение в Запад и сопряженная с этим вероятность саморазукрупнения до масштабов «среднезападной страны» или равноположенность по отношению к нему, но тогда — сопутствующие такому выбору самоограничения, умеренность и отказ от расточительности. Глобализация не отменяет фрагментации мира. Обе они оттеняют и дополняют друг друга, внося в мироцелостность гибкость и многообразие. Это две равноположенные, хотя и не равнозначные тенденции. И каждая способна дать парадигму встраивания национального интереса в мировую политику.

І УСТОЙЧИВОСТЬ И РЕГУЛЯРНОСТЬ І

ГЛАВА 7. ДИНАМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКЕ

А.Д.Богатуров

Стабильность — одно из наиболее часто и неточно употребляемых слов международно-политического словаря. В разных значениях им пользуются теоретики военной стратегии, политологи, историки, экономисты и т.д. В последнее десятилетие его стали осваивать экологи и юристы. Как отмечает канадский исследователь Дэвид Дьюит, в связи с отступлением ядерной угрозы подходы к обеспечению стабильности и безопасности стали пересматриваться с точки зрения «деградации окружающей среды и ее способности поглощать вредные последствия, снабжения стратегическими минеральными ресурсами, распространения наркотиков, неконтролируемого перемещения крупных масс капитала или населения, эпидемий, терроризма...»¹ На Западе формируется целая подотрасль знаний, связанная с изучением международных отношений под экологическим углом зрения. Вышедшая в конце 1993 г. одновременно в Нью-Йорке и Лондоне книга под режущим глаз названием «Средоохранные основы политической стабильности»² — лишь одна из иллюстраций, прямо связанных с нашей темой.

В задачи работы не входит разбор всех аспектов стабильности как предмета изучения гуманитарных наук. Анализ будет ограничен международно-политическим аспектом с минимальными экскурсами в сопредельные области военно-стратегических и экономико-политических исследований. Приходится констатировать, что ясности и единообразия в понимании «стабильности» нет. Многоголосье продолжается в употреблении понятий «стабильность», «статус-кво», «силовое равновесие», «безопасность» и «порядок». Некоторые из этих терминов («стабильность» — «силовое равновесие»; «стабильность» — «безопасность») используются как взаимозаменяемые, вплоть до того, что одно полностью вытесняет другое³. Для целей

¹ *Dewitt D.B.* The New Global Order and the Challenges to International Security // Building a New Global Order. Emerging Trends in International Security. Toronto; Oxford; New York: Oxford University Press, 1993. P. 2.

² *Myers N.* The Environmental Basis of Political Stability. Ultimate Security. N.Y.; L.: W.W.Norton and Company, 1993.

³ Например, Линн Миллер, автор оригинальной исторической интерпретации проблемы поддержания мира в международных отношениях последних

дальнейшего изложения важно определить место «стабильности» в ряду сходных, но существенно иных явлений.

Стабильность, статус-кво и силовое равновесие

Взаимосвязь между первыми двумя понятиями существовала с тех пор, как человечество осознало, что внезапные изменения могут влечь за собой наибольшие потери из-за того, что к ним нельзя заранее подготовиться. Однако понятие «стабильность» до XIX в. в политических рассуждениях, судя по литературе, употреблялось мало. Даже и в XIX в. оно не имело широкого распространения, поскольку в ходу было перекрещивающееся с ним по смыслу, хотя и не тождественное выражение «статус-кво» («существующее положение»). Показательно, что в книгах по истории международных отношений, опубликованных до Второй мировой войны, слово «стабильность» встречается эпизодически. В более поздних работах, особенно в 50-е годы, оно стало употребляться чаще, причем применительно не только к послевоенному периоду, но и к более ранним. В то время началось активное «освоение» этого термина в контексте мировой стратегической ситуации и авторы «опрокидывали» заново осмысливаемое понятие на прошлое.

Одним из пионеров в этом смысле был британский историк Алан Джон Персивал Тэйлор, автор классического труда «Борьба за господство в Европе. 1848-1918 гг.», опубликованного в 1954 г.¹ и оказавшего глубокое влияние на несколько поколений специалистов. А.Тэйлор рассматривал понятие «стабильность» в политическом контексте — наряду с понятиями «статус-кво» и «силовое равновесие» (*balance of power*). Перевод его работы на русский язык в 1958 г. сыграл определяющую роль в популяризации этих терминов в советской историко-дипломатической литературе. Показательно, что «стабильность» как понятие, вводимое в аналитический оборот отчасти как бы заново, А.Тэйлор в основном употреблял в собственных рассуждениях, а более архаичные «статус-кво» и «силовое равновесие» — при описании образа действий государств и политиков предшествовавших периодов; тем большую ценность представляет собой данный труд с точки зрения уяснения семантической традиции употребления этих терминов.

Первое, в чем убеждает анализ книги А.Тэйлора, это — преобладание одностороннего восприятия стабильности. Сознание предпочитало фиксировать в основном ее «статическое» измерение. В стабильности видели и стремились видеть не то, чем ее можно было бы охарактеризовать в научном смысле, а «просто» антипод переменам²

трех веков, во всех случаях увязывает отсутствие войн с «силовым равновесием» (*balance of power*). См.: *Miller L.H. Global Order. Values and Power in International Politics. 3rd ed. Boulder; San Francisco; Oxford: Westview, 1994.*

¹ Тэйлор А.Дж.П. Борьба за господство в Европе. М., 1958. Русский перевод книги давно стал библиографической редкостью.

² Пример такого восприятия, сохранившегося до наших дней, — изданная в 1988 г. книга К.Голдмана с характерным противопоставлением в названии

или «ревизионизму», под которым понимались попытки изменить сложившиеся между государствами соотношения в самом широком смысле слова — территориальные, демографические, военно-силовые, экономические, идейно-политические и т.д.

Но антиподом «ревизионизму» виделось и поддержание статус-кво. В отличие от отвлеченно звучащей «стабильности» это понятие было привычным для дипломатов XIX — начала XX вв. Возникало ощущение, что статус-кво — и есть воплощение стабильности. С понятийной точки зрения такое мнение предстает упрощением. Но практики тонкостями дефиниций пренебрегали, а теория международных отношений стала развиваться в основном после 1945 г. До тех пор «стабильность», как она интуитивно ощущалась политиками, выступала символом идеального состояния международной системы, в которой государства не имели оснований искать повода для войн, но периодически доверительно обсуждали бы спорные проблемы, продвигаясь к их решению.

При этом фактор силы не сбрасывался со счета. Предполагалось, что для сохранения статус-кво необходимо, чтобы ревизионистское государство имело возможность заранее оценить размеры своих возможных потерь от нарушения мира. С этой точки зрения военные демонстрации (демонстрация флага у побережья, например) не только не осуждались морально (понятие «силовой шантаж» появилось позже), но казались нравственным средством удержать агрессора от выступления. Правда, хотя наличие или отсутствие военной силы проецировалось на дипломатические переговоры, главной для дипломатии статус-кво была не она. Задача виделась не в нанесении удара, а в навязывании оппоненту «амортизирующих» согласований, в ходе которых имелось в виду подвести его к пониманию неприемлемости войны для него самого, с одной стороны, и возможности компромисса, с другой. Можно резюмировать: в XIX и первой половине XX веков со стабильностью связывалось представление об идеальной системе международных отношений, в которой основной целью считалось сохранение статус-кво, а главным условием ее реализации — сохранение силового равновесия. Необходимо сказать о последнем.

Одним из ключевых понятий дипломатии статус-кво — дипломатии Клементы Меттерниха, а в определенный период и Отто фон Бисмарка — был «balance of power». Традиционно это словосочетание переводилось как «баланс сил». Перевод представляется неправильным. Слово «баланс» в русском языке означает просто «соотношение» без определения того, каким именно это соотношение является. Значит, выражение «баланс сил» по-русски равнозначно словосочетанию «соотношение сил» — соотношение любое, равновесное или неравновесное. Между тем, главное значение слова англ-

«Изменения и стабильность во внешней политике». См.: Goldman K. Change and Stability in Foreign Policy: The Problems and Possibilities of Detente. Princeton: Princeton University Press, 1988.

лийского «balance» — «равновесие». Следовательно, «balance of power» следовало бы переводить как «равновесие силы», что точнее лингвистически, или «силовое равновесие», что правильно по сути. Именно так «balance of power» интерпретируется в антологии современной теории международных отношений, изданной в 1987 г. Полом Виотти и Марком Кауппи, которые синонимически употребляют по отношению к «balance of power» слово «equilibrium», что буквально и означает «равновесие»¹. Стоит иметь в виду, что для передачи того смысла, который по-русски несет выражение «баланс сил», то есть их соотношение, в английском языке существует адекватное по смыслу выражение «balance of forces». Ободряет, что один из «современных классиков» мышления категориями статус-кво Г.Киссинджер в своих поздних (но не ранних) работах проводит грань между понятиями «balance of power» (силовое равновесие) и «balance of forces» (что буквально соответствует русскому «баланс сил», «соотношение сил»). Он применяет первое к истории до 1918 г., а второе — например, к нынешней ситуации неустоявшихся соотношений влияния между Германией и ее европейскими соседями².

В таком же смысле пользуется термином «balance of forces» Пол Кеннеди, один из наиболее ярких современных исследователей международных отношений историко-системной школы. Ему следует в своей работе о теории «циклов силы» и понятиях абсолютной и относительной мощи великих держав политолог Чарльз Доран³. Классик теории международных отношений Ганс Моргентау еще в своей основополагающей работе 40-х годов подсчитал, что выражение «balance of power» в современной ему литературе употреблялось в девяти (!) разных значениях, причем даже в его собственной работе — в четырех. И все же даже сам Г.Моргентау счел нужным пояснить, что наиболее точный смысл этого словосочетания передается термином «равновесие»⁴.

Пытаясь приблизиться к ясности, будем использовать термин «силовое равновесие», не злоупотребляя броским и неточным «баланс сил». Выражение «баланс сил» в русском восприятии вызывает ассоциации с представлением о неких суммарных соотношениях — как если бы речь шла о совокупной мощи всех держав. «Силовое

¹ International Relations Theory. Realism. Pluralism. Globalism / Ed. by Paul Viotti and Mark Kauppi. N.Y.; L.: Macmillan Publishing Company, 1987. P. 51-52.

² Kissinger H. Russian and American Interests after the Cold War // Re-thinking Russia's National Interests / Ed. by Stephen Sestanovich. Washington: Center for Strategic and International Studies, 1994. P. 1, 3.

³ Kennedy P. The Rise and Fall of Great Powers. N.Y.: Random House, 1988. P. 534; Doran Ch. Quo vadis? The United States' Cycle of Power and Its Role in a Transforming World // Building a New Global Order. Emerging trends in International Security / Ed. by D.Dewitt, D.Haglund, J.Kirton. Toronto; Oxford; New York: Oxford University Press, 1993. P. 17.

⁴ Morgenthau H.I. Politics Among Nations. 6th ed. N.Y.: Knopf, 1985. P. 173.

равновесие» от таких ассоциаций свободно. Между тем, в принципе «balance of power» не было идеи суммирующих сопоставлений. Напротив, он означал сравнения индивидуальные. Имелось в виду «равновесие один на один»: *каждое* из наиболее сильных европейских государств должно было оставаться приблизительно равным по силе любому другому, *так же взятому в отдельности*. Только тогда коалиция заведомо должна была оказаться сильнее любой державы в отдельности. Значит, мог существовать и построенный на идее коалиций европейский концерт с присущим его эпохе «дисперсным» типом отношений между великими державами, при котором между всеми ими сохранялась приблизительно равная дистанция, а постоянных предпочтений не было. Преобладала, как пишет А.Тэйлор, «линия мирной удаленности (pacific detachment): в дружбе со всеми и в союзе ни с кем»¹. Были только правила игры, в которой самоцелью казалась игра, а индивидуальный выигрыш (обычно имевший место) формально считался как бы под запретом. Уловив эту «нормативную конкурентность», президент В.Вильсон в обращении к сенату конгресса США 27 января 1917 г. назвал политику «равновесия сил» «организованным соперничеством»².

Покуда силовое равновесие *tete-a-tete* (индивидуальное силовое равновесие) удавалось сохранять, коалиции успешно выполняли роль регуляторов международной системы. Их силами статус-кво поддерживался до последней четверти XIX в.³ Но затем дело пошло к формированию долгосрочных союзов (1879 г. — заключение союза Германии и Австро-Венгрии, впервые прямо не связанного с подготовкой войны). «Дисперсный» тип отношений сменился устойчивым избирательным партнерством. Формула исчисления силового равенства усложнилась. Стало труднее оценить потенциальные потери в войне и силы противника. Возросла непредсказуемость. Парадоксально, становление более устойчивых отношений между отдельными странами *в рамках групп* вылилось в рост *общеевропейской* нестабильности. Принцип силового равновесия, эффективный на индивидуально-страновом уровне, на межкоалиционном не сработал.

Похоже, он морально устаревал. Но не от того, что нельзя было обеспечить равенства коалиций, а как раз потому, что при узости круга ведущих государств этого равенства было нельзя избежать; а значит, невозможно было гарантировать *заведомое* превосходство одной коалиции над другой — эффект, который был основой сдерживающего влияния на ревизионистскую страну в эпоху, когда коа-

¹ Taylor A.J.P. Bismark. The Man and the Statesman. N.Y.: Vintage Books, 1967. P. 142.

² The Papers of Woodrow Wilson / Ed. by Arthur Link. Princeton: Princeton University Press, 1982. Vol. 40. P. 536.

³ Рассмотрению роли России в этой связи посвящена одна из наших работ. См.: Богатуров А.Д. Евразийский устой мировой стабильности // Международная жизнь. 1993. № 2. С. 34-46.

лиции существовали не постоянно, а создавались «по случаю» и действовали против отдельных держав, а не друг против друга. Возникновение коалиционной конфронтации подорвало идею классического «силового равновесия» как противостояния преимущественно индивидуального.

Тем не менее, два межвоенных десятилетия были временем систематических попыток держав-победительниц вернуться к ситуации, когда статус-кво можно было удерживать при помощи силового равновесия. Попытки реализовать эту задачу во многом определили работу Лиги Наций¹. И в той мере, в какой такие надежды были эмоционально привлекательными для поколений политиков, находившихся у власти в 20-е и 30-е годы, термины «статус-кво» и «balance of power» оставались в активе анализа, перекрещиваясь с понятием «стабильность».

Стабильность и безопасность

После Второй мировой войны ситуация стала меняться. Термин «статус-кво» стал употребляться реже. Сузился спектр применения «balance of power» — поскольку с появлением ядерного оружия у США и СССР стало труднее определить, что под таковым должно пониматься. В политический лексикон с подачи Джорджа Кеннана вошло «сдерживание» (containment). Позднее хождение получило выражение «устрашение» (deterrence).

В 50-е годы популярность «стабильности» среди аналитиков и политических писателей быстро возростала. Причем, термин начал отрываться от историко-политического контекста и включаться в понятийный аппарат военно-стратегических исследований. В новом терминологическом поле «стабильность» утрачивала ассоциации с представлениями о международных конгрессах, договорах и организациях для контроля над их соблюдением и т.п. Военные эксперты придали «стабильности» роль технического термина, характеризующего состояние военно-стратегической обстановки в мире, когда скованные взаимным страхом сильнейшие державы (США и СССР) не решались напасть друг на друга и не позволяли этого сделать никому из жестко контролируемых ими сателлитов. Соответственно, под укреплением стабильности понималось консервирование принципиальных силовых соотношений между соперниками и, что, возможно, было важнее, разумно высокого (взаимосдерживающего) уровня опасений в отношении друг друга.

Истоки «военизации» понятия «стабильность» показаны в книге Марка Трахтенберга, современного американского специалиста в области военно-исторических и политических исследований. Как он подчеркивает, сращивание значений «стабильность» и «безопасность» было инициировано появлением военно-политической доктрины

¹ Miller L. Op. cit. P. 50.

«стратегической стабильности»¹. Известная также под названием доктрины «взаимно гарантированного уничтожения», она была разработана во второй половине 50-х годов в Лос-Анджелесе, в исследовательском центре РЭНД-корпорейшн². Ее смысл состоял в признании достигнутого потенциала ядерных арсеналов США и СССР достаточным для уничтожения друг друга независимо от того, с чьей стороны будет исходить первый удар. В таком случае преимущество первого удара обесмысливалось.

Такое понимание неприемлемости первого удара могло существовать, пока стратегические силы США и СССР оставались уязвимыми для ядерных ударов друг друга. Следовательно, для упрочения мира обе державы должны были прийти к пониманию необходимости примириться с этой уязвимостью как своего рода залогом неприменения каждой из них ядерного оружия первой. Идея консервации этой принципиальной уязвимости, отказа от попыток (практически нереализуемых) стать неуязвимым и тем обрести решающее стратегическое преимущество и была воплощена в слове «стабильность», которое вошло в название доктрины.

Доктрина «стратегической стабильности» стала обсуждаться при второй администрации Д.Эйзенхауэра (1957-1961), а при Дж.Кеннеди она стала теоретической основой американской политики. Не удивительно, что слово «стабильность» стало восприниматься почти как синоним термина «безопасность». Начало этому в 60-е годы прямо или косвенно положили ученые, причастные к формулированию и популяризации доктрины — Альберт Уолстеттер (Albert Wohlstetter), Бернард Броди (Bernard Brodie), Фред Хофман (Fred Hofman), Томас Шеллинг (Thomas Shelling) и др.³ Они не чувствовали себя связанными традицией употребления слова «стабильность» и применяли его в отрыве от контекста, характерного для школы историко-дипломатических исследований⁴. Понятие «стабильность» стало сливаться с понятиями «устрашение» и «безопасность» — в той мере, как безопасность ассоциировалась с избеганием войны, а «устрашение» рассматривалось как средство достижения этой цели. Процесс этот шел так энергично, что к 70-м годам основная масса специалистов по военной стратегии уже не сомневалась, что эти понятия вполне тождественны. Возникла целая литература, написанная в

¹ Trachtenberg M. History and Strategy. Princeton: Princeton University Press, 1991. P. 17-25.

² В работах на русском языке эта доктрина разбиралась неоднократно. Многие из них сегодня неудовлетворительны в силу своей тенденциозности.

³ См.: Schelling Th., Halperin M. Strategy and Arms Control. N.Y., 1961; Arms Control, Disarmament and National Security / Ed. by Donald Brennan. N.Y., 1961.

⁴ На это, кстати, хотя и под существенно иным углом зрения, указывает и М. Трахтенберг, упрекающий основоположников «стратегической стабильности» в пренебрежении политическими аспектами принятия решений. См.: Trachtenberg M. Op. cit. P. 25.

подобном понятийном ключе¹. В 80-х преимущественное право на оперирование понятием «стабильность» настолько прочно утвердилось за экспертами военно-политического профиля, что употребление этого термина в ином контексте уже требовало оговорки.

Отождествление стабильности с безопасностью характерно как для общих, так и для региональных исследований. Модели первых переносятся в последние, а поскольку труды по регионоведению культурой мышления пишущих редко превосходят общеполитологические, то в регионоведческих книгах дело доходит до курьезных упрощений. Авторы одной из работ, претендующих на исследование отношений в Восточной Азии, вообще не увидели разницы между «стабильностью» и «безопасностью». В главе, которой открывается их книга, в качестве ключевого фигурирует термин «стабильность-безопасность»². Тем важнее определиться.

Определение стабильности

Взаимосвязь стабильности с безопасностью, отмечаемая всеми исследователями, не дает оснований упрощать характер этой связи. В литературе предпринимались попытки объяснить содержание понятия «стабильность». За отправную можно взять точку зрения известных американских ученых К.Дойтча и Дж.Д.Сингера, по мнению которых, «стабильность — это вероятность того, что система сохраняет все свои основные характеристики; что ни одна из наций не получает преобладания; что большинство членов системы продолжают выживать; и отсутствует крупномасштабная война»³. Поясняя свое видение, авторы добавляют: «стабильность стоило бы связывать с вероятностью продолжения государствами своего политически независимого существования при сохранении их территориальной целостности и в условиях отсутствия высокой вероятности втягивания в «войну за выживание»»⁴.

¹ Не злоупотребляя перечислением (библиография «стратегической стабильности» насчитывает сотни названий), сошлемся лишь на те работы, которые особенно явно акцентировали связь стабильности с безопасностью: National Security and International Stability / Ed. by V.Brodie, M.Intriligator, R.Kalkowecz. Cambridge (MA): Oelgeschlager, Gunn and Hain, 1983; Stability and Strategic Defenses / Ed. by Jack Barkennbus and Alvin Weinberg. Washington, D.C.: Washington Institute Press, 1989. Из недавних см. также: Huth P., Russett B. General Deterrence between Encuring Rivals: Testing Three Competing Models // American Political Science Review. Vol. 87. № 1 (March 1993). P. 61-73.

² East Asia Conflict Zones. Prospects for Regional Stability and De-escalation / Ed. by Lawrence E.Grinter and Young Whan Kihl. N.Y.: St.Martin Press, 1987. P. 17.

³ Deutsch K., Singer D. Multipolar Power Systems and International Stability // Analyzing International Relations: a Multimethod Introduction / Ed. by W.Coplin and Ch.Kegley. N.Y.: Praeger, 1975. P. 321.

⁴ Ibidem.

Иначе, но логически и методологически сходно, решает задачу британский теоретик Н.Ренгер. По его мнению, «определение стабильности должно было бы подразумевать международную систему, которая не склонна к насильственным спорам, по крайней мере, между великими державами»¹.

Оба эти варианта объяснения можно считать приемлемыми, когда и если речь идет о прикладных задачах — анализе конкретных ситуаций или лекции в студенческой аудитории. Вместе с тем, трудно не видеть, что и К.Дойтч с Дж.Д.Сингером, и Н.Ренгер описывают стабильность, но не дают ее определения — и поэтому с теоретической точки зрения их ответы неадекватны.

Но были и попытки дать определение стабильности, уйдя от описательности. Американский ученый Л.Ричардсон предложил понимать под стабильностью набор условий, при которых система международных отношений сохраняет способность восстанавливать равновесие, оставаться равновесной. Под нестабильностью он понимал отсутствие таких условий и нарастание в системе изменений до какой-то критической точки, в момент достижения которой происходит распад². Эта точка зрения вызывала критику рецензентов неконкретностью, хотя, как представляется, требуемый уровень абстракции — как раз ее достоинство.

В американской политологии можно встретить и еще более обобщенный вариант понимания стабильности, принадлежащий крупнейшему современному теоретику-структуралисту Кеннету Уольтцу. Насколько можно понять, он полагает, что стабильность — это состояние, при котором система просто способна продолжать свое существование, не разрушаясь³.

Несмотря на отвлеченность интерпретаций Л.Ричардсона и К.Уольтца, оба они соответствуют своему наименованию. Ценными в них представляются, как минимум, три момента: видение межгосударственных отношений как саморегулирующейся системы [1], восприятие стабильности как системного состояния, а не набора конкретных условий (отсутствие доминирующего государства — по К.Дойтчу и Дж.Д.Сингеру; или отсутствие войны между великими державами — по Н.Ренгеру)[2], указание на наличие подлежащей формализации связи между выживаемостью системы и ее способностью адаптироваться к переменам [3].

¹ Rengger N.J. No Longer a «Tournament of Distinctive Knights»? Systemic Transition and the Priority of International Order // From Cold War to Collapse: Theory and World Politics in the 1980s / Ed. by Mike Bowker and Robin Brown. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. P. 158.

² См.: Richardson L.F. Arms and Insecurity. Chicago, 1960. P. 67.

³ Waltz K.N. Theory of International Politics. Reading: Addison-Wesley, 1979. P. 161-163. Взгляды К.Уольтца на стабильность были подвергнуты критике, опять-таки за их отвлеченность, Дж.Л.Гэддисом. См.: Gaddis J.L. International Relations Theory and the End of the Cold War // International Security. Vol. 17. № 3. P. 5-57 (особ. p. 32).

Вместе с тем, представляется, что акцент на динамическом характере стабильности стоило бы усилить. Думается, что от зафиксированной Л.Ричардсоном и К.Уолтцем констатации «стабильность — состояние» было бы правильно сделать шаг к постановке вопроса в плоскости «стабильность — движение». В российской печати эта наша точка зрения уже излагалась. Как отмечалось в публикациях, предшествовавших этой работе¹, под «стабильностью» уместно понимать определенный тип движения системы межгосударственных отношений; движение относительно плавное, равномерное и предсказуемое, при котором система оказывается в состоянии существовать, воспроизводиться и изменяться, не утрачивая при этом своих базисных характеристик. Стабильность характеризует способность системы обеспечивать назревшие, необходимые для ее самосохранения перемены, компенсируя их таким образом, чтобы утрата отдельных элементов или характеристик не создавала угрозы для выживания системы в целом. Очевидно, в стабильности присутствуют и консервирующее, и трансформирующее начала².

Стабильность не равнозначна статус-кво. Она характеризует вид движения системы, а статус-кво — один из моментов этого движения³. Статус-кво — это стабильность при условии, что скорость движения системы стремится к нулю. Но в этом случае системе угрожает гибель, она не может перестать развиваться. Таково одно из структурных объяснений неуспеха политики статус-кво в ретроспективе двух мировых войн за первую половину XX в.: на определенном этапе самоорганизации системы (переход от «дисперсного» типа отношений к коалиционному) статус-кво стал вести к накоплению конфликтного потенциала изменчивости системы; внутренние противоречия не разрешались, а откладывались; отложенный конфликт результировался во взрыв умноженной мощности.

Приняв определение стабильности как типа движения, а не состояния, можно охарактеризовать ее соотношение с безопасностью. Эксперты не раз указывали на изменение смысла понятия «безопас-

¹ Более развернутому анализу такого понимания стабильности посвящена наша с К.В.Плешаковым специальная работа. См.: Динамика международной стабильности // Международная жизнь. 1991. № 2. С. 35-46.

² В общем виде на необходимость каким-то образом отразить в определении стабильности динамический момент системного развития указывали М.Каплан (*Kaplan M. The System Approach to International Politics // New Approach to International Politics / Ed. by M.Kaplan. N.Y.: Sharpe, 1968. P. 388*), а также О.Янг (*Young O. Political Discontinuities in the International System // World Politics. Vol. 12. № 3 (April 1968)*).

³ Любопытно, что Э.А.Поздняков, широко и вольно пользующийся термином «баланс сил», одновременно отрицает его «статическое содержание» и стремится придать ему «динамическую» интерпретацию. См.: Поздняков Э.А. Философия политики. Т. 2. С. 208.

ность». Оно стало включать в себя не только гарантии суверенитета, целостности, защиты населения, но и обеспечение благоприятной природной среды, доступности ресурсов, защиту от стихийных бедствий и даже поддержание материального благополучия¹. Связывают с безопасностью и содействие распространению демократических ценностей². Очевидно, что такого рода рассуждения относятся не столько к понятию «безопасность», сколько к описанию угроз безопасному существованию. Для целей исследования требуется иной угол зрения — безопасность как таковая. В литературе распространены два ее понимания: безопасность как неугрожаемое состояние, и безопасность как совокупность мер для его обеспечения.

Если безопасность подразумевает искомое состояние государства или системы, то стабильность — тип смены их реальных состояний, которые могут характеризоваться большей или меньшей безопасностью. Или по-другому: безопасность воплощает отсутствие угроз для выживания, а стабильность — способность компенсировать такие угрозы в случае их возникновения за счет внутренних адаптационных возможностей системы. Наконец, третий вариант: стабильность — это равномерно отклоняющийся тип движения, средней линией которого можно считать отсутствие угрозы выживанию системы, с которым и отождествляется безопасность.

Вернувшись к интерпретациям стабильности (от К.Дойтча и Дж.Д.Сингера до К.Уольтца), заметим, что все они тяготеют к «прикладному» видению стабильности — к ее пониманию как условия безопасности. Оттого описание стабильности по Дойтчу и Сингеру напоминает попытку перечисления условий, при которых государство будет чувствовать себя безопасно. В этой главе сделана попытка проанализировать стабильность как относительно автономный, объективный феномен, который не является только рукотворным плодом политиков, а органически присущ системе. Стабильность не всегда может доминировать в международных отношениях и в этом смысле зависит от политиков, которые могут способствовать или препятствовать стабилизации системы. Но они вряд ли могут «играть в такую игру» долго без опасности для своего существования, потому что государства зависят от системы больше, чем ее выживаемость — от каждого из них.

Дальнейший анализ уместно развернуть к взаимосвязи глобальных и страновых аспектов стабильности и безопасности. Тождественность безопасности и стабильности в тенденции может существовать, хотя бы теоретически. В той мере, как цель безопасности — выживание системы, она сближается со стабильностью, воплощающей оптимальный для обеспечения этой выживаемости тип движения.

¹ *Pentland C.C. European Security After the Cold War // Building a New Global Order. P. 64.*

² *Sorensen Th. Rethinking National Security // Foreign Affairs. Vol. 69. № 3 (Summer 1990). P. 7.*

Допустимо полагать, что смысл безопасности состоит в обеспечении стабильности. С оговорками можно сформулировать и обратное: стабильность представляет собой вид саморегулирующегося (самокомпенсирующегося) движения как оптимального с точки зрения выживаемости системы. Значит, безопасность системы может считаться, если не целью, то полюсом тяготения стабильности.

Однако важно подчеркнуть, что эта достаточно условная связь существует лишь на общесистемном уровне. С долей погрешности допускать отождествление стабильности и безопасности можно, если речь идет о глобальной системе. На страновом же уровне подобное допущение выглядит некорректно. В самом деле, для выживаемости системы может быть безразлична гибель отдельных государств. Возможны ситуации, когда их разрушение способно работать на сохранение системы в целом. Распад СССР был абсолютно несовместим с его безопасностью. Но глобального кризиса стабильности не последовало¹, и даже гипотетически угроза разрушения мировой системы не рассматривалась. С точки зрения безопасности Германии ее расчленение на пять частей (ФРГ, ГДР, Западный Берлин, Померания-Силезия и Восточная Пруссия) в 1945 г. означало полный крах. Но признание раскола как реальности в конце 60-х — начале 70-х годов привело к стабилизации обстановки в мире.

В Южной Азии в 70-х годах разрушение политического единства Западного и Восточного Пакистана тоже привело к стабилизации обстановки в северо-восточной части этого региона.

Сказанное не означает, что предлагаемое видение соотношений безопасности и стабильности претендует на нормативность. Задача заключается в том, чтобы обозначить болевые точки российской теории международных отношений в той мере, как она относится к проблеме стабильности, и предложить единый вариант истолкования соотношений между собой понятий, без которых дальнейший анализ может вылиться в двусмысленные или просто непонятные рассуждения.

Статический аспект: стабильность и порядок

Стабильность, как она понимается в этой работе, включает в себя статическое и динамическое начала международных отношений. Исторически, как уже говорилось, преобладало первое. Отмечалось, что в 60-е и 70-е годы такое восприятие формировалось под сильным давлением военно-политических исследований с их ориентацией на стратегическую стабильность. Вместе с тем, старая школа историко-дипломатической науки продолжала развиваться. Сохранялась и линия политико-исторического осмысления феномена стабильности. В этой области самой яркой фигурой был Г.Киссинджер. Его взгляды

¹ Последовал частичный структурный кризис, выразившийся в падении управляемости международных отношений. Но он оказался, пользуясь медицинским термином, вполне компенсированным. См.: Богатуров А.Д. Кризис миротворческого регулирования // Международная жизнь. 1993. № 7. С. 30-40.

особенно интересны по двум причинам: во-первых, он сам испытывал горячий теоретический интерес к классической дипломатии статус-кво и силового равновесия¹; во-вторых, вряд ли кто еще имел такие возможности проецировать ее стратегию и тактику на живую ткань международных отношений 60-х и 70-х годов, являясь с 1969 по 1976 г. ключевой в интеллектуальном отношении фигурой «первой разрядки».

В понятийном аппарате Г.Киссинджера и его коллег «стабильность» занимала гораздо более важное место, чем в обиходе их предшественников, работавших в XIX в. и первой половине XX в. Наполнение этого понятия определялось взаимодействием образного ряда классики и ассоциациями с доктриной «стратегической стабильности», хорошо знакомой и созвучной самому Г.Киссинджеру. Поскольку и в старом дипломатическом, и новом военно-стратегическом истолкованиях акцент делался на консервирующем моменте, то и в восприятии Г.Киссинджера стабильность виделась преимущественно в «статическом ключе». Она уже не приравнивалась «просто» к статус-кво. Динамика ситуации в лихорадочно самоопределявшемся третьем мире оттеняла недостаточность терминов времен К.Меттерниха или Д.Ллойд-Джорджа. Но идея упорядочения международных отношений была актуальна. Стабильность стала связываться не столько со «статус-кво», сколько с «порядком».

В литературе высказываются разные взгляды на содержание понятия «международный порядок». Из современных наибольшую известность приобрела концепция американского исследователя Линна Миллера. Он считает главным признаком порядка присутствие в мировой системе некоторого основополагающего принципа, которым сознательно или стихийно руководствовались бы государства. В книге «Глобальный порядок» он трактует этот принцип отвлеченно. Утверждается, что с середины XVII в. до Первой мировой войны в мире существовал всего один порядок, автор называет его вестфальским (по Вестфальскому миру, положившему конец Тридцатилетней войне в Европе и послужившему, как утверждает Л.Миллер, началом нового порядка). Основанием для такого обобщения автор считает то обстоятельство, что в основе международных отношений всего этого периода лежал принцип «разрешительности» (*laissez-faire* = «позволять делать») или «невмешательства»². Как отмечает Л.Миллер, «в самом широком смысле концепция разрешительности предполагает, что для общего блага лучше всего предоставить наибольшую меру свободы и возможности индивидуальным лицам в обществе служить

¹ Перу Г.Киссинджера принадлежит специальная работа о европейской стабильности XIX в.. См.: *Kissinger H.A. A World Restored: Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace*. Boston: Houghton Mifflin, 1973.

² *Miller L.* Op. cit. P. 29-32. Термин заимствован из экономической теории А.Смита и означал прежде всего отказ государства от вмешательства в экономическую жизнь. С этим принципом ассоциировалась «свобода торговли».

индивидуальным лицам в обществе служить своим собственным интересам»¹. Этот принцип предполагал отказ одного государства от постоянных внешнеполитических обязательств и одновременно от попыток помешать другому государству в осуществлении его задач во всех случаях, когда это не касается жизненных интересов первого. Антиподом этой политики Л.Миллер считает «вильсонский» принцип международного регулирования, впервые представленный В.Вильсоном в 1918 г. Этот принцип воплотился в потенциально «интервенционистской» политике Лиги Наций, затем — ООН, а в последние годы — США и НАТО.

Стоит отдать должное оригинальности такой интерпретации. Тем более что Л.Миллер справедливо сделал акцент на динамическом компоненте международных отношений, необходимости присутствия в них наряду с консервирующими, упорядочивающими устремлениями одновременно также и иницилирующих импульсов, противоречий и конфликтов. Но принять такую концепцию за основу дальнейшего развития нашей темы вряд ли можно.

Во-первых, Л.Миллер абсолютизирует «разрешительное» начало, растворяя в основанном на нем и три века длившемся Вестфальском порядке несколько периодов преобладания не «разрешительности», а скорее, «запретительности» в международных отношениях (1815-1823 гг., десятилетие после Крымской войны, последняя четверть XIX в.). Британия, например, с конца XVIII в. так широко трактовала свои жизненные интересы, что около 150 лет она практически непрерывно занималась созданием коалиций, с тем чтобы помешать то одной, то другой европейской державе в реализации целей, которые та ставила. В этом ей периодически помогали Франция и Австрия.

Во-вторых, что существенно, искусственно помещая три века международных отношений в рамки единого порядка, автор делает упор на однородности всего этого огромного периода. С аналитической точки зрения это вряд ли целесообразно, потому что при таком подходе невозможно проследить тенденции, в частности, ту, что важна для нашего исследования, — тенденцию смены моделей стабильности в мировой системе.

В-третьих, Л.Миллер вообще понимает «порядок» не как «устройство», а как «образ действия». Это снимает все возможные претензии к его действительно талантливой работе с точки зрения интересов нашего исследования, сфокусированного на анализе роли международных структур. Но одновременно это же и вынуждает решительно отказаться от следования в ее русле.

В отличие от концепции Л.Миллера большинство авторов склоняется к более конкретному видению порядка как воплощения разумно *ограничительного начала* во внешней политике государств и их взаимоотношениях, связывая с функцией такого ограничения упрочение стабильности мировой системы. Британский исследователь

¹ Ibidem. P. 30.

Роберт Купер, отталкиваясь от классической работы Хэдли Булла¹, например, предложил несколько возможных интерпретаций «порядка». Во-первых, таковым может считаться преобладающий тип внешнеполитического поведения государств (pattern of actions), независимо от того, служит ли оно упорядочению или дезорганизации системы (здесь Р.Купер близок Л.Миллеру); во-вторых, порядок может означать определенную степень стабильности и целостности системы (исторически такое видение преобладало); в-третьих, порядок можно понимать как «правила, которые управляют системой и поддерживают ее в состоянии стабильности; моральное содержание, воплощающее идеи справедливости и свободы»².

Уже упоминавшийся Н.Ренгер, независимо от Р.Купера, в сущности, развивает его второй тезис, предлагая отделять понятия мирового порядка от международного. Первый, по его мнению, воплощает модели человеческой деятельности, которые обеспечивают элементарные или главные цели общественной жизни человечества в целом. Второй — модели поведения, связанные с реализацией главных задач сообщества государств или международного сообщества³.

Признавая значимость постановки вопроса о моделях внешнеполитического поведения государств, трудно согласиться с мнением, что сами эти модели воплощают международный порядок. Такое понимание кажется слишком абстрактным и излишне сориентированным на бихейвиористский анализ внешней политики. История же международных отношений, начиная с 70-х годов, подвигает к заключению о преобладании на практике видения порядка, промежуточного между «поведенческим» (по Л.Миллеру, Р.Куперу и Н.Ренгеру) и структурным. Таковым, например, оно было у Г.Киссинджера. В воспоминаниях о годах дипломатической активности он подчеркивал, что не видит возможности обеспечить мир без равновесия (структурное понимание) и справедливости без самоограничения (поведенческое)⁴.

Под «порядком» в дальнейшем изложении будет пониматься система межгосударственных отношений, регулируемых совокупностью принципов внешнеполитического поведения [1]; согласованных на их основе конкретных установлений [2]; набора признаваемых моральными и допустимыми санкций за их нарушения [3]; потенциала уполномоченных стран или институтов эти санкции осуществить [4]; политической воли стран-участниц этим потенциалом воспользоваться [5].

¹ Bull H. The Anarchical Society. A Study Order in World Politics. N.Y.: Columbia University Press, 1977.

² Cooper R. Is there a New World Order? // Prospects for Global Order. Vol. 2 / Ed. by Seizaburo Sato and Trevor Taylor. L.: Royal Institute of International Relations, 1993. P. 8.

³ Rengger N.J. No Longer a «Tournament of Distinctive Knights»? P. 146.

⁴ Kissinger H.A. The White House Years. Boston; Toronto: Little, Brown and Company, 1979. P. 55.

Определение порядка как некоторой структуры отношений подразумевает, что он должен опираться на формальную юридическую базу — договор или комплекс взаимосвязанных соглашений, устав международной организации и т.п., если только, конечно, не имеется в виду порядок в условиях однополярного мира — Pax Romana в пределах Римской империи. Присутствие всех пяти названных элементов порядка в чистом виде — ситуация редкая. Возможно, поэтому и идеально прочными известные варианты международного порядка не были. Тем не менее, с большей или меньшей долей уверенности можно говорить о существовании венского порядка (в чистом виде в 1815-1825 гг., а с учетом возобновлявшихся и иногда успешных попыток его восстановить — до создания Германской империи в 1871 г.)¹, версальского (1918-1938 гг.), ялтинско-потсдамского (1945-1991 гг.).

Но, следовательно, в конце 60-х ничего принципиально нового создавать было не нужно. Сверхзадачей «первой разрядки» была стабилизация международных отношений через укрепление уже сложившейся биполярной структуры посредством внедрения в нее дополнительного элемента — новых принципов отношений между СССР и США в условиях стратегического паритета, под которым понимается заведомое превышение военными потенциалами СССР и США уровня, после которого их столкновение при всех обстоятельствах гарантировало взаимное уничтожение.

Да и сам Г.Киссинджер, теоретик и практик разрядки, насколько можно судить, видел себя, скорее, «спасителем» международной стабильности, чем ее «отцом». Во всяком случае, в качестве темы одного из двух своих крупных трудов по истории международных отношений он выбрал не дипломатию позднего Галейрана и Александра I, стоявших буквально у истоков установлений 1815 г., а политику Меттерниха и Кестльри, которые не столько создавали венский порядок, сколько работали над его сохранением. По-видимому, с ними, более, чем с кем-то еще из своих предшественников, мысленно отождествлял себя тот, кто в 70-х годах стал первым дипломатом Соединенных Штатов².

Как бы то ни было, политика разрядки была выдержана в духе ограничивающей функции порядка. «Порядок» выступал как выражение консервирующей и ограничивающей функции стабильности. Логика состояла в стремлении развести потенциально конфликтные интересы СССР и США³. Если же вероятность случайного проти-

¹ Р.Купер в уже упоминавшейся работе о мировом порядке так же с определенностью указывает на объединение Германии в XIX в. как на рубежный этап в разрушении европейской стабильности и равновесия. См.: Cooper R. Op. cit. P. 9.

² Kissinger H.A. A World Restored: Metternich, Castlereagh, and the Problems of Peace. Boston: Houghton Mifflin, 1973.

³ См. подробнее: Богатуров А.Д., Плешаков К.В. Динамика международной стабильности. С. 39.

противостояния возникала, предмет намечающегося спора предполагалось заранее обсудить и найти компромисс в духе более или менее симметричной взаимной сдержанности. Иными словами, политика «первой разрядки» строилась на принципе *изоляции конфликтных устремлений*.

Это был статический вариант стабильности, который предполагал, что все внимание СССР и США будет сосредоточено на сохранении сложившихся между ними соотношений в силовом (паритет) и географическом (сферы влияния) смыслах. В его основе лежали стратегическое сдерживание и конфронтация — но конфронтация управляемая и регулируемая. Под конфронтацией при этом понималось систематическое и более или менее симметричное противопоставление сторонами своих действий друг другу.

Взаимный страх и осознание своей уязвимости, которые впервые возникли в Москве и Вашингтоне в дни Карибского кризиса октября 1962 г., были дополнены договоренностями об укреплении механизмов кризисного управления в чрезвычайных ситуациях, о принципиальных основах взаимоотношений между двумя сверхдержавами. Обобщенным выражением и символом стабилизации международных отношений стала подготовка Заключительного Акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.). После него, условно говоря, в мире и формально утвердилась «конфронтационная стабильность»¹ как вид статической. Она определяла структуру международных отношений приблизительно с 1962 по 1991 г.

*Стабильность и конфигурация международной структуры:
«плюралистическая однополярность»*

Идея «конфронтационной стабильности», неполным аналогом которой в западном интеллектуальном обиходе можно считать выражение «длинный мир», предложенное Джоном Льюисом Гэддисом², была, строго говоря, порочна, так как эта модель была основана на симметрии страха перед взаимным уничтожением. Но в реальности она содействовала укреплению мира, снижая шансы прямого столкновения СССР и США. Стабилизация мировой системы с конца 60-х до конца 70-х годов была столь зримой и непривычной после почти четырех десятилетий напряженности, что вызвала энергичную интеллектуальную реакцию со стороны политологов. В центре внимания оказалась взаимосвязь стабильности с той или иной конфигурацией международной структуры. Речь шла о том, можно ли было ждать при «биполярно зарегулированной» структуре мира 70-х годов тех же результатов, каких можно было достичь в удачные периоды многополярности XIX в.

¹ Термин предложен К.В.Плешаковым.

² Gaddis J.L. The Long Peace: Element of Stability in the Postwar International System // International Security. Vol. 10. № 4 (Spring 1986). P. 99-142.

Под многополярностью в этой работе понимается структура международных отношений, при которой существует несколько ведущих держав, сопоставимых по совокупности своих силовых, экономических, политических возможностей и потенциалу идейно-политического влияния. Биполярностью уместно считать ситуацию, при которой существует значительный отрыв только двух государств от всех остальных членов международного сообщества по совокупности возможностей, которые перечислены выше¹.

Инициаторами полемики стали американские ученые К.Дойтч и Дж.Д.Сингер, весной 1964 г. опубликовавшие статью «Многополярные системы государств и международная стабильность»², в которой стабильность увязывалась с наличием многополярности. Их идеи вызвали критику со стороны тех, кто не только считал стабильность возможной в условиях биполярности, но и расценивал двуполярную структуру как более благоприятную для сохранения мира. Выразителем последней точки зрения был К.Уольтц, вступивший в полемику с К.Дойтчем и Дж.Д.Сингером после выхода в свет их статьи собственной публикацией в 1964 г. и к 1979 г. обобщивший свои аргументы в крупной работе «Теория международной политики»³.

Этот труд, ставший классикой международно-политической теории, задал высокий профессиональный уровень продолжающейся до настоящего времени дискуссии вокруг проблемы обеспечения стабильности, но одновременно и ограничил ее проблемные рамки. Полемике с ним и в то же время развитию, уточнению и проверке сомнениями его построений посвящены длинный ряд книг и десятки статей последующих авторов⁴. Со второй половины 80-х годов среди оппонентов К.Уольтца более других известность приобрел американский историк Дж.Л.Гэддис.

Дискуссия сконцентрировалась на двух положениях. Во-первых, (здесь тон задавал Дж.Л.Гэддис) К.Уольтца обвиняли в абсолютности

¹ Подробнее см.: Богатуров А.Д. Кризис миросистемного регулирования // Международная жизнь. 1993. № 7. С. 30-40.

² Эта работа (Deutsch K.W., Singer J.D. Multipolar Power Systems and International Stability) впервые опубликована в журнале «World Politics». В 1975 г. она была воспроизведена в доработанном авторами виде в кн.: Analyzing International Relations. A Multimethod Introduction / Ed. by W.Coplin, Ch.Kegley. N.Y.: Praeger, 1975. P. 320-337. Этот позднейший вариант и использован в книге.

³ Наиболее часто цитируемая статья: Waltz K. The Stability of the Bipolar World // Daedalus. Vol. 13. 1964 (Summer 1964). См. также: Waltz K. Theory of International Politics. Reading, MA: Addison-Wesley, 1979.

⁴ Из наиболее комплексных см.: International Relations Theory. Realism, Pluralism, Globalism / Ed. by Paul Viotti, Mark Kauppi. N.Y.; L.: Macmillan Publishing Company, 1987; Analyzing International Relations. A Multimethod Introduction / Ed. by W.Coplin, Ch.Kegley. N.Y.: Praeger, 1975; From Cold War to Collapse: Theory and Work Politics in the 1980s / Ed. by Mike Bowker, Robin Brown. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

зации роли международной структуры. Под структурными факторами он понимал биполярность и высокую степень независимости противостоящих центров друг от друга. Фактор ядерного оружия Уолтц учитывал, но долгое время (до конца 80-х годов) не придавал ему решающего значения¹. Он стремился показать, что структура межгосударственных отношений наделена определенной мерой функциональности сама по себе, обладает некоторой автономной стабилизирующей функцией, то есть органической способностью тяготеть к равновесию. В этом смысле, по его мысли, естественным тяготением к равновесию — стабильности наделены и многополярные, и двуполярная структуры. Но это присуще им в разной мере, и биполярность, с точки зрения стабильности, надежнее. П.Виотти и М.Кауппи, достаточно нейтральные комментаторы теории Уолтца, отмечали, что, по его мнению, государства подобны бильярдным шарам на столе, которые сколько бы они не катались, в конце концов все равно замрут в состоянии покоя, по крайней мере, до тех пор, пока их снова из него не выведут².

Дж.Л.Гэддис, напротив, акцентировал внимание на влиянии, которое оказывает на международную стабильность поведение отдельных государств. Он признавал стабильность биполярного мира, но считал ее производной не от самой двуполюсной структуры, а от особенностей поведения сверхдержав в условиях ядерного противостояния. Фокус его анализа смещался к исследованию традиционных политикоформирующих факторов — влиянию материальных интересов, представлений о безопасности, роли личности в политическом процессе. Гэддис не отрицал стабилизирующей роли биполярности, но отмечал, что наряду с чисто структурными факторами, такими, как силовой отрыв двух сверхдержав от остальных государств и высокая степень независимости противостоящих центров друг от друга, стабильность определялась «поведенческими» характеристиками межгосударственных отношений — осознанием разрушительной силы ядерного оружия и качественного рывка в прогрессе средств разведки и слежения, постепенным отказом СССР и США от наиболее острых форм идеологического противостояния³.

Во-вторых, как уже говорилось, несогласие вызывала точка зрения К.Уолтца на биполярность. Обосновывая ее, он указывал, что

¹ Стоит отметить, что недооценка ядерного фактора у Уолтца простиралась так далеко, что еще в 1981 г. он мог ставить вопрос о возможности приобретения ядерного оружия малыми странами ради стабилизации соответствующих подсистем региональных отношений — о чем не без сарказма напомнил Дж.Л.Гэддис в очередной своей интеллектуальной пикировке с Уолтцем в начале 1993 г. См.: *Gaddis J.L. International Relations Theory and the End of the Cold War // International Security. Vol. 17. № 3 (Winter 1992/1993). P. 33.*

² См.: *International Relations Theory. Realism. Pluralism. Globalism. P. 52.*

³ *Gaddis J.L. Op cit. P. 123.*

в условиях ядерного противостояния решающую роль приобретает такой фактор, как уверенность каждой из сторон в отсутствии у гипотетического противника намерения нанести первый удар. При биполярности, когда число участников конфронтации минимально, наименьшей является и неопределенность. Значит, фактор неуверенности легче всего поддается контролю¹. Наоборот, расширение числа участников противостояния повышает вероятность общего конфликта. «Многополюсный мир был очень стабильным, но одновременно, к несчастью, и слишком предрасположенным к войнам», — написал он в конце 1993 г. в своей новой работе, во многом подводящей итог многолетним размышлениям об эволюции международной структуры².

Сторонники противоположного мнения, начиная с К.Дойтча и Дж.Д.Сингера, тоже указывали на важность фактора неуверенности в условиях конфронтационной стабильности. Соглашались они и с тем, что при многополярности уровень неопределенности в международных отношениях существенно выше. Но, по их мнению, возросшая неуверенность и должна оказывать сдерживающее влияние на всех участников противостояния, удерживая каждого из них от применения силы³. Выступая в поддержку этой аргументации, П.Хьюс, Л.Гелпи и Д.С.Беннет в своем новом исследовании о закономерностях эскалации военных противостояний между великими державами утверждают, что считать многополярность фактором, повышающим вероятность кризисов, можно лишь в том случае, если в системе международных отношений «число государственных лидеров, готовых к риску, значительно превысит число лидеров, от него уклоняющихся»⁴.

Вклад в дискуссию внесли и специалисты в области политической экономики, влияние которых стало ощущаться начиная с 70-х годов, когда в их среде была сформулирована получившая известность в начале 80-х годов теория «гегемонистической стабильности». В прочтении известного американского политолога Дж.Найя она оказалась сплавом политико-экономических обобщений и прикладного анализа под углом зрения национальной безопасности и соотношения сил в мире.

Автором термина «гегемонистическая стабильность» принято считать профессора Гарвардского университета Роберта Кохэйна, впервые «запустившего» его в 1980 г. Он предложил данный термин как общее название для разработок нескольких не связанных между собой исследователей в области мировой экономики, которые под разными углами зрения анализировали роль лидерства в мировых

¹ Waltz K. The Stability of the Bipolar World // *Daedalus*. Vol. 13 (Summer 1964). P. 898-899.

² Waltz K. The Emerging Structure of International Politics // *International Security*. Vol. 18. № 2 (Fall 1993). P. 45.

³ См.: Deutsch K., Singer J.D. Op. cit. P. 321.

⁴ Huth P., Gelpi C., Bennet D.S. The Escalation of Great Power Militarized Disputes: Testing Rational Deterrence Theory and Structural Realism // *American Political Science Review*. Vol. 87. № 3 (September 1993). P. 619.

связях. Одновременно с Р.Кохэйном, по сути дела, идентичный взгляд высказал профессор Принстонского университета Роберт Гилпин, специалист по политической экономии, хотя он первоначально предпочитал пользоваться в своих рассуждениях словом «лидерство» вместо «гегемония». Оба профессора были заинтересованно, но вполне критически настроены к самой идее «гегемонистической стабильности». Однако оказалось, что они, дополняя и разбирая работы друг друга, своими публикациями, во-первых, обозначили понятийный круг анализа, а во-вторых, способствовали широкой популяризации самой идеи «гегемонистической стабильности» в академическом сообществе.

Изначально концепция адресовалась сфере мирохозяйственных связей. Однако Дж.Най вывел разговор за рамки экономико-политических обсуждений, устранил несообразности узкоэкономического подхода и выстроил цельную политико-военно-экономическую теорию, которая была приложена им к реалиям рубежа 80-х и 90-х годов.

В основе концепции гегемонистической стабильности лежало допущение того, что для стабильного развития (мировой экономики — по Р.Кохэйну и Р.Гилпину, или мира в целом — по Дж.Наю) требуется явное («гегемонистическое») преобладание в международных отношениях какой-то одной державы. По определению, совместно данному Р.Кохэйном и Дж.Наем в 1977 г., под гегемонией понималась международная ситуация, в которой «одно государство является достаточно сильным, чтобы утверждать основные правила, регулирующие межгосударственные отношения, и обладает волей поступать таким образом»¹. По мнению Р.Кохэйна, государство может стать гегемоном, если его положение будет обеспечивать ему контроль над сырьевыми ресурсами [1], источниками капитала [2], рынками [3] и конкурентные преимущества в производстве наиболее высокоценных товаров [4]².

Феномен гегемонии рассматривался с безоценочных позиций — он не восхвалялся и не осуждался, только фиксировался. Считалось, что гегемонистическое доминирование не обязательно должно было навязываться. Оно могло сложиться в силу объективных обстоятельств — наличия передовой экономики, отстраненности от вызванной войной разрухи и т.д. Более того, Р.Гилпин подчеркивал, что для утверждения гегемонистической стабильности требуется «значительная степень идеологического согласия». «Если другие страны начнут считать действия гегемона эгоистичными и противоречащими их собственным политическими и экономическим интересам, гегемонистическая система сильно ослабнет», — писал он³. В качестве примера гегемонистической стабильности большая часть авторов называла

¹ Цит. по: Keohane R.O. *After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton: Princeton University Press, 1984. P. 34-35.

² Ibidem. P. 32.

³ Gilpin R. *The Political Economy of International Relations*. Princeton: Princeton University Press, 1987. P. 73.

период с 1815 г. по начало XX в., когда мировым гегемоном была Британия. Многие считали, что аналогичная ситуация сложилась и в первые два десятилетия после Второй мировой войны, когда роль «стабилизирующего» гегемона выполняли США.

Однако все же эту теорию можно было воспринимать всерьез, ограничиваясь анализом реалий XIX в. Применимость ее к послевоенному времени вызвала сомнения, так как приходилось абстрагироваться от факта существования не только СССР и зависимых от него стран, но и Китая. Не удивительно, что у Дж.Най возникло желание скорректировать концепцию.

Насколько можно судить, ему импонировала идея стабильности в условиях преобладания одной державы — преобладания, к тому же (не будем забывать тезис Р.Гилпина), с согласия «ведомых». Пафос его опубликованной в 1990 г. книги¹ о мировом лидерстве воплощен в стремлении спрогнозировать контуры будущей мировой структуры, в которой, как можно было предположить через 5 лет после начала «перестройки» в СССР, биполярности могло и не быть. Тем важнее было проработать варианты единоличного лидерства США — и теория гегемонистической стабильности в этом смысле давала необходимый концептуальный каркас.

В духе здорового скептицизма Дж.Най оспорил тезис о двадцатилетнем гегемонистическом преобладании США после Второй мировой войны (1945-1965 гг.), так же, как и об упадке США в 1973-1990 гг. Его анализ показывал, что упадок США происходил с 1950 по 1973 г., а после 1980 г. практически приостановился — что противоречило утверждениям экономической школы гегемонистической стабильности². Более того, конечный вывод Дж.Най состоял в том, что в военном отношении Соединенные Штаты вообще не были гегемоном за обозреваемый период ни разу, поскольку их всегда уравновешивала мощь СССР³.

Теория гегемонистической стабильности, неся в себе рациональное зерно, не могла не вызвать возражений со стороны сторонников видения мира как движущегося к многополярности. В качестве указания на наступление таковой в экономической области обычно ссылались на ослабление позиций США в мировом хозяйстве, символом которого стала отмена американской администрацией в 1971 г. золотого стандарта. В политике воплощением многополярности, как утверждалось, была независимая линия Китая. Дж.Най не уклонялся от учета этих обстоятельств, но его точка зрения состояла в том, что оба они не изменили базисной структуры послевоенных межгосударственных отношений, хотя и внесли в нее новые элементы⁴.

¹ Nye J.S., Jr. Bound to Lead. The Changing Nature of American Power. N.Y.: Basic Books, 1990.

² Ibidem. P. 73.

³ Ibidem. P. 92, 104.

⁴ Ibidem. P. 94.

Распад СССР вызвал оживление сторонников интерпретации мира 90-х годов как многополярной системы. Теперь в основе этой аргументации лежал весомый факт разрушения одной из двух основ биполярности в том виде, как она существовала в 1945-1991 годах. Но, как представляется, случившееся само по себе не содержит никаких указаний на контуры будущей мировой структуры, оно лишь с определенностью свидетельствует о достаточно радикальном сдвиге в прежней. В самом деле, экономическая и политическая ситуация в России и сопредельных с ней государствах бывшего СССР настолько сложна, что говорить о России или СНГ как о полноценном глобальном «полюсе», очевидно, не приходится. Но одновременно сохраняется по-прежнему огромный силовой отрыв всего только двух стран мира — США и России — от всех остальных членов международного сообщества по совокупности своих военных возможностей. Между тем, наличие такого отрыва как антипода сопоставимости возможностей сразу нескольких государств и является основанием для различия биполярности от многополярности, как об этом уже говорилось выше. Поэтому нынешнюю реально существующую мировую структуру можно обозначить не вполне точным словом «полуторополярность», под которой подразумевается наличие двух основных полюсов, из которых один (американский) значительно превосходит второй.

Сдержанно-скептические мнения по поводу многополярности в теоретико-аналитической литературе встречаются достаточно часто — в отличие от историко-публицистической ветви политической науки. Скажем, даже Н.Ренгер, представляющий британскую и европейскую школы политологии, традиционно критически настроенные по отношению к существованию биполярного мира, в ходе своих рассуждений приходит к выводу о том, что разрушение порядка «холодной войны», как он его называет, «не автоматически означает возвращение в многополярность, если под ней понимать традиционное равновесие сил, как оно существовало между великими державами в XIX веке»¹.

Осторожен в оценках и японский теоретик Акихико Танака (подобно европейской, японская политология не проявляла особого энтузиазма по поводу американо-советского доминирования). Он считает, что в военном отношении после войны в Персидском заливе (1990-1991 гг.) мир стал однополярным (единственный полюс — США); в экономическом — трехполярным (США, Германия, Япония); в организационно-политическом — пятиполярным (США, Британия, Франция, Россия, Китай). Под организационно-политическим потенциалом Танака понимает накопленный политико-дипломатический опыт и способность государства к эффективному политическому реагированию на события в мире через механизм Совета Безопасности ООН и иными способами. Структура мира, по Танака, предстает в виде сложной формулы $1-3-5^2$.

¹ Rengger N. Op. cit. P. 150.

² Tanaka A. Is there a Realistic Foundation for a Liberal New World Order? // Prospects for Global Order. P. 35.

Число цитат можно умножить. И все же некоторые обобщения необходимы. Во-первых, «энтузиасты» и «скептики» многополярности, в сущности, сходятся в том, что разрушение Советского Союза повлекло за собой достаточно радикальную трансформацию мирополитической структуры и означало распад биполярности в чистом виде. Во-вторых, и в этом тоже существует консенсус, США остались единственной «комплексной» сверхдержавой, которая, несмотря на относительное снижения уровня ее преобладания в отдельных областях международных отношений, сохраняет огромный отрыв от всех государств мира по совокупности своих возможностей.

Следовательно, размышлять о структуре будущего мира уместно в русле понимания, скорее, роли США в международном сообществе, чем сообщества как такового. Соединенные Штаты, несмотря на заявления политиков, не смотрят и не готовятся смотреть на себя как на рядового члена даже Западного мира, не говоря уже о мире вообще. Пересмотр американских взглядов на мир определяется стремлением сократить бремя прямой зарубежной ответственности через его рационально-критическое переосмысление. Магистральная линия в этом смысле — отказ от непосредственного контроля в пользу опосредованного, но эффективного влияния. Даже самые сильные партнеры и конкуренты США, включая Россию и Китай, не в состоянии его блокировать, а значит, они вряд ли могут воздействовать на базисный факт: США заняли центральное место в мирополитической структуре.

Эта констатация не равнозначна указанию на главенствующее положение США в мировой иерархии. В той мере, как и сама иерархия, иерархичность, предполагающая жесткую ориентацию на главенство и подчинение, утрачивает смысл в мире, который ушел от одного типа глобального противостояния и не пришел к другому. С распадом СССР старая «вздыбленная» структура биполярного противостояния «распалась», реорганизовалась в более нейтральную центрально-периферийную форму¹. Однако под центром в ней вряд ли можно понимать только США. Скорее, таковым является плотно окружающая их группа шести других передовых индустриальных и демократических стран мира. И в той мере, в которой эта группа является сообществом, можно говорить не о наступлении многополярности, а, скорее, об изменении природы, размягчении, дозированной «плюрализации» однополярного лидерства США в мире, при том, что в самом лидерстве сомневаться преждевременно. Рассуждение, следовательно, уместно повернуть к оценке тенденции к «плюралистической однополярности» с точки зрения международной стабильности².

¹ Эта точка зрения подробнее развита в работе: Богатуров А.Д. Самоопределение наций и потенциал международной конфликтности // Международная жизнь. 1992. № 2. С. 5-15.

² См.: Богатуров А.Д. Плюралистическая однополярность и интересы России // Свободная мысль. 1996. № 2. С. 25-36.

Динамическая стабильность: «согласие на перемены»

«Плюралистическая однополярность» перекликается с идеей гегемонистической стабильности в том смысле, что обе исходят из допущения о доминировании одной державы. Но между ними, как представляется, есть различия. Теория гегемонистической стабильности выростала практически исключительно на базе представлений и опыта статических форм стабильности, связанных с представлениями о жесткой иерархичности международной системы, где подвижность и колебания безоговорочно приносились в жертву постоянству и неизменности.

В мирное время после 1945 г. в такой системе межстрановые противоречия либо загонялись вглубь (вариант взаимодействия сильного партнера со слабым даже в рамках союзнических отношений /США — Тайвань, США — Япония 50-х и 60-х годов, СССР — Польша и т.д./); либо изолировались друг от друга, если оба партнера были сильными (разрядка по Г.Киссинджеру). В обоих случаях мир удавалось сохранить, хотя была своего рода противоестественность в том, каким образом это достигалось. Но статическая стабильность была не единственной формой обеспечения устойчивости международных отношений.

Не решаясь сформулировать вопрос так определенно, профессор Университета Восточной Англии Ричард Крокэт близко к тому подходит. Критикуя известные по литературе описания-определения стабильности, он замечает: «Очевидно, стабильность не равнозначна статике. В понятие стабильности входит идея адаптации к изменениям, хотя, как можно предположить, к изменениям в неких пределах. Определить — каковы эти пределы — задача теоретиков стабильности»¹.

Справедливым кажется и его упрек мэтрам теории — тяготеющему к бихейвиоризму (но не признающему себя его сторонником) Дж.Л.Гэддису и структуралисту К.Уольтцу, — которым в равной мере «трудно принять в расчет возможные изменения в системе»². И это при том, что в последние годы, например, сам Дж.Д.Гэддис стал (правда, больше порицая своего оппонента К.Уольтца, чем критикуя себя) ссылаться на «статический характер выводов структуралистов — их неспособность принимать в расчет изменения», что, по его признанию, «сделало их подход не намного более пригодным, чем тот, что типичен для бихейвиористов для предвидения быстрых радикальных перемен, которые положили конец холодной войне»³. Во всяком случае, теоретики международных отношений еще не вполне осознали, что за 70-80-е годы в мире возникла новая модель стабильности — иная, чем статическая в ее конфронтационном варианте.

¹ Crockatt R. Theories of Stability and the End of the Cold War // From Cold War to Collapse: Theory and World Politics in the 1980s. P. 61.

² Ibidem. P. 66.

³ Gaddis J.L. International Relations Theory and the End of the Cold War // International Security. Vol. 17. № 3 (Winter 1992/1993). P. 38.

Различие между статической стабильностью по-Киссинджеру и этой новой, динамической, состояло в самом принципе отношения к межгосударственным противоречиям. В статической модели все определял принцип изоляции потенциально конфликтных устремлений, в динамической — логика умножения совпадающих¹. Противоречия не обязательно нужно было изолировать друг от друга, они могли соприкасаться и взаимодействовать, будучи уравновешенными общими интересами, привязывающими державы друг к другу. Соответственно, задача стабилизирующих усилий оказывалась связанной с формированием и расширением этой сферы совпадающих устремлений².

Примером динамической стабильности являются отношения США с Японией в 80-х и 90-х годах. Между двумя странами систематически воспроизводятся острые противоречия в ряде важнейших областей двусторонних связей³. Печать, аналитики и политические деятели обеих стран начинают всерьез размышлять об опасности разрушения их союза. Тем не менее, американо-японские связи сегодня — наиболее мощный, динамически развивающийся комплекс отношений в мире, поскольку сфера совпадающих интересов и устремлений обеих стран в военной, политической и хозяйственной областях делает разрыв между США и Японией невозможным без того, чтобы национальным интересам каждой из двух стран не был нанесен невосполнимый ущерб. При таком уровне взаимопроникновения присутствие противоречий в перспективе работает на укрепление партнерства, так как при совпадении принципиальных взглядов на невозможность разрыва стороны вынуждены работать над преодолением разногласий, накапливая опыт и совершенствуя механизм адаптации к периодически возникающим потрясениям.

Определяющим условием формирования динамической модели стабильности была тенденция к взаимозависимости как общемировое явление. Момент ее острого осознания связан с «нефтяными шоками» и структурно-экономическими катаклизмами 70 — начала 80-х годов. В этот период американо-японские отношения и начали развиваться в направлении взаимного сращивания экономических структур, достигшего к концу 80-х степени необратимости.

Американо-японские отношения — наиболее впечатляющий пример динамической стабильности. К воспроизводству их модели (с со-

¹ Эта точка зрения была впервые изложена нами в научной печати весной 1991 г. См.: Богатуров А.Д., Плешаков К.В. Динамика международной стабильности. С. 35-46.

² Пример сходной логики рассуждений находим в статье российского исследователя В.Удалова «Баланс сил и баланс интересов» (Международная жизнь. 1990. № 5. С. 16-25).

³ Убедительный анализ этой стороны американо-японского взаимодействия дан в докторской диссертации М.Г.Носова «Японский фактор в политике США. 1945-1990» (М.: Институт США и Канады РАН, 1991).

ответствующими поправками) продвигались США и СССР, когда в годы «перестройки» (1985-1991 гг.) М.С.Горбачев и президенты Р.Рейган и Дж.Буш пытались преобразовать советско-американскую конфронтацию в партнерство — трансформировать конфронтационный вариант биполярности в кооперационный. Достигнуть этого мыслилось не через изоляцию конфликтных, а через расширение сферы совпадающих интересов держав — в чем и состояло функциональное отличие «второй» разрядки от «первой».

Наконец, к динамическому типу стабильности тяготеют связи в рамках некоторых обширных фрагментов пост-советского пространства — например, между Россией и Украиной, в отношениях между которыми потенциальная острота проблемы Крыма гасится осознаваемой обеими сторонами неприемлемостью конфликта. Этот пример в нашем тексте менее случаен, чем может показаться. Он интересен не своей замысловатой этнопсихологической и политико-правовой спецификой. Динамическая стабильность в отношениях между Россией и Украиной позволяет установить связь между общетеоретическими дискурсами и спецификой Восточно-азиатского региона. Она определяется присущим российско-украинским связям сочетанием динамического типа стабильности с относительно невысоким уровнем их структурной организации (неразвитость договорно-правовой основы отношений, превалирование неформальных и полуофициальных форм урегулирования трений, преобладание практического сотрудничества над его концептуализацией и т.п.). Случайно или нет, но именно такое сочетание, с поправками на региональную и историческую специфику, характерно для Тихоокеанской Азии. Но что важнее всего, к этому же типу отношений со второй половины 90-х годов начинают эволюционировать отношения между Россией и США, в основу которых фактически уже легла формула «agree to disagree», то есть формула устойчивых мирных разногласий, сохраняющихся в двусторонних отношениях, но не ведущих к отчуждению, враждебности и войне.

ГЛАВА 8. КОНФЛИКТ КАК ИНСТРУМЕНТ СТАБИЛЬНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Н.А.Косолапов

Вопрос, может ли конфликт стать главным фактором стабильности в регионе или даже мире в целом, способен шокировать лишь мало знакомых с историей. Вошедшее в поговорки «Разделяй и властвуй» — не что иное, как древнейшая из дошедших до нас концепций «управления конфликтами» («conflict management»). Ведь если «разделяй» — значит, неизбежен конфликт. А коль скоро «властвуй», то не может не существовать некая по-своему достаточно стабильная система отношений: властвовать в хаосе невозможно по определению. Сочетание же того и другого и порождает систему конфликтов, посредством манипулирования которой обеспечивается стабильность какого-либо более высокого и сложного образования: империи, региональной или мировой системы отношений.

Формуле «разделяй и властвуй» повезло несравненно больше, чем любой из последующих теорий, будь то политики, международных отношений или же собственно конфликта. Именно на ней на протяжении тысяч лет основывалась практика внутренней, потом и международной политики. И надо признать: политически некорректно, неэтично и малоэстетично, чаще всего просто безобразно по форме и преступными средствами, но формула эта обеспечивала практические результаты. На какое-то время она давала относительную стабильность, за которой наступало время очередных перемен.

Надежность такой стабильности, ее цена и ее политическая приемлемость и легитимность — вот главные направления современных сомнений в целесообразности традиционного подхода к использованию конфликта как фактора и средства утверждения и поддержания желаемой стабильности. В мире XX и, видимо, XXI веков надежность стабильности тем выше, чем легитимнее (в политико-психологическом и правовом отношениях, но главное, в первом) представляются цели, методы и средства ее утверждения.

Не случайно термин «конфликт» на протяжении последней трети XX века постепенно вытеснил, подменил собой понятие «война». По мере исследования войн как явления международных отношений все яснее становились не только его механизмы, но и тот факт, что война — частный случай более широкого явления конфликта: частный по субъектам (государство, предгосударственные образования), формам и средствам ведения (военные, боевые), среде протекания (отсутствие позитивной политической целостности). Все это помогло осознать холодная война и ядерная конфронтация между СССР и США.

Понятие «конфликта» открывало возможность разграничивать военные и невоенные фазы конфликта, его эскалацию и деэскалацию, собственно конфликт как реальное взаимодействие и конфликтность как совокупность большего или меньшего количества предпосылок, влияющих на возможность и вероятность материализации конфликта, различные сценарии и стадии выхода из конфликта и т.д. Понятие конфликта позволяло решать военно-политические и практические задачи центрального (СССР-США) противостояния, не доводя его до опасной грани высокой вероятности перехода к ядерному обмену. В принципе открывалась перспектива сочетать конфликтное поведение с ограниченным сотрудничеством и даже с партнерством.

Свою роль сыграло, особенно начиная с рубежа 1960-х гг., общее усложнение международных отношений. С распадом системы колониализма и появлением десятков новых суверенных стран в отношениях между ними стали возникать военные противоборства на этноконфессиональной и социально-экономической основах, усиленные тем, что один этнос нередко оказывался разделенным между двумя и более государствами, или же население и элиты принадлежали к разным этносам. Эволюция системы международных отношений в целом от геополитического баланса сил ко все более глобализирующемуся миру меняет содержание и формы международных конфликтов новейшего времени, их место и роль в системе международных отношений, способы их ведения и завершения.

С распадом СССР и становлением постсоветского миропорядка понятия «конфликта», международного и интернационализованного конфликтов почти идеально отвечают условиям, целям и задачам эпохи глобализации, миротворчества, принуждения к миру, ибо конфликт по природе его способен быть не только внешним, но и внутренним (в том числе внутриглобальным) явлением, состоянием и процессом, совместимым — в этом его принципиальное отличие от войны, — со становлением, сохранением и развитием политической целостности той общности, в рамках которой он происходит.

Практика миротворческих операций поставила в последние десять лет минувшего века проблему управления последствиями конфликтов — создания таких стабильных политических и социально-экономических условий, при которых существовали бы разумные гарантии против новых вспышек конфликта, как минимум, на протяжении трех-четырёх десятилетий. Конфликт оказывается здесь практическим введением в стабильность — и поскольку факторы, вызвавшие конфликт, не могут быть устранены вдруг, только логично было бы использовать конфликт (и/или его отдельные элементы) в качестве материала построения желаемой стабильности. При этом снижался бы риск войны (именно войны в отличие от конфликта), ограничивались бы масштабы прямых и косвенных издержек и последствий вооруженной фазы конфликта.

В англо-американской ветви теории международных отношений давно уже (фактически с начала XX века, но особенно интенсивно с

1970-х годов) разрабатываются родственные друг другу концепции «сдерживания» и «дипломатии принуждения», фактически являющиеся теориями активного ведения наступательных конфликтов без прямого использования военной силы и/или на грани ее использования. Такой конфликт объективно оказывается сам по себе вполне стабильным состоянием межгосударственных и международных отношений (при всей опасности ядерного столкновения, конфронтации 1960-1980-х годов была присуща высокая мера стабильности и предсказуемости).

В центре внимания данной статьи — не конкретные механизмы, при посредстве которых конфликт может стать фактором стабилизации внутривострановой, региональной или мировой системы отношений (это отдельная и большая тема), но, во-первых, сама возможность, правомерность и целесообразность такой постановки проблемы, а во-вторых, особенно необходимый в ее контексте анализ того, что именно понимается под стабильностью и к какого рода стабильности в этом контексте было бы оправданно стремиться.

* * *

Тема, вынесенная в название статьи, не столь парадоксальна, как может показаться на первый взгляд. В самом деле, чем обычно диктуется в целом отрицательное отношение к конфликту? В первую очередь, разумеется, этическим неприятием наиболее крайних форм и средств конфликта, прежде всего тех, что влекут за собой кровь, физическое и психологическое насилие, страдания человека, разрушение материальной, социальной, духовной среды его обитания. Осознанием сопряженных со всяким конфликтом издержек: нравственных, человеческих, материальных, иных. Пониманием того, что с ним всегда связаны какие-то явные и еще более неявные, неожиданные, а потому и более грозные опасности. Все это реальные и серьезные причины, не считающиеся с которыми невозможно.

Но есть и другие, проистекающие из некоторых особенностей индивидуальной и общественной психологии человека. Конфликт часто ставит под угрозу то относительное благополучие, которое люди, его имеющие, стремятся сохранить как можно дольше, по возможности даже вечно. И отсюда — призывы к бесконфликтному существованию, желание замять конфликт, так или иначе снять его, как можно меньше меняя при этом в привычном укладе жизни. Стремление это естественно, хотя, по большому счету, и невыполнимо. Впрочем, социальные издержки подобного консерватизма давно уже осознаны, проанализированы, и многие страны закладывают в свои политические, экономические, правовые системы, в структуру своих общественных и государственных институтов средства разумного и рационального ограничения этой тенденции¹.

¹ Разумеется, «снять» консервативную тенденцию совсем было бы и нереально, и контрпродуктивно: часто забывают, что слово «консерватизм» происходит от «консервации», то есть сохранения чего-то такого, что заслуживает сохранения и

Рядом с ним, однако, существует и достаточно стойкое, мало-осознаваемое, почти инстинктивное представление, будто жизнь может быть организована неким идеальным образом, когда не будет бед, проблем и конфликтов, восторжествуют разум и справедливость и всем будет хорошо. Истоки его восходят и к нравственному инстинкту человека, и к религиозным воззрениям, и к тем научным представлениям, что сформировались еще классическим периодом в развитии естественных наук на протяжении XVII-XIX веков, но только в XX веке превратились в один из интуитивно и эмоционально значимых компонентов массового сознания.

Представление это выполнило в истории колоссальную духовную роль. Оно служило тем средством психологической компенсации, что позволяло человеку, его психике справляться с нравственными и душевными перегрузками эпох невежества, материальной и интеллектуальной слабости человеческого рода. Именно это представление дало возможность человеку духовно, а затем и практически окончательно расстаться со средневековьем и начать создавать то, что сегодня принято называть модернизмом, новой и новейшей историей, современностью.

Но к концу XX века этот когнитивно-этический комплекс явно исчерпывает себя — и по существу, и, как следствие этого, психологически. Осознание его иллюзорности фактически уже идет, и достаточно интенсивно. И либо на базе этого осознания смогут быть найдены новые практические решения (а тем самым открыты и новые психологические, нравственные возможности), либо целые страны и регионы могут надолго опуститься в кризис разочарования, социального безволия, нравственного упадка.

Все это имеет самое непосредственное отношение к процессам, развернувшимся на постсоветском пространстве, и прежде всего к происходящим тут конфликтам. Избавиться от конфликта как явления практически невозможно, по крайней мере, в обозримом будущем. Это, скорее всего, даже и нежелательно: конфликт поддерживает жизненный тонус системы, является проявлением и одной из форм ее естественной эволюции. Попытки задавить конфликты и конфликтность, предпри-

даже нуждается в нем. Иное дело, когда на практике сохранение достигнутого ранее — а это основа любого развития, и неперенное условие, когда речь идет о развитии культуры и цивилизации; в этом смысле любое здоровое общество нуждается в сильном консерватизме; — смыкается с чьим-то эгоизмом или субъективной неспособностью к принятию любых перемен, что и составляет в совокупности суть политической, социальной, духовной и иной реакции.

Отсюда и возникает внутренне противоречивая задача поддержания в обществе разумного масштаба и влияния консервативной тенденции, но одновременно и некоторого ее ограничения с тем, чтобы не давать ей превращаться ни в чрезмерную реакцию (какая-то реакция будет всегда и везде), ни в тормоз объективно назревших перемен; удерживать ее от превращения в нечто абсолютное, самодовлеющее. Последнее, впрочем, справедливо применительно к любой тенденции общественной жизни.

нимавшиеся везде и во все времена, рано или поздно неизменно заканчивались тем, что противоречия развития, выставленные в дверь, врываются назад через окно или иные «проемы», только более мощно и разрушительно, более жестоко и безжалостно по отношению к человеку. На сегодня не видно пока и средств, которые теоретически могли бы заменить конфликт в его социальных и исторических функциях.

Следовательно, конфликт как явление неизбежен. Значит, для ограничения и уменьшения его издержек и других отрицательных проявлений конфликт надо цивилизовать, а для этого интегрировать его в систему социальных ценностей, общественных отношений, политических институтов.

Прецеденты есть, и в изобилии. Политическая система США, как известно, изначально основана на принципе конфликта трех ветвей власти и в целом успешно функционирует и развивается уже более двухсот лет, обеспечивая в США весьма высокий по сравнению с абсолютным большинством других государств и политических систем уровень внутренней стабильности. Политическая демократия в принципе вообще по сути своей есть не что иное, как система институционализованного конфликта. Состязательные суды и арбитражи, конкурсы и соревнования, социальная мобильность и различные формы выдвижения кадров — все это исторически сложившиеся системы институционализации конфликтов в определенных областях, в целом действующие весьма эффективно.

Подчеркнем, что речь идет именно об институционализации конфликта, а не о его предотвращении, разрешении (в том смысле, какой вкладывается в это понятие теоретиками соответствующего направления), не об урегулировании как таковом и не о том, чтобы загнать конфликт вглубь. Институционализированный конфликт отличается от неинституционализованного только тем, что его течение введено в определенные (впрочем, достаточно широкие) рамки, а разрешение конфликта (носящее чаще всего промежуточный, а не «высший и окончательный» характер) подчинено определенным правилам. Их нарушение влечет достаточно жесткие санкции нередко не только против нарушителя, но и против всех участников конфликта. Соответственно, есть структуры и силы, способные вынести решение о таких санкциях и добиться его осуществления.

Приложить этот опыт в полном его объеме к системе международных и межгосударственных отношений мешает целый ряд объективных и не всегда достаточно изученных обстоятельств. Все ныне существующие системы институционализации конфликтов действуют внутри государств, то есть в условиях и пределах некоей социокультурной, политической и правовой целостности. Даже там такие системы специализированы на определенной сфере политики, деятельности и на присущих этой сфере конфликтах и не распространяют свои институционализацию и функционирование на иные сферы и конфликты. По существу самые первые шаги делает и теоретическое осмысление явления институционализации конфликтов.

Конфликты, о возможной институционализации которых идет речь — макросоциальные, будь то внутренние или международные, — отличаются также своими реальными или потенциально возможными масштабами, продолжительностью (до многих веков включительно), тем, что участниками их оказываются чаще всего большие и очень большие организационные структуры и социально-территориальные системы, а причины таких конфликтов связаны обычно с самыми глубокими проблемами и противоречиями общественной жизни, внутреннего и мирового развития.

Кроме того, конфликт в международных отношениях — в отличие от конфликтов внутри государства — часто означал и означает войну либо, как минимум, потенциально чреват ею; подсознательно до сих пор если не отождествляется с войной, то очень тесно (и с достаточными основаниями) связывается с ее возможностью и угрозой. Не случайно все исследователи международного конфликта обращаются именно к конфликтам, уже достигшим тех или иных фаз военно-силового противоборства; под конфликтом зачастую понимают только такое противоборство, пусть в слабых его формах; операции ООН (теперь, видимо, НАТО) направляются на «миротворчество», а не разрешение конфликта как таковое. Слова «институционализация войны», согласимся, звучат пока дико и отторгаются сознанием.

Но, во-первых, институционализация конфликта не тождественна неременной институционализации войны, особенно войны любой и всякой. Во-вторых, именно институционализация войны в международных отношениях позволила бы резко ограничить как количество самих войн, так и степень их жестокости и их издержки, особенно потери среди мирного населения. И, в-третьих, поскольку в обозримом будущем обойтись без применения силы в международных отношениях, скорее всего, не удастся, то институционализация такого применения не только укрепляла бы правовое начало в мировой политике (этот процесс идет и так), но повышала бы эффективность принимаемых мер, позволяя обходиться меньшей и более избирательно направляемой силой.

Институционализация международного конфликта упирается пока и в отсутствие в мировой политике «полицейских» сил и структур, в нежелание большинства государств — по многим и разным причинам — создавать такие силы на постоянной основе, оплачивать их существование и функционирование. В перспективе, однако, от решения этой задачи, видимо, не уйти; а само решение может стать необходимым гораздо раньше, чем думают многие. Одно из главнейших достоинств любой институционализации — эффект «обезличивания», которым она всегда сопровождается и который снимает любые обвинения в том, будто кто-то подыгрывает одной из конфликтующих сторон.

Проблема в основе своей проста и естественна: если в свое время государство возникло, судя по всему, под давлением необходимости противостоять захлестывающему все и вся насилию (фактически со становлением института государства насилие стало первой сферой

деятельности, где оказалась введена государственная монополия, попытавшаяся ликвидировать здесь «частное предпринимательство», с тех пор именуемое преступностью), то теперь перед во многом аналогичной задачей, только по отношению к политически и социально дестабилизирующим конфликтам, стоит весь мир. Особенно в промышленно развитой его части, где такие конфликты могут обернуться тяжелейшими экологическими угрозами, последствиями, катастрофами глобального масштаба.

Что подсказывает в этом отношении опыт постсоветского пространства; чем он интересен именно с такой точки зрения; и какие проблемы содержательного (не политического — это отдельная тема) характера предстоит решить, чтобы конфликт из фактора дестабилизации макросоциальных, в том числе международных отношений мог бы превратиться в один из факторов их стабилизации?

* * *

Прежде всего, что понимать под стабильностью вообще, стабильностью макросоциальных и международных отношений в частности? К какому ряду понятий принадлежит категория «стабильности», с какими иными категориями и в каком понятийном «родстве» находится? Ответим на эти вопросы вначале применительно к процессам и системам, в которых никак активно не участвует человек (но может присутствовать в них как физическое тело, как сумма химических веществ или как пассивный наблюдатель).

Необходимо подчеркнуть, что хотя понятия стабильности, дестабилизации, устойчивости и родственные им широко используются применительно к оценкам внутренней сферы общества и состояния международных отношений, политическое и политологическое определение этих категорий продолжают оставаться преимущественно интуитивными, что дает право предложить изложенную ниже их интерпретацию.

Очевидно, ближайшими смежными со стабильностью понятиями можно считать категории неизменности-изменчивости-эволюции. То есть категории, обозначающие определенные виды процессов, возможные в системе взаимодействий «время-пространство-объект-процесс».

Неизменность — суть процессы, в которых меняются только координаты времени и пространства, состояние же объекта остается на всем протяжении процесса практически одним и тем же.

Изменчивость — такие процессы, при которых возможны или имеют место некоторые перемены в состоянии объекта; однако о природе и причинах таких перемен исследователю ничего не известно, а наличие в них каких-то закономерностей, некоего внутреннего порядка с очевидностью не просматривается.

Эволюция — процессы, сопряженные с такими изменениями в состоянии объекта исследования, которые носят зримо упорядоченный характер, даже если природа данной упорядоченности от нас скрыта. В эволюции хотя бы угадывается некое общее ее направление, тогда

как в изменчивости в лучшем случае можно определить вектор конкретных ее факторов и примеров.

Два принципиально разных вида изменчивости — хаотическая и упорядоченная, — вызывают потребность в категориях, которые позволяли бы различать и описывать тот и другой в смысловых единицах, равно чувствительных к наличию и общего, и различий в описываемых и анализируемых явлениях.

Понятие хаоса отрицает в принципе саму возможность какого бы то ни было порядка. Изменчивость же предполагает, как минимум, теоретическую возможность некоего порядка, пусть даже в данный момент этот порядок не только нам неизвестен, но имеющиеся в нашем распоряжении средства наблюдения и измерения не позволяют засечь даже намек на него. И все-таки хаотическая изменчивость — это уже не хаос, а нечто качественно более высокое, сложное.

Упорядоченная изменчивость, напротив, начинает уже ограничивать с эволюцией и даже переливаться в нее. Порядок еще не ясен, мера соотношения в конкретных процессах порядка (то есть каких-то присутствующих этим процессам закономерностей) и случая, стихии пока не поддаются определению и оценке. Но сам факт присутствия — и не малого, коль скоро речь зашла об упорядоченности, — какого-то порядка уже не вызывает сомнения.

Всякий же порядок требует — в научных и практических целях, — способности различать в конкретных обстоятельствах наличие или же отсутствие порядка, а также возможность, факт и меру его нарушения, хотя бы приблизительно: неопасное, опасное, угрожающее, катастрофическое. Именно здесь в наши рассуждения входят понятия устойчивости и стабильности.

Характеристика устойчивости может быть отнесена к процессу, состоянию и эволюции. Поскольку любой процесс всегда подвергается воздействию каких-то внутренних и внешних возмущений, то устойчивость указывает на способность самого процесса и/или каких-либо средств его регулирования удерживать неизбежные колебания в минимально возможных пределах, практически слабо сказывающихся на ходе и результатах процесса.

Устойчивость состояния предполагает не только аналогичное удержание состояния в минимально отклоняющихся от неких, как-то установленных параметров, но и способность объекта (системы) самостоятельно восстанавливать нарушенное равновесие (таков, например, смысл выражения «устойчивость энергосистемы»). Устойчивость эволюции указывает на в принципе сохраняющуюся на протяжении длительного времени направленность данной эволюции.

Устойчивость как характеристика сама по себе ничего не говорит о своем качестве. Устойчивыми могут быть падение, процессы распада, состояние застоя, энтропия, вырождение, нисходящее развитие и т.п. Устойчивость — не обязательно неизменность, хотя может включать ее как частный случай. Если же речь идет об изменениях, устойчивость предполагает малую изменчивость самих изменений,

минимальность их колебаний вдоль некоей результирующей и высокое постоянство факта и направленности этих изменений.

Стабильность — одно из тех многих иностранных слов, которые, переселившись в русский язык, постепенно обретают тут свое значение, все дальше и дальше отходящее от оригинала¹.

В современной ее интуитивной русскоязычной трактовке стабильность — не неизменность, иначе новая категория вряд ли бы прижилась. Напротив, стабильность решительно связана с динамикой, с возможностью или даже неизбежностью перемен, хотя и предполагает высокую степень их упорядоченности.

Стабильность — не просто устойчивость: мчащийся во Вселенной мертвый метеорит куда как устойчив и при этом неизменен в своем стремительном движении. Стабильность и не простота: никто не скажет про булыжник, что тот стабилен, хотя камню явно присуща чрезвычайно высокая по меркам человеческой жизни степень постоянства.

Очевидно, стабильность — суть синтетическая оценка, всегда включающая явную или имплицитную характеристику трех качественно разных, но теснейшим образом взаимосвязанных групп признаков:

а) это описание некоего состояния, по природе своей достаточно сложного, неоднозначного, динамичного, требующего оценки его не отдельными параметрами, пусть даже и очень большим их числом, но взаимосвязью таких параметров;

б) притом состояния не любого объекта, но некоторой системы, внутренне достаточно сложной для того, чтобы допускать возможность ее дестабилизации (что возможно только в системе);

в) притом не любого состояния этой системы, но только такого или таких, что как-то связаны с природой данной системы, с ее внутренним порядком, с его поддержанием или угрозами ему, а тем самым и системе в целом.

Применительно к процессам, в которых никак активно не участвует человек, стабильность можно определить как неизменность или ничтожно малую изменчивость основных характеристик протекания процесса существования данной системы во времени, что позволяет этой системе оставаться практически неизменной или эволюционировать естественным для себя образом; в сочетании с твердой определенностью или весьма высокой предсказуемостью получаемых при определенных условиях промежуточных и/или конечных результатов данного процесса.

Такое понимание стабильности, во-первых, подчеркивает динамическую природу самих явлений жизни систем и их развития. Во-вторых, под приведенное определение стабильности подпадают лишь

¹ В переводе с английского «stability» означает «устойчивость, стабильность, состояние равновесия; постоянство, непоколебимость; остойчивость», а также «обет, обязывающий монаха всю жизнь оставаться в одном и том же монастыре». См.: Большой англо-русский словарь. Т. 2. М., 1972. С. 527; Новый большой англо-русский словарь. Т. III. М., 1994. С. 341.

процессы и явления, протекание которых определяется причинно-следственными закономерностями только линейного и/или вероятностного (но не много-многозначного) характера¹.

В-третьих, данное определение стабильности связывает между собой протекание процесса и его результат. Так, под воздействием перемен в условиях процесс может пойти как-то иначе, но привести к прежним результатам. Или, наоборот, протекать по-прежнему, но давать иные результаты. Очевидно, в обоих случаях стабильность окажется нарушенной.

* * *

В отличие от всего, о чем шла речь выше, при исследовании международных, а также любых иных общественных отношений любого масштаба и уровня сложности мы имеем дело с процессами, самое активное участие в которых (в онтологическом, историческом и практическом смыслах) принимает человек. А это вносит две принципиально новые грани в данное выше определение стабильности (а тем самым и в понимание различных видов ее нарушений).

Первая: деятельность человека, в предельно широком смысле этого слова, является одной из важных, а иногда и определяющей частью соответствующих процессов, а тем самым и важным или даже определяющим фактором стабильности/дестабилизации тех общественных отношений, систем, социально-территориальных комплексов, в которых развиваются и для которых значимы данные процессы.

Вторая: констатация и оценка стабильности или дестабилизации начинает решающим образом зависеть не только от объективной природы и протекания соответствующих процессов, но и от того, что известно человеку вообще и конкретным участникам определенного взаимодействия о данном процессе, его природе, особенностях протекания и т.д. Начинает такая оценка сильнее всего зависеть и от интересов и ожиданий участников процесса и/или наблюдателей. Так, кризис в экономике может, в зависимости от названных причин, одним быть расценен как катастрофа (а следовательно, опасная дестабилизация); другие же вполне могут увидеть в нем предпосылку и признак близости последующих перемен и оценят то же самое положение как стабильное². Самое парадоксальное, что и первые, и вторые будут при этом по своему правы. По очевидным причинам, применительно к конфликтам все изложенное проявляется наиболее сильно и эмоционально.

¹ См.: Мерлин В.С. Взаимоотношение иерархических уровней в системе «человек-общество» // Вопросы психологии. 1975. № 5. С. 3-11.

² Именно в таком контексте, в частности, тут оказываются возможны и даже наделены некоторым интуитивно угадываемым смыслом оценки типа «устойчивая стабильность» или «стабильная устойчивость», применение которых к характеристике процессов, состояний и перемен, в которых не участвует человек, лично у меня вызывает некоторое напряжение.

Это ставит проблему необходимости и конкретных путей и способов непереносимого учета диалектики объективного и субъективного¹ при анализах и прогнозах любых процессов, участником которых является человек.

Субъективный фактор выступает в реальных социальных и политических процессах в трех взаимосвязанных его ипостасях:

— в конкретной форме и содержании того, какая часть объективной реальности дана данному субъекту (личности, группе, сложному социальному субъекту) в информации, деятельности, восприятии (субъективные условия бытия, сознания и деятельности);

— как проявления индивидуальных свободы выбора и самовыражения данного субъекта, то есть его способности находить применение собственным воле, устремлениям, комплексам и т.д.;

— как субъективные возможности, которыми располагает данный субъект (то есть только ему присущее уникальное сочетание как его индивидуальных способностей и других качеств, так и наличия у него практических, организационных, иных возможностей, определяющих потенциальные масштабы действий и их последствий).

Необходимо особо подчеркнуть следующие моменты:

а) природа и содержательная наполненность субъективного всегда объективны, но это объективность более высокого и сложного порядка по сравнению с объективностью мира тех явлений, где вообще отсутствуют субъективный фактор;

¹ Западные политическая и другие науки об обществе и человеке в той их части, что лежит вне марксистской философской и методологической традиции, как известно, вообще не ставят проблему диалектики объективного и субъективного. Хотя, с другой стороны, не могут и не видят ее. В необходимых случаях потребная грань этой проблемы решается в операционально-методическом ключе (тематика образа и когнитивной сферы в психологии и социальной психологии; восприятия — в политической науке; прямых и обратных связей — в кибернетике, информатике, теории управления; и т.д.). При всей практической обоснованности таких подходов, ни одни из них не ставят своей целью и задачей осмысление диалектики объективного и субъективного именно как самостоятельной общетеоретической и общеметодологической проблемы.

Поэтому было бы ошибкой отказываться от серьезных разработок этой проблемы, выполненных в свое время в советской литературе. Это прежде всего работы Г.А.Арефьевой.

Операционализацию этих разработок применительно к политико-психологическому изучению международных отношений и социально-территориальных систем см.: Косолапов Н.А. Социальная психология и международные отношения. М., 1983. С. 22-39; Косолапов Н.А. Политико-психологический анализ социально-территориальных систем. М., 1994. С. 73-82. См. также обзор основных направлений исследований конфликта в США: Косолапов Н.А. Международные конфликты: эволюция теории (вторая половина XX века) // Конфликты и кризисы в международных отношениях: проблемы теории и истории / Проблемы американистики. Вып. 11. М., 2001. С. 11-40.

б) именно наличие субъективного фактора во взаимодействии «включает» причинно-следственные связи много-многозначного типа;

в) а потому в любом взаимодействии, в котором присутствует субъективный фактор (и тем более в таком взаимодействии, как конфликт), именно субъективный фактор всегда и непременно выступает как ведущий, определяющий¹.

С учетом всего, о чем шла речь до сих пор, применительно ко всем явлениям и процессам, включающим в себя социальную компоненту и тем самым субъективный фактор, правомерно говорить о трех базовых уровнях их стабильности:

первый — системный уровень, складывающийся из закономерностей и тенденций материальной компоненты рассматриваемых процессов, а также из наиболее крупномасштабных и долговременных тенденций соответствующей части социального (объективная компонента субъективного фактора);

второй — когнитивный уровень, складывающийся из наличия у действующего субъекта (или субъектов) необходимой, достаточной и своевременной информации о событиях, явлениях, процессах, развивающихся на первом уровне, а также из наличия у них определенного понимания происходящего (что включает достигнутый уровень знаний вообще и конкретное владение этими знаниями данным субъектом);

третий — операциональный уровень, складывающийся из ожиданий субъекта применительно к данной совокупности процессов (то есть какую их эволюцию он ждет и/или хотел бы видеть), а также из его времяощущения (рассматривает ли он эту эволюцию как нечто естественное или же неожиданное; считает ли себя находящимся в цейтноте или же полагает, что спешить некуда).

Тогда стабильность в комплексе объективно-субъективных взаимодействий можно определить как такое протекание процессов и/или динамическое состояние некоторой системы связей и отношений в пределах этого комплекса, при которых:

а) материальные и макросоциальные компоненты этих процессов и/или системы, каждая в отдельности и все они в совокупности, развиваются и эволюционируют без резких колебаний всех или важнейших своих параметров в любую сторону;

б) субъекты-участники таких процессов и/или системы знают и понимают происходящее либо имеют практическую возможность до-

¹ Это утверждение, вроде бы грешащее психологизацией, на самом деле согласуется с системными представлениями о развитии: новый качественный уровень системы не возникает, если он не нужен; но, однажды возникнув, именно он как наиболее сложный, «высший» начинает определяюще влиять на остальные, более ранние и как бы теперь «низшие». Кроме того, «субъективное» отнюдь не тождественно «психологическому» (хотя между ними есть немало пересечений), и признание ведущей роли за субъективным — то есть за практической и исторической деятельностью человека — само по себе не означает психологизации представлений о том, по каким законам строится, проявляется, производит эффект эта его родовая и непосредственная деятельность.

быть недостающие им информацию и/или знания, не рискуя утратить при этом контроль над происходящей эволюцией;

в) общая направленность процессов первых двух уровней в целом соответствует ожиданиям субъектов и не вызывает у них ощущения острейшего дефицита времени, угрожающего утратой контроля над эволюцией и возможностью (реальной или воображаемой) крайне нежелательных либо даже катастрофических потенциальных последствий.

Иными словами, стабильность — это (в совокупности, а не по отдельности):

— не статус-кво или неподвижность, но динамика всех и всяческих жизненных процессов, остановить которую не дано никому;

— причем динамика, не искажаемая экстремальностью внешних или внутренних условий жизни, особенно экстремальностью, которая создавалась или вызывалась бы искусственно;

— предсказуемость наиболее существенных, принципиальных параметров и состояний системы, направлений и тенденций ее эволюции и развития;

— возможность рационально, практически и эффективно реагировать на те перемены, что приносит жизнь, особенно на потенциально наиболее угрожающие или нежелательные из них.

При этом наиболее существенно именно последнее: угроза существенно теряет в своей опасности, если человек ее в принципе ждет, знает, как ей противостоять, и имеет для этого возможности (пусть даже только относительные) и запас времени. То есть категория стабильности непосредственно соприкасается с понятием и явлением безопасности как объективного состояния и субъективного восприятия некоей данности.

Поэтому в психологическом и политико-психологическом смысле стабильность — это когда человек способен распоряжаться временем, а не время — человеком. Следовательно, принципиально важно, с позиций какого именно субъекта констатируется и оценивается наличие как стабильности, так и угроз ей — особенно применительно к сферам социально-экономического, международного и к возможным в этих сферах конфликтам.

Тогда нарушением стабильности (дестабилизацией) объективно оказывается появление и/или проявление любой угрозы стабильности (как она определена нами выше) и устойчивости системы в целом и/или важнейших процессов ее жизнеобеспечения, откуда бы такая угроза не исходила и в чем бы не выражалась; а субъективно — как такое нарушение привычного течения событий, явлений и процессов, которое вызывает у субъекта ощущение потрясения, ставит его в ситуацию субъективного и/или объективного дефицита времени и/или практических возможностей для исправления положения в желаемом направлении, приводит к резкому сужению поля видимых ему и/или реально доступных альтернатив, результатом чего может стать выход процессов и событий из-под контроля данного субъекта, разрушение вследствие этого привычных ему отношений и структур, а в предель-

ном случае и политическая, административная или физическая гибель данной социально-территориальной системы и/или самого этого субъекта.

Таким образом, просматриваются три уровня оценки состояния стабильности и/или дестабилизации любой социально-территориальной системы — государства, региона, системы международных отношений в целом, а также их отдельных подсистем, частей и процессов:

- объективное состояние («сколько воды в стакане»);
- субъективная оценка («полон стакан» или «пуст»);

— поведенческая предрасположенность, возникающая под влиянием сочетания объективного состояния, его субъективной оценки и личностных (системных) особенностей субъекта. Причем в контексте дестабилизации должны, видимо, рассматриваться и оцениваться и немедленные, и отсроченные во времени возможные последствия такой предрасположенности.

Оценки возможных и вероятных нарушений стабильности должны, видимо, включать также и какую-то качественную характеристику самой грозящей или фактически разворачивающейся дестабилизации. На операциональном уровне целесообразно выделять три качественно разных типа дестабилизации:

(i) извне данной системы, когда серьезные объективные потрясения переживает некий макропорядок — региональные и/или глобальные международные отношения, отдельные их сектора или уровни, — и эти перемены сильно и негативно сказываются на состоянии и тенденциях эволюции рассматриваемой социально-территориальной системы;

(ii) извне системы, когда против нее активно предпринимаются какие-либо субъективные действия (подрывная деятельность, блокада или санкции, разные формы нажима, полувойенные и военные действия и т.д.), заметно и надолго нарушающие нормальное функционирование и/или развитие этой системы или даже ставящие под угрозу само ее существование;

(iii) изнутри самой же социально-территориальной системы, причем тут, в свою очередь, возможны несколько вариантов:

— «энтропия»: когда внутри данной системы или извне по отношению к ней в той или иной мере уже запущены и идут (с большей или меньшей скоростью) какие-то объективные процессы, приводящие к эрозии, загниванию, самораспаду каких-либо важных ее компонентов и/или системы в целом;

— «раскачивание лодки»: когда рассматриваемая система объективно находится в стабильном состоянии (или, как минимум, в таком, которое у врачей принято обозначать понятием «практически здоров»), но субъективные действия отдельных групп и сил угрожают в чем-то нарушить эту стабильность;

— «превышение скорости»: когда чрезмерно быстрое положительное развитие системы в целом или отдельных ее частей создает внутрисистемные диспропорции, становящиеся или способные стать причиной и источником дестабилизации.

* * *

Таким образом, с одной стороны мы имеем широкий диапазон возможных типов конфликтов и конфликтогенных отношений, а с другой — не менее широкий спектр потенциально возможных типов нарушений внутренней и/или международной стабильности и безопасности.

«Отношения» между конфликтом и стабильностью носят далеко не однозначный характер. Здравый смысл и повседневный опыт говорят, что конфликт обычно подрывает или даже взрывает стабильность. В частных, не столь уж редких случаях это действительно так. Однако не столь редки и другие варианты: когда локальный конфликт слишком слаб, чтобы серьезно сказаться на стабильности системы в целом (таковы, например, по отношению к России конфликты в Грузии или Карабахе, даже в Чечне); и когда сам конфликт выступает одним из факторов пусть странной и «некомфортабельной», в чем-то серьезно ущербной, но стабильности¹. В последнем случае возможны, видимо, три принципиально разных сценария «конфликта как фактора стабильности».

Один — когда стихийно возникающий конфликт доходит до каких-то, становящихся устойчивыми (при этом нередко крайних), форм противостояния, закрепляется в этих формах и уже в таком качестве превращается в долговременный фактор жизни страны или группы стран. По сути это стабильность самого конфликта, часто — стабильность войны как образа жизни. Такими были Столетняя война в Европе, двух-с-половиной-вековая борьба России против татаро-монгольского нашествия, такими чертами обладает ближневосточный конфликт. Естественно, «такой хоккей нам не нужен», подобная стабилизация через конфликт не может быть целью нравственной и ответственной политики.

При другом сценарии конфликт может и не доходить до крайних его форм, однако противостояние затягивается, приливы в нем сменяются отливами, формы противостояния по тем или иным причинам оказываются неустойчивыми, а сам такой конфликт, сильно растягиваясь во времени, также превращается в долговременный фактор жизни и развития для его участников и соседей. По существу тут мы имеем дело с одним из вариантов стабильности нестабильности — теоретически интересным, житейски неприятным.

Наконец, при третьем сценарии стихийно возникающий конфликт перехватывается по возможности на самых ранних его этапах и канализируется в заранее заготовленные для подобных случаев формы и процедуры его ограничения, сдерживания и решения. Устойчивость самого процесса введения конфликта в некоторые рамки

¹ Здесь, видимо, необходимо лишний раз подчеркнуть, что стабильность суть состояние, отвечающее данному нами (или иному) определению. От нее как явления вовсе «не требуется», чтобы данная конкретная стабильность нам нравилась.

и его стабилизирующее воздействие на окружающую социальную и/или политическую среду зависят как от качества созданных с этой целью механизмов и процедур, так и от умения и способностей всех тех, кто выступает в роли пользователей системы канализирования конфликтов и конфликтных отношений. Естественно, подобная система не возникнет сама, ее необходимо проектировать и создавать.

В этих условиях институционализация конфликтов должна, по-видимому, быть направлена прежде всего на возможно большее сужение тех частей обоих спектров (напомним: спектра конфликтов и спектра дестабилизаций), в пределах которых наиболее вероятны, с одной стороны, конфликты, решаемые не иначе как силой, а с другой, дестабилизации, легче всего выходящие из-под контроля и труднее всего под него возвращающиеся.

Наличие достаточно надежной и эффективной системы обращения с макросоциальными конфликтами (которая обеспечивала бы conflict management в полном смысле этих слов) в сочетании с накопленным опытом ее успешного конструктивного использования открывало бы в принципе путь к возможности осуществления четвертого сценария в отношениях между конфликтом и стабильностью. При совмещении названных выше условий — но никак не раньше! — практической задачей мог бы стать «перехват» назревающего конфликта, его искусственное раннее «провоцирование» (сродни искусственному вызыванию града или схода снежных лавин в безопасные и удобные для человека сроки и обстоятельства) с последующей канализацией в процесс управления конфликтными отношениями и ситуациями с тем, чтобы снизить издержки и облегчить процедуры решения данного конфликта, а также снизить общую конфликтность в обществе либо в каком-то комплексе внутренних и/или международных отношений.

Фактически именно такую задачу — опередить назревавший и готовый прорваться кризис, не дать ему вылиться в стихийные, опасные и даже трагические проявления (как это произошло в ГДР и особенно в Румынии) пыталась решить перестройка, не располагая, однако, для этого ни теоретическим инструментарием, ни нужными институтами и процедурами, ни тем более опытом такого рода.

Очевидно, никакие концепции разрешения конфликтов и конфликтных ситуаций не смогут стать теоретической основой для создания системы институционализации конфликта просто потому, что концепции эти не поднимаются над самим конфликтом, не выходят за его рамки. Необходима разработка (по-видимому, в рамках общей концепции мирового развития) прикладной теории стабильности социально-территориальной системы, специальными разделами которой стали бы теория контролируемой дестабилизации и теория реформ, в совокупности нацеленные одновременно и на осуществление (в том числе иногда и принудительное) назревших в какой-то части общественных отношений перемен, и на удержание конфликтности и самих таких перемен в рациональных и оптимальных пределах, не представляю-

щих угрозы стабильности и безопасности данной социально-территориальной системы и ее внешнему и международному окружению.

Только тогда конфликтность сможет проявляться в направляемых и контролируемых конфликтах, а сами конфликты, сохранив функции источника и пружины развития, во многом (но, разумеется, не до конца) утратят свой разрушительный потенциал.

Здесь, однако, нас поджидает очень непростая политическая и управленческая проблема. По самой своей природе подобные механизмы и процедуры могут ориентироваться преимущественно или даже исключительно на получение отсроченных, долговременных, стратегических результатов. Вопрос, как заинтересовать в создании и функционировании системы институционализации конфликта политиков — которые и вообще, а в условиях демократического общества особенно тяготеют к ориентации на сроки, не выходящие за пределы ближайшей избирательной кампании. Придется смириться и привыкнуть также и к тому, что долговременные результаты развития неизбежно отличаются, иногда очень существенно, от любых изначальных схем, планов, намерений и ожиданий человека.

* * *

В чем же тогда практический смысл предлагаемой деятельности? На мой взгляд, не считая научного интереса задачи воспользоваться конфликтом как опорой для поддержания динамической стабильности социально-территориальной системы или некоторого сложного комплекса общественных отношений, таких смыслов, как минимум, два.

Первый наиболее очевиден. Там, где в интересах правящих сил подавляются всякая оппозиция и любые проявления конфликтности, система сохраняет стабильность обычно только на протяжении того периода, пока жив и/или пребывает в силе действующий политический лидер: монарх, диктатор, тиран, авторитет. Но при малейшем ослаблении лидера подобная псевдостабильность почти неизменно оборачивается потрясениями и конфликтами, по их масштабам и последствиям намного превосходящими все то, что могло бы стать «худшим вариантом» в рамках своевременных и упорядоченных реформ. «Византийство» может устраивать базилевса, но для общества на рубеже XXI века оно становится недопустимой роскошью и потенциально величайшей угрозой его благополучию, развитию и даже самому его существованию.

Другой смысл менее очевиден, но он-то и является главным. Если действительно существуют некие закономерности социальной жизни и развития — в чем бы они ни заключались, — то ход уже реально состоявшейся истории может быть умозрительно представлен в виде некоторой линии, графика (вопрос о точном его рисунке мы сейчас оставляем в стороне). Линию эту мы будем условно называть «исторической равнодействующей». Очевидно, она в принципе может быть так или иначе продлена, экстраполирована в близкое или более отдаленное будущее.

Одна и та же равнодействующая, однако, может суммировать в себе процессы как с очень широкой, так и с весьма узкой амплитудой колебаний вокруг этой линии. Стихийный ход событий, и особенно энтропия, тяготеет к увеличению амплитуды таких колебаний. Всякий раз, когда мы составляем амбициозные социальные планы и, не располагая достаточным социальным знанием и адекватными средствами социальной инженерии, пытаемся осуществлять их — зачастую вынужденно скатываясь на силовой путь за неимением других средств, — мы тем самым увеличиваем амплитуду колебаний вдоль нашей гипотетической равнодействующей. В практическом плане увеличение колебаний оборачивается усилением дестабилизаций, всевозможными потрясениями, конфликтами и войнами, страданиями огромных масс людей.

«Прямолинейно» мыслящие и действующие политики и реформаторы, сами того не желая и не ведая, раскачивают исторический маятник. Очевидно, гуманный и нравственный подход к разрешению конфликтов и противоречий и, в этих целях, к реформам должен быть направлен — по крайней мере, на современном уровне социальных познания и инженерии, — не столько на достижение каких-то конкретных, априорно провозглашаемых целей (что все равно заведомо не сможет быть материализовано в том виде, в каком такие цели изначально декларировались и принимались как политические установки), сколько на сужение диапазона и выстраивающегося во времени «коридора» колебаний реального хода общественной жизни и развития вдоль складывающейся «исторической равнодействующей», отражающей этот ход и описывающей его достигаемые на каждом этапе результаты.

Смысл концепции «конфликт как фактор стабильности» — именно в этом. Невозможно избавиться от конфликтов как явления. Но вполне реально (даже не располагая дополнительным социальным знанием), институционализируя если не все, то основные типы конфликтов, уменьшить тем самым диапазон наших исторических шарканий, масштабы и остроту страданий и социальных переживаний людей. А это само по себе способствовало бы снижению общей конфликтности и более рациональному и конструктивному отношению к противоречиям общественной жизни и развития.

ГЛАВА 9. СИЛА, НАСИЛИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ: СОВРЕМЕННАЯ ДИАЛЕКТИКА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ

Н.А.Косолапов

Идея безопасности возникла как естественная реакция на мир, насквозь пронизанный насилием. В таком мире безопасность на деле означала не более чем лишний шанс на то, чтобы не подвергнуться нападению в числе первых и не стать слишком уж легкой жертвой. Ибо в той или иной форме нападение, кровопролитие, война настигали рано или поздно всех. И когда это происходило, то решающим фактором становилась способность дать физический отпор в схватке: как минимум, постоять за себя, как максимум — одержать верх и уничтожить врага. Силой в таком мире было сочетание взаимодополняющих, подкрепляющих друг друга материальных и духовных способностей к физической схватке не на жизнь, а на смерть. Насилием — процесс и результат применения силы. Безопасностью — оттянутая на возможно более длительный срок перспектива оказаться объектом насилия.

В этом-то мире в процессе его эволюции последовательно возникли *три* принципиально разных концепции обеспечения безопасности. Точнее, даже не концепции, а три принципиальных подхода, внутри которых и на стыках между которыми сегодня существует значительное число конкретных теоретических школ, политических установок, идеологических и психологических представлений.

Исторически *первым* был подход, делавший ставку на социальный эгоизм и допустимость любого произвола в стремлении к его реализации. Нравственные, религиозные, политические и прочие акценты бывали разными. Но суть одна: навязывание силой своей воли другим, для чего, естественно, необходимо было собственное превосходство. К XX в. подход этот получил философскую, политическую, этическую разработку. На деле же возник он в незапамятные времена из инстинктов одновременно и хищника, которому можно все, на что он практически способен, и жертвы, для которой перед реальной угрозой гибели исчезают все соображения, кроме одного — выжить любой ценой.

«Букет зверств», порожденный этой смертоносной «игрой с нулевой суммой», как назовут ее в век научно-технической революции, вызвал к жизни *второй* подход: призыв к обретению безопасности через отказ от насилия вообще и через разоружение, полное или частичное, как доказательство искренности и средство обеспечения такого отказа. Все принципиальные соображения на сей счет содержатся в Библии, хотя конкретные предложения, политические рецепты и формулировки продолжают появляться в изобилии и поныне.

Крайности, как водится, не принесли успеха. И век минувший, решительно окрасив историю рационализмом, впитав в себя и осмыслив опыт войн и политических урегулирований, военных союзов и договорных систем безопасности, дал *третий* подход. Упор в нем сделан тоже на силу, на способность дать эффективный отпор потенциальному агрессору. Но при этом принимаются, по крайней мере на словах, определенные ограничения на возможные проявления собственного эгоизма, а также признается нежелательность или даже недопустимость силового нажима, давления, диктата по отношению к тем, кто не является в данный момент ни реальным, ни потенциальным агрессором.

Политический, интеллектуальный и нравственный спор продолжается сейчас, по существу, только между вторым и третьим подходами, первый осужден со всех этих точек зрения. Но на политико-психологической шкале современности идеи ненасилия, разоружения, ликвидации вооружений, военной промышленности, армий и т.п. попадают в левую часть спектра — от левоцентристских до леворадикальных. Идеи же ограниченного насилия, коллективной обороны, контроля над вооружениями, международных полицейских сил, региональных и глобальных систем активной защиты — скорее, в правую, консервативную часть этого спектра.

Последнее обстоятельство представляется нам существенным для понимания того, как складывается в мире 90-х годов диалектика взаимосвязей силы, насилия и безопасности в реалиях международной жизни, в духовном строе современников и во взаимозависимостях между первым и вторым.

I

Есть явления настолько распространенные, общеизвестные и на практическом уровне понятные, что дать им определение представляется нелегкой, иногда непосильной задачей. К числу таких явлений объективного мира принадлежит сила, от политического истолкования которой уклоняются практически все ведущие энциклопедии, ограничиваясь лишь физическими аспектами этого явления и понятия. Политические же учения долгое время, начиная с Макиавелли (если не раньше), оперировали этой категорией как чем-то само собой разумеющимся.

По отношению к живому организму сила — это его способность физически обеспечить себе желаемое или необходимое: пропитание, потребную вещь, размножение, жилище, что-то еще. И, разумеется, не в последнюю очередь защиту самого себя в случае нападения и возможность нападать самому. Социальная организация физической силы человека породила, с одной стороны, различные формы коллективного труда, а с другой — коллективные же формы насилия, в частности, военную силу. На протяжении многих последующих тысячелетий от последней зависело так много, она была настолько неотъемлемой частью повседневности, вокруг нее возникло и

из-за нее погибло столько государств, что необходимости в особом определении силы действительно не возникало. XX в. с его войнами и научно-технической революцией не только поднял на новый уровень все, связанное с военной силой, но и создал положение, при котором она более неотделима от возможностей экономики и науки. Заговорили вначале об экономической силе государства, потом — о невоенных факторах силы, о возможности использовать практически любую сферу деятельности современного общества как непосредственно в интересах и целях войны, так и в противоборствах, формально не переступающих грань войны, но вплотную подходящих к ней и фактически означающих лишь временную отсрочку кровопролитий¹.

Все это и многое другое наглядно показало, что мир второй половины нашего века требует углубления представлений человека о природе, характере и использовании силы. Когда-то обладание силой было безусловным благом и для человека, и для общества, и для государства, ибо сила сама по себе несла им пропитание, уверенность в себе и по меньшей мере шанс на выживание. А поскольку жить хотел — и имел право — каждый, то логичны и естественны были умопостроения и политические концепции, выведившие из силы право и мораль, рассматривавшие силу как нечто вечное и неизменное, основополагающее в человеческих и международных отношениях, обосновывавшие не только правомерность, но и неизбежную необходимость строить всякую политику через опору на силу. XX в. к своему исходу опроверг все эти считавшиеся незыблемыми постулаты.

Оказалось, что чрезмерная сила способна не столько обеспечить, сколько подорвать безопасность страны, народа, поставить под угрозу перспективы самой жизни на планете. Выяснилось, что погоня за внушительной военной силой не только разорительна для экономики, но обрекает общество на торможение его развития и исторический застой, которые в конечном итоге перечеркнут и военные достижения — если, конечно, накопленный военный потенциал не будет использован раньше. Впервые в истории оказалось, что войны в этом веке преимущественно заканчиваются не так, как ожидал тот, кто их начинал, но с прямо противоположными для инициатора результатами. Возник широчайший, продолжающийся увеличиваться диапазон новых проблем, конфликтов, задач, в принципе не решаемых средствами и методами военной силы. Попытки получить, закрепить, расширить военное превосходство в обстановке длительной конфронтации объективно ведут к тому, что все это в нашей жизни может

¹ Мы не делаем здесь отсылку к конкретным работам. Читатель, следящий за литературой по вопросам внешней политики и международных отношений, без труда припомнит немало книг, как отечественных, так и зарубежных, посвященных различным аспектам роли силы в мировой политике. Опубликованные в свое время в СССР критические обзоры западных теорий и концепций во многих случаях, на наш взгляд, сохраняют ценность и актуальность в описательной и теоретико-аналитической их части.

превратиться в арену и средство войны, а нормальная жизнь даже и без войны станет попросту невозможной, перенасытит себя милитаризацией настолько, что впадет в паралич. Наконец, было убедительно продемонстрировано, что страна, не имеющая вооруженных сил или обладающая лишь минимальной армией, вполне может добиваться влияния в мире иными, невоенными средствами, достаточно надежно гарантируя при этом свою безопасность. На сегодня все перечисленное — уже почти аксиомы мировой политики.

Значит ли все это, однако, что к исходу века значение силы, в том числе и военной, в жизни стран, народов, человечества в целом как бы сходит на нет? На наш взгляд, ответ на этот вопрос должен быть только отрицательным. Человечество без силы — это бессильное человечество. Каждая страна должна быть в состоянии не только при необходимости защитить себя, но и постоянно обеспечивать себе средства к существованию, поддерживать внутренний порядок, организацию, законность. Ни одна из этих задач не может быть выполнена без использования силы в той или иной ее форме. Подлинный вызов завершающей части XX столетия заключается и том, чтобы научиться использовать силу созидательно, конструктивно, социально ответственно, — а для этого познать ее внутреннюю природу и природу насилия. Да, если плыть и дальше по воле стихии, давать простор страстям, эмоциям и настроениям, руководствоваться национальными эгоизмами и амбициями, свято верить в собственную избранность и незыблемость своего права на произвол, да еще при этом и не обременять себя чрезмерными, тем паче неудобными знаниями, — тогда созданная человеком сила его же в конце концов и уничтожит. Но и отказаться от этой силы человек уже не может, как бы не хотел. Ибо на ней, по существу, держится весь его образ жизни.

II

Как это часто бывает, глубокие, принципиальной важности перемены в самих основах бытия современного человечества были уловлены поначалу лишь с внешней их стороны. Насилие рождает кровь и страдания, обесценивает человеческую жизнь, ведет к нравственному озверению человечества¹ — значит, надо отказаться от насилия, искоренить его. Войны разоряют и опустошают землю, уничтожают результаты труда, отбрасывают вспять развитие — долой войны! Армии и вооружения — практические средства ведения войн, стало быть, надо уничтожить оружие и распустить армии. Противопоставить истории войн и насилия идею ненасилия — сначала хотя бы в самом ключевом, а потом и во всем спектре социальных, в том числе международных, отношений.

¹ Термин «озверение» не должен вводить в заблуждение: досоциальным формам жизни мораль неведома, насилие там — один из способов обеспечить существование. В обществе же вполне реальна нравственность, оправдывающая и рационализирующая расширение насилия.

Идея ненасилия, однажды возникнув, обрела необычайную интеллектуальную и нравственную привлекательность, и потому ее охотно воспринимали все те силы и деятели, которые в своих воззрениях склонялись к идеалам и целям гуманизма, демократии, достоинства и прав личности, социального прогресса. Интеллектуально и психологически идея ненасилия вписывалась или, как минимум, сочеталась с представлениями о возможности создания общества — в отдельной стране или в мире в целом, которое, основываясь на разуме, справедливости, здравом смысле и человеколюбии, просто не нуждалось бы в насилии. Эта иллюзия сегодня серьезно поколеблена, но отнюдь не разрушена. Судя по тому, что она лежала еще в фундаменте раннего христианства, она не будет разрушена еще очень и очень долго.

Но если интеллектуальные опоры идеи ненасилия на протяжении нашего века и особенно самого последнего времени заметно колебались, то нравственные, напротив, упрочились. В самом деле, зная даже в самых общих чертах историю XX в., возможно ли возражать против идеи ненасилия? Можно ли делать это после того, как человечество прошло через самый кровавый — пока что — период своей истории? После того, когда в десятках и сотнях великолепных трудов найдены берущие за душу слова в пользу философии, этики, политики ненасилия? Когда люди исключительной чистоты и мужества шли ради этой идеи на тяжкие мучения, а часто и на смерть? Можно ли возражать против идеи ненасилия, заведомо сознавая, что в любую минуту где-то на земле идет война, где-то продолжаются этнические, конфессиональные, межобщинные и всевозможные иные схватки, где-то кого-то пытают, истязают, насиуют, убивают?

Да, возражать против самой идеи ненасилия крайне трудно во всех отношениях. Не в последнюю очередь еще и потому, что критика идеи ненасилия не должна давать повода и оснований оказаться понятой как оправдание насилия и призыв к нему. Но именно поэтому и необходимо. Ибо идея эта, обладая, на наш взгляд, несомненными моральными достоинствами и привлекательностью, подкрепленная многими авторитетами высшей нравственной и интеллектуальной пробы, отталкивающаяся от фактов и явлений, при мысли о которых нельзя не содрогнуться, — эта идея в наше время имеет более чем реальные шансы стать еще одним из направлений примитивного и потому особенно агрессивного популизма. Она обещает простые и радикальные решения там, где не может быть ни простоты, ни места наивному в своей прямолинейности радикализму. И потому цена за политические комбинации на базе этой утопии может оказаться поистине чудовищной.

Проблема насилия действительно существует и грозит серьезными катастрофами, вплоть до глобальной, если ее не обуздать. Но что значит «обуздать насилие»? Тождественно ли это отказу от насилия вообще? И равнозначны ли в теории и на практике понятия «отказа от насилия» и «ненасилия»? Не говоря уже об очевидной опасности

увлечься борьбой с симптомами вместо лечения болезни, правомерно ли считать насилие некоей социально-исторической болезнью, которую непременно надо искоренить, как чуму или лихорадку, — да и выполнима ли ныне и в обозримой перспективе такая задача? Для ответа на эти вопросы надо обратиться, хотя бы в самой общей форме, к истории идеи ненасилия и к анализу самого этого явления и его социально-исторических функций.

III

Идея ненасилия — сложный, прошедший весьма долгую эволюцию духовный сплав. В нем — естественное стремление всего живого к продолжению жизни, страх и неприятие смерти, ужас перед возможностью предшествующих ей мучений. В этом сплаве — моральное и политическое неприятие тех средств, ценностей, воззрений на мир и человеческие отношения, которые обычно присущи насильнику. И если первое — чисто физиологическая реакция самой жизни, пусть и преломленная к тому же через сознание, то второе могло возникнуть только тогда, когда появились и были осмыслены возможные альтернативы, иные, ненасильственные способы существования, формы межличностных и общественных отношений. Но есть в истоках идеи ненасилия и третье — она родилась из осознанной попытки разрешить моральное и практическое противоречие: что может противопоставить Добро Злу, само не превращаясь во Зло? Это уже спор, рожденный достаточно высокоразвитым религиозным и нравственным сознанием.

Иными словами, идея ненасилия вобрала в себя два качественно разных комплекса исходных объективных реалий. Один — естественное и закономерное стремление всего живого жить, не подвергаться мукам, пребывать в максимально возможной безопасности. Это стремление неизменно, пока существует жизнь. Другой же комплекс, исторически преходящий, — тот особый духовный мир, который возникает у человека и общества, когда они еще очень мало знают о том, что их окружает, и о самих себе; когда многое из этого знания ошибочно, ложно; когда не только катастрофически недостает еще понимания мира, но не сформировались еще в индивидуальном и общественном сознании механизмы, способные дать, аккумулировать, развивать такое понимание; когда, как следствие всего этого, род людской еще крайне слаб и физически, и информационно, и интеллектуально. Но вынужден тем не менее как-то существовать. Здесь-то и возникают многочисленные духовные образования — религиозные и бытовые поверья, мифы и легенды, освященные жизненным опытом представления, ранние научные и общественно-политические воззрения и т.п., — в историческом смысле являющиеся самыми первыми ступенями эволюции сознания. А в смысле сугубо практическом — преодолением противоречия между физической необходимостью жить и психологической невозможностью делать это, не компенсируя жестокою и непонятною реальностью обилием всевозможных мифов и иллюзий.

Представим себе невероятное: человек далекого прошлого в материальном отношении остается тем же, чем он был, с тем же опытом, теми же орудиями труда, тем же запасом навыков и практических представлений, с тем же кругом повседневных проблем и опасностей. Но при этом вдруг лишается веры во всяческих богов, духов, в приметы, в загробный мир, переселение душ и т.д. и вместо всего этого к нему приходит ясное, «материалистическое», атеистическое, рационалистическое понимание: «Я — пылинка во Вселенной. Я практически ничего не знаю, не понимаю, ничтожно мало могу. Я обречен душевными страданиями, физическими муками и жизнью своей платить за почти каждую крупицу опыта, за каждый прожитый день. На каждом шагу меня подстерегает угроза. Я живу впроголодь, в постоянных трудах и болезнях. Так пройдет вся моя жизнь, и когда она завершится, моих детей, внуков и правнуков на многие десятки поколений вперед ждет то же самое. Зачем?!» Не говоря уже о том, что подобные восприятие и оценка своей жизни не могут возникнуть вдруг, на пустом месте, что для этого необходим цивилизационный опыт многих поколений, — смог бы человек далекого исторического прошлого просто-напросто существовать с таким пониманием жизни и своего места в ней? Не предпочел бы он просто повеситься и тем сократить свои неизбежные и в отсутствие веры в Бога бессмысленные для него лично страдания?

XX век опять-таки лишь с внешней стороны можно назвать веком атома, космоса, кибернетики или чего-то подобного. По сути же это век необратимого утверждения рационализма в самой структуре и в механизмах индивидуального и, особенно, общественного сознания, превращения этого рационализма в своеобразного внутреннего диктатора и цензора как воззрений, так во многом и поведения. Поэтому-то мы, даже не всегда осознавая это, склонны рассматривать, прежде всего, именно рациональную сторону в движении идей, концепций, учений, связей времен и культуры. Она, несомненно, существует. Но мы еще крайне недалеко — в историческом масштабе времени — отошли от тех веков и эпох, когда без мощнейшей психологической компенсации за естественную жестокость примитивных форм жизни и относительное бессилие самого человека, не выжили бы и не сумели вступить на путь цивилизации ни отдельные социумы, ни человечество как род. И такой компенсацией была, а во многом и остается вся духовная деятельность человека. Не только собственно в психологической ее части — в данном случае она не более чем оболочка, — но прежде всего в содержательном наполнении этой оболочки: в религии, морали, науке, искусстве; в первую очередь, в социальных учениях — в целом и в отдельных их концепциях, которые, как и религия, из которой они выделились когда-то, были и остаются не только продуктом познания, но и одним из самых сильных и необходимых механизмов общественно-психологической компенсации за качество бытия на любом данном этапе исторической эволюции рода человеческого.

Идея ненасилия, на наш взгляд, — одно из конкретных проявлений такой компенсации. Моральный призыв к ненасилию заслуживает уважения и поддержки, но именно как моральный призыв, а не фанатично исповедуемая вера, неопопулистское течение или псевдонаучная концепция, возможность осуществления которой не подкреплена пока никакими объективными доказательствами. Идеал ненасильственного общества и мира, при всем его нравственном значении, как и любой другой идеал, вряд ли достижим. И хотя стремиться к нему желательно, а в интересах цивилизованного развития — даже необходимо, все же никакой идеал не может непосредственно служить рабочим чертежом, практической конструкцией и даже теоретической моделью.

В данном случае не может, в частности, еще и потому, что *отказ от насилия вовсе не равнозначен ненасилию*. Отказ от насилия — субъективный акт, результат чьей-то воли и выбора. Ненасилие же — объективное состояние отсутствия насилия как явления вообще или же каких-то определенных его форм и проявлений. Чтобы такое состояние возникло, одних только воли и выбора мало. Нужно еще либо ликвидировать причины, порождающие явление насилия, либо научиться контролировать их действие и последствия в желательном для общества направлении. Если же эти условия не выполняются — а пока это так, и в обозримом будущем объективно и не может быть иначе, — то добровольный отказ от насилия может привести даже к еще худшим его проявлениям, взрывам, эксцессам. Это подтверждает, в частности, горький опыт возникновения многочисленных конфликтов в пределах бывшего СССР после того, как был устранен фактор давления из Центра в интересах поддержания государственного и социального единства. Пресс был снят из лучших побуждений. Но обнаружилось, что во многих важнейших случаях система просто не располагает иными, несилowymi возможностями разрешения собственных внутренних конфликтов и противоречий. И страна, открывая было свободу, во многих местах польхнула столкновениями и войнами, обогрилась кровью. Не снимая ответственности с конкретных лиц и групп, политолог просто обязан видеть, что причина трагедий далеко не только в чьих-то субъективных действиях. В воле человека избирать конкретные формы и виды насилия, уходить от каких-то его актов. Но, по-видимому, мы стоим еще на той ступени исторической эволюции, когда *невозможно пока уйти от насилия как явления, органически присущего всему строю жизни — и внутренней, и международной*.

Попытка чисто субъективного отказа от насилия означала бы в этих условиях не что иное, как объективный уход и от познания явления насилия и от реальной работы по обузданию его крайних, бесчеловечных форм одновременно с овладением его конструктивными возможностями. Только сочетание всех этих трех условий способно в конечном счете заложить основы для максимально возможной безопасности общественных отношений любого уровня. Так что же такое насилие как явление?

IV

Всякая жизнь — и общественная в том числе — основывается на том или ином сочетании трех элементарных способов существования: *подбирания* того, что дает природа; *производства* из подобранного чего-то качественно нового; и *отбирания* у других того, что они подобрали либо произвели¹. *Сила* в тех или иных конкретных ее проявлениях необходима и всегда присутствует во всех трех этих случаях, однако только в последнем она выступает как *насилие*, то есть используется против другого субъекта или субъектов с целью изъять у них что-то или же принудить их к совершению желаемых насильником действий. Таким образом, независимо ни от чего другого *насилие* — это всегда способ принудить субъекта поступать вопреки его собственным воле, интересам, целям и выбору, действовать так или иначе в ущерб самому себе.

Именно здесь лежит принципиальное различие между силой и насилием. Сила — потенциал к совершению тех или иных действий, достижению некоего результата. Но сама по себе, в отрыве от использующего этот потенциал субъекта, сила не обладает ни волей, ни целями, ни разумом, ни совестью. Приведенная в действие случайно, по неведению, бесцельно или стихийно, она и действует механистически. Только субъект способен придать действиям силы целенаправленность, в том числе превратить силу в насилие, направив ее против себе подобных.

«Отнять», однако, можно по-разному: по закону или противозаконно. От имени государства или в порядке «частной инициативы». В каких-то внешне мягких формах или кроваво. Только пригрозив жертве насилия потенциальными санкциями или нанеся ей некий ощутимый ущерб. Иными словами, необходима *классификация насилия*, поскольку, как один из институтов общественной жизни, оно тоже прошло через собственную эволюцию и сегодня существует во множестве форм, видов и проявлений. Однако суть насилия остается при этом неизменной: подобрал или произвел один, распоряжается другой, притом распоряжается вопреки первому. Самые прямые, исторически первые, наиболее откровенные и грубые формы насилия — отобрать, ограбить, отвоевать. Формы более поздние, сложные, рожденные цивилизацией, опосредованные — изъять, конфисковать, взять податю или налогом, перераспределить, ограничить доход, прибыль, зарплату, сферу деятельности, рынки сбыта...

Нет ли здесь, однако, неоправданного расширения понятия насилия? На наш взгляд, отнюдь. Во-первых, насилие суть хищничество, а последнее — один из способов существования, независимо от его форм. Во-вторых, в основе всех форм насилия лежит одна и та же объективная функция — перераспределение (иной вопрос, кто его в конкретном случае осуществляет, как и с какой целью). В-третьих,

¹ Подробно об этом см. статью автора «Социум и экономика: гипотеза об исторических корнях взаимосвязей» (Свободная мысль. 1992. № 9).

воля объекта насилия если не прямо подавляется, что обычно связывается с насилием в обыденных представлениях, то сплошь и рядом в современном обществе игнорируется, что может быть признано прогрессом форм и методов насилия, но никак не изменением его сути. В-четвертых, необузданное и бессмысленное насилие одинаково разрушительно и социально, и экономически — будь это нашествие орд кочевников в древности или современное государство, стремящееся поставить под свой контроль и зарегулировать все и вся.

Привычка к субъективистскому восприятию жизни («все происходящее — результат чьих-то действий или бездействия») ведет к тому, что и в насилии выделяется прежде всего такая его сторона, как эгоизм, амбиции, устремления, иные качества насильника. При этом не просто выделяются, но и получают большее или меньшее осуждение. Все это по-своему существенно, но никак не отвечает на вопрос, каковы объективные социально-исторические функции насилия, какую роль оно играет в процессах поддержания и воспроизводства жизни, в том числе и ее общественных форм, в их развитии?

На наш взгляд, объективная функция насилия заключается в перераспределении жизненных ресурсов в пределах экологических и социальных систем, а результатом осуществления этой функции оказываются внутренняя динамика таких систем, поддержание в них своего рода «обмена веществ» и в конечном счете развитие этих систем и жизни в целом. Различное соотношение исходных способов существования, роль насилия в конкретных его формах в каждом из таких соотношений дают то многообразие жизненных, в том числе и социальных, форм, без которого невозможны эволюция, развитие, прогресс. И поскольку жизнь общества и человечества, сколь бы сложна она ни была, все же не более чем одна из разновидностей жизни вообще, она тоже не может быть исключением из этого общего правила.

Ясно, что без какого-то перераспределения жизненных ресурсов никакая жизнь в принципе невозможна: именно поэтому жизнь всегда существует только как некая, более или менее богатая экологическая система, а отдельные виды живых существ, добившись господства, неизменно вымирают. Точно также общественная жизнь известна нам только в форме социальных систем, эволюционирующих в сторону их внутреннего усложнения. Следовательно, в перспективе процессы перераспределения ресурсов станут для человечества куда более жизненно важными, чем даже сегодня — а значит, без насилия не обойтись. Иное дело — какого насилия, в каких формах и целях.

Познание, особенно социальное, всегда проходит через этап, когда чувства и прошлый опыт мощно бунтуют против открывающегося теоретического видения проблемы. И для того, чтобы познание насилия как первый шаг к его обузданию стало на твердые основы рационализма и объективности, начинать надо с разъединения в практике и в общественном сознании понятий «насилие» и «кровь».

Сегодня они еще слишком часто пересекаются и во внутренней, и в международной жизни. Право человека на жизнь священо и неприкосновенно. Оно не может нарушаться никак и никогда. Борьба за права человека, постановка войны вне закона, ликвидация средств массового уничтожения должны на деле — и под международным контролем — быть ориентированы на гарантирование этого права повсеместно. Только тогда разум получит эмоциональную передышку, сможет взглядеться в проблему пристально и спокойно, принять саму мысль о допустимости, полезности, необходимости насилия некровавого, нефизического, созидательного. Разумеется, при условии, что порядок, цели, характер его использования выработаны и приняты совместно — в национальном или международном масштабе — всеми субъектами соответствующих отношений, приняты демократически, опираются на общепризнанные нормы этики и права. При условии приоритета закона, опирающегося не на «право сильного», но на право разума, справедливости и здравого смысла.

Сейчас, когда, кажется, преодолена длившаяся три четверти века глобальная идеологическая и военно-политическая конфронтация, и во внутренней жизни государств, и в мировой политике необходимо как можно быстрее уйти от кровавых и физических форм насилия. От насилия недискриминирующего, ненаправленного, «бьющего по площадям», когда на одного убитого в войне солдата приходится до сотни погибших мирных жителей. От насилия, осознанно и преднамеренно направляемого во зло, на античеловеческие и антиобщественные цели. Уйти, памятуя, что крайности насилия способны активизировать и даже привести к успеху и крайности популистского ненасилия. Окажутся ли они лучше?

Основные направления такого движения не только в принципе ясны, но в разной степени уже приведены в действие. Не будем повторять общеизвестное. Подчеркнем только, что и преодоление военно-политической конфронтации и ее последствий, и сокращение вооружений (особенно ядерных) и вооруженных сил, и переход на принцип оборонительной достаточности и непровоцирующей обороны, и региональные соглашения о коллективной безопасности — все это необходимо, но при всей важности таких мер никак не является самоцелью. Более того, чем существеннее будет успех дипломатии на этих направлениях, тем настоятельнее на первый план будут пробиваться вопросы совершенно иного плана. Если в принципе невозможно ликвидировать насилие вообще, но жизненно необходимо избавиться от каких-то его форм, значит, функции последних должны взять на себя иные, социальные и нравственно приемлемые сегодня формы насилия. А они не возникнут сами по себе, но должны быть созданы и признаны.

Все изложенное в этой части статьи можно суммировать следующим образом. Насилие как явление, объективно присущее жизни вообще и общественной в частности, несводимо только к отдельным его формам. Оно выполняет жизненно необходимые функции и пото-

му не может быть просто «искоренено» — речь может и должна идти только о том, чтобы крайние, варварские и бесчеловечные его формы, порожденные стихийным ходом истории, вытеснить, заменить формами цивилизованными, рациональными, социально приемлемыми и ответственными. Попытки же избавиться от насилия вообще, если бы они оказались предприняты достаточно целенаправленно и настойчиво, в реально существующих и предвидимых условиях способны обернуться лишь дополнительными кризисами, трагедиями и страданиями, что подтверждается, в частности, опытом осуществления других, не менее благонамеренных социальных иллюзий. Скорейшее избавление от крайних форм насилия необходимо. Оно, однако, пойдет тем быстрее и безболезненнее, принесет тем более эффективные и стабильные результаты, чем скорее и полнее будут осознаны действительная природа и функции насилия в живых системах. Простое отрицание объективно существующего явления (и в том числе и отрицание через призыв воздерживаться от каких-либо действий) не ведет к исчезновению этого явления, но способно заманивать в ловушку неизбежных при любом самообмане просчетов — хотя разумное воздержание и самоограничение в этой сфере крайне актуально и полезно. Ненасилие может и должно стать моральным императивом поведения всех субъектов — от человека до государства — и во всем спектре отношений — от межличностных до международных. Но эффективная безопасность (которая и означала бы избавление от крайних форм насилия) не может основываться ни на абсолютизации силы, ни на утопии антинасилия. По крайней мере, в том реальном мире, в котором мы живем и будем жить еще долго.

V

Традиционно безопасность означала не только и не столько незыблемость внутренних структур общества, сколько некую, всегда относительную, степень его защищенности от перспективы стать жертвой прежде всего именно кровавых и физических форм насилия. Страх перед таким насилием и порождал готовность противостоять ему любыми средствами, в том числе и собственным упреждающим насилием, а также нейтрализовывал или вовсе устранял ограничения, идущие из сферы духа: от разума, морали, здравого смысла. На этой почве произошло то понимание государственного суверенитета, которое фактически отождествляет его с правом на собственный никем и ничем не ограничиваемый произвол во внутренних и внешних делах (хотя и проявляющийся при этом по-разному в двух этих сферах) и означает нежелание и неспособность государства и его политических элит считаться с чем бы то ни было, кроме противостоящей им силы.

Одностороннее осмысление подобных реалий вызвало в свое время к жизни интеллектуальную школу политико-силового мышления — ныне весьма представительную, разработанную и влиятельную, эволюция идей которой легко прослеживается от Макиавелли до современных приверженцев «политического реализма» и «strate-

гического анализа». При всей оперативно-прикладной ценности этих идей они не выходят, однако, за пределы социальной среды, определяющие качественные параметры которой характеризуются сочетанием таких признаков, как высокая вероятность физических форм конфликтов и насилия, решающая роль силы в их разрешении, неизбежность права субъекта на произвол, отсутствие или крайняя неразвитость политических, правовых, нравственных, экономических, социальных ограничений такого произвола.

Охранительное понимание безопасности исходит из этого комплекса условий, идей и отношений¹. Внутри государства оно фактически нацелено на то, чтобы обеспечить государству, режиму, правительству практические возможности осуществления суверенитета как права на произвол — возможности материальные, правовые, политические и иные, каких может потребовать жизнь. Вовне же охранительное понимание безопасности задается по существу одним вопросом: как распорядиться имеющейся силой, как и где ее расставить, употребить. Таков унаследованный нами объективный исторический фон современных международных отношений применительно к рассматриваемой проблеме.

Ясно, что прекращение военно-политической конфронтации между Востоком и Западом, завершение «холодной войны» и прочие позитивные сдвиги последних лет и месяцев не меняют эту картину по существу — если оставаться, конечно, в прежних рамках политико-силового мышления и дипломатии. Эти сдвиги, при всем их значении, лишь меняют конфигурацию и расстановку сил, но не суть проблемы. Нельзя, на наш взгляд, не согласиться с Р.Никсоном, что «в мире соперничающих государств неизбежны столкновения интересов и международные конфликты» и что «конец холодной войны не упростил мир, но сделал его сложнее»².

Не менее очевидным представляется и другое: ненасилие как просто субъективный отказ от совершения определенных актов насилия в конечном счете объективно подкрепило бы и мощь, и влияние этого исторического фона. И понимание суверенитета как неограниченного права на произвол — а не ответственности за цивилизованное развитие и качество жизни на определенной территории. И традиции охранительной интерпретации безопасности, то есть диктата правящих групп внутри страны и силовых форм отношений и конфликтов между странами. Дело не только в том, что бездействие мирового сообщества в ситуации, например, аннексии Ираком Кувейта послужило бы поощряющим сигналом для других аналогичных попыток и тем самым фактически послужило бы распространению, а вовсе не ограничению войн и насилия в мире, подрыву международной безопасности в целом. Отказ от миротворческой миссии в Юго-

¹ См.: Мировая экономика и международные отношения. 1992. № 10.

² Nixon R. Seize the Moment. America's Challenge in a One-Superpower World. New York et al., 1992. P. 16, 308.

славии может привести не к ограничению и постепенному затуханию конфликта в этой стране, но напротив, к его распространению на другие страны Европы и Средиземноморья. Существенным потенциалом расползания обладает и армяно-азербайджанская война, затрагивающая не только положение в бывшем СССР, но проецирующая свое воздействие и на Ближний, и на Средний Восток в целом.

Проблема, однако, гораздо шире и серьезнее, нежели прямолинейная дилемма: вмешиваться или не вмешиваться в тот или иной конфликт. Современный мир настолько тесен и взаимосвязан, что если не вмешаться, конфликт рано или поздно придет и в ваш дом. Вопрос не в том, как вмешаться, но что делать после вмешательства и разведения воюющих сторон. Ибо такое разведение — первый шаг к устранению вызвавших столкновение причин, но никак не само урегулирование. Хорошо, если стороны в дальнейшем проявят достаточно здравого смысла и желания и сумеют договориться между собой сами или с международной помощью. Нередко, однако, всякое международное посредничество оказывается бессильным. И тогда современный мир не оставляет иной альтернативы, кроме как навязать урегулирование и заставить стороны его принять. Но для этого нужны соответствующие механизмы и средства, которые позволяли бы вырабатывать коллективные цели такого урегулирования, вынуждали принимать само урегулирование и в дальнейшем отслеживать бы соответствие практически достигаемых его результатов поставленным целям, чтобы при необходимости вносить те или иные коррективы в характер принимаемых мер либо в сами цели. Какими бы ни оказались со временем такие механизмы, ясно, что во-первых, в принципе без них не обойтись, а во-вторых, они должны будут включать эффективные инструменты принуждения. В том числе инструменты военные и военно-полицейские. Лозунги разоружения как такового утрачивают сейчас ту относительную прогрессивность, которой они обладали на определенном этапе. Конечно, запасы и характер оружия, структура и размещение вооруженных сил должны быть приведены в соответствие с новыми международными реалиями. В том числе многое предстоит физически сократить, уничтожить — что, собственно, и делается. Гораздо большую актуальность, однако, приобретает, на наш взгляд, вопрос о создании эффективных механизмов глушения международных конфликтов, пресечения преступлений государства (типа агрессии, например) на максимально ранних стадиях и вообще поддержания международного правопорядка и законности на заранее согласованных договорных основах и под демократическим и действенным международным контролем. Зародыши такой системы, кажется, появляются после 1992 г. в Европе и в СНГ.

Но есть и другая сторона проблемы. Если раньше сила и насилие были необходимы и на практике использовались не только как средства нападения, но и для выживания, то в современном обществе и мире они все чаще используются не прямо, но косвенно — как угроза или механизм сдерживания агрессивного поведения других.

Иными словами, возникла как вполне самостоятельная и в перспективе весьма значимая *проблема психологических форм, средств и применений насилия*. Ее стихийная эволюция происходит пока в двух направлениях. С одной стороны, оттачиваются наука и искусство шантажа во всех сферах: от традиционной уголовной преступности через экономические и социальные и вплоть до международных отношений. С другой, без использования таких форм насилия невозможны, очевидно, социальное управление, согласование интересов различных социальных уровней в национальном и международном масштабе, социальная инженерия. Как ни парадоксально, но *интересы развития* вообще, безопасного и цивилизованного в особенности *требуют не отказа от насилия, но разработки более цивилизованных его форм*, расширения арсенала его средств и методов, повышения их эффективности путем качественно большей избирательности, прицельности действия, вытеснения примитивных и жесточких форм насилия формами цивилизованными. Коль скоро в обозримой перспективе — а быть может, и в принципе — невозможна жизнь без насилия, то есть без отъема и перераспределения части жизненных ресурсов, человек должен позаботиться о том, чтобы и в этой сфере перестать быть пленником стихии и собственных иллюзий, обрести способность рационально и действенно влиять на ход событий и процессов в сторону их гуманизации.

Формула «безопасность через развитие» предполагает широкое и активное взаимодействие с другими как в целях развития, так и в интересах безопасности, причем в том и другом случае — как национальных, так и международных. Такое взаимодействие невозможно без принятия каждым из его участников добровольных самоограничений — без не просто переуступки части национального суверенитета международным договорам, соглашениям, институтам, но и достаточно глубокого переосмысления самой сути суверенитета в современном мире. На начальном этапе это должны быть именно самоограничения, как односторонние, так и оформленные в международно-правовом порядке: лишь при соблюдении этого условия они обретут практическую ценность и моральную силу, которые позволят придать им в дальнейшем всемирный и обязательный характер. Суверенитет оказывается при этом не лицензией на произвол, но признанием и принятием социально-исторической ответственности, уклонение от которой, несомненно, будет рассматриваться в мире как моральная и политическая вина (а в некоторых случаях и преступление) и перед своим народом, и перед международным сообществом в целом.

В повестке дня, таким образом, формирование нового, *четвертого* подхода к обеспечению безопасности. Отталкиваясь от права каждого на самозащиту и категорического отрицания права на произвол и агрессию, от идей оборонительной достаточности и непровоцирующей обороны (или обороны без враждебности), от поддержки и поощрения разумных самоограничений, этот подход должен делать упор на необходимости построения, уже в достаточно близкой пер-

спективе, единой общечеловеческой системы международного правопорядка. Системы, которая формировалась бы на началах коллективизма, добровольности и демократизма, но в дальнейшем предполагала бы достаточно определенные и жесткие обязательства ее членов. Которая от отдельных договоров и соглашений целенаправленно развивалась бы именно в систему правопорядка. И предполагала бы наличие должным образом управляемых сил и средств поддержания этого порядка, его восстановления в случаях нарушения.

Нетрудно видеть, что все основные компоненты такого подхода уже существуют в теории и практике современных международных отношений, причем некоторые уже достаточно давно. Речь о том, чтобы начать выстраивать их именно в целостную систему с высокой степенью гарантии выполнения обязательств. Чрезмерная склонность к стереотипам и штампам прошлого, в том числе связанным с прямолинейной понятной идеей ненасилия, разоружения и т.д., способна серьезно повредить этому процессу и потому объективно продолжала бы худшие образцы прошлого в международной сфере, а не способствовала формированию более безопасного и гуманного будущего. На примере не только СССР, но и Европы (особенно Югославии) и — нельзя исключать — некоторых других районов мира уже несомненно, что снятие «свинцовых крышек» прошлого, будь то господство КПСС, «холодная война» или что-то иное, выпускает на волю опасных джиннов, которых необходимо загонять обратно или приручить, но по отношению к которым совершенно недопустимы бездействие и самоустраненность. И разве не то же самое происходило, когда рушились бывшие колониальные империи — с той только разницей, что тогда и объективные последствия таких крушений, и наше понимание происходящего неизбежно окрашивались, затуманивались начинавшейся «холодной войной» и ядерной конфронтацией, психологией противоборства двух систем?

* * *

Современный мир в состоянии надежно обезопасить себя от кровавых форм насилия. В конце концов, это уже вопрос не столько безопасности, сколько просто цивилизованного состояния общества. Отказываясь от веры в возможность прямолинейного осуществления идеалов ненасилия — что, на наш взгляд, невозможно, — ни в коем случае нельзя отворачиваться от содержащегося в этой идее морального призыва. Лозунги «мира без войн и оружия», разоружения, ликвидации средств массового уничтожения сыграли свою роль в том, что удалось начать движение от края ядерной пропасти, запустить механизмы общеевропейского процесса, достичь высокой степени единства мирового сообщества в нетерпимости к случаям откровенной агрессии. Нельзя допускать того, чтобы в эйфории от завершившейся «холодной войны» и отступившей ядерной угрозы мы все стали бы считать допустимой и приемлемой «мелочью» конфликты, столкновения, войны местного значения. На рубеже XXI в. нет и не может

быть «справедливых» войн. Любая война сегодня — преступление против человечества, и инициаторов должен неизбежно ждать международный трибунал, будь то война межгосударственная или гражданская. Есть — а если нет, то всегда при желании могут быть созданы — иные средства решения любых социальных конфликтов, не требующие крови. На современном уровне знаний и возможностей человека кровь — это всегда следствие безответственности, интеллектуальной и физической лени, опасных антисоциальных наклонностей того, кто готов не останавливаться перед подобной перспективой. Такие люди нуждаются либо в лечении, либо в наказании — и мировое сообщество должно обрести способность неотвратно обеспечивать и то, и другое.

Две проблемы обретают нарастающую актуальность. Какую безопасность мы хотим после того, как будет достаточно надежно гарантирована бескровность мирового развития? Есть безопасность сильного, хорошо вооруженного путника в тайге или джунглях. Есть безопасность городского человека, защищенного цивилизацией, законами и полицией, но время от времени все же становящегося жертвой преступлений. Но есть и безопасность того, кто, оказавшись в кругу пусть не друзей, но людей одной с ним общности, уверен — и не ошибается в этом, — что с их стороны для него физической опасности быть не может. Последнее возможно лишь тогда, когда все участники общности сознают себя принадлежащими к чему-то единому, целостному, для них самих ценному и необходимому.

Очевидно, максимально возможная степень безопасности достижима только тогда, когда человечество не в творениях отдельных своих умов, но в повседневной жизни и на массовом уровне осознает себя единой общностью. Перспектива в историческом смысле весьма вероятная, в субъективном — желательная, в практическом — далеко не близкая. И тем не менее реалистическая, в принципе достижимая. Стихийное движение к ней заняло бы не только долгое время, но было бы сопряжено с неизбежностью огромного числа циклических колебаний, продвижений и отступлений, взлетов и падений, когда каждое отступление и падение влекло бы за собой немалые жертвы. Этим путем человечество пройдет в любом случае, если только по дороге не уничтожит себя. Но процесс можно очеловечить и ускорить, если уже сейчас заняться созданием для него тех механизмов и процедур, наличия которых он неизбежно рано или поздно потребует.

РАЗДЕЛ II. МИР СКВОЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРИИ

І ИДЕИ И КОНФЛИКТЫ І

ГЛАВА 10. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ: КАТЕГОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Н.А.Косолапов

Приливы и отливы политической конъюнктуры ставят перед обществоведческими науками, всеми думающими людьми трудный вопрос: должно ли оказаться сегодня безоговорочно выброшенным и позабытым все то, что десятилетиями накапливалось в отечественной общественной науке (естественно, на базе теории и методологии марксизма)?

Вопрос во многом риторический, ибо однажды мы уже пережили подобное и сейчас отлично знаем и результат, и его цену. Выбрасывали в свое время, искренне полагая, что избавляются от скопища иллюзий, ошибок, предрассудков и зловредных умопостроений, привнесенных в этот мир когда-то ранее исключительно для того, чтобы помешать прогрессу отечества и процветанию его народа. И тогда, как и ныне, знакомство даже политизированной части общества с современной мировой общественно-теоретической мыслью не носило у нас в стране повального характера.

Но даже если не прибегать к риторике и крайним примерам, наверное, сегодня уже можно принять за аксиому, что в историческом развитии мысли вообще, социально-политической в частности, существенен — и из этого развития не может быть выброшен искусственно — каждый его этап или даже шаг. Не только с точки зрения совокупного результата такого развития, той суммы знаний, пониманий, опыта, которой мы обладаем в каждый определенный момент, — здесь как раз возможны и необходимы периодические перемены, диктуемые качественным приращением знания. Однако каждый шаг в этом процессе важен еще и тем, что он так или иначе влияет на развитие самого мышления как инструмента и способа познания.

При всех необходимых и справедливых поправках на догматизм, схоластику, идеологическую цензуру и пропагандистскую направленность, многократное переливание из пустого в порожнее и откровенную, но изобильную халтуру, в отечественных общественных науках недавнего прошлого накопилось немало полезных и даже уникальных разработок. В том числе и таких, которые ценой невероятных усилий

рений были выполнены и введены в научный оборот вопреки официальным установкам времени. И подход к этому наследию, на наш взгляд, должен быть строгим, критическим, подлинно свободомыслящим — но никак не конъюнктурно-нигилистическим.

Одно из направлений, где заложены хорошие основы для дальнейшей научной разработки, особенно для междисциплинарных исследований, — это изучение общественного сознания, его структуры и форм. Именно в наше время под влиянием резко изменившейся социальной практики в стране и в мире проблема общественного сознания, ее актуальность предстают в новом свете. Ибо усложняющаяся практика, накопление знаний, умений и изощренности, рост материальных возможностей человека чем дальше, тем внушительнее повышают значение и роль субъективного начала, заставляют во многом переосмысливать традиционные (далеко не только марксистские) взгляды на детерминацию социальных процессов, на проблему исторических и политических альтернатив.

Рациональная и наиболее ценная часть отечественной школы изучения общественного сознания — это установление системы прямых и обратных связей между ними и социальной практикой, а также разработка вопросов структурирования общественного сознания и взаимодействия различных его видов и форм. Не считая все сделанное в этой области истиной в конечной инстанции, надо в то же время признать, что без решения вопросов структуры общественного сознания нельзя всерьез говорить о моделировании крупномасштабных социальных и общественно-исторических процессов, о социальном прогнозировании — а значит, и о действительно научном познании социального мира.

I

Цель данной статьи — обосновать правомерность и целесообразность введения в научный оборот категории «внешнеполитическое сознание» как аналитического понятия, отражающего бесспорный факт существования не только особой сферы деятельности человека и социальных институтов, но и специфического сознания, не просто порождаемого этой деятельностью и, в свою очередь, влияющего на нее, но и образующего некую самостоятельную целостность. Вопрос о введении такой категории является, несомненно, дискуссионным и будет оставаться таковым еще какое-то время. В пределах статьи нет возможности, конечно, выйти за рамки, по существу, лишь постановки проблемы. При этом будет рассматриваться по преимуществу лишь социологический аспект общественного и внешнеполитического сознания.

Один из многих парадоксов советского обществоведения заключался в том, что при наличии огромного числа догм, «священных коров» и постулатов, не подлежавших обсуждению, оно проявляло естественную тягу к упорядочению этого сложного и способного доставлять при смене политической конъюнктуры немалые беспокой-

ства хозяйства. Упорядочение же никогда не могло оказаться доведенным до его логического завершения — выработки некоего комплекса достаточно жестких категорий и их строгого соотнесения друг с другом. Ибо как только такой комплекс удалось бы создать, он уже сам задавал бы свои условия абсолютной идеологической и политической власти — чего, конечно же, такая власть потерпеть не могла бы, да и не терпела. Именно этот разрыв между навязываемой науке тенденцией к тотальной догматизации всего и вся и невозможностью довести эту тенденцию до ее внутренней исчерпанности, необходимостью делать постоянные поправки на политическую конъюнктуру не только оставлял потенциальные возможности для известного развития общественно-научной мысли, но и двигал такое развитие, требовал его.

Все сказанное в полной мере приложимо, на наш взгляд, к исследованиям общественного сознания. Нет нужды доказывать очевидное: наличие в этой сфере немалого груза схоластики, от которой, впрочем, никогда не бывает и, наверное, не может быть свободна ни одна наука. Но есть и *рациональный, положительный задел*, который можно просуммировать следующим образом.

Во-первых, сформировано в целом понятие общественного сознания как духовной стороны исторического процесса, которая представляет собой не просто «совокупность индивидуальных сознаний членов общества, а целостное духовное явление, обладающее определенной внутренней структурой»¹ (здесь и далее курсив мой — Н.К.), притом целостность объективно существующую и функционирующую независимо от того, насколько мы ее знаем и понимаем, и даже от того, подозреваем ли об ее существовании (что чрезвычайно важно в теоретическом и методологическом отношениях для ретроспективного постижения и моделирования социально-исторических процессов).

Во-вторых, от ранних — первоначально противостоявших клерикализму и его догматам — споров о соотношении бытия и сознания, объективного и субъективного изучение общественного сознания, да и обществоведение в целом, пришли, на наш взгляд, к *пониманию исторического процесса непрерывного диалектического взаимодействия* первого со вторым — взаимодействия, в котором надо видеть весь комплекс как прямых, так и обратных его связей².

В-третьих, в общественном сознании как целостном духовном явлении *выделены структурно-функциональные его формы*, принципиальные для понимания внутренних закономерностей функционирования самого сознания, его механизмов. Такое деление общественного сознания, вначале носившее двучленный характер (идеология

¹ Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 448.

² В качестве примера можно привести вышедшую в 1974 г. работу Г.С.Арефьевой «Социальная активность (Проблема субъекта и объекта в социальной практике и в познании)».

как «высший» и общественная психология как «низший» уровни сознания), постепенно продвигалось к признанию и принятию *трехчленного* деления, основанного уже на функциях каждой формы в структуре сознания: *мировоззрение* как совокупность научных знаний и способов их получения (функция познания); *общественная психология* (внутренний мир субъекта и функция его жизненного опыта); *идеология* (функция воли, целеполагания, мобилизации на достижение определенных целей и задач, самоорганизации субъекта и организации его социальной практики в целом, на макроуровне). Из трехчленного деления общественного сознания будем в дальнейшем исходить и мы.

В-четвертых, постепенно сложилось признание в общественном сознании двух принципиально различных *качественно-гносеологических его уровней*: сознания теоретического, специализированного, в котором определяющую (но не единственную) роль играет наука, специальные знания; и сознания *обыденного*, массового, складывающегося у социума в целом или какой-то его части под влиянием всего круга жизненных условий.

В-пятых, в рамках общественного сознания в целом выделяются относительно обособленные его элементы (одни авторы называют их формами, другие — *видами общественного сознания* (на наш взгляд, последнее корректнее), основанием для вычленения которых «является факт существования любого духовного образования в неразрывном единстве с определенным видом социальной деятельности и с соответствующим видом общественных отношений»). Таковы, например, сознание экономическое, правовое, политическое (в целом).

И, наконец, в-шестых, по всем перечисленным направлениям в отечественной литературе шла *активная дискуссия, пока объективно не завершенная*. Можно ожидать, что бурные события в стране еще будут давать дополнительную пищу для размышлений, в том числе и в рамках этой дискуссии, побудят пересмотреть некоторые исходные посылы, взгляды на отдельные аспекты проблемы структуры общественного сознания, оттеснив в то же время еще более значимость проблемы в целом. Во всяком случае, дискуссия и ее незавершенность, перспектива ее неминуемого объективно продолжения определяются прежде всего необходимостью познания общественного сознания как реальности, а не соображениями преходящего характера.

Естественно, что предлагая новую аналитическую категорию «внешнеполитического сознания», мы будем исходить прежде всего из уже проделанной в науке работы по анализу общественного сознания в целом, используя результаты и опыт этой работы. Специального рассмотрения, однако, требуют три группы вопросов. Есть ли в данном случае объект и предмет анализа? Чем может быть обоснована научная и практическая потребность в дополнительной категории? И наконец, как мы определяем понятие «внешнеполитическое сознание» и по каким критериям выделяем его из других видов и форм?

II

На наш взгляд, сегодня — и давно уже — есть все основания говорить о *внешней политике как самостоятельном виде социальной деятельности*.

С бесспорностью это относится к узкому пониманию внешней политики как политики собственно государства — то есть официальной дипломатии, оборонной и военной политике мирного времени, разведке. Эти сферы уже давно обособились как самостоятельные, высокопрофессиональные области, со своими весьма развитыми структурами, институтами, системами подготовки кадров, традициями, с достаточно четкими задачами и пределами компетенции — короче, со всеми явными, не нуждающимися в доказательствах признаками самостоятельных сфер деятельности, притом деятельности именно социальной по ее смыслу, содержанию, формам и значению. В последние десятилетия происходит заметное расширение реального содержания внешней политики государства: в эту политику, в разных странах по-разному, но непременно включаются вопросы внешнеэкономических связей, экономической интеграции, гуманитарного сотрудничества, науки и техники и многие другие.

Параллельно происходит расширение масштабов и диапазона внешней политики в широком смысле — не только как политики государства и правительства, но как вообще всего комплекса связей данной страны, общества с внешним миром. По своей экономической, социально-культурной, информационной и иной значимости в подавляющем большинстве стран современного мира такие связи многократно «перевешивают» то, что осуществляется непосредственно по линии внешней политики государства и правительства. Несомненно, тенденция эта будет нарастать и впредь как вследствие увеличения числа стран, «открытых» внешнему миру (будем надеяться!), так и потому, что все большее количество сфер деятельности, бывших ранее исключительно или по преимуществу «внутренними», будут нуждаться во внешних связях, контактах, обменах. И чем шире будут протекать подобные процессы, чем дальше они зайдут, тем скорее и тем более глубокой профессионализации они потребуют даже там, где пока еще такой профессионализации нет или в ней нет явно выраженной необходимости.

Рост здесь не только количественный, но и качественный. Современные государства и общества не только так или иначе общаются, обмениваются, взаимодействуют со все большим числом других государств и обществ. Они еще образуют огромное множество правительственных, неправительственных и иных организаций, объединений, структур на местном, региональном и глобальном уровнях. Таким образом, во внешней политике государства, внешних сношениях общества образуется еще и сфера связей с этими принципиально новыми формированиями. И эта деятельность тоже носит постоянный, интенсивный и все более значимый социальный характер как в случае ее позитивной направленности, так и тогда, когда она — преднамеренно или нет — оказывается дестабилизирующей, деструктивной.

Она тоже обретает все более отчетливые признаки самостоятельности по функциям, целям, задачам, сферам приложения, потребным профессиональным навыкам, системам регуляции и управления.

Из всей этой многообразной деятельности сотен и тысяч самых разных субъектов складывается самостоятельный вид общественных отношений — отношения международные как в межгосударственной, так и во всех иных их компонентах. XX в. наполнил эти отношения особым смыслом и содержанием. Во многом именно в них решались острейшие социально-исторические противоречия столетия: между коллективизмом и индивидуализмом, демократией и всеми формами антидемократизма, развитием и иммобилизмом, интенсивными и экстенсивными направлениями развития. Именно в международных отношениях оформились и были осознаны глобальные проблемы современности — от безопасности до экологии — эти основы будущего глобального социума и общепланетарного сознания. Именно в международных отношениях в наше время — ключ к выживанию не только человечества, но и отдельных стран и народов (пожалуй, что всех без исключения).

Стало уже банальностью подчеркивать нарастающую интернационализацию всех важнейших направлений современной жизни: экономики, науки и техники, коммуникаций, культуры, искусства. В последние десятилетия складывается принципиально новая ситуация: все большее число проблем — не только практических, но и научных — может решаться только через международное сотрудничество — и никак иначе. Несомненно, что в длительной перспективе количество и значимость таких проблем будут возрастать. Обратная сторона этого процесса: ни одно современное государство не может позволить себе «выпасть» из системы международных отношений, международного сотрудничества, не рискуя при этом неизбежностью глубокого осложнения своей внутренней жизни, откатом в развитии. Напротив: чем более высоко развито государство по всем традиционным параметрам определения уровня «развитости», тем больше зависит оно от связей с другими, от включенности в международные отношения.

Резко возросшая зависимость между внутренней жизнью общества и государства, с одной стороны, и сферой международной — с другой, носит отчетливо выраженный диалектический характер. Диалектика эта проявляется неоднозначно. Интернационализация многократно умножает созидательный потенциал отдельных стран и человечества в целом, открывает новые возможности роста, развития, прогресса. Но в реальных условиях современного мира она имеет и негативные, и прямо опасные аспекты, ставит много новых проблем: ведь интернационализируются и конфликты, и внутренние тупики и трудности развития отдельных стран, и многочисленные проявления социально-исторической дикости, ранее «запертые» в географических, политических, культурных анклавах.

Диалектика зависимости между «внутренним» и «международным» проявляется и в другом. Не только «международное» все

сильнее и многообразнее переливается во «внутреннее», влияет на него и даже определяет его, идет ли речь об отдельных сферах деятельности или же о жизни общества, государства в целом. Распад Югославии и СССР показал, что возможен и обратный процесс: когда то, что на протяжении исторически достаточно длительного времени считалось сугубо «внутренним» — да и было таковым на деле, — вдруг почти мгновенно превращается в «международное». Нашему сознанию еще трудно примириться, что не только отношения между, например, Россией и Украиной вдруг стали международными, межгосударственными. Но и частные отношения людей тут — поездки к родственникам, на работу, пересылка писем, переводов и т.д. — тоже должны рассматриваться уже по нормам, правилам, критериям международных, а не прежних внутренних отношений. Между тем от подобных дезинтеграционных процессов не застрахованы в принципе и некоторые другие регионы.

Очевидно, это дает основания задуматься над определенной цикличностью международных отношений, диктуемой их собственной диалектикой, противоречивостью: если в историческом смысле международные отношения есть процесс «собираания человечества», становления всеобщей истории, интеграции меньших социумов в более крупные, формирования *глобальной иерархии территориально-этнических комплексов* (от района через государство и регион до планеты в целом), — то в практическом смысле процесс этот не может идти иначе, как циклически, через забегания и возвраты, чередования интеграции и распадов, взаимных притягиваний и отталкиваний.

Важнейшее, что отличает эволюцию международных отношений в XX в., особенно в послевоенной его части, заключается, на наш взгляд, в *постепенном превращении международных отношений в целом в специфическую, высокоразвитую, самостоятельную область человеческой деятельности*, в структурно выделенную «систему социальной практики» (термин В.П.Фофанова)¹. Диалектика этих отношений демонстрирует здесь формирование мощных обратных связей: если из внешних связей социальных субъектов (государств и других) создавались современные международные отношения (от вида деятельности — к виду отношений), то теперь сами эти отношения начинают — пока еще, однако, только начинают — трансформироваться в новый вид деятельности.

Чем были международные, прежде всего межгосударственные, отношения на протяжении многих веков с момента их становления? Для ответа важно знать сущность данного отношения и характер участвующих в нем субъектов.

Исторически двумя наиболее распространенными и значимыми формами отношений между странами и народами были войны и торговля. В том и другом случае в международной сфере осуществлялось

¹ *Фофанов В.П. Экономические отношения и экономическое сознание. Новосибирск, 1979. С. 75.*

перераспределение между социальными общностями территорий, ресурсов, производимого продукта. Международные отношения в минувшие эпохи не выступали и не могли выступать как сфера, непосредственно обеспечивающая производство материального продукта и приращений духа и культуры: для этого не были еще достаточно развиты производительные силы, разделение труда, инфраструктуры, коммуникации. Ныне же не только беспрецедентно выросла международная торговля; но и ее уже перекрыли масштабы международной специализации, кооперации как производства, так и услуг, и НИОКР, движение капиталов, создание совместных и смешанных предприятий, транснациональных и многонациональных фирм и т.п.

Изменился и характер субъектов международных отношений. В прошлом они опирались на сравнительно узкую социальную базу. «Постоянными участниками» международного общения оказывались преимущественно одни и те же социальные группы: главы государств, привилегированные слои, высшие клерикалы, профессиональные военные, некоторые купцы. Такое положение было не только следствием того, что соответствующие социальные группы охраняли области своих интересов от вторжения представителей других сословий. В первую очередь, сами жизненные условия выталкивали массы людей в сферу «международного» практически только в случае (и в результате, и в социальном контексте) войн. Сегодня же субъектами международного общения являются и социально-территориальные комплексы (государства, союзы, интеграционные образования), и созданные ими организации и институты, и самые различные социальные субъекты — от предприятий до общественных движений, и десятки миллионов людей. Все это на рутинной, повседневной основе и при коммуникациях, когда для кругосветного путешествия достаточно полутора суток, а новости распространяются по миру за несколько минут. Работа миллионов людей — связистов, транспортников, системотехников, международных чиновников и многих других — сегодня состоит в том, чтобы обеспечивать круглосуточное поддержание нормального международного общения и взаимодействия. Сотни миллионов других людей прямо и косвенно зависят от того, чтобы международные отношения (во всех смыслах этого понятия) оставались нормальными и развивались.

Естественно, все перечисленное отражается и в общественном сознании XX в.: и в его содержании, и в его структуре. Внешнеполитической и международной деятельности, международным отношениям соответствует своя *духовная целостность*. Конечно, одной своей частью она уходит в общественное сознание в целом, в представления современников об общественно-историческом развитии, мире «вообще». Но так и любая другая форма или вид общественного сознания входят в систему общественного сознания в целом. В то же время отражение дел международных в общественном сознании в наше время уже достаточно специализировано и выступает именно как целостность, основанная, как и всякая целостность вообще — в отличие от однородности — на внутренней противоречивости, диалектичности.

Специализированность внешне- и международно-политического сознания выражается прежде всего в наличии определенных норм и правил международного общения, в правовой и политической кодификации международных отношений, внешнеполитического процесса государств. Она выражается в наличии большого числа научно-исследовательских, информационных и других центров, научных школ и направлений, теорий и концепций, политических доктрин, систем воспитания и профессиональной подготовки кадров. Она выражается и в том, что общественное мнение как отдельных стран, так и мира в целом имеет свои представления по вопросам внешней политики и международных отношений — представления, не смешивающиеся со взглядами на какие-то иные проблемы (например, внутренние, экономические, спортивные и т.д.). Речь не о том, каковы эти представления и оценки, как они складываются, что включают: достаточно уже просто того, что они есть.

Эта сложная духовная «надстройка» над международными отношениями и внешней политикой являет собой и определенную целостность, как минимум, в трех смыслах. Во-первых, в ее первооснове — одни и те же явления и отношения реального мира, какое бы истолкование они ни получали в дальнейшем. Во-вторых, в отражении этих явлений и отношений многое строится на прямых связях, когда целые «кусты» политических программ и доктрин, научных школ, позиций общественности объединены близостью или родством интересов, идеологий, культур. И в-третьих, даже там, где налицо противопоставление и отрицание чего-то, ни первое, ни второе невозможно без отталкивания от «противоположной» стороны — в интересах ли, воззрениях либо в чем-то ином. Здесь отражение строится на обратных, противоречивых, даже иногда антагонистических — но все же связях.

Таким образом, налицо не только объект и предмет отражения, вид социальной деятельности и вид социальных отношений. Налицо и объективное явление внешнеполитического сознания. На наш взгляд, вопрос не в том, есть это явление или его нет, но в том, готовы ли мы признать его существование и как можем выделить его из общественного сознания в целом. Вопрос здесь в определении и критериях вычленения, соотнесения с общественным сознанием в целом, с другими его формами и видами.

III

Вопрос о критериях вычленения относительно независимой формы или самостоятельного вида общественного сознания еще весьма далек от убедительной его разработки. Отчасти это связано с недостаточной разработанностью самих понятий «форма» и «вид» общественного сознания. Отчасти — с тем, что на нашей памяти произошло в последние годы становление только одной новой сферы общественного сознания — сознания экономического. Все остальные достались нам как очевидность, как априорная данность, как наследство, не требовавшее для его принятия никаких четко выверенных крите-

риев. Так были восприняты философия, религия, правовое и историческое сознание. Отчасти же — с тем, что по понятным причинам наше обществоведение в этих вопросах слишком долго сосредоточивало все внимание на предмете отображения, социальной функции отображения и виде общественных отношений, с которым связана данная форма сознания, — игнорируя критерии иного, более практического и строго определенного ряда.

Так, обилие потенциальных предметов отображения и социальных функций такого отображения (обнаруживающие к тому же явную тенденцию к увеличению того и другого) открывает в принципе возможность ничем не ограниченного, произвольного «провозглашения» новых форм и видов сознания. С одним и тем же видом общественных отношений могут быть связаны несколько форм (видов) сознания. Например, с отношениями международными связаны и экономическое, и правовое, и политическое, и историческое сознание, и идеологии, и религия. И, напротив, любой вид общественного сознания всегда обнаруживает связи не только со «своими» общественными отношениями, но и со смежными им.

Поэтому, на наш взгляд, после того как в принципе констатирована, обоснована достаточно высокая вероятность оформления какой-то новой разновидности сознания, для ее практического вычленения необходимо наличие условий, отвечающих, как минимум, пяти следующим критериям.

Первый — отчетливо выраженная *диалектичность социальной базы искомого вида сознания*. То есть, с одной стороны, данная форма (вид) сознания должна безусловно носить достаточно массовый характер, отражать интересы, представления, побуждения не сравнительно узкой группы или категории, но социально значимого числа людей. Только в этом случае будут основания отнести такое сознание к разряду действительно «общественного». С другой же стороны, коль скоро речь идет не о сознании вообще, но о какой-то его части, элементе, подсистеме, то специфика последней должна так или иначе проявляться и через характеристики субъектов-носителей сознания: их относительную численность, социальную природу, что-то еще.

Будучи в принципе способным распространиться на все общество, отдельный вид сознания фактически никогда этого не достигает и не может достигнуть по, как минимум, двум причинам. Потому, что проблемы и явления, отношения, составляющие содержание данного вида сознания, будучи общественно значимыми, тем не менее не являются и не могут быть равнозначимыми всегда и для всех членов общества. А также потому, что каждая форма (вид) общественного сознания включает, как было отмечено выше, два уровня — массовый и специализированный, которые не могут абсолютно совпасть друг с другом так, чтобы грань между ними (по содержанию и субъектам-носителям сознания) стала практически неразличима. Напротив: чем более развит данный вид сознания в целом, тем отчетливее видна грань между его теоретическим и обыденным уровнями.

Думается, изложенное в предыдущем разделе достаточно иллюстрирует тот факт, что применительно к сознанию внешнеполитическому диалектичность его социальной основы выражена предельно отчетливо по всем названным здесь параметрам и направлениям. Те или иные представления, идеи о международных отношениях, внешней политике хотя бы только «своего» государства есть практически у каждого человека. И вместе с тем это высокоспециализированная область с точки зрения и практики, и теории (в первом случае — специализированные органы государства и международные; во втором — большое количество школ, направлений, центров, информационных банков и т.п.). Притом как практические, так и научные организации этого профиля, как правило, не выходят или почти не выходят в иные сферы деятельности и общественных отношений, либо делают это только в связи со своей основной функцией. Что же касается обыденной части сознания, то здесь может быть выстроена сложная иерархия общественного мнения в зависимости от характера стоящих за ним интересов, силы мотивации и ряда других факторов¹.

Второй критерий — достаточно глубокие, не «вчера» появившиеся исторические корни конкретного, в нашем случае — внешнеполитического сознания. Это один из принципиальных конституирующих признаков. Сфера сознания более чем подвержена внезапным духовным поветриям, интеллектуальным и политическим модам, резким переменам в массовых настроениях и устремлениях, озарениям подлинным и мнимым. Все это не обходит стороной и внешнюю политику государств, международные отношения. Естественно, все это должно учитываться и изучаться, но именно в интересах такого изучения ставится в корректные социально- и духовно-исторические координаты.

В отличие от таких подвижек и новая форма (вид) общественного сознания, и ее содержание не могут возникнуть «вдруг», «из ничего». Одних только социальной деятельности и общественных отношений для этого недостаточно, они — первооснова и предпосылка, не более. Отпочкование от смежных направлений общественной практики и мысли, являющееся прямым, но не немедленным результатом нарастающего разделения труда, обретения своего лица, социального признания — процесс, требующий для своего развития, помимо прочего, еще и времени. Иногда это время измеряется десятилетиями, в других случаях — веками, но оно всегда достаточно продолжительно, соизмеримо с продолжительностью жизни человека. Научно-техническая революция, другие известные черты современности ускоряют это процесс, делают его более интенсивным. Но и по меркам начала XXI в. он также остается продолжительным.

Гносеологически внешнеполитическое сознание развивается на протяжении уже очень длительного времени. Начальным моментом

¹ См.: Косолапов Н.А. Социальная психология и международные отношения. М., 1983. Гл. III.

его становления можно считать образование самых первых в истории государств и, как следствие этого, формирование отношений между ними. Вся последующая история — это еще и развитие, в доступных каждой эпохе формах и пределах, понятиях и представлениях, внешнеполитических воззрений людей, расширение их социальной основы. Конечно, чем дальше в историю мы будем углубляться, тем труднее будет отделить собственно внешнеполитические представления от иных — философских, религиозных, общеполитических, культурных. Этот факт подтверждает глубокие исторические корни внешнеполитического сознания не только по его объекту и предмету, но и по содержанию. По-видимому, к настоящему времени нет другой такой формы, вида, сферы общественного сознания, у которых сознание внешнеполитическое не позаимствовало бы что-то на определенном этапе своей эволюции и на которые оно, в свою очередь, не оказывало бы так или иначе обратного воздействия. Весьма тесны и связи внешнеполитического сознания с наукой XX в., причем не только с общественными дисциплинами.

Критерий *третий* — наличие у данного вида общественного сознания *собственного, только ему присущего содержания* (как следствие собственных объекта и предмета отражения) и *соответствующего специализированного носителя* (или совокупности таких носителей), в функции которого входит «хранение», преемственность, развитие сознания, распространение его содержания и влияния. В современных условиях и применительно к специализированным формам общественного сознания таким носителем чаще всего объективно выступают наука и соответствующая часть структур государства и общества¹. Выше уже показано, что применительно к сознанию внешнеполитическому все эти признаки не только присутствуют, но и в высшей степени развиты. Подчеркнем только, что хотя теория и практика международных отношений, внешней политики вбирают в себя многое из аппарата и результатов ряда наук, такие дисциплины, как, например, теория международных отношений, стратегический анализ (особенно в ядерной его части), геополитика и ряд других, приложимы только к международной сфере — и никакой другой.

Критерий *четвертый* — социальное-историческая и конкретная *общественная значимость* данного вида сознания. Доказывать значимость воззрений по вопросам внешней политики и международных отношений (не отдельных взглядов и концепций, но всего комплекса

¹ См., например, работы по исследованию внешнеполитического механизма современных государств: США: внешнеполитический механизм. Организация, функции, управление. М., 1972; Петровский В.Ф. Американская внешнеполитическая мысль. Критический обзор организации, методов и содержания исследований в США по вопросам международных отношений и внешней политики. М., 1976; Процесс формирования и осуществления внешней политики капиталистических государств. М., 1981; Внешнеполитические исследовательские центры США и Канады. М., 1989.

таких воззрений в целом, и не только для сегодняшнего положения, но еще больше с точки зрения их влияния на то, каким будет будущее мира, отдельных регионов и стран) значило бы ломиться в открытые двери. Заметим только, что в современном мире можно найти немало духовных систем, вполне удовлетворяющих трем первым критериям, но утративших свою общественную значимость либо никогда не имевших ее, либо таких, значение которых сегодня в лучшем случае маргинально. Таково, например, все рудиментное сектанство, носит ли оно религиозный, идеологический или же культурно-этнический характер.

И наконец, *пятый* критерий, позволяющий обосновать и выделить внешнеполитическое сознание как самостоятельный вид сознания общественного — это *прогностическая ценность* вычленения данного вида сознания. До недавнего времени задача прогнозирования развития общественного сознания в чистом ее виде не ставилась. Имплитно такая постановка вопроса присутствовала во всех теоретических исследованиях этого предмета. Однако прогностическая работа, выполненная во многих других областях (национальная и мировая экономика, наука и техника, социально-политические процессы и др.) при всей ее ценности показала: прогноз «заживет», обретет социальное наполнение, повысит свою точность лишь тогда, когда сумеет вобрать в себя и оценку возможных в будущем движений сознания (в целом либо в какой-то его части). В сфере внешней политики и международных отношений давно уже прогнозируются подвижки в расстановке и структуре вооруженных сил, экономических потенциалов и связей, политических движений и партий и т.п. И такие прогнозы дают свои результаты, имеют определенную практическую и познавательную ценность. Но сделать прогноз на перестройку — со всеми ее глобальными последствиями, включая распад СССР и трансформацию его прежнего политического пространства, — можно было только через прогнозирование идеологических процессов, общественного сознания в целом. Притом такой прогноз был в принципе возможен лет за пятнадцать до начала перестройки, еще на тогдашнем уровне знания и методологии. Разумеется, прогнозирование общественного сознания не подменяет собой всего остального; но и все остальное также не может заменить собой прогнозирования собственно духовных процессов.

Применительно к сфере собственно внешнеполитического сознания подчеркнем только, что колы существуют достаточно развитые: а) специфическая область социальной деятельности, б) соответствующая ей область общественных отношений и в) охватывающий то и другое самостоятельный вид общественного сознания, — то любой макропрогноз, включающий любую из трех перечисленных сфер, а тем более все их вместе, и особенно прогноз средне- и долгосрочный, просто обязан включать также и прогнозирование развития внешнеполитического сознания, ключевых его направлений и компонентов. Для этого же, в свою очередь, необходимо рассматривать такое соз-

вание как самостоятельное целостное образование, а не просто совокупность воззрений, концепций, доктрин, подходов и тому подобного.

С учетом всего изложенного внешнеполитическое сознание можно определить как всю совокупность существующих на конкретный исторический момент представлений людей по вопросам внешней политики государств и международных отношений, международной жизни и мирового развития, взятую в единстве всех форм выражения этих представлений и их исторической эволюции, в диалектической целостности всех существующих (в том числе и противоборствующих) школ и тенденций, в ее взаимосвязи и взаимодействии с реальной общественной практикой и с другими компонентами системы общественного сознания, во всем многообразии ее социальной основы.

В этом определении необходимо подчеркнуть слово «все», поскольку никакие взгляды и представления, касающиеся международной жизни, сколь бы странными, нелепыми, даже чудовищными они ни представлялись исследователю не могут только на этом основании исключаться из содержания внешнеполитического сознания. Другое дело — тщательнейшая оценка роли и значения таких взглядов и в самом сознании, и в практике международных отношений, во внешней политике конкретного государства, правительства, в конкретное историческое время, взаимодействия этих взглядов с другими воззрениями.

IV

Закономерен вопрос: зачем все это нужно? Нельзя ли разобратся в происходящем, не вводя дополнительную категорию и не создавая лишних сложностей там, где и без того проблем хватает?

В принципе, наверное, можно. Но все дело в том, что проблемы носят объективный характер. Их можно, конечно, — и нужно — рассматривать и по отдельности, изучая каждую максимально тщательно и подробно. Но на определенном этапе как познания, так и практики возникает неизбежно потребность в синтезе. И здесь многое зависит от того, насколько субъективно мы подготовлены к наступлению такого момента, к тому, чтобы за многочисленными, даже прекрасно подготовленными фрагментами увидеть картину в целом и суметь сложить ее. Введение категории внешнеполитического сознания само по себе еще не дает всеобъемлющей и целостной картины объекта исследования. Но оно подготавливает к этому, не только воздействуя на психологию исследователя и практика, побуждая их отыскивать за частностями общее, но и тем, что способствует соответствующему восприятию и организации информации, эмпирических данных, отдельных разработок.

Признание внешнеполитического сознания самостоятельным видом общественного сознания вообще решает еще одну теоретическую и методологическую задачу. На практике живое сознание не так-то просто разделить на теоретическое и повседневное. Граница между наукой и не-наукой (не обязательно анти-наукой, это принципиально

иное явление) часто бывает весьма размыта. Наряду с двумя крайностями — безупречная и строгая наука, с одной стороны, очевидные и явные, заскорузлые предрассудки, мифы, суеверия — с другой, — в жизни всегда есть немало представлений, диктуемых практикой, опытом, традициями. Есть немало учений, гипотез, концепций не-научного (в современном смысле слова) происхождения и содержания, но от того не становящихся менее ценными практически. Кроме того, свои мифы, заблуждения, «священные коровы», предубеждения, некритически принимаемые положения, элементы аксиоматики (а по сути — внутринаучной веры) есть в любой науке. Их просто не может не быть. Сфера внешнеполитического мышления особенно богата всем перечисленным, и подобные явления подчас весьма заметно влияют не только на образ мышления лидеров, элит, значительных социальных групп, но и на их политическое поведение, а через него — на международные отношения.

Сейчас, когда люди в нашей стране вынужденно шарахнулись от государственной официальной медицины к медицине народной, стоило бы взглянуть на проблему признанной, институционализированной науки шире. Не происходит ли чего-то подобного и во многих других науках, особенно общественных? Не противопоставлять науку многотысячелетнему опыту человечества, но наладить их сотрудничество и взаимообогащение — для этого нужна одна упряжка для того и для другого. Очевидно, что учитывать все многообразие реально существующих воззрений только по категории общественно-психологических, или же научных, или религиозных, или иных в любом случае было бы натяжкой. Введение же категории внешнеполитического сознания решает эту задачу наиболее адекватным образом, а на будущее может стать и той «упряжкой», которая сделает прозрачными границы между «высокой» наукой и «низкой» повседневностью.

Но есть и еще одна грань проблемы перехода между теоретическим и обыденным сознанием. Далеко не все, чем располагает внешнеполитическая мысль, попадает в практику. Далеко не все, что есть в обыденном сознании, тоже находит свой выход в политику. Некоторые идеи как науки, так и здравого смысла остаются невостребованными десятилетиями, даже будучи при этом прекрасно известными современникам. Каковы механизмы «отбора» идей, концепций в политику вообще, внешнюю в частности? Какие факторы и что здесь определяют? Как поставить более эффективные заслоны проникновению в политику идей заведомо реакционных, антигуманных, просто опасных, непродуманных, незавершенных? И здесь категория внешнеполитического сознания позволяет преодолеть многие существенные теоретические и методологические трудности — естественно, сама по себе не предопределяя при этом научных и практических результатов исследовательской работы, которую еще только предстоит проделать.

И наконец, без выделения внешнеполитического сознания как самостоятельного вида сознания общественного сложнее будет разбираться в теоретических и практических тонкостях проблемы истори-

ческого самосознания субъектов современного мирового развития, международных отношений. От того, как понимают они ход и перспективы развития, свое место в нем и прежде всего самих себя (кто и что они есть), зависит очень многое для человечества, вплоть до его физического выживания. Одна из проблем внешней политики новой суверенной России заключается, на наш взгляд, как раз в том, что она еще только вступила на путь осознания самой себя в резко изменившихся внутренних и международных условиях. И такая проблема стоит не только перед Россией и даже не только перед большинством других республик бывшего СССР, но и перед многими другими странами. По самой своей природе национальное самосознание решающим образом опирается на исторический опыт стран, народов, человечества, как бы проецируя в будущее его уроки. Оно глубоко входит в идеологию и общественную психологию, в политические доктрины, в структуру индивидуальной и социальной мотивации, сильно воздействует на важнейшие проявления общественной деятельности: цели, ориентиры, критерии морали и нравственности, выбор средств и норм политики, борьбы, на многое другое.

Но и на рубеже XX-XXI столетий международная жизнь, мировое развитие особенно сильно влияют на историческое и национальное самосознание каждой страны, каждого народа, каждого субъекта мировой политики. Из сферы международных отношений черпается немалая часть социального опыта. Отсюда приходят все более серьезные проблемы, вопросы, вызовы: предотвращение ядерного конфликта, экологическое выживание человечества и другие. Отсюда впитывается огромное количество самой разнообразной информации, в том числе и такой, которая по содержанию или объективности бывает недоступной в рамках отдельных стран. Здесь реализуются чаяния и устремления государств и народов. Тут уже в самые последние десятилетия сформировались принципиально новые ценности и критерии для оценки эффективности социальных систем, конкурентоспособности политических и экономических структур, идеологий, меры национального успеха и национального унижения. И сегодня уже эти критерии в большей, нежели исторически традиционные, степени влияют на оценку стран и народов, а тем самым и на их самосознание, и на их дальнейшее внутреннее развитие.

Наконец, категория внешнеполитического сознания представляется нам полезной и для изучения политического сознания вообще. Имея более четкий объект и предмет отражения, легче поддаваясь анализу и формализации, чем более широкая, внутренне сложная и неопределенная сфера политического сознания вообще, сознание внешнеполитическое и его изучение как единого целого смогут, на наш взгляд, внести свой конструктивный вклад в понимание закономерностей и функционирования как политического сознания, так и общественного сознания в целом. А это важно не только само по себе, но и для таких перспективных направлений, как моделирование социальных процессов и создание искусственного интеллекта.

ГЛАВА 11. ИДЕОЛОГИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Н.А.Косолапов

С переходом к постсоветской системе международных отношений возникло новое качество идеологизации последних. На протяжении XX века взаимосвязь идеологии с мировой политикой и международными отношениями оказалась отождествленной с противоборством религии и атеизма, либерализма и коммунизма, буржуазной представительской демократии и диктатуры от имени народа (в важном отличии от более ранних, монархически-диктаторских форм), рынка и плана, Запада и Востока, США и СССР. Распад Советского Союза, который во всех перечисленных дихотомиях связывался со второй, «модернистской» их частью, породил иллюзию, будто идеологическая борьба завершена, а идеология уходит (или даже уже ушла) из международных отношений, глобализирующихся и все более принимающих «конфликтоборческое» и экономическое содержание.

Конечно, ничего подобного не происходит и быть не может. Не только потому, что Запад не отказывается от его идеологии на том лишь основании, что СССР больше нет и «коммунизм потерпел полный крах»; напротив, подчеркивается (и справедливо), что ценности и идеалы Запада стали важным фактором его победы в «холодной войне» и соревновании с советской моделью. Но и потому, что идеология не тождественна коммунистическому учению. Она как явление возникла на тысячи лет раньше коммунизма; ее функции в обществе и мире, в историческом, духовном процессах и познании не ограничиваются продвижением и обслуживанием коммунистического учения; и погибнет идеология как явление (если такое вообще возможно) вне всякой связи с идеями коммунизма как такового.

На смену идеологической борьбе либерализма и коммунизма, во многом опиравшейся на военно-политическое и военно-экономическое противоборство США и СССР и питавшейся этим противоборством, идет господство идеологии политического и экономического либерализма, производное от доминирования в мире западной модели экономики и (в меньшей степени) политического устройства, питаемое ролью США в западной системе и мире в целом, неразрывно связанное с ходом и содержанием процессов глобализации. Однако идеологический пейзаж мира в начале третьего тысячелетия многомерен и не сводим ни к одному лишь либерализму, ни к политическим идеологиям как таковым — религиозные, а также социокультурные и неполитические формы и проявления идеологии начинают играть в нем все большую роль.

Международные отношения предстоящих десятилетий, особенно в обстановке интенсивной глобализации и трансформации части прежних международных и межгосударственных отношений в принципиально новые — внутриглобальные, по природе более близкие внутренним, чем международным, — не могут быть и не будут свободны от всего комплекса их идеологических факторов и аспектов. Что это означает для будущих отношений в мире: следует ли готовиться к очередной исторической полосе идеологических войн, или идеологизация может принять иные формы, содержание, выражение? Если история — это прежде всего история идей, а международные отношения, мировое развитие — важнейшие сферы и направления реализации идей и их истории, сложившиеся в идеологических противоборствах прошлого, то усвоена ли и сколь прочно истина, что идеи убить невозможно?

* * *

Верным представляется лишь одно: с распадом СССР и глубокими переменами во всем миропорядке идеологическая борьба в тех формах и содержании, что определяюще повлияли на международные отношения и процессы мирового развития 1920-1980-х гг., более не существует и не вернется ни при каких обстоятельствах, даже если Россия вдруг реставрирует у себя советский тип государства и экономики. Но и в подобном, гипотетическом случае политико-идеологическая неоконфронтация между Россией и Западом вряд ли приняла бы столь же судьбоносные смысл и значение для мирового развития в целом, как это было на протяжении большей части XX в. Однако «выпадение» идеологии из международных отношений — не более чем иллюзия. Конкретная идеология может утрачивать свое значение, отступать на задний план и даже уходить в политическое небытие; но идеология как явление в обозримом будущем неустраима.

Прямолинейно-механистическое видение последствий перемен на этапе их ожидания породило интеллектуально-политическую реакцию двоякого рода. С одной стороны, это тезис о «конце истории»¹, своего рода «наш паровоз уж прилетел, в глобализме остановка»: западная система конкурентного рынка и политической демократии столь убедительно доказала ее возможности и превосходство, что миру не остается иного разумного выбора, кроме как повсеместно ее принять, после чего мир окончательно станет (энтузиасты этого подхода полагают, что уже стал) «глобальной деревней» — единым во всех смыслах, организованным на единых основах сообществом.

Поскольку картина глобального постиндустриального кибуца, как и идея «остановки истории», не всем представлялась достаточно убедительными и во всяком случае близкими к реализации в мире XX века, возникла идея «столкновения цивилизаций»: нового исторического раунда мировых противоборств, в отличие от прошлых не на этноконфессиональной, идеологической или межгосударственной основах,

¹ Fukuyama F. The End of History and the Last Man. N.Y., 1993.

но на почве различий в культуре основных современных цивилизаций¹. Концепция конфликта цивилизаций допускает, как минимум, три ее толкования:

— как некий объективный и весьма долговременный процесс непосредственной взаимной «притирки» цивилизаций, от которого нет возможности, некуда и незачем уходить в условиях глобализации (собственно, духовный смысл глобализации и состоит в формировании социокультурной совместимости цивилизаций на всех уровнях от бытового до этноконфессионального и/или идеологического);

— как столь же объективное прямое, на макросоциальном и историческом уровнях противостояние науко-информо-технического «модернизма» (олицетворением и воплощением которого является Запад) со всеми прочими цивилизациями, не давшими и, по-видимому, не способными дать такой тип социально-экономического развития;

— как осознанное и преднамеренное манипулирование фактом и содержанием межцивилизационных различий, де-факто поощрение, даже стимулирование их конфликта в интересах укрепления позиций Запада и его типа цивилизации в историческом противостоянии разных типов развития социальных культур и экологий (при этом факт подобного манипулирования удобно маскировать объективностью процесса).

Комплекс (не просто совокупность, но именно комплекс) причин и соображений, однако, мешает согласиться не столько даже с этими моделями как таковыми², сколько с самой идеей деидеологизации международных отношений. Победа одной из сторон означает не уход идеологии как явления из международных отношений, но лишь то, что отныне в этих отношениях будет доминировать или господствовать идеология победителя. Именно так всегда происходило в истории, и нет оснований полагать, что на этот раз динамика явления окажется в принципиальной, мироразвивающей ее части иной.

Вызывает сомнения, однако, и сам факт победы. Конечно, СССР как коммунистического эксперимента больше нет. О том, что именно возникло на постсоветском пространстве, можно спорить долго; ясно лишь, что пока это не общество и экономика западного типа — ни в России, ни тем более в других постсоветских государствах, включая Прибалтику. Оставляя эту дискуссию времени, которое одно только здесь беспристрастный судья, недопустимо ни с политической, ни с научной точек зрения игнорировать факт, что каждый пятый землянин живет в «коммунистическом» Китае. Как, чем и когда опыт китайской модернизации социализма завершится, тоже покажет лишь время; но пока коммунизм как эксперимент на Планете продолжается. Кстати, в цивилизационном смысле Западу, особенно

¹ Huntington S. The Clash of Civilizations and the Restructuring of World Order. N.Y., 1996.

² См.: Косолапов Н.А. Межцивилизационные войны: мифы и реальность // Дипломатический ежегодник — 1997. М., 1997.

США, было бы значительно легче пережить победу коммунизма (если таковая произойдет) в КНР, чем в бывшем СССР: за зримо отличающейся цивилизацией, культурой психологически проще признать право на иные принципы организации общественной жизни, чем за обществом, имеющем те же или близкие к ним расовые и этноконфессиональные признаки, что и признающий.

Напомним, что ни в бывшем СССР, ни в нынешнем Китае никогда не пытались выдать фактически построенное общество за коммунизм. Напротив, постоянно подчеркивалось, что общество живет еще при социализме (момент, крайне существенный для рассматриваемой темы; мы еще вернемся к нему в ином контексте), который есть лишь самое раннее, первое приближение к коммунизму. Со стороны США в данном вопросе налицо явное и бесспорное пропагандистское и, что гораздо важнее, сущностное передергивание фактов, что свидетельствует о неуверенности в полноте победы, о стремлении выдать желаемое за действительное. Либерализм торжествует натужно и преждевременно.

Дело в том, что идейно-политическая и практическая эволюция Запада на протяжении XX века, в том числе под влиянием модели и опыта СССР, по-разному воспринимавшихся и оценивавшихся в разные периоды, складывалась в русле идеологии социал-реформизма, в том числе в США. Проводниками ее были как социал-демократы, так и иные политические силы и партии умеренной, центристской части политического спектра. Политика социал-реформизма, не капитализм как таковой, сформировала в конечном счете тот специфический класс — средний, — что придает современному западному обществу самые социально привлекательные его черты. До недавнего времени социал-реформизм рождался в непосредственной политической борьбе с теми или иными национальными вариантами либерализма, но неизменно на фоне коммунизма, что позволяло формулировать проблему как «лучше реформизм, чем революция». Теперь этот фон снят, и либерализм уже перешел в долговременное наступление не только на интересы низших уровней социальной пирамиды (притом и в развитых странах Запада, и в отношениях между ними и развивающимися государствами), но на саму идею социал-реформаторства. Фактически этим создаются первые — но важные — идеологические предпосылки разворота западного мира к политической и социально-экономической реакции. Будут ли эти предпосылки реализованы и в какой мере, покажет время¹.

Подобная перспектива по-новому ставит и проблему «отношений» между представительской демократией и диктатурой от имени народа, а по сути диктатурой охлократии. Фактически то и другое рождено многомиллионной численностью современного общества: демократия в этих условиях может быть только представительской, а

¹ Wallerstein I. Geopolitics and Geoculture. Essays on the Changing World-System. Cambridge; N.Y., 1991.

механизмы ее таковы, что способны приводить к власти охлократию, которая затем без особых затруднений трансформирует демократию в диктатуру. Противостояние либерализма социал-реформизму объективно облегчает приход к власти режима охлократии. А распространение электронных технологий и баз данных столь же объективно открывает возможности для нового тоталитаризма, не знающего равных по масштабам и мощи контроля над личностью. Пока охлократические режимы там, где они возникали и/или существуют, редко испытывали трудности со своим переизбранием (даже без подтасовок и силового давления), если не сталкивались с активным противодействием влиятельных внешних сил. С началом третьего тысячелетия впервые возникает реальный риск появления подлинного и беспрецедентного тоталитаризма, имеющего возможность прийти к власти в итоге свободного демократического волеизъявления народа и править от имени последнего. Вряд ли эта перспектива, если она материализуется, окажется идеологически без последствий для международных отношений (других последствий мы не касаемся). Противостояние демократии тоталитаризму по сути только начинается; но демократия, похоже, этого еще не осознала.

Спор между рынком и планом давно лишился идеологических сути и значения. Современная экономическая мысль и все центристские и умеренные политические силы и партии считают нерегулируемый рынок не просто невозможным, но угрозой для развитого общества. Вопрос лишь в мере регулирования, выборе его форм и методов, содержании его целей. С другой стороны, идея централизованного планирования не то чтобы плоха (целевые долговременные программы доказали их практическую полезность даже в США); она нереализуема по причине отсутствия теории такого рода деятельности. Современность требует не выбора между рынком и планом (нужно то и другое), но прорыва в мышлении и практике за пределы экономического детерминизма, к принципиально новой парадигме наук об обществе и человеке, к иным принципам формирования практики (например, экологическим). И тут идеологически ортодоксальный либерализм вступает в противоречие даже с традиционной практикой таких международных институций, как МВФ. Иными словами, новая идеологизация проблемы «стихийный рынок или направляемое развитие» могла бы угрожать дестабилизацией мировой экономики (разумеется, не за день). А основа для подобной идеологизации есть в виде закрепленной в международных договорах и в деятельности ООН концепции (а по существу новой идеологии) «устойчивого развития», реализация которой требует наращивания мер по регулированию хозяйственной и иной деятельности в каждой из стран и в региональных и глобальных масштабах.

Распад СССР позволяет ретроспективно по-новому посмотреть на былое идеологическое противостояние «Восток-Запад». Прежде всего, «Восток» в этой дихотомии родился на Западе. Идею социализма и коммунистическое учение придумали не в СССР. Они сложились

под влиянием духовной и практической эволюции капитализма — явления в то время сугубо европейского или, шире, еврохристианского. Это прежде всего спор Запада с самим собой — будь социализм явлением чисто российским (или китайским), Запад бы его просто не заметил. Не лишен научного и политического интереса тот факт, что хотя КНР остается, по западной терминологии, «коммунистической страной», о каком-либо идеологическом противоборстве с ней на Западе говорить не принято (хотя противоборство де-факто имеет место).

У идеологического противостояния «Восток-Запад» есть и более широкий исторический и социокультурный контекст. Вопреки широко распространенному убеждению, подразделение на «Запад» и «Восток» относилось не ко всему миру (географически Япония непричислима к Западу, а СССР и Россия не имеют ничего общего с тем культурно-географическим Востоком, под которым обычно понимают, вместе или порознь, мусульманский мир, Индию, страны ЮВА, Китай, Японию), но к еврохристианской его части. Сложилось оно не с появлением СССР и даже не с началом «холодной войны» и ядерной конфронтации, но на пару тысячелетий раньше.

Со времен античности в социальной жизни грядущей Европы возникло и закрепилось рационалистическое сознание, в рамках которого получила развитие дихотомия «личность или общество», так или иначе воспроизводившаяся на всех этапах эволюции европейской мысли. Приоритет первому или второму началу в теории и практике в каждом случае влек комплекс органичных, неизбежных выводов и последствий для мировосприятия и мирообъяснения, культуры, этики, способов хозяйствования и управления, для политики, религии, всех сфер и сторон жизни будущей западной цивилизации. В новое и новейшее время спор этот достиг апогея в столкновении либерализма и коммунизма, христианства и атеизма как идеологий, в исторически новом расколе еврохристианской цивилизации на «Восток» и «Запад» (первый такой раскол дало в свое время разделение христианства, еще до его появления в Руси, на западную и восточную ветви).

Вышел или выходит ли сейчас Запад из этого состояния идейной раздвоенности, утверждать трудно. Скорее всего, рационалистическое сознание, основанное в познающей его части на дихотомичности как одном из краеугольных принципов построения сознания в целом, быть не раздвоенным не может. Иной вопрос, политические проявления и следствия подобной раздвоенности: здесь явно произошло некоторое смягчение нравов. Это выражается свершившимся принятием практики государственного регулирования, социальных программ на Западе и относительно недавним, но также свершившимся признанием частной собственности и рыночных методов коммунистами. Конвергенция в хозяйствовании есть факт и далеко зашедший процесс: «социально ориентированная рыночная экономика» — общепризнанная концепция на всех континентах земного шара, а экономика как таковая диктует единые законы, «технологии», зависящие

от уровня развития страны, а не от идеологических пристрастий. Распространение образования и наук толкают к признанию, что во всех практических случаях противопоставление «или..., или...» рациональнее заменять на компромиссно-диалектическое «и..., и...». Три ветви христианства (западные католическая и протестантская, восточная православная) не примирились окончательно, но и не враждуют с былыми страстью и ожесточением, не настраивают друг против друга паству, идут на диалог. Атеизм более не воинствует, даже коммунисты допускают в свои ряды верующих; социально-экономические идеи папских энциклик малоотличимы от позиций социал-демократии. Глубокие расхождения между названными идеологическими системами остаются; но они уже не раскалывают Европу и весь еврохристианский мир на непримиримо враждующие группировки¹.

В любом случае, однако, проблема идеологических различий, а следовательно, возможности противостояний на этой почве, не снята. Сохраняется, как отмечено выше, хотя и принимает иное содержание, внутренняя идейно-политическая раздвоенность Запада (интересны в этом смысле бурные протесты против глобализации, происходящие на фоне социально-экономической стабильности и благополучия наиболее развитой части мира). Но главная, центральная из всех происшедших в мире идеологических перемен в том, что исторически сложившееся жесткое идейно-политическое размежевание внутри еврохристианской цивилизации внешне утрачивает международно-политическую остроту и актуальность, освобождая духовное и политическое пространство все более зримому объективному противостоянию западной части этой цивилизации и остального мира.

Это противостояние редко принимает пока (но эпизодически все же принимает) четкие, политически выраженные формы. «Смазано» пока и его идеологическое выражение, прежде всего в силу религиозного, в целом — духовного, разнообразия современного мира. Наконец, Запад выдвиганием требований прав человека и политической корректности многое и успешно делает для предотвращения перехода объективных конфликтов интересов в идеологические противостояния и войны. Но, признавая разумность и пока эффективность этих подходов, нельзя не видеть того, что различия между западной и остальными частями современного мира имеют не только и не столько социокультурный и идеологический (что само по себе важно), как социоэкономический и расово-этнический характер.

Мы в данном случае не прогнозируем неизбежность какой-либо «идеологической войны» между Западом и остальным миром (в таком, прямолинейном смысле она теоретически допустима, но практически вообще вряд ли возможна). И тем более не живем в сладост-

¹ В российской печати неоднократно упоминались в 2000 г. итоги социо-логического исследования, показавшего, что практические жизненные установки наиболее активной части русского (именно русского, а не российского) населения по их содержанию ближе всего к этике и психологии протестантизма.

растном ожидании неприятностей и проблем для Запада. Мы просто пытаемся показать, что исключать идеологический фактор из международных отношений явно преждевременно, в том числе и по этой причине. Но только объективным разделом человечества на «золотой миллиард» по преимуществу белых людей и пять миллиардов в разной мере не очень благополучных или очень неблагополучных прочих жителей Планеты проблема роли будущих идеологических факторов не завершается.

Цивилизации (если гипотетически допускать их столкновение по С.Хантингтону или по иному сценарию) различаются не только расой, этносом, экзотикой и экономическими потенциалами, но и спецификой мировосприятия, миропонимания; конфессиями, всем духовным миром. А это различия в решающей степени суть идеологические. В прошлом религиозные войны являлись значимой, в отдельные периоды главной, составной частью международных отношений. Не исчезли они как явление и в XX столетии, сохраняясь в традиционном их виде и в новых формах вроде идеологической борьбы, психологической войны (сочетание того и другого было характерно для «холодной войны»). «Столкновение цивилизаций» (если мыслить в рамках этой концепции) было бы прежде всего очередным историческим раундом религиозных и идеологических войн, признаки чего уже наблюдаются.

К рубежу XXI века роль религиозного фактора в международных отношениях, мировой политике зримо и опасно возрастает. Как ни относиться к движению «Талибан», к явлениям и понятиям исламского фундаментализма, исламского же экстремизма, ваххабизма, сами эти названия указывают прежде всего на религиозную природу этих и подобных им явлений, а во многом и их международно-политических последствий. Когда заходит речь о славянско-православном братстве русских и сербов, «защите» мусульман в Косово, борьбе за создание независимого мусульманского государства в Чечне и т.п., тем самым вольно или невольно, осознанно или нет, но снова возвращаются в мировую политику (а они когда-нибудь уходили отсюда полностью?), укрепляются, множатся предпосылки новых религиозных конфликтов и войн. Примеры можно продолжить, не в них суть. Однако правомерно ли относить религии к числу идеологий? Ответ на этот теоретически и политически значимый вопрос зависит от определения последних.

* * *

Родоначальник понятия «идеология» известен. Антуан Дестю де Трейси ввел этот термин в 1801 г., имея в виду «учение об идеях». В центре его «Элементов идеологии»¹ стоял вопрос, почему те или иные комплексы идей (притом нередко по их содержанию ложных)

¹ *Tracy A.L.C.D., de. Elements d'Ideologie. Vols. 1-4. Brussels, 1801-1815; 2nd ed., 1826.*

оказывают формирующее воздействие на общество, тогда как многие соседствующие с ними идеи, сами по себе верные, зачастую такого общественного резонанса и влияния не имеют. Время доказало, что А.Д. де Трейси безошибочно идентифицировал центральную проблему теории идеологии: в чем причины интеллектуально-психологической притягательности для современников одних идей, равнодушия к иным, отторжения третьих? Притом совершенно очевидно, что правильность идей, их соответствие критериям научной и просто обыденной логики, имеет — если вообще имеет — десятистепенное значение. В любой идеологии без труда обнаруживается масса идей противоречивых, не подкрепленных опытом, познанием, вразумительными аргументами; идей, не выдерживающих примитивнейшей критической проверки. Тем не менее они не только присутствуют в любой, подчеркнем это, из идеологий, но и до поры (часто на протяжении веков) не мешают видимым образом функционированию последней. Идеи же, признанные наукой, иными секторами общественного сознания своего времени (случай непризнанных гениев мы здесь не рассматриваем), так и остаются невостребованными идеологически (что не всегда мешает их востребованности в других сферах: в науке, общественном мнении, литературе, культуре и т.д.).

Европейская научно-политическая мысль начала XIX столетия не смогла оценить всю, без преувеличения, гениальность постановки проблемы идеологии. «Учение об идеях» было воспринято как теория причин их ложности; понятие «идеология» обрело значение «ложного сознания», «ложного учения». Ни одна из идеологий не является, однако, стопроцентно ложной: будь так, проблема природы идеологии сразу бы резко упростилась и переформулировалась в иную — причин и механизмов массовых и долговременных заблуждений и иллюзий. К тому же, будь идеологии абсолютно ложными, они бы вероятнее всего быстро исчезли как явление: ведь их практическая и политическая ценность измерялась бы отрицательными величинами. Желаемый итог без посредства идеологии достигался бы увереннее, скорее, проще и дешевле, чем с идеологией. Между тем число известных идеологий возрастает в геометрической прогрессии. Значит, вопреки ложности ряда своих положений (а возможно, именно благодаря ей) идеологии способны выполнять какие-то важные социальные, духовные функции.

Почему же некий «коктейль» истинных и ложных представлений составляет именно так, как он составляет? И почему странная эта смесь оказывается способна десятилетиями и веками выполнять в обществе особые, ничем иным не замещаемые функции; вербовать себе сторонников, нередко готовых идти за свои убеждения на лишения, муки, даже страшную смерть; тогда как ни заведомо ложные, ни для своего времени обоснованные представления в «чистом» виде с теми же функциями не справляются и отдаленно? Убедительных ответов на эти вопросы нет до сих пор; между тем от них зависит понимание природы и сущности идеологии как явления.

Марксизм¹, вызвавший к жизни одну из влиятельнейших в XX веке идеологию, поначалу тоже рассматривал идеологию как ложное сознание, усматривая причину первенства ложных идей по сравнению с истинными в связи идеологии с социальными интересами. Сама по себе эта связь несомненна, особенно у идеологий политических, непосредственно направленных на обоснование и защиту определенных классовых, групповых и прочих социальных интересов. Возникает, однако, логический и практический парадокс: долгое и эффективное служение интересам (любым) предполагает отдачу и требует знаний, опыта, реализма. Иными словами, чем ближе к истине те или иные служащие интересам идеи, тем надежнее обеспечено удовлетворение этих интересов. И, разумеется, наоборот. То есть обслуживаемые интересы должны выступать по отношению к защищающей их идеологии в роли мощного реалистического фильтра, оставляющего в идеологии лишь то, что действительно способно эти интересы обеспечивать. На практике часто наблюдается прямо противоположное: идеология так или иначе подчиняет себе социальные интересы, втискивает их в прокрустово ложе собственных догм, до последнего сопротивляется признанию неудобных для нее фактов и реалий. «Блестящий» пример торжества идеологии над интересами тех, кому она призвана служить (будь то народу или только узкому высшему слою партноменклатуры), дал, как известно, заплативший за это распадом бывший СССР. Нет, служение интересам не главный признак идеологии (но одна из ее важных социальных функций); и это служение ничего не объясняет в природе идеологии как явления.

Вскоре после К.Маркса другой выдающийся немец — М.Вебер² — использовал концепцию идеологии в исследовании того, как влияет религия на становление индивидуализма в общественной психологии, а с ним и капитализма в общественных отношениях. Идеология уже не отождествлялась им только с ложным сознанием; появился «мостик» между идеологией и религией; были высвечены созидательные функции идеологии по отношению к личности и обществу; выявилось, что эти созидательные функции объективно выполняются даже тогда, когда по ее содержанию идеологию можно признать ложной.

Следующий значительный вклад в изучение явления идеологии связывают с именем К.Манхейма³, увидевшего в идеологии метод социального познания. Он фактически первым стал рассматривать идеологию как гигантскую социальную макрогипотезу, стихийно выдвигаемую самим обществом и проходящую проверку не в научных

¹ Маркс К. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3; Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Там же. Т. 21; Ленин В.И. Что делать? // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 6; Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Там же. Т. 18.

² Weber M. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. L., 1930; N.Y., 1958.

³ Mannheim K. Ideology and Utopia. L., 1949.

лабораториях, но в процессе жизни и эволюции самого общества. С таким подходом трудно не согласиться. Тем не менее возникает вопрос, чем идеология в этом ее качестве отличается от множества как более частных, так и более всеобъемлющих гипотез, постоянно возникающих в общественном сознании и так или иначе испытываемых практикой. Познавательная функция идеологии несомненна; но и она производит впечатление не одной из основных характеристик явления идеологии, но, скорее, неизбежно сопутствующего идеологии и ее функционированию побочного результата (как и служение интересам).

В период идеологического противоборства научное исследование идеологии как явления сталкивалось с политическими трудностями, однако не прекратилось ни на Западе, ни на Востоке. Пришедшая на 1960-е гг. вспышка исследований «конца идеологий»¹ была во многом (ретроспективно это особенно заметно) очевидным бунтом рационалистического сознания эпохи начинавшейся НТР против того, что представлялось тогда иррационализмом идеологий, рожденных еще в XIX веке или даже ранее, и борьбы этих идеологий между собой, грозившей ввергнуть мир в ядерную войну. По сути бунт этот стал объективно развенчанием мифа о ложности идеологий. Если таковые действительно ложны, то в мире НТР неизбежен их скорый крах, что и прогнозировали сторонники идеи «конца идеологии». Если явление идеологии обнаружит устойчивость, то проблема соотношения в нем истинного и ложного имеет далеко не первостепенное значение и должна быть отставлена в сторону.

Последняя треть XX века стала, без преувеличений, периодом расцвета идеологии как явления современного мирового развития. На эти десятилетия пришелся огромный подъем различных вариантов национализма, сепаратизма, фундаментализма. В коммунистическом движении разразился открытый идеологический конфликт между КПСС и КПК, значимый тем, что обе партии молились одному богу, стояли во многом на одинаковых позициях: если единомышленники сойдутся, то один из них (неважно кто) заведомо неправ. В компартиях Запада возникали свои ереси, главной среди которых стал еврокоммунизм. Идеологизация не обошла стороной и буржуазные партии: на 1970-е и особенно 1980-е гг. приходится становление неоконсерватизма, пришедшего в итоге к власти во всех ведущих государствах Запада. Наконец, уже на рубеже 1990-х гг. распад бывших социалистических стран и СССР повсеместно интерпретируются прежде всего идеологически: как «крах коммунизма» и кризис социалистической идеи. Одновременно резко активизируются духовно и политически религии, прежде всего католицизм, евангелисты и мусульманство. Тезис об идеологии как ложном сознании оказался снят, ему на смену пришла новая волна серьезного научного интереса к явлению идеологии.

¹ Bell D. The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties. N.Y., 1960; и как ответ марксистов: Wiatr J.J. Czy zmierzch ery ideologii? Warszawa, 1966.

Итоги многолетней дискуссии в научной литературе по проблеме идеологии¹ можно, не вдаваясь в полемику, просуммировать в их позитивной части следующим образом:

— идеология в целом признается объективным явлением, а не следствием и/или проявлением исторически преходящих заблуждений, злой воли, попыток намеренного манипулирования и т.п. (хотя в литературе можно встретить все перечисленные оценки);

— идеология есть не просто система взглядов (любая наука и многое иное суть системы взглядов) и не только способ обеспечения социальных интересов (эта задача может эффективнее решаться иными неидеологическими путями и средствами). Идеология — это система взглядов, которая позволяет человеку и обществу ориентироваться в окружающем их физическом и социальном пространствах, притом во всем диапазоне доступного им времени: от прошлого до будущего, от хронологического до исторического;

— идеология есть синтез накопленных к определенному рубежу знаний: практических и научных, универсальных и узкоприкладных, общечеловеческих по сфере их приложения и специфичных для данного этноса, социума, общества. Ничто иное, кроме сознания личности, не обеспечивает подобного синтеза знаний;

— однако идеология есть не просто синтез знаний, но такое их сочетание и взаимодополнение, которое направлено на решение вставших в определенный исторический период задач организации, жизни и деятельности. Причем, что очень важно, даже задач, с точки зрения современного рационалистического сознания не очень прагматических, даже иллюзорных и иррациональных;

— отличительная черта идеологии, к которой мы еще вернемся ниже: при выполнении всех перечисленных функций она обращается (в отличие от политических программ, платформ, разного рода планов) к макроуровню социальных явлений и процессов, концентрируясь при этом на самых долговременных и сверхдолговременных (до вечных) их аспектах и проявлениях. В этом смысле идеология действует на самом верхнем для своего времени горизонте представлений, знаний и социального опыта человека, равно как и на верхнем пределе масштабов и содержания стоящих перед ним задач;

¹ Отечественную дискуссию см.: Биккенин Н.Б. Социалистическая идеология. М., 1978; Философские проблемы идеологической борьбы. М., 1978; Яковлев М.В. Идеология. М., 1979. См. также: Май А.В. Модели господствующей идеологии. М., 1997; Согрин В.В. Идеология в американской истории. М., 1995. Из англоязычных работ: Drucker H.M. The Political Uses of Ideology. L., 1975; Feuer L. Ideology and the Ideologists. L., 1975; Lodge G.C. The New American Ideology. N.Y., 1975; Lodge G.C. The American Disease. N.Y., 1984; Lodge G.C., Vogel E. (eds.) Ideology and National Competitiveness: An Analysis of Nine Countries. Boston, 1987; Manning D.J. (ed.) The Form of Ideology. L., 1980; Thompson J.B. Studies in the Theory of Ideology. Berkeley; L.A., 1984.

— организуя определенным образом духовную сферу личности и общества во всех наиболее значимых (или даже просто во всех) ее компонентах, сплавляя воедино знания и опыт, вопросы и ответы, проблемы и решения, императивы этики и выживания и многое иное, идеология тем самым создает по отношению к личности и обществу мощную систему социальной мотивации и самоконтроля, заменить которую не в состоянии никакие общественные институты ни врозь, ни совместно (будь то право, полиция, фискальные органы и т.п.);

— в силу перечисленного идеология объективно выполняет крайне важную функцию высшей, психологической легитимации всего, с чем она имеет дело и что «одобряет» в содержательном плане: представлений о мире и месте человека в нем, общественных уклада и устройства, социальных отношений, определенных нравственности и морали, типов поведения и образа жизни и пр.;

— коль скоро идеология освящает некие реалии и идеальные модели как высшие, наилучшие или даже единственно допустимые, она тем самым выступает как долговременный источник волевых импульсов к определенной общественной организации, ее поддержанию, развитию и экспансии, а также к определенным типам личного и социального поведения в рамках этой организации. Человек и общество живут определенным образом потому, что считают это во всех отношениях правильным, справедливым, нравственным, а не потому, что их принуждает к такому образу жизни сила неизбежности, необходимости или власти. Иначе неизбежен конфликт не только между обществом и властью (как непосредственной силой принуждения), но и внутри самого общества, разлад в его духовной сфере с самыми тяжелыми последствиями для его жизне- и конкурентоспособности в мире. Вот почему жизнь без идеологии может сопровождаться благосостоянием, но обычно не дает ни взлетов духа (в культуре, науке, политике), ни веса и авторитета стране на международной арене.

Принципиально значимы те психологические механизмы личности и социума, что вызывают к жизни явление идеологии и поддерживают функционирование конкретных идеологий. В отличие от биологической психики, повинующейся инстинктам (то есть генетически заложенным программам-автоматам), всякое сознание (даже патологическое) суть способность индивида и группы вырабатывать собственные программы поведения сообразно окружающим обстоятельствам. Такая программа есть развернутый во времени и пространстве план определенной последовательности действий. Его составление и выполнение, в чем бы данный план ни заключался, требуют от субъекта способности и умения различать прошлое и будущее, «видеть время». Способность эта и образует центральное и принципиальнейшее различие между психикой человека и животных.

Но у способности жить не только в физическом пространстве, но и во времени (а оба эти умения вместе дают возможность создать пространство социальное, в том числе международное) есть особое психологическое следствие. Суть его в том, что сознание способно

трансформироваться в поведение только при условии, что все части, содержательные компоненты и функциональные компоненты сознания на момент начала действия согласованы между собой и взаимно не противоречивы. Иными словами, человек, группа, общество способны и будут действовать осмысленно, целеустремленно лишь при условии убежденности в собственной правоте. Если такой убежденности нет, то деятельность не начнется или активность будет спонтанной, бессистемной и бесцельной. Принуждение же к деятельности вопреки внутренней убежденности субъекта (особенно долгое и сильное) будет всегда иметь самые тяжелые психические последствия: от неврозов и психических расстройств до слома личности, разрушения психических основ социальности (впрочем, это уже тема особая).

Убежденность в своей правоте достигается сочетанием ответов на возникшие вопросы (в той мере, в какой такие ответы возможны), действием механизмов психологической компенсации и эффектом так называемого ложного сознания. Уникальные роль и функция идеологии как явления заключаются в том, что она обеспечивает способность индивида и общества к долговременной целесообразной деятельности в условиях лавинообразного нарастания вопросов (и значимости этих вопросов), рациональные ответы на которые заведомо не могут быть получены в разумные, совместимые со сроками выполнения возникающих задач и с продолжительностью человеческой жизни, пределы времени. И это не дефект идеологии и не ее претензия на особую миссию, но главная ее функция, прямо и непосредственно обусловленная природой нашего индивидуального и общественного сознания.

Именно поэтому жизнь, общественные отношения без идеологии — иллюзия. Горизонты знаний, социально-исторического опыта людей и масштабы возникающих перед человеком задач непрерывно растут, расширяются, порождая все новые и новые вопросы, способом ответа на которые в реальном, повседневном времени может быть только «Верую!» (не обязательно в Бога, но в ту или иную идею, концепцию или программу, подход и т.п.). Идеологии в наше время создаются уже под долговременные научно-технические проекты, коммерческие начинания, социально-экономические программы. Происходит мощная и всесторонняя идеологизация всех аспектов современной жизни, как внутринациональных, так и международных. По-видимому, настала пора и в международной жизни переходить от религиозных войн прошлого и идеологической борьбы новейшего времени — явлений и процессов предельно опасных, разрушительных — к осознанному использованию идеологического фактора и возможностей идеологического творчества в интересах стабильности, безопасности и развития.

* * *

Идеологии эволюционируют исторически. Если в далеком прошлом темпы их эволюции были, пожалуй, самыми медленными по сравнению с любой иной сферой человеческой деятельности (многие религии дошли до нас почти неизменными, «сменив» за это время не

один этнос, культуру), то в XX веке значимая эволюция идеологии происходила на глазах одного поколения. Различия между конкретными идеологиями определяются тем, в каком соотношении находятся в их содержании три его компонента — знания, опыт и духовные продукты механизмов психической компенсации; к каким именно знаниям, опыту обращается данная идеология (к знаниям научным или практическим; опыту, подтвержденному деятельностью, или же опыту иллюзий, медитаций и т.п.); и на решение каких задач (практических, операционально формулируемых или иллюзорных, выражаемых ценностными суждениями) направлена данная идеология. Естественно, «выбор» определяется не желанием идеологии и идеологов, но объективными историческими условиями жизни и деятельности людей.

Все ныне действующие мировые религии формировались в период, когда науки еще практически не существовали, социальный опыт был предельно ограничен по масштабам и содержанию, а круг задач не выходил за пределы выживания в жесточайших условиях и поддержания с этой целью традиционных, стихийно сложившихся общественных отношений, форм социальной организации, образов жизни (не-мировые религии сложились еще раньше). Мировые религии как идеологии¹ обеспечили прорыв человека из дикости к цивилизации. Сохраняя во многом свое значение и сегодня, они, однако, все чаще оказываются неспособны дать с позиций своего содержательного багажа ответы на все более сложные вызовы современности.

Закономерно, что длившееся тысячи лет накопление знаний, их постепенно нарастающая сайентизация, аккумуляция зафиксированного в материальных достижениях культуры социального опыта, его оценка и осмысление с позиций науки привели к попыткам создания научных идеологий (такowymi на сегодня можно считать марксизм, социал-реформизм и идеологию устойчивого развития). Закономерно и то, что первые попытки должны были завершиться многими неудачами: они предпринимались на базе еще крайне недостаточных научных знаний, но под сильным влиянием «самонадеянности полужайства»; идеологии нового поколения попали на почву традиционных, до-научных психики и сознания, политических институций и культур. Любая идеология, кроме того, является социально-исторической макрогипотезой. Если, однако, по отношению к религии этот факт обычно не осознается, то идеологии, заявившей о своей научности, справедливо предъявляется самый жесткий счет. Но идеология в силу ее природы не может (по крайней мере, исторически пока не могла) жить по законам науки — накопление эмпирики-гипотеза-верификация-теория — она иной жанр.

¹ О проблеме «религия как идеология» см.: *Энгельс Ф.* Бруно Бауэр и первоначальное христианство // *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 19; *Данэм Б.* Герои и еретики. Политическая история западноевропейской мысли. М., 1967; *Levi-Strauss S.* Structural Anthropology. N.Y., 1963; *Weber M.* The Sociology of Religion. Boston, 1963.

Кажется несомненным, однако, что тенденция сайентизации как конкретных идеологий, так и идеологии как явления будет нарастать (в историческом масштабе времени), но процесс этот пойдет и уже происходит не поступательно, а, скорее, циклически. Периоды мощного зримого наступления науки, рационализма (продиктованные успехами самой науки, ее взрывообразным вкладом в культуру определенного периода и/или полученными с ее помощью практическими итогами) не могут не сменяться фазами откатов¹, причинами которых могут становиться периодические разочарования в науке, а также явления и процессы социального, общественно-психологического характера.

Исторически первым мощным наступлением науки на религиозные идеологии стал атеизм как следствие уверенного становления наук естественных (до их достижений было еще далеко). Ожесточенное и жестокое сопротивление церкви и религии сделали тот ранний атеизм воинствующим (каковым атеизм может и не быть). Пришедшие на конец XX века поражение еврохристианской модели коммунизма в СССР и одновременное разочарование многих в науке (давшей миру ядерное оружие, разрушающие экологию технологии, опасные генетические эксперименты и не решившей пока многих острых проблем) по-своему закономерно ведут к исторически, видимо, достаточно длительному откату атеизма, реставрации духовных и политических позиций и влияния религиозных идеологий. Относительное укрепление одной религии (неважно, какой) стимулирует меры противодействия этому процессу со стороны других; и в итоге значимость религиозного фактора во внутренней жизни многоконфессиональных государств и в международных отношениях возрастает.

Правоммерно утверждать, что поражение советского эксперимента и вызванный им кризис социалистической идеи стимулировали в мире мощнейшую вспышку идеологической и политической реакции, которая не может не иметь долговременных международных последствий. Эта ситуация усугубляется отсутствием в современном мире какой-либо зримой левой альтернативы господствующим ныне доатеистическим идеологическим и политико-идеологическим течениям. Не левацкой (ибо экстремизм не альтернатива, но один из способов психической компенсации, то есть бегства от действительности), но именно левой, принципиальные отличия которой от иных — озабоченность судьбой большинства, никогда не благоденствующего; взгляд далеко вперед, а не под ноги или назад; поиск новых подходов и решений новых, недавно вставших или только прогнозируемых задач.

¹ Идеи цикличности всякого развития (с периодами от 12 до 150 лет) в экономике, мировом развитии, международных отношениях давно дискутируются в науке. См.: *Goldstein J.S. Long Cycles: Prosperity and War in the Modern Age. New Haven; L., 1988; Kumar K. From Post-Industrial to Post-Modern Society. New Theories of the Contemporary World. Oxford (UK); Cambridge (Mass.), 1995; Modelski G. Long Cycles in World Politics. Seattle, 1986.* Из отечественных работ см. труды Н.Д.Кондратьева, академиков Н.Н.Моисеева и Ю.В.Яковца.

Пока процесс стихийен, он опасен, открыт для манипулирования. Стихийное нарастание этноконфессиональных конфликтов возвращает мир в духовную и политическую атмосферу религиозных войн прошлого — опасность чего в полной мере сознают сами мировые конфессии. В прямом, механическом смысле такое возвращение вряд ли возможно. Идейные противоречия между религией и научным мировоззрением не решаются в русле борьбы (тем паче вооруженной) теизма с атеизмом; ни первый (в умеренном его крыле, в отличие от фундаментализмов и экстремизмов разного рода), ни второй к этому и не призывают. Скорее всего, дихотомия «теизм-атеизм» найдет в будущем решение на пути уже давно идущей объективной сциентизации не только опыта и знаний, но всего образа мышления и жизни современного человека, парадоксально сочетающейся с воскрешением элементов язычества. Но рост знаний будет неизбежно увеличивать объективную потребность в гипотезах, которые компенсировали бы «белые пятна» в знании, а также разрывы между наличным знанием и потребностями в нем. Место для веры возрастет многократно; но это будет вероятнее всего вера не в сверхъестественное, но в прогноз, предвидение, предвосхищение — равно как в астрологию, другие научно отбираемые приметы.

В сфере политических идеологий вероятен двуединый процесс. С одной стороны, сложившаяся на исходе XX века, впервые в истории, внутренняя целостность формационных, материально-практических и цивилизационных основы миропорядка, который будет доминировать в международных отношениях большей части первой трети XXI столетия, в значительной мере снимает идеологические водоразделы недавнего прошлого. Все политические силы и партии современности, от самых выраженных консерваторов до коммунистов — это партии испытанного уже статус-кво, вчерашнего социального порядка. При политических различиях между ними, психологически и идеологически они занимают правую часть духовно-политического спектра. Правые настроения и тенденции преобладают сейчас, с разными градациями, во внутренней жизни большинства государств и в международных отношениях.

С другой стороны, на протяжении XX века население Планеты учетверилось. Встали проблемы, прежде просто не существовавшие: обеспечение международной стабильности через мировое развитие; поддержание экологического равновесия Земли; поиск образа жизни, совместимого с несущей способностью Планеты и с конечностью ее невозобновимых ресурсов; интеграция в глобальную целостность социальных и политических культур, по многим их параметрам сильно отличающихся от постиндустриального модернизма. Все это — такой макроуровень проблем, отношений и задач, с каким человечество не встречалось еще 30-40 лет назад. Ответы необходимы, их так или иначе даст будущая новая левая альтернатива, возникновение и мощный выход которой в политику и международную жизнь придется, видимо, на первую четверть-треть XXI века. Центральными аспек-

тами ее идеологии станут, видимо, сайентистский, но не атеистический характер; обращение к общечеловеческим проблемам первой половины XXI столетия, а не завершение споров эпохи Просвещения; выдвижение демократической альтернативы нынешнему ходу процессов глобализации, дающих основания говорить о наступлении качественно нового этапа колонизации Планеты капитализмом; интеграция в теоретическую часть идеологии положений, объясняющих формационное и цивилизационное многообразие мира, взаимообусловленность всех реально существующих в нем отношений. Такая идеология не сможет быть национально-страновой: по объективно необходимым для нее теоретическим основам, по масштабу подлежащих решению задач и по уровню ее притязаний она может быть только глобалистской.

Давно замечено: в жизни идеологий есть три этапа. На первом, подхваченная исторически восходящими социальными силами и потоками идеология раскрывает перед обществом неизвестные ранее, на порядок более широкие перспективы, мощно стимулирует духовное и практическое творчество. На втором, утвердившись и обретя для себя и своих сторонников достаточно надежную социоисторическую нишу, идеология постепенно все более озабочивается стабильностью осязаемого ею порядка и собственного места в нем, добровольно или в борьбе уступая в итоге приоритетное место светской власти и ее институтам — исповедующим ту же идеологию, но полагающим, что ныне уже нет нужды и оснований содержать ее жрецов на вершине властной пирамиды и материальных жизненных процессов. Наконец, на третьем — идеология, сознавая и видя, что историческая почва все более уходит из-под нее, стремится всеми силами задержать ход перемен, остановить движение мысли, не допустить появления новой идеологии-преемника, подавить ее потенциальных носителей.

Конечно, эти рассуждения — схема. Но трудно отделаться от впечатления, что все без исключения европейские идеологии, от раннего христианства до позднего коммунизма (еврокоммунизм и/или «социализм с человеческим лицом»), уже давно вступили во второй этап своего жизненного цикла. Начало следующей, третьей фазы, скорее всего, и станет периодом и фактором разрыва международных отношений первой трети XXI века с постсоветским миропорядком.

ГЛАВА 12. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НАЦИЙ И ПОТЕНЦИАЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЛИКТНОСТИ

А.Д.Богатуров

Сдвиги, инициированные в международной структуре «эпохой Горбачева», определили новое соотношение компонентов международной конфликтности. Исчезла глобальная угроза столкновения коммунистической экспансии с западным сообществом. Но одновременно на региональных уровнях усилился рост дезинтеграционных тенденций, угрожающий взрывом колоссальной разрушительной силы. И, пожалуй, никогда ранее деструктивные явления не были так тесно связаны с межнациональными, межэтническими конфликтами.

Трагедия Югославии и события на территории бывшего Советского Союза лишь самые яркие тому примеры. Территориальные претензии Румынии Украине (Северная Буковина, Южная Бессарабия), Венгрии — Румынии (Трансильвания); сепаратизм македонцев и ирредентизм бывших югославских (сербских, косовских) албанцев, мечтающих влиться в Албанию, болгарско-турецкий антагонизм в Болгарии.

Брожение на востоке Европы возбуждает колебания на западе, где достаточно своих болевых точек — фламандский вопрос в Бельгии, проблемы Ольстера и Шотландии для Великобритании, Корсики — для Франции, Страны Басков и Каталонии — для Испании, Южного Тироля и даже Ломбардии — для Италии. Не составляет исключения и Америка. Здесь на переднем плане — англоязычная Канада с неясным будущим франкоязычного Квебека.

В Азии наибольшие опасения внушает ядерный Китай, руководство которого в ходе неизбежных реформ рано или поздно столкнется с комплексом проблем в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Внутренней Монголии и Тибете. Особый случай — Африка, буквально покрытая сетью межэтнических конфликтов — от Эфиопии до ЮАР и от Либерии до Сомали.

Почти все эти конфликты разворачиваются под лозунгом самоопределения наций. Между тем смысл его от чрезмерного употребления расплылся. Для туземцев Восточного Тимора понятие «самоопределение» значит одно, для страны «черного расизма» Нигерии — другое, для алжирских фундаменталистов — третье. Отсутствие общего понимания самоопределения наций — один из самых существенных пробелов в политологии, в том числе российской, хотя для России как многонациональной державы вопрос этот особенно важен. Не претендующая на всесторонний охват, эта глава — попытка осмыслить проблему национального самоопределения в реалиях сегодняшней политики.

I

Попробуем выделить главные черты самоопределения наций как международно-политического процесса. Первой бросается в глаза его архаичность. В самом деле, этот процесс лежит в основе международного общения с самого момента его зарождения, и лишь термин «национальное самоопределение» был изобретен в новое время. На память приходит меланхолическая строка из Екклесиаста: «...и нет ничего нового под солнцем» (Еккл., 1, 9).

Национальное самоопределение — это реализация этносом природного инстинкта к приобретению максимально благоприятного положения по отношению к окружающей среде, главнейшими образующими которой являются другие этносы, их государственные образования, а также природные ресурсы. Современный человек, конечно, чувствует соблазн заменить в этом определении «максимально» на «оптимально», и в этом желании он прав. Но лишь в теории. В действительности любой этнос склонен считать оптимальными именно максимально благоприятные условия. Это — конфликтообразующее обстоятельство, но такова уж природа самоопределения — стремления первобытного, инстинктивного и оттого такого стойкого и малоуправляемого.

Отсюда ясно, что чем дальше этнос отошел от первобытных моделей сознания, чем глубже в него проникло рациональное мышление, тем надежнее оно уравнивает неконтролируемые эмоциональные выплески и тем цивилизованнее может идти процесс. Самоопределение, как видим, во многом сводимо к проблеме уровней социально-экономического развития. Неудивительно, что образ действия сторон в карабахском конфликте разительно отличается, к примеру, от поведения противостоящих партий в Стране Басков, не говоря о Квебеке; а североирландский терроризм при всей своей дикости чуть-чуть сдержаннее шиитского и арабо-палестинского.

Ключевая характеристика самоопределения наций как понятия — его нейтральность, неподверженность оценочным элементам. Самоопределение само по себе — это ни хорошо, ни плохо, это просто данность, с которой надо считаться. Державное иго условных македонцев при Александре Великом, вступивших в борьбу за самоопределение среди балканских племен еще при его отце, дало невиданный толчок прогрессу обществ от Восточного Средиземноморья до Согдианы и Гиндукуша. А нашествие на Русь ордынских татар, тоже, кстати, самоопределившихся от империи Чингисхана, как минимум, круто увело страну в сторону от магистрали общеевропейского пути, куда она потом многожды пыталась вернуться.

Отпадение американских колоний от британской короны стало прологом к возникновению общества, на долгое время ставшего эталоном предприимчивости, а затем и плюралистической политической культуры. А распад империи Габсбургов привел к формированию в юго-восточной Европе не поддающегося саморегулированию узла национально-государственных противостояний, с начала XX века оста-

ющего источника региональной напряженности. Сербо-хорватский конфликт и война начала 90-х годов — лишь одно из многих отдаленных последствий отказа от, так сказать, экспансивного варианта самоопределения австрийцев в пользу ограничительного, национально-государственного.

Внутреннюю противоречивость тоже стоило бы выделить в качестве черты самоопределения. В истории трудно вспомнить хотя бы один пример, когда национальное самоопределение при благоприятных условиях не тяготело бы к избыточному национальному самоутверждению — попросту говоря, к экспансии за счет других государств или народов. Не всегда это удается, но всегда такие поползновения возникают — идет ли речь о сложившейся в XVII веке в Северной Америке примитивной индейской протоимперии ирокезов (блестяще исследованной основоположником мировой антропологии Льюисом Морганом) или о созданной на двести лет раньше мощной среднеазиатской державе Тамерлана.

Самоопределяясь, древние египтяне создали неповторимый очаг культуры, возвысившийся над окружающим морем дикости и первобытного варварства. Но и бедуинские племена Аравии начали с самоопределения, чтобы вскоре сокрушить более высокие эллинистические цивилизации Ближнего Востока. Взаимно самоопределившись в средние века, Британия и Франция дали миру две поразительно богатые ветви европейской учености, а самоопределение буров, потомков носителей другой, и тоже славной культуры, голландской, привело к апартеиду в Южной Африке.

В порыве национального самоутверждения римляне или турки-османы создали в своих империях невиданные по тем временам условия для расцвета в рамках, как бы мы сегодня сказали, единого экономического, политического и культурного пространства. Но тот же механизм национального самоутверждения подвигал покоренные народы к возмущению и готовил гибель или видоизменение этих и других великих монархий — французской в 1815 году, австро-венгерской в 1918 году, британской, плавно трансформировавшейся в Содружество, в 1931 году. В 1991 году под натиском самозабвенно самоопределяющихся республик пала и воздвигнутая на древних костях российской многонациональной державы 74-летняя империя большевиков.

Противоречивы даже сами установки самоопределяющихся народов. Сетую на тяготы пребывания в составе Российской и советской империй, в конце 80 — начале 90-х Грузия демонстрировала образцы «имперского поведения» в отношении Абхазии и Южной Осетии. Казанские радикалы, добивавшиеся при Ельцине суверенизации Татарии в составе СНГ, совсем не склонны признавать тех же прав за своими ближайшими соседями (но не столь близкими родственниками), башкирами. Много веков страдавшая от национального угнетения турками, Греция сама всего за несколько десятилетий почти ликвидировала путем ассимиляции македонское меньшинство, оказавшееся в ее пределах после 1913 года. В этот ряд вписывается и политика

молодого литовского государства в отношении поляков бывшей Виленской области, а Латвии и Эстонии — в отношении русских.

Стоит ли удивляться, что и крупные этносы чувствительны к вопросам самоутверждения на территории, которую они считают национальной. Нетрудно представить, как реагировало бы сознание среднего американца, например, на известие о том, что из состава США решила выделиться (да простят мне американцы эту химеру) Флорида, где проживает такое количество кубинцев, что при его дальнейшем росте может возникнуть соблазн заговорить об их национальной автономии.

Сомнительно, чтобы и русское национальное сознание восприняло перспективу дальнейшего дробления страны, теперь уже собственно России, с тем же безразличием, с которым оно в целом отнеслось к отделению Молдовы или Армении. Что же касается Китая, то его возможные реакции на угрозу перерастания национальных тенденций в явно сепаратистские, в силу комплекса политико-идеологических и психологических причин, могут быть, скорее всего, весьма энергичными. Советский вариант мирного «развода» республик с центром в КНР имеет мало шансов на успех.

Наконец, самой обобщающей характеристикой процесса самоопределения является его двухслойный характер. В самом деле, самоопределение нельзя свести только к сепаратизму, потому что в тенденции оно закономерно предполагает образование крупных государств, в том числе многонациональных. В нашей политологии «застенчиво» обходится этот аспект. Возможно, оттого, что ленинизм в сознании еще не преодолен.

Как известно, для В.И.Ленина главным было, во-первых, принципиальное право наций на отделение и создание независимого государства; во-вторых, противодействие «практицизму» в национальном вопросе — то есть попыткам реализовать этот признаваемый большевиками в теории постулат на практике. Для нас не так важны оттенки ленинской мысли, однако существенно, что исходной точкой для В.И.Ленина был распространенный среди либеральной интеллигенции начала XX века психологический комплекс вины великороссов как представителей самой крупной, «угнетающей», по большевистской терминологии, нации, перед «угнетенными» нациями Российской империи. Иначе необъяснимо, почему В.И.Ленин понимает под самоопределением почти исключительно один сепаратизм. Тогда как теоретически термин «самоопределение» мог бы относиться, скажем, и к стремлению русской нации обрести то самое максимально благоприятное положение относительно окружающей среды, с которого мы начали этот раздел.

Комплекс этой вины, конечно, возник не случайно и отражал болезненные переживания лучшей частью российского общества своей принадлежности к народу, именем которого монархия проводила русификацию народов России. Однако после октября 1917 года ситуация изменилась: русский народ сам стал объектом политики искоре-

нения национального духа, характера и быта под лозунгом пролетарского интернационализма. Драматизм же ситуации состоял в том, что, будучи такой же антирусской, как и антигрузинской или антиукраинской по сути, советизация России по форме продолжала выступать как русификация. Соответственно, сохранился комплекс вины, заставляющий многих и сегодня понимать самоопределение наций лишь как эмансипацию нерусских народов от России, а не как возрождение великороссов в своем не только политическом, но и национальном качестве.

Таким образом, процесс самоопределения наций предстает как сочетание двух тенденций: образования крупных государств [1]; их дробления [2] в результате попыток отдельных этносов перераспределить в свою пользу сложившийся в государстве баланс гражданских прав и свобод или же создать новый баланс вне старых государственных рамок. Специфика момента в том, что вторая тенденция грозит стать преобладающей, что не только противоречит логике взаимосближения в интересах хозяйственного развития, но и сопряжено с упадком глобальной стабильности.

II

Виток эскалации межнациональной конфликтности в начале 90-х годов тревожил особенно. Для того были причины. Важнейшая среди них — структурная. Начавшись как военно-политические, советско-американские переговоры 1985-1990 годов вылились в глобальный диалог о демонтаже биполярной в военно-политическом отношении модели мира, каким он сложился между концом 40-х и серединой 80-х годов. Кувейтский кризис 1990-1991 годов стал рубежом перехода к монополярности, где роль главного, абсолютно превосходящего всех по совокупности возможностей полюса отошла к США. Правда, нельзя сказать, чтобы США стали управлять миром из Белого дома. Скорее, надо полагать, что источником регулирующих импульсов стала в целом группа высокоинтегрированных в НАТО и ЕС и взаимозависимых стран Запада, Япония, а также до последнего своего дня тяготевший к сотрудничеству с ними Советский Союз.

Образно говоря, после сорока лет противостояния двух вздыбленных военных супергигантов, СССР и США, мировая структура «распласталась» — стала плоской. Сместившись, в ее центре оказались высокоинтегрированные передовые демократии, а на периферии — рыхлый, стагнирующий, вязнувший во внутренних конфликтах развивающийся мир. Причем центр явно отказывался от прямой (военной и политической) вовлеченности в дела периферии. Но не желая изолироваться, он стал стремиться контролировать периферию косвенно, через те государства, которые в силу каких-то обстоятельств занимали в новой структуре мира промежуточное положение.

К 90-м годам его фактически занимали, во-первых, новые индустриальные страны (НИС), а во-вторых, транссоциалистические государства, то есть бывшие (и остающиеся) социалистические страны,

включая СССР и Китай. Роль первых была главным образом экономической, вторых — политико-военной. НИС в целом обнаружили высокую степень внутренней стабильности и выполняли свою миссию достаточно эффективно. В отличие от них транссоциалистические страны стали зоной повышенного риска. Из субъектов посреднических усилий мирового центра, с тревогой просчитывающего последствия реальной и потенциальной дезинтеграции бывшего «Востока».

Прогнозы о перемещении эпицентра глобальной конфликтности с оси «Восток — Запад» на ось «Север — Юг» самым парадоксальным образом оспорены реальностью. Казалось, что в перспективе угроза глобальной стабильности будет связана не столько с напряженностью между центром и периферией — развитыми и слаборазвитыми странами, — сколько с кризисом амортизирующей «прослойки», важнейшим компонентом которой был транссоциалистический сектор мировой политики.

В начале 90-х особую тревогу вызывали сразу три транссоциалистические страны — Украина, Белоруссия и Казахстан — оказавшиеся «ядерными наследниками» разрушившегося Союза ССР. Правда, руководство Белоруссии сразу же заявило о стремлении придать своей стране нейтральный безъядерный статус. Вслед за тем Украина тоже стала настаивать на своем желании отказаться от обладания ядерным оружием и тем самым ускорить удаление со своей территории войск, которые подчинялись непосредственно Москве. Менее очевидными были мотивы расставаться с ядерным статусом у Казахстана, который переживал своего рода шок от сепаратного соглашения славянских республик в Белой Веже, в результате которого СССР был фактически распущен, а его азиатские члены «оставлены за бортом».

В такой ситуации отдалиться от России для Казахстана значило бы остаться один на один с таящим в себе неопределенности азиатским окружением — от пока еще стабильного Китая до труднопрогнозируемых и переживающих сложный этап внутренних трансформаций ближайших (Узбекистан и Киргизия) и близких (Таджикистан и Туркмения) среднеазиатских соседей. Особенно с учетом того, что обеспечение безопасности самих этих соседей, если им суждено было бы оказаться без российского «ядерного зонтика», может стать не таким простым делом перед лицом находящегося на пороге крутых перемен Афганистана и фундаменталистского Ирана с их многочисленными таджикским и туркменским меньшинствами, а также закаленного в нескончаемых войнах Пакистана.

В свою очередь, всякое изменение нынешнего ядерно-силового баланса в Центральной Азии не будет оставлено без внимания «полужадерными» Индией и Пакистаном.

Несмотря на вывод ядерного оружия с территории трех республик в Россию, по крайней мере, одна из них — Украина — обладает достаточным потенциалом, чтобы остаться в разряде пороговых, «околоядерных» держав, которых в мире уже много. Но это именно

оптимистический вариант. При любом ином пример новоявленной ядерной страны, если такая объявится, способен стать фатальным ускорителем движения к обладанию ударными атомными средствами не только пороговых, но вообще всех индустриальных и индустриализирующихся держав, озабоченных своей безопасностью на фоне кризиса международного режима нераспространения.

Помимо структурных и военно-стратегических есть политико-психологическая причина, осложняющая сдерживание конфликтности. В отличие от предшествовавших десятилетий на рубеже 90-х годов острота национальных споров нарастала **лавинообразно**. Множественные политические сдвиги в Центральной и Восточной Европе повлекли за собой слишком быструю трансформацию глобальной системы. Эти изменения сопровождались обесцениванием традиционных факторов глобального и регионального сдерживания, замыкавшихся на биполярное противостояние США и СССР. Старые методики проецирования американской и советской мощи (не только военной, но также политико-экономической) на региональные конфликты стали непригодными, а новые не успели возникнуть.

Строго говоря, лавинообразно нарастали события и в конце 50 — начале 60-х годов, когда шквал самоопределения налетел со стороны бывших колониальных и полуколониальных стран. И тогда он внес сумятицу в головы политиков. Она порождает неверные интерпретации событий, создававших, в частности, политико-психологический фон Карибского кризиса. Ведь именно подъем национально-освободительного движения, с одной стороны, утверждал Н.С.Хрущева в иллюзиях относительно скорой гибели «мирового империализма» и США как его главной силы, а с другой — добавлял нервозности Дж.Кеннеди, которому пришлось наблюдать латиноамериканский вариант самоопределения наций теперь уже у самых границ своей державы.

Но тогда оба лидера имели основания для уверенности в своей власти, способности не только принимать решения, но и полностью контролировать их выполнение. Иначе последствия событий вокруг Кубы могли быть другими. Сегодня ситуация иная. Иная во многом потому, что национальные конфликты, требующие реагирования всех ведущих членов мирового сообщества, наложились на тенденцию к падению эффективности механизмов власти и управления во всех транссоциалистических государствах — прежде всего в России и других странах СНГ.

Политическое сознание не поспевает за событиями. Возник своеобразный «кризис понимания» происходящего. В результате политико-формирующие элиты в Москве и Вашингтоне, возможно пассивно реагируют на события, вместо того чтобы направлять их.

Одна из психологических сложностей международного взаимодействия связана, в частности, с размыванием грани между воздействием на национальные конфликты и вмешательством во внутренние дела. Именно эта проблема всегда была для Москвы наиболее болезненной, шла ли речь об американских попытках влиять на Чехословакию,

Румынию или Афганистан, не говоря уже о Прибалтике, до 1991 года видевшейся из Москвы неотъемлемой частью советской территории.

Между тем, оказывается, российское руководство, в сущности, может быть заинтересовано в более активном подключении Вашингтона к регулированию ситуации, например в Афганистане или Закавказье. Конечно, наряду с политико-психологическими сохраняют значение экономические аспекты. В частности, скажем, финансовая эффективность международных усилий по сдерживанию национальных конфликтов. Их обострение пришлось на период, когда ресурсы передовой части сообщества оказались относительно ограниченными. Во-первых, затраты на международный менеджмент постоянно росли и превратились в заметное бремя; во-вторых, страны Запада вступили в полосу циклического экономического спада; в-третьих, мировое сообщество далеко не всегда умело выработать рациональную политику использования имеющихся ресурсов, что порождает сомнения в целесообразности увеличения затрат.

На этом аспекте стоит остановиться. В последние годы стали возрастать удельные издержки управления конфликтами. В ряде случаев конфликтующие стороны, будь то камбоджийские партии, эритрейские повстанцы или южноафриканские темнокожие радикалы, мало-помалу разработали собственную тактику привлечения зарубежных средств, максимально затягивая переговоры по урегулированию, увязывая свои уступки с экономическими подачками, наконец, всемерно преувеличивая реальные и гипотетические потери от конфликта в расчете на их хотя бы частичное покрытие международными институтами.

Случались и более драматические ситуации. Иногда щедрость мирового сообщества приводила к явно нежелательным последствиям с точки зрения долгосрочных перспектив урегулирования конфликта. Будучи проявлением ответственности развитой части мира за международную стабильность, западная помощь способна порождать у конфликтующих сторон опасные иллюзии.

Следующим по значению за структурным фактором является ядерный. Наверное, впервые со времени Карибского кризиса 1962 года взрывоопасный потенциал, связанный с межнациональными противоречиями, имеет столь сильно выраженное ядерное измерение. Непокоримая уверенность президента М.С.Горбачева в том, что необходимо и возможно сохранить Советский Союз в качестве централизованного государства, не позволила ему запланировать меры к сохранению за Москвой исключительного контроля над стратегическим ядерным потенциалом. Украина и Беларусь заявили о стремлении обрести безъядерный статус. В конце декабря 1991 года желание стать безъядерной зоной высказал Казахстан. Все три государства выразили готовность следовать международным обязательствам в том, что касается ядерных вооружений. Настояв на своем праве влиять на принятие решений о применении «ядерной кнопки», республики согласились оставить ее в руках президента России. Все это смягчило ситуацию, но не возвратило ее к исходной точке, когда привержен-

ность ядерного клуба принципам нераспространения закреплялась не только односторонними заявлениями и международно-правовыми нормами, но и почти четвертьвековой практикой строгого следования таким обещаниям.

Вспышка конфликтности в национальной сфере была неизбежна. Она связана с закономерным прохождением многих народов, не имевших возможности сделать это ранее, через этап взаимного отторжения. Будем надеяться, что это только неизбежная ступень к будущему сближению. Но это слабое утешение. Можно ожидать, что нынешний виток потрясений через какое-то время даст новое качество стабильности — размежевывающиеся страны и народы оценят издержки изолированности и вернуться на магистраль интеграции. Но лишь уповать на лучшее недостаточно. Бездействие так же неуместно, как излишняя активность. Международное сообщество не в силах предотвратить локальную дезинтеграцию или остановить ее. Но оно может влиять.

III

На уровне долгосрочной стратегии объединяющей целью может стать содействие возникновению эффективных политических пространств, то есть государств и межгосударственных объединений, способных развиваться в качестве устойчивых саморегулирующихся систем, пригодных для свободной экономической интеграции в окружающий мир и не представляющих опасность для международной стабильности.

В идеале, как показывает весь ход мирового развития, именно крупные пространства лучше всего отвечают таким требованиям. Однако конкретная их конфигурация и оптимальные размеры зависят от множества привходящих факторов. В данном случае важно подчеркнуть главное: крупные пространства в принципе, в тенденции имеют при прочих равных лучшие шансы обеспечить себе благоприятное положение относительно окружающей среды, в том числе международно-политической.

Вместе с тем, очевидно, что величина и состав любого государства, равно как образования вроде нашего СНГ, всегда в решающей степени зависят от его собственной способности быть или стать эффективным — прежде всего в экономическом, но, конечно же, и в военно-политическом смысле. В конце концов распад Советского Союза, равно как и старой югославской федерации, — это ни что иное, как свидетельство их политической неэффективности, в том числе неэффективности модели внеэкономической мобилизации наций в длительной исторической перспективе. Но отсюда же следует и другое: национальное самоопределение может и не привести к распаду крупного государства, если его экономическим фоном не будет развал хозяйства.

В передовой части мира фактически нет разногласий в том, что для регулирования межнациональных споров — экономические методы предпочтительнее любых других. Именно экономический прогресс

позволяет снять изначальное противоречие между стремлением этноса повышать уровень своего благополучия как абсолютно, так и относительно. В самом деле, право самоопределяющегося латыша или хорвата кончается там, где оно начинает становиться бесправием русского или серба. И наоборот. Мы видим как бы изъятие из прав каждого. Но в этом изъятии заложено право их обоих подняться до такого уровня социально-экономического развития, при котором национальные противоречия не будут сопряжены с «запредельной» конфликтностью. Иначе говоря, достаточно высокие темпы абсолютного прогресса общества, несомненно, способны нивелировать стремление одного этноса к максимализации его устремлений относительно другого.

Лишь экономические методы способны обеспечить, например, воспитание в среде конфликтующих народов новой политической и экономической элиты, тяготеющей к транснациональному мышлению и поэтому более склонной к взаимному компромиссу. В ряде трудных для управления конфликтов этот путь — единственно возможный. Прежде всего имеется в виду конфликт в Палестине (который надо отделять от так называемого арабо-израильского), понимаемый как спор ее арабского населения с правительством государства Израиль.

Вместе с тем экономическое влияние инертно. Оно сказывается не сразу и поэтому бывает не очень эффективным при стремительном нарастании событий. Тот же палестинский конфликт убеждает, что в обозримом будущем не приходится особенно рассчитывать на отказ от политико-силовых методов регулирования. Способность государства настоять на своем решении, как и прежде, зависит от того, насколько сильную власть оно представляет.

Демократический мир един в понимании неприемлемости насилия как способа решения межнациональных споров. Но приходится констатировать, что сознательный отказ правительств от применения силы не всегда спасает от кровопролития. Более того, случается, что он его провоцирует. Мы знаем множество примеров, когда национальные правительства, опасаясь негативных реакций внешнего мира, медлили с применением мер давления на национал-радикалов, фактически давая им шанс консолидироваться. Это выливалось в формирование вооруженных отрядов и спонтанное применение силы снизу. Так, вместо отказа от применения силы мы видели отказ от ответственности за ее применение.

По этому сценарию развивались конфликты в Карабахе, Южной Осетии, Хорватии, Сербии — и по всей территории бывшей Югославии. Безусловно осуждая прямое применение силы в национальных конфликтах, не стоит все же забывать о ее стабилизирующей, сдерживающей способности. Конечно, речь идет, так сказать, о некоем силовом минимуме. Но минимуме достаточном, чтобы связать неконтролируемые устремления экстремистов.

Вопрос о силе и издержках силового регулирования оттеняет необходимость практической работы для сближения международных стандартов в подходе к самоопределению. Совещание стран ЕС в

Брюсселе в декабре 1991 года, по итогам обсуждения обстановки в Югославии, предложило свой вариант базисного консенсуса по вопросу самоопределения. «Брюссельский минимум» состоял из пяти пунктов: приверженность демократии, уважение границ, мирное разрешение споров, уважение прав человека, гарантии прав национальных меньшинств. Соблюдения всех пяти условий, по мнению Европейского сообщества, достаточно для признания субъекта самоопределения и установления с ним дипломатических отношений. Эта программа могла бы стать отправным пунктом для более широкой дискуссии.

Думается, что безусловной поддержки заслуживают два главных принципа декларации ЕС: уважение демократии и мирное урегулирование межнациональных споров. Не столь очевидной кажется универсальность трех других.

Во-первых, нет ясности в соотношении между гарантиями прав человека и прав национальных меньшинств. Как представляется, первые подразумевают вторые, включают их в себя и уже в этом смысле являются основополагающими. Между тем конфликты по всему транссоциалистическому миру наглядно показывают, что большинство движений, самоопределяющихся от центра, ставит права нации выше прав человека. Это мы наблюдаем всюду — от прибалтийских стран до Молдовы и от Хорватии до Азербайджана.

Подчеркнутое уважение к правам национальных меньшинств, безусловно, понятно в контексте современных западных представлений о свободе и демократии. Но в условиях транссоциалистических преобразований, тяготеющих к Востоку политических традиций на огромном пространстве от Балкан до Дальнего Востока, оно граничит с абсолютизацией.

Опыт показывает, что национал-радикалы видят в концепциях самоопределения лишь то, что они хотят в них увидеть (конкретно — обещание помощи и солидарность), а не всю ту гамму идей, которые закладывались в эти концепции их авторами.

Во-вторых, неубедительны увязки прав человека, равно как и прав меньшинств, с признанием существующих границ. Какие границы должны признаваться основополагающими? Государственные или административные? Исторические или современные? Наконец, как быть в ситуации, когда вчерашние административные границы сегодня становятся межгосударственными? Ведь государственные границы сплошь и рядом становились результатом произвола властей держащих и конкретного соотношения сил между государствами. Это относится и к границам между Ираком и Кувейтом, Болгарией и Македонией, Ираном и Азербайджаном. То же самое можно сказать и о разделительных линиях между Хорватией и Сербией, а также Россией и Украиной.

С одной стороны, интересы международной стабильности диктуют необходимость минимализации перекройки границ. С другой — никто не решается оспаривать право каждого народа решать свою судьбу. Хельсинкский акт с зафиксированным в нем принципом

признания нерушимости существующих границ в Европе в этом свете был грандиозным шагом к ненасильственному миру, но одновременно всего лишь этапом на этом пути.

В свое время именно самоопределение нации, определенным образом интерпретируемое Гитлером, послужило идейным импульсом фашистской агрессии против Австрии, Дании, Чехословакии, затем Франции и т.д. И юридические гарантии германских границ 1918 года, закрепленные в подписанных Германией в 1925 году Локарнских договорах, ее не удержали. Так и сегодня, не право и мораль удерживают объединенную Германию от экспансии. Ее связывает международный контекст, вне которого она не сможет развиваться как передовое государство, условием процветания которого являются взаимная зависимость и взаимное доверие со всеми западными партнерами от бывшего классического геополитического противника — Франции до США.

Поэтому вместо трех принципов — гарантий прав национальных меньшинств, прав человека и уважения границ, — может быть, стоило оставить один — защиту общечеловеческих прав, дополнив его еще необходимостью исходить из существующих реалий, включая такие, как государственно-административные границы и сложившийся демографический состав.

Тогда сводная формула самоопределения наций примет, например, такой вид: 1) демократия как способ осуществления права на самоопределение от волеизъявления до принятия окончательного решения; 2) мирное решение споров; 3) гарантии прав человека; 4) сложившиеся на текущий момент реалии как исходная база для урегулирования.

Думается, что такое сочетание оптимально. Не оспаривая права на самоопределение, оно одновременно нацеливает на разумный внутренний компромисс, продвигаясь к которому каждой стороне предстоит сделать выбор между отделением как переделом крох нищего в пользу еще более бедного и интеграцией на основе **прибавочного** перераспределения преимуществ от ускоренного соразвития.

Рост потенциала межнациональной конфликтности в начале 90-х годов застал мир врасплох. Сообщество наций, 45 лет ориентировавшееся на сдерживание ядерных вызовов и достигшее в этом неоспоримых результатов, оказалось плохо подготовленным к адекватному ответу на новую глобальную угрозу. И не оттого, что межнациональные конфликты являются по сути чем-то совершенно новым и неизвестным, а потому, что вся прежняя система международного управления конфликтами опиралась на незыблемый постулат — внутриполитическую стабильность главных несущих конструкций мировой структуры — США и Советского Союза.

В этом позитивном своем качестве СССР для мира давно потерян. Россия не смогла принять на себя стабилизирующие функции бывшего Союза. Не сыграл в этом смысле положительной роли и СНГ.

ГЛАВА 13. НАЦИОНАЛЬНОЕ И НАДНАЦИОНАЛЬНОЕ В РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ

А.Д.Богатуров

С середины 90-х рассуждения о национализме в России стали общим элементом политологических работ. На страницы западной прессы возвратились и предречения об угрозе российского неоимпериализма. Тон, как водится, задали американские «меньшинства» — от польского (З.Бжезинский) и западноукраинского (А.Мотыль) до не по малочисленности задорного крымско-татарского. Западное сознание тревожно реагирует на очевидный факт: национальное возвращает в российскую интеллектуальную, политическую и эмоционально-бытовую среду мощно, хотя до досадного «развязно» и неумно.

В международных оценках национальной волны в России преобладает один мотив — угроза шовинизма, сопряженная с экспансией. Предлагаемая статья — попытка взглянуть на проблему иначе: национализм, если его удастся утвердить в России в умеренной, либеральной форме, не обязательно должен сопрягаться с ростом международной конфликтности. Он может стать внутренним ограничителем исторически доказанной склонности России к саморасширению, равно как и средством, способным предохранить Российскую Федерацию от участи Советского Союза.

Проблема, однако, в том, что сдерживающую роль либеральный национализм способен проявить лишь в национальном государстве, каковым Россия еще не является, хотя может им стать. Стоит сразу уточнить понятия. Национальное государство не обязательно равнозначно моноэтническому — такому, как Япония. Под национальным понимается государство, сложившееся вокруг какого-то численно и территориально преобладающего этноса, принадлежность к культуре которого стала основой самоотождествления для подавляющего большинства граждан независимо от их этнических корней и оказалась признаком, на внешнем уровне отличающим данное государство от остальных членов международного сообщества.

Рядом с национальными в мире веками сосуществовали государства, построенные по наднациональному принципу. В качестве организующего начала они постулировали не общность культурно-психологического склада, а политическое единство территории, принадлежность и верность государству и его институтам (монархии, например, или советскому строю). В таком государстве вместо естественного доминирования той или иной культуры существовала, скорее, иерархия культур, одна из которых выполняла роль официальной, играя на внешнем уровне роль знака принадлежности к данному

государству, но которая не обязательно являлась для большинства населения основой для самоотождествления.

Национальное государство — феномен прежде всего культурный и психологический, оно ориентировано на высокую степень культурной общности, влекущей за собой единообразие психологического склада и представлений о базисных ценностях. За счет этого достигается органическая прочность государства. По этому признаку, а не показателям численности этнических групп причисляют себя к национальным государствам подрагивающая от ссор англо- и франкоговорящих граждан Канада, непрерывно выясняющая отношения со своими каталонцами и басками Испания, полуваллонская — полуфламандская Бельгия, не говоря уже о Румынии с ее трансильванскими венграми.

Наднациональное государство — образование в основном экономическое, политическое и военное. Три его формы — «сплошные империи» (Российская, Австро-Венгерская и Османская), Советский Союз, а также колониальные империи — Голландская, Британская, Французская и др. Государство представляет собой не культурное, а территориально-политическое единство, в нем сведены сильно различающиеся в этнопсихологическом отношении группы, согласные, возможно, на соработничество, но не на слияние (Левобережная Украина после Рады — в России, Богемия — в империи Габсбургов).

Очевидно, что вопрос о выборе между национальной и наднациональной концепцией государства в России сводится к нахождению адекватного соотношения между культурно-психологической составляющей государственного строительства и его экономико-политико-военным компонентом. Аргументов в пользу каждой из концепций можно привести десятки — цель, скорее, занятая, чем наделенная смыслом, тем более что в памяти всплывают не без иронии смиренные слова Отто фон Бисмарка: «Политик ничего не может сделать сам. Он должен только ждать и вслушиваться — до тех пор, пока сквозь шум событий не услышит шаги Бога, чтобы затем, бросившись вперед, ухватиться за край его мантии»¹. И в нашем случае — дело не в интеллектуальных и политических пристрастиях, а в потребности понять, какой из двух вариантов соответствует глобальной тенденции, а какой обрекает на противостояние ей.

Соотнесем очередную «российскую дилемму» с международным контекстом. За лесом восторженных и ревниво-скептических откликов на статью Ф.Фукуямы «Конец истории?»² почти потерялась идея, которую лично я склонен считать в его работе главной. Интеллектуальное зерно его опуса — в констатации не победы либерально-демократического сознания, а возвращения идеального на то положенное ему высшее место в иерархии человеческих мотивов и ценностей,

¹ Цит. по: Taylor A.J.P. Bismark. The Man and the Statesman. N.Y., 1967. P. 115.

² Фукуяма Ф. Конец истории? // США: экономика, политика, идеология. 1990. № 5.

которое с утверждением капитализма было «узурпировано» у него материализмом. Возможно и спорная, эта мысль, как представляется, воплощает глубинную тенденцию 80-х и 90-х годов. Вряд ли случайно, что принадлежащая новой политологической знаменитости Самуэлю Хантингтону концепция «конфликта цивилизаций» с присущем ей акцентом на культурно-мировоззренческом компоненте конфликтности, несомненно, косвенно подтверждает точность изначального наблюдения Ф.Фукуямы.

Отталкиваясь от замеченной обоими тенденции к «реваншу» духовного начала, логично предположить, что выживаемость государства в условиях отсутствия внешней агрессии зависит прежде всего от интегрирующей силы его культуры как основы национальной психологии и идентичности (самовосприятия) населения, а только затем — от экономически и стратегически мотивированных групповых и индивидуальных устремлений граждан. Следовательно, из двух концепций моделирования России выбирать стоит ту, которая в состоянии обеспечить условия для формирования мощной национально-государственной идентичности. Советская наднациональная культура в этом смысле показала свою несостоятельность.

Грандиозность зданий наднациональных государств от Римской империи и Империи Карла Великого до Советского Союза оттеняет трагизм их истории не только потому, что она связана с войнами, но и оттого, что ни один из этих колоссов не выжил. Можно ликовать по этому поводу, как можно ощущать и горечь сопереживания. Нельзя уклониться от обязанности охватить этот уязвляюще ясный факт рас судом.

Выживаемость государства зависит от его воли выжить. Наличие или отсутствие таковой определяется соотношением в массовом восприятии чувств макро- и микропринадлежности (макро- и микроидентичности). Житель Шотландии в XIX веке ощущал себя шотландцем и одновременно подданным британской короны. Так и венгр, чтивший в себе мадьярство, признавал свою причастность к монархии Габсбургов. Но в первом случае общегосударственное самовосприятие подавило локальное, и шотландцы не были склонны к сепаратизму, а во втором — чувство макропринадлежности не смогло подчинить себе микроидентичность венгров. Последняя в 1848 г. приобрела такую мощь, что вдохновила едва не сокрушившую габсбургское правление революцию.

Очевидно, сплоченность общества высока, когда макроидентичность доминирует над чувством микропринадлежности; если та и другое находятся в состоянии равновесия, складывается ситуация кануна распада (Советский Союз второй половины 80-х годов); возобладание локальных самовосприятий знаменует начало распада (попытки армян и греков Анатолии при поддержке Антанты отстраниться от Стамбула с момента окончания Первой мировой войны до утверждения у власти в Турецкой Республике М.Ататюрка). Можно предположить, следовательно, что нарастание потенциала «малых» идентич-

ностей способно подорвать влияние идентичности «большой» и подготовить раскол многоэтнической страны.

Однако если страна является национальным государством, у нее есть шанс заметить опасность и прекратить поглощение «чужих» территорией. Наднациональному государству пагубное отношение к себе как обрамляющей рамке, внутри которой сосуществуют разные народы, не позволяет вовремя остановиться. Так, в 1939 г. не остановился и присоединил к СССР принадлежавшую Польше Галицию И.В.Сталин, совершивший фатальную для русско-украинского единства ошибку. Она обернулась пылким национализмом западноукраинцев, их стойкими антимосковскими настроениями и тем почти недоступным пониманию фактом, что Украина стала самым трудным партнером России в мировом сообществе.

Национальные государства обнаруживали склонность к агрессии не менее наднациональных, но в своем экспансионизме они стремились быть рациональными. Сам принцип организации государства, роль инструмента обеспечения единства которого отводилась культурно-политической общности, выступал внутренним ограничителем — не экспансии вообще, но ее пределов. В саморасширении национальное государство сковано своей способностью синтезировать общие культуру и ценности, поддерживать их высокий моральный авторитет, несмотря на приток чуждых и несогласных на слияние элементов.

В отличие от национального, наднациональное государство своей вненациональной философией утверждает принципиальную возможность присоединения к себе других территорий. Внутренний культурно-психологический ограничитель экспансии отсутствует, ее масштабы зависят в основном от экономических и военных ресурсов правительства для того, чтобы «сбивать» воедино то, что на самом деле продолжает оставаться механически сочлененным конгломератом взаимно неприязненных, психологически (но не экономически и военно) самодостаточных территориальных и этнических компонентов.

Была ли историческая неизбежность в том, что Советский Союз, наиболее сложно организованное наднациональное государство, пал? Фундаментальные причины его гибели, думается, существовали. Одна из них — неприемлемый рост удельного веса нерусских и активно самоотчуждающихся от русской культуры составляющих государства. Приверженность утопии «всемирного пролетарского братства» повела большевиков дальше, чем позволяли себе Романовы, не спешившие, например, аннексировать Среднюю Азию быстрее, чем это позволяла возможность постепенно колонизовать ее. Культурный баланс русского и нерусского элементов в империи был в пользу первого. В Советском Союзе это соотношение было нарушено, когда большевики включили в состав государства исламские территории Хиву и Бухару, добавив к ним в 1943 г. буддистскую Туву.

Изнутри дело осложнялось изменением соотношения численности «старых» и «новых» этнических групп за счет опережающих темпов прироста населения в азиатских районах. Эта диспропорция

была связана с систематическим перераспределением общесоюзного «пирога» ассигнований на культуру и социально-бытовые нужды в пользу нерусских республик. Уже в середине 70-х годов в Центральной России отмечались признаки этнодемографической деградации (превышение уровня смертности над рождаемостью), и в это же время союзные и автономные республики СССР вступали в пору своего национально-культурного расцвета. Оставаясь по абсолютным показателям развития культурным лидером, Россия отставала от них по темпам прироста культурно-национального достояния и прочности национальной идентичности. В конце 80-х годов великорусская народность стала составлять менее половины населения СССР.

Но, возможно, самое главное было в том, что большевики принесли с собой доктрину «многонационального государства», объявив его воплощением гармонии межэтнических отношений и целью национального строительства. Между тем, по определению «многонационального государства», то есть государство многих наций, могло быть только результатом разрушения наднационального государства. Как единое целое Советский Союз мог существовать лишь до тех пор, пока массовое сознание его главных нерусских составляющих оставалось на «донациональном уровне». Едва только микроидентичности союзных республик окрепли так, что смогли на равных выступать с советской макроидентичностью (а это стало происходить в последние 35-40 лет существования СССР), началось его разрушение, и этносы с неизбежностью потянулись к созданию собственных национальных государств. «Многонациональное» государство и в самом деле было создано в СССР, став «высшей и последней» стадией наднациональной траектории государственного экспериментирования на территории исторической России.

Драму этого распада невозможно отделить от международного контекста. Подобно тому, как в экономике существуют длинные циклы Н.Кондратьева, в мировой политике можно вести речь о длинных волнах национального самоопределения. Первой из таковых была эпоха революций XIX века в Европе, когда сложились национальные государства в ее западной и центральной частях. Вторая волна с окончанием Первой мировой войны и дала жизнь новым государствам в Европе Восточной. Третья — в 50-х и 60-х годах XX века разрушила империи Британии и Франции, четвертая — на рубеже 90-х, расколов Чехословакию, захлестнула Югославию и Союз ССР.

Принято порицать большевиков за то, что своей концепцией самоопределения они подготовили разрушение СССР. Упрек уместен, но содержит упрощение. Власть досталась российским коммунистам в пору апогея второй длинной волны. Гибли Австро-Венгрия и Порты, на территории империи Романовых самопровозгласились независимые Украина, Грузия, Азербайджан, Армения. Не было надежд сохранить Прибалтику, отделились Финляндия и Польша. При том, как ограничены были ресурсы, удивительно, что большевикам вообще удалось выстроить федерацию. Советское руководство нашло

оригинальный способ адаптации к националистической волне, «канализировав» ее в русло национально-территориального размежевания, погасив силу удара в хитроумных механизмах распределения благ и преимуществ, сопряженных с созданием в новых республиках властных структур и элит властей предрезающих.

Это был выигрыш не без потерь. «Отцы-основатели» пошли дальше, чем к тому понуждала волна самоопределения. К внутренней России они применили тот же принцип «раздачи» государственных, что и к периферии. Но на окраинах создание квазигосударств могло быть уже неизбежным, а внутри исторического ядра России в том виде, как оно сложилось к моменту гибели дома Рюриковичей (1598 г.), новая этноадминистративная чересполосица породила конструирование микроидентичностей «практически с нуля».

Считается, что, провозгласив создание союзных и автономных республик, большевики не допустили реального автономизма. И.В.Сталин не испытывал доверия к национальным меньшинствам, предпочитая на местах иметь верных людей. При нем сложился институт вторых секретарей в партийных комитетах национальных республик. На эти должности выдвигались русские и украинцы, которым поручалось курировать вопросы идеологии и оставаться оком Москвы на периферии.

Но со смертью И.В.Сталина в 1953 г. произошли изменения, тоже связанные с «длинной волной национального самоопределения», на этот раз третьей. Приход Н.С.Хрущева ознаменовался интересом к концепции исторического «соревнования двух систем». Перевод вопроса об отношениях с Западом в плоскость мирной конкурентности вел к переосмыслению вопроса о союзниках. Началась разработка вошедшей в 1961 г. в Программу КПСС теории трех революционных сил — мировой социалистической системы, рабочего движения в капиталистических странах и национально-освободительных движений в развивающихся государствах. Национализм «третьего мира» был провозглашен союзником Москвы. Но рассчитывать на успех сотрудничества с ним и одновременно следовать сталинской линии подавления «малых» национализмов внутри СССР было трудно. Поэтому советское руководство пошло на либерализацию политики в отношении национальных республик под лозунгом «выдвижения национальных кадров». В результате к середине 60-х годов в СССР сложилась новая партийно-национальная элита из лиц коренной национальности.

Новая элита была образованней прежней и обладала более многослойным сознанием. В нем уживались лояльность коммунизму с приверженностью местным культурно-бытовым нормам, традиционной практике неформального регулирования отношений через родственные, земляческие, клановые, родо-племенные механизмы. Соединение этой сохранившейся «невидимой механики» с официальной партийно-государственной иерархией в 50-60-х годах способствовало укреплению власти Москвы на периферии. Н.С.Хрущев смог адаптировать СССР к разрушительным воздействиям третьей волны.

Однако бум малых идентичностей, сопряженный с массовым приходом к власти на местах национальных кадров и столь же массовым вытеснением лиц, в этническом отношении некоренных, не сопровождался принятием адекватных мер для укрепления общегосударственного самовосприятия. Падала действенность власти вторых секретарей: как «чужаки» они были выключены из механизмов традиционного регулирования общественных отношений. За 50-80-е годы произошло перераспределение ролей между центром и республиками таким образом, что первый сохранил за собой контроль только над вопросами безопасности, иностранных дел и макроэкономического планирования, а вторые получили реальную самостоятельность в ключевых для воспитания национальной идентичности сферах — кадров, культуры и образования.

Вместо формирования общности культурного склада нормой оказывалось состояние конкуренции культур, которые, соприкасаясь, только повышали иммунитет по отношению друг к другу. «Успех» советизации вылился в то, что понятие «русский» в сознании самих великороссов и других народов СССР было потеснено понятием «советский». Волнами дискриминации с конца 40-х до середины 80-х были приучены бояться своей национальности лишь советские евреи. В остальном культурная советизация не прижилась. К концу 70-х средний секретарь райкома КПСС в Тбилиси и Ереване чувствовал себя менее лояльным Москве, чем Эриванский или Тифлисский губернаторы из числа местных уроженцев ощущали себя верными Петербургу в начале XX века. Еще более значимо, что нерусские народы, получив небывалые возможности для этнопсихологического и культурно-политического развития, научились ощущать и демонстрировать свое превосходство по отношению к русским.

Это должно было рано или поздно вызвать контрреакцию русско-украинской части советской элиты — прежде всего выдвиженцев из низов, которые чаще других соглашались на работу вторых секретарей, не имея возможности сразу получить более престижные места. Ротация кадров вела к тому, что через должность вторых секретарей проходило довольно большое число кадров, которые привносили в среду партийной элиты этнонациональное сознание, активизированное опытом работы в чужденациональном окружении. Не только эту, но и новую струю русского национального самосознания, вобравшую опыт ущемленного положения русских в нерусских республиках, уловил Б.Н.Ельцин, сделав центральным пунктом своей программы идею суверенитета и самостоятельности России и тем добившись своего избрания в 1989 г. председателем Верховного Совета РСФСР.

Распад СССР, будучи, вероятно, самым впечатляющим примером почти мгновенного разрушения наднационального государства, одновременно символизировал, по-видимому, крах наднациональной парадигмы на территории бывшей Российской империи. Этот факт, однако, не принят большинством российской элиты. Инициировав роспуск Союза вместе с Украиной и Белоруссией, Россия не стала

относиться к себе как к национальному государству. Возможно поэтому столь многие в Москве видят в СНГ не блок 12 национальных государств, а соединение 11 из них с Россией, которой отводится роль странно вязкого, лишённого четких границ «цементирующего» ядра. И оттого так легко в Кремле сложилась концепция «российского народа», несущая в себе такое вненациональное содержание, как прежде понятие «советский народ».

На первый взгляд, в пользу сохранения наднациональной основы России говорит многое: советский опыт мирного сожительства народов в пределах одного государства; ностальгия по величию, которое связывалось с контролем над частями пространства, которые теперь отпали; предположение о том, что в «многонациональной» стране создание национального государства «несправедливо»¹. Но и контраргументов достаточно: мирное сожительство внутри Союза не обеспечило ему жизненной силы; величие, если за него надо платить разорением русских областей ради «прикормки» окраин, оскорбительно и неприемлемо для измученного российского хозяйства. Что до «несправедливости» национального государства в России, то эта проблема во многом снимается, если уяснить, что национальное государство может быть многоэтническим. Почему Россия, где русские составляют более 80 процентов населения, должна считать несправедливым провозглашение себя национальным государством, если таковым считает себя Канада, в которой доля англо-канадского большинства составляет менее 50 процентов, франко-канадцев — 25 процентов и ещё 25 процентов приходится на другие группы — от эскимосов до украинцев?

Для горожан Москвы, Питера и Нижнего слово «россиянин», которым предлагается именовать всех, кто проживает на российской территории, не обидно в той мере, как этнически смешанной стала городская среда. Но для русских селян и жителей безбрежной массы малых городов России это слово звучит вычурно и бессмысленно, как и для кабардинцев, башкиров, якутов и других, даже примирительно настроенных нерусских групп Федерации. Годится ли в таком случае «российскость» для роли основы общестрановой самоидентификации?

Боязнь сформулировать ясную линию строительства России как государства, организующим принципом которого является принадлежность к русской культуре, не уберегла ее от центробежных тенденций. Примеры тому — Татарстан, постыдный курьез «Уральской республики» и чеченская трагедия. На фоне «вакуума» позитивной национальной философии в провинциях нарастает культурное самоотчуждение, которое выходит за рациональные рамки «сохранения самобытности». Одновременно экстремистские теории «русскости» разрабатывают ультраправые. Решение проблемы территориальной целостности Федерации, как представляется, следовало бы

¹ Лепту в разработку такой аргументации внес и автор статьи, за что несет долю ответственности. См.: Богатуров А., Кожокин М., Плеваков К. Национальный интерес в российской политике // Свободная мысль. 1992. № 5.

искать не на пути ломки реально существующей — плохой или хорошей — административной структуры через всеобщую ее «губернизацию», но через использование все еще не оцененных в должной мере возможностей культурной политики.

Вряд ли можно обойтись без концепции общенациональной культуры, которая, будучи в основе русской, отличалась бы от традиционной русской культуры в одном — была бы свободной от религиозной окраски в той мере, как для единства государственного «я» важна принципиальная приемлемость русской культурной основы для нерусских, иноцивилизационных составляющих Федерации. Главным признаком принадлежности к России как стране и государству стоило бы считать не проживание на территории Федерации, а добровольное самопричисление к общенациональной культуре, которая при этом объективно будет культурой преимущественно русской в ее светском варианте.

Национальное государство в России — это не отказ от территорий с исторически не чисторусским населением, но это и не уничтожение их самобытности. Это сохранение полноты культурного и бытового своеобразия нерусских народов, однако в рамках разделяемого ими чувства принадлежности не только к экономическому, политическому и военному организму единого Российского государства, но прежде всего к его общенациональной культуре. Угроза целостности страны видится не в развитии нерусских национальных культур, но в угарном отказе малых народов от усвоения культуры русской.

Конечно, побудить силой к ее усвоению нельзя. Частью решения проблемы может стать возвращение русской культуре внимания государства, оказание ей поддержки, в относительном выражении, по крайней мере, не меньшей, чем та, которую систематически получают в республиках культуры нерусских народов. Достаточно побывать в бывших автономиях, чтобы увидеть, насколько губителен для единства страны протекционизм местных властей в культурной политике.

Интересам России отвечала бы свободная конкуренция культур, в ходе которой русская сама смогла бы реализовать свое «практическое превосходство» и индуцировать изнутри идущее желание образованных слоев местных обществ приобщиться к ней, не порывая связи с культурной традицией своей этнической группы. Есть основания полагать, что ограждение малых культур от конкуренции с русской несет в себе тенденции разобщения, которые вряд ли возможно сдерживать только экономическими уступками. Такие уступки нужны, но важно уравновесить их проведением в регионах энергичной культурной политики как средства преодоления кризиса идентичности, с которым столкнулась Российская Федерация.

Говоря о противоборстве национально-государственного и наднационального начал, стоит коснуться концепции, рассматривающей Россию не как страну и государство, а как цивилизацию, под которой предлагается понимать совокупность определяющих для данного географического ареала и отличающих его от других зон культурно-

психологических характеристик. Именно они на протяжении длительного исторического времени самореализуются в специфике представлений о материальных и культурно-этических ценностях, способах их производства, поведенческих особенностях, а также типических для данной цивилизации взглядах на себя, окружающий мир и свое место в нем.

В основу концепции «Россия — цивилизация» кладется геополитический факт — промежуточное положение страны между культурным Западом и культурным Востоком, ее переходное состояние по отношению к обоим, которое, как постулируется, позволяет считать Россию особым цивилизационным феноменом, несовместимым с такими «цивилизационно чуждыми» понятиями, как, например, «национальное государство». Нынешнюю Россию, как и старую империю, считается возможным представлять не как наднациональное государство, а как уникальное образование, обладающее силой органического цивилизационного притяжения, которому отводится главная интегрирующая роль на российском имперском и постимперском пространствах. В подтверждение уместности такой интерпретации ссылаются на пример Китая, о котором американский китаевед Лукиан Пай из Массачусетского технологического института как-то сказал, что это «цивилизация, которая претворяется государством».

Кому-то сопоставление покажется соблазнительным, например, потому, что оно позволяет легко обосновать необходимость восстановления единства старого союзного пространства как зоны российского цивилизационного влияния. При более пристальном отношении к концепции возникают, однако, сомнения — но не потому, что Россия не дотягивает до роли самостоятельной цивилизации, а оттого, что определение «цивилизация» никоим образом не постулирует государственного единства. Исламская, так же как и западная, цивилизация состоит из десятков страновых фрагментов, тогда как нас в этой статье заботит способность России устоять как государству. Цивилизационная гипотеза, скорее, ориентирует на примиренность с неизбежным распадом, тогда как цель видится в попытке найти путь к его избежанию.

На уровне внешнеполитической практики отправными точками в поиске целесообразно видеть, во-первых, взаимопонимание с нашими западными партнерами в отношении происходящих во внешней политике России сдвигов, а во-вторых, в модернизации самой этой политики прежде всего в том, что касается отношений с новым зарубежьем. Стоило бы понять, что поворот от безоговорочного единения с Западом к логике национального интереса — не измышление качнувшегося к авторитарности российского руководства, а результат трансформации России из наднационального государства Советов в национальное государство с сопутствующей такому переходу потребностью в позитивной национальной философии. Задачи текущего момента во многом сводятся к приобретению способности разумно управлять процессом становления национального сознания в России, а не к попыткам фронтально противостоять ему.

Концепция России как национального многоэтнического государства официально остается непризнанной и конкурирует с остаточным мышлением парламентариев, руководства партий, общественных движений и части деятелей средств массовой информации в русле старой, наднациональной традиции. Отсюда эклектизм установок Москвы, в которых сочетаются задачи обеспечения внешних условий для консолидации самой России с попытками возложить на нее максимальную долю ответственности старого Союза.

Между тем принятие этой концепции позволило бы лучше использовать внешнеполитические ресурсы, концентрируя их на направлениях, которые в решающей мере необходимы для поддержания статуса великой державы, и одновременно высвобождая их за счет свертывания избыточной вовлеченности за рубежом. Расширительные интерпретации международной роли России и ее задач в СНГ представляются несвоевременными. В свете нарастания внутренней конфликтности силы требуются для разрешения «домашних» проблем.

Отказ Москвы признать себя национальным государством вызывает настороженность стран нового зарубежья. Сегодня бывшие республики, лучше понимая соотношение потерь и выигрышей от сохранения «особых» отношений с Россией, ведут себя покладистей, чем в годы упоения «самостийностью». В рамках СНГ заключен экономический союз, выгоды или просто отсутствие альтернатив которому в основном связаны с зависимостью новых государств от российских нефти и газа. Но тем показательней, что военно-политическое сотрудничество стран Содружества не обещает скорого создания структур стратегического сотрудничества, формирования объединенных вооруженных сил и т.п.

Несмотря на стремление сохранить привилегии в экономических отношениях с Москвой, дополненные расчетами воспользоваться российскими стратегическими гарантиями (Армения, Таджикистан, Туркмения) и политической поддержкой (Грузия), в целом мало кто в новом зарубежье выказывает готовность поступиться суверенитетом ради маячащей за Содружеством надгосударственной идеи. Пример Белоруссии с ее «несостоявшимся» национализмом — исключение, подтверждающее правило. Бывшие республики предпочли бы иметь дело с Россией как национальным государством — потенциально грозным, но все-таки ограниченным в возможных устремлениях к слиянию с новым зарубежьем.

Конфликт в Чечне, поставки туда военного снаряжения из-за рубежа вынуждают возвращаться к необходимости обустройства внешних границ Российской Федерации. Расходы по обустройству границ, конечно, лягут бременем на налогоплательщиков. Однако можно предположить, что они не будут большими, чем те, что понесла Россия из-за чеченской кампании.

Вопрос о границах непосредственно выводит к российской политике в Центральной Азии, принципиальным для которой остается вопрос о будущем российско-казахстанских отношений. Значение

Казахстана для России несопоставимо выше, чем любого другого нового государства постсоветской зоны из числа азиатских. Поэтому стоило бы на двусторонней основе проработать перспективы российско-казахстанского союза, и в зависимости от этого решить вопрос о линии прохождения границы стратегической ответственности Москвы в Центральноазиатском регионе — к югу или к северу от казахстанских границ. Однако при всех обстоятельствах эта часть границы должна быть контролируемой.

Прояснение будущего отношений с Казахстаном могло бы стать логическим прологом к свертыванию военной вовлеченности России в Таджикистане, а в перспективе, как представляется, неизбежному отказу от нее. При этом на первом этапе, вероятно, речь могла бы идти не просто об «оставлении Таджикистана» на произвол обстоятельств, но, так сказать, о делегировании значительно большей доли ответственности за таджикскую ситуацию соседнему Узбекистану, которому, соразмерно тому, Россия могла бы увеличить военно-экономическую помощь.

Вопрос о границах России в практической плоскости актуален прежде всего в том, что касается их азиатского периметра. В европейской части проблема границ в целом менее остра и упирается в основном в экономическую контрабанду, к которой примешивается та или иная доля политически и психологически мотивированных неопределенностей. Вряд ли сама по себе она особенно важна для отношений России с Украиной. В этом случае большой эффект могло дать не обустройство границ, а последовательное, но не слишком навязчивое декларирование намерений России строить национальное государство в пределах своих нынешних рубежей. Типологически Россия и Украина находятся друг к другу ближе, чем это признают официальные политики. Обе страны не знали традиций национально-государственного развития, в обеих народная ментальность тяготела к наднациональности, обе остаются многоэтническими государствами со слабым и неустоявшимся национально-государственным «я».

Однако если нынешнее российское мышление отягощено инерцией наднациональности, украинское склоняется к национальной философии в ее более умеренном после выборов 1993 г. варианте. Зафиксировав общность установок на создание национальных государств в своих странах, правительства России и Украины могли бы продвинуться к преодолению взаимных сомнений и умерить, в частности, опасения Украины по поводу возможных попыток Москвы в форме «реинтеграции» навязать Киеву свой протекторат.

Наконец, в духе интересов национально-государственного строительства России стоит переосмыслить и соотношение нажимных и кооперационных составляющих российской политики в отношении Балтии. Теперь, когда низшая точка отношений с ними в основном, хочется надеяться, пройдена, вывод войск завершен, а Эстония и Латвия нехотя, но все же начинают реагировать на обращенный к ним призыв международного сообщества отказаться от своей дискриминаци-

онной политики в отношении прибалтийских русских, наступает пора готовиться к подлинной нормализации отношений с этими странами.

Условием, взаимопонимания при этом мог бы стать отказ российской стороны от попыток превратить эстонских и латвийских русских в сообщества российских граждан за рубежом, разумеется, при встречной готовности Эстонии и Латвии создать более благоприятные условия для расширения возможностей русского населения интегрироваться в эстонское и латвийское общества, в том числе через расширение возможностей для получения адекватного образования, служебной карьеры и предпринимательства.

Необходимые и далее протесты по поводу нарушения прав человека, скажем, в Эстонии, правительство которой и на Западе не пользуется репутацией самого дальновидного, не может заслонить видения крупниц политически целесообразного в его действиях. Стоит спокойно осмыслить то обстоятельство, что для большинства русских отказ от переезда в Россию — сознательный выбор, предполагающий и необходимость приспособиться к жизни в пока еще чуженациональном государстве. Русские в Эстонии имеют все права на сохранение своей этнокультурной самобытности.

И все же в интересах России, чтобы они оставались не просто русскими в Эстонии, а постепенно научились ощущать себя эстонскими русскими, как стали во втором и третьем поколениях американскими татарами и итало-американцами люди, в силу стечения разных обстоятельств перебравшиеся в США из Старого света, как стали русскими армянами и русскими грузинами давние потомки переселенцев с Кавказа в Россию, как, позволю предположить, должны рано или поздно стать русскими чеченцами внуки и правнуки тех, кто сегодня так или иначе оказался связан с мятежниками и террористами в Чечне.

В преддверии полосы выборов российское сознание колеблется между наднациональной и национально-государственной парадигмами развития. Страна раздваивается между соблазном мессианства в постсоветском пространстве и потребностью ощутить себя национальным государством — не в меньшей степени, чем ощущают себя таковыми Франция, Китай или Турция. Имеющиеся в самой России и вне ее страхи перед национал-экстремизмом только оттеняют потребность в воспитании национально-либерального сознания. Оно, будучи проникнутым идеями универсального значения — демократия, свобода, достоинство личности, — было бы в состоянии обеспечить их доктринальное и практическое политическое воплощение в форме, учитывающей культурные, ситуационные и психологические особенности России. Назревшим кажется и отказ от наднациональных установок, которые отвлекают материальные и организационные ресурсы страны от главной задачи — укрепить Федерацию, сплотить ее не только силой покоренного военного могущества и надеждой на экономическую стабилизацию, но и мощью национального сознания, которому, как представляется, суждено стать основой новой российской государственности, в отличие от времен, когда государственность замещала национальность.

І ГЕГЕМОНИЯ ИЛИ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ? І

ГЛАВА 14. СРЕДА — ПРОТИВ ЛИДЕРОВ.

«ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА» САМООРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

А.Д.Богатуров

Формы стабильности и структурированность региональных отношений в Восточной Азии

Тезис о будто бы присущей азиатско-тихоокеанскому району большей нестабильности по сравнению с Европой — общее место в трудах 70-х и 80-х годов¹. Эта точка зрения, основанная на «здравом смысле» и внешне очевидной констатации, тиражировалась в десятках публикаций. Даже поколение специалистов, заявивших о себе в годы «перестройки», не пыталось ни опровергнуть, ни поставить этот тезис под сомнение, несмотря на характерный для 1988-1991 гг. импульс дать новую трактовку обстановки в Восточной Азии².

Для уточнения оценок есть основания. Очевидно, что менее стабильной ситуация в Азии могла казаться на фоне «конфронтационной» стабильности в зажатой противостоянием НАТО и Варшавского договора Европе. С распадом последнего, начавшимся вскоре национально-территориальным переделом в Югославии, разрушением СССР и возникновением войн на пост-советской территории ситуация в Восточной Азии перестала укладываться в стандартные представления о критериях стабильности и нестабильности. На сегодняшний день в регионе нет ни одного конфликта, сопоставимого по интенсивности с войнами в Югославии, Таджикистане и Закавказье. С долей осторожности можно предположить, что нет явных оснований ожидать возникновения таковых в близком будущем.

Представляется уместным поставить вопрос о возникновении за последние десятилетия в Восточной Азии механизма неформализо-

¹ Типичны в этом смысле заслуживающие в целом безусловно положительной оценки работы видного российского японоведа Д.В.Петрова или его американского коллеги Д.Загории (*Петров Д.В. Япония в мировой политике*. М.: Международные отношения, 1973; *Zagoria D. /ed./ Soviet Policy in East Asia*. New Haven; London: Yale University Press, 1992) и др.

² Этот упрек автор адресует и себе. См. также работы С.В.Солодовника, одного из серьезных авторов «ревизионистского» направления, тяготеющего, однако, к малым аналитическим формам.

ванных, полуофициальных политико-дипломатических связей и отношений, которые во взаимодействии с местными формализованными структурами обеспечения экономического взаимодействия и безопасности продемонстрировали достаточно высокий уровень способности амортизировать перепады в региональной политической обстановке, предупреждать крупномасштабный конфликт, а также компенсировать возникающие ограниченные нарушения устойчивости региональной подсистемы.

Тип этой стабильности, как очевидно, является иным, чем европейской — сообразно тому, что исторический, геополитический и иной фон Восточной Азии сильно отличается от того, на котором складывались последовательно сменявшие друг друга в XVII-XX веках структуры региональных отношений в евро-атлантической части мира. Опыт последней, между тем, во многом определил нормативность мышления теоретиков и практиков международных отношений. Поэтому за эталон стабильности был принят единственный ее вариант — статический, действительно существовавший в Европе с начала 60-х по начало 90-х годов.

Оттого непривычно «колеблющийся», не структурированный жесткими обязательствами тип региональной структуры, который удерживает АТР от общего конфликта, внешне казался примером хронической нестабильности — хотя устойчивый, даже устойчиво низкий, уровень этой нестабильности должен был бы бросаться в глаза. Ситуация отсутствия «большого» конфликта и его реальной угрозы сохраняется в АТР с начала 70-х годов — около 30 лет. Для сравнения: в Европе «порядок Бисмарка» продолжался не более 15 лет (хотя, строго говоря, только десять — с момента заключения союза с Австро-Венгрией и Россией в 1879 г. до отставки самого О. фон Бисмарка в 1890 г.); а венский порядок образца Священного Союза — даже того меньше. Включив в оборот понятие динамической стабильности, можно полагать, что в Восточной Азии складывается региональная модель стабильности динамического типа; процесс этот достиг среднего уровня зрелости, хотя, по-видимому, еще далек от завершения.

В самом деле — 40-летнее вялотекущее противостояние в Корее; длящееся более трех десятилетий негласное согласие сторон на сохранение статус-кво в Тайваньском проливе; полусимволический почти 50-летний территориальный спор Японии с СССР и Россией в рамках почти безупречного дипломатического этикета; наконец, прагматично выверенные, не всегда дружелюбные, но устойчивые вот уже около 20 лет отношения СССР/России с Китаем; Китая — с США и Японией. Вьетнам, с его, возможно, наиболее острым после успехов 1973-1975 гг. (окончание вьетнамской войны и объединение с Югом) «синдромом победителя», после периода не очень удачных силовых демонстраций около двух десятилетий сохранял временами не свободные от настороженности, но вполне стабильные и далекие от конфликта отношения с государствами АСЕАН, которые в 1995 г.

переросли в тесное партнерство. Даже конфликт в Камбодже после прекращения в 1978 г. силами Вьетнама самоистребляющего правления режима Пол Пота приобрел черты «внутренней компенсированности», «войны по правилам», от которой страдало местное население, но которая выплескивался вовне в основном в форме гуманитарной проблемы кампучийских беженцев.

Оценки положения дел в Восточной Азии начинают меняться. Некоторые регионоведы начинают признавать уровень стабильности в регионе достаточным. В этом смысле впереди военные теоретики. Сослаться следует прежде всего на Томаса Уилборна, ведущего эксперта по восточно-азиатским делам в американском Институте стратегических исследований. В 1994 г. в авторском разделе аналитического обзора региональной ситуации он определенно заключил: «Восточная Азия и Западная часть Тихого океана остаются районом большой экономической силы и относительной стабильности во всем, за исключением Корейского полуострова»¹.

В своей более ранней работе он дал видение региональной стабильности — наиболее близкое к адекватному из всех известных: «Региональную стабильность в качестве цели внешней политики США следовало бы определять не как статус-кво и не как предсказуемость отношений в области безопасности с предполагаемым противником (за исключением положения в Корее), но, совершенно точно, как среду (environment), в которой лидеры региона считают положение своих стран в достаточной степени безопасным для того, чтобы они могли продвигаться к осуществлению национальных и международных задач без опасений по поводу внешних угроз и необходимости отвлекать избыточные средства на вооружения и военные нужды»². Непривычное, оригинальное определение, интересное еще и тем, как удачно автор оттенил логическую оппозицию — статус-кво и предсказуемость военной политики, с одной стороны, и среда, окружающее пространство, с другой.

Две черты кажутся характерными для ситуации в регионе. О первой из них написано много. Это — слабая структурированность региональных отношений в области политики и безопасности, выражающаяся в отсутствии мощных и претендующих на всеобъемность многосторонних блоков. Двусторонние союзы в области безопасности преобладают, но и они не типичны. Четко фиксированные обязательства и объединяющие цели также не типичны.

¹ World View. The 1994 Strategic Assessment from the Strategic Studies Institute. Special Report / Ed. by Steven K. Metz, Earl H. Tilford, Jr. // Carlisle Barrack. April 15, 1994. P. 11-13. Вероятно, закономерно, что среди авторов этой работы — уже упоминавшийся Т. Уилборн, один из немногих носителей концепции динамической стабильности и, кажется, пока единственный таковой среди американских экспертов по Восточной Азии.

² Wilborn T. Stability, Security Structures and US Policy in East Asia and the Pacific. [б/м]: Strategic studies Institute. Army War College. 24 March, 1993. P. 6.

Вторая черта — иной, чем в Европе порог, отделяющий «запредельную» конфликтность от «нормативной». Под первой понимается та, что неминуемо повлечет за собой общерегиональную войну, под второй — та, при которой мир в регионе в целом может сохраниться. Политики и общественность предпочитают не касаться этого существующего на практике различия, ибо как факт международной жизни оно аморально. В анализе же — от этой реальности трудно абстрагироваться. Тем более, когда важно констатировать: в отличие от Европы 1945-1991 гг., где любой конфликт мог считаться потенциально «запредельным», в Восточной Азии наличие нескольких «нормативных» конфликтов оказалось совместимым с сохранением мира на общерегиональном уровне.

Большая конфликтность мировой периферии по сравнению с центром отчасти — побочный результат политики сверхдержав. Принятая администрацией Дж.Кеннеди в начале 60-х концепция «гибкого реагирования» (*flexible response*) определила «правила игры» США и СССР таким образом, что потенциал конфликтности был вытеснен с глобального уровня на региональный, из сферы советско-американских отношений — на периферию. При конфронтационной стабильности сохранить общий мир по-иному было и нельзя: движение системы не могло прекратиться по воле политиков, следовательно, противоречия развития должны были возникать, а их потенциал — неизбежно тяготеть к саморазрешению. И перенапряжения сбрасывались через региональные конфликты. Стабильность, по сути дела, распространялась избирательно — только на глобальный уровень и на Европу.

В других частях мира конфликты не были исключены. Или даже молча подразумевались. По-видимому, к цинизму великодержавного согласия, лежащего в основе такой стабильности, следует отнести замечание Р.Купера, в числе слабостей системы времен «холодной войны» назвавшего отсутствие в ней морали, даже по сравнению с XIX в., когда все же существовали рационалистические основания равновесия и правительства большинства стран их признавали¹.

Но дело не только в морали. Мировая периферия была поставлена сверхдержавами в положение, при котором странам условно второстепенных по сравнению с Европой регионов в обеспечении стабильности приходилось больше ориентироваться на собственные усилия, чем на вовлеченность обоих глобальных полюсов силы, каждый из которых (США — после окончания вьетнамской войны в 1973 г., а СССР — после начала афганской в 1979 г.) настороженно воспринимал перспективы расширения сферы своей прямой военной ответственности за рубежом.

Оказавшись в какой-то мере предоставленным самому себе, периферийный мир должен был дать свой иммунный ответ на ослабление сверхдержавной активности. Должны были сработать какие-то защитные механизмы региональной подсистемы, которая в противном

¹ Cooper R. Op. cit. P. 9-10.

случае могла погибнуть. В той же мере, как очевидно, что этого не произошло, уместна и постановка вопроса о формировании в Восточной Азии собственной модели стабильности на основе сочетания малых конфликтов с общей для местных стран заинтересованностью в региональном мире, несмотря на них.

Для возникновения в Восточной Азии особой модели стабильности имелись основания — структурные, геополитические и политико-психологические. Отношения в Восточной Азии тяготели, если следовать терминологии современного русского исследователя Валерия Алтухова, к «кольцевой» структуре развития¹, тогда как в Европе — к лучевой. Европейские интересы и страхи «пронизывали», как лучи, всю толщу европейских дел, придавая большинству вопросов безопасности отдельных стран общеевропейское значение. В этом сказывались геополитические условия Европы (малое пространство, высокая коммуникационная проницаемость). Не удивительно, что в Европе оказались сильными традиция централизации и стремление к ней в форме почти непрерывной борьбы за гегемонию.

В Азии в силу многих причин «сквозные» проблемы безопасности отсутствовали, по крайней мере, до перехода в активную фазу японской экспансии в 30-х годах XX в. В АТР своего регионально-го «центра», за исключением относительно короткого периода доминирования Японии в 30-х — начале 40-х годов, не сложилось. Регион не знал традиции чередования периодов гегемонии то одной, то другой наиболее мощной страны, как это было типично для Европы. Военно-политическая централизация, сопоставимая с той, что возникла в Европе на протяжении большей части XIX и XX веков, в Тихоокеанской Азии не состоялась. В этой части мира превалировали горизонтальные отношения — здесь существовали замкнутые и относительно взаимно изолированные «кружки» или очаги интересов безопасности, из которых ни один не был общерегиональным — слишком пространственным был регион, и слишком специфичными были военные угрозы в его отдельных частях.

В психологическом смысле, все европейские страны были настолько сильно вовлечены в общеевропейские же проблемы, что, в известном смысле, в Европе вообще не было «периферии» («низа») — по контрасту с «центром» («верхом»); так сильно был структурирован этот «низ», и так глубоко он был «вертикально» интегрирован в общеевропейские дела.

В Азии о вертикальной структурированности подсистемы можно было говорить лишь постольку, поскольку колониальные державы пытались манипулировать колониями. Национальные интересы местных элит были сугубо «горизонтальными», местными, региональными. И в той мере, как национализм отвергал политику колониальных держав, идея вертикальной интегрированности, самовклю-

¹ Алтухов В. О смене порядков в мировом общественном развитии // Мировая экономика и международные отношения. 1995. № 4. С. 6.

чения в дела европейских государств оставалась для местных элит чуждой. Понятия централизации и иерархичности, привычные и считавшиеся полезными в Европе, в Азии казались чужеродными, непонятными и — более того — опасными. Между тем, идея многосторонних блоков для обеспечения безопасности как раз эти идеи централизации и иерархии и воплощала. Отчасти поэтому, органически совмещаясь с европейской психологией, она не сопрягалась с восточно-азиатскими реалиями.

Когда в Европе после Второй мировой войны появились новые претенденты на верховенство/гегемонию — СССР на востоке и США на западе — «центро-лучевая» традиция межгосударственных отношений не противодействовала и даже способствовала быстрому оформлению региональных центров-блоков. В Восточной Азии на фоне отсутствия явных для большинства местных стран очертаний потенциального центра-гегемона попытки перенести европейский опыт многосторонних союзов наталкивались на непонимание как не соответствующие туземной традиции «круговых» (горизонтальных) отношений.

Разумеется, после 1945 г. в Восточной Азии за место регионального центра-гегемона боролись, по крайней мере, две державы — Советский Союз и Соединенные Штаты. Однако подобный центр в АТР так и не возник — не столько из-за ошибок «верха» (лидеров), сколько в силу объективного отсутствия «низа» — более или менее многочисленной группы слабых стран, которые были бы способны и согласны стать опорой общерегиональной иерархической структуры, построенной по типу европейских¹.

Стоит указать на многозначительное противоречие. Европейская политико-интеллектуальная традиция располагает огромным преимуществом в теоретических разработках проблем стабильности. Но ее построения скованы открытиями эпохи конфронтационной стабильности. На Западе только начинается поворот к выявлению подлинной роли динамики в международных отношениях. Исторически более передовая, гибкая и в этом смысле обладающая более обширными возможностями форма динамической стабильности стала складываться в условиях отставания восточно-азиатской подсистемы

¹ В этой связи чрезвычайно любопытным кажется психологический контраст между европейским и восточным мышлением, на который указал блестящий американский востоковед Густав фон Грюнебаум, заметивший, что европейцев в философско-концептуальных построениях, как правило, тревожит незавершенность, бессистемность, а жителей Востока — напротив, удивляет упорядоченность и регулярность. Для ортодоксального представителя восточной традиции в принципе не приемлем порядок, так как сама идея рукотворного порядка может предполагать, что порядок может ограничивать и волю Всевышнего, что почти инстинктивно отвергается традиционным восточным сознанием. См.: Грюнебаум Г.Э., фон. О понятии и значении классицизма в культуре // Основные черты арабо-мусульманской культуры. Статьи разных лет. М.: Наука, 1981. С. 215-216.

отношений от европейской по уровню ее структурной организации. Напрашивается допущение, что сам по себе высокий уровень организации системы не является ключевым условием стабильности и в этом смысле не обязательно должен рассматриваться как приоритет рациональной политики государств.

Структурно неформленные связи в принципе способны обеспечивать (и, как об этом еще будет говориться, действительно обеспечивают) подчас не меньший амортизирующий эффект, чем тот, который дают отношения, формализованные в блоках типа НАТО, Манильского пакта (СЕАТО) и т.п. Более того, они могут быть более гибкими и адекватными региональной обстановке в условиях, как, например, это сложилось в Восточной Азии, когда отсутствует ясно выраженное и общепризнаваемое представление о потенциальной угрозе. Данное наблюдение подвигает к постановке вопроса о том, что сама структурная неформленность в действительности может быть просто иным способом самоорганизации — самоорганизации, в которой ключевую роль играют не страны-лидеры, а малые и средние государства, не способные к роли самостоятельных несущих элементов региональной структуры и поэтому обычно воспринимаемые в качестве регионального «фона» или элементов пространства.

Субъектные («лидерские»)

и объектный («пространственный») типы структур

Анализ литературы показывает, что большинство теоретиков ограничивается рассмотрением субъектной стороны обеспечения стабильности: усилия авторов сконцентрированы на исследовании наиболее мощных субъектов мировой политики. Подразумевается, что эти импульсы и определяют содержание межполюсных отношений. Такой подход представляется оправданным — в той мере, как ясна невозможность прийти к серьезным обобщениям, не отрешившись от малозначимых деталей — например, от учета роли каждого из множества малых и слабых государств. Но сказанное не снимает вопроса о недостаточности субъектного подхода на нынешнем этапе развития мирополитической системы. Этот подход может быть непродуктивным для понимания ситуаций в отдельных регионах, которые (подобно Западной Европе и Восточной Азии) далее других продвинулись по пути пространственной самоорганизации или организации регионального пространства.

Разумеется, противопоставление лидеров пространству во многом условно. Потому что под региональным пространством понимается совокупность всех — основных и второстепенных — участников межгосударственных отношений в рамках того или иного фрагмента мировой системы в их взаимодействии. В системной роли и лидеров, и малых стран имеются как чисто «пространственный» элемент (функция которого — олицетворять политически некую географическую протяженность; быть частью ресурсно-сырьевого ландшафта, культурно-цивилизационным компонентом или фактором регионального общественно-политического мнения), так и активная составляющая.

Разница между лидером и аутсайдером определяется соотношением «фонового» и «творческого» начала во внешней политике каждого из них. И в той мере, как у одних преобладает второе — их условно можно именовать лидерами. Множество же разрозненных аутсайдеров по той же логике образует окружение, которое предпочтительнее (с уже поясненной долей условности) называть пространством, «фоном», или «средой».

Под «типичным» лидером здесь понимается государство, обнаруживающее объективную способность и выраженную волю, во-первых, навязывать свое видение перспективы международного развития, оптимальных способов обеспечения мира и стабильности другим странам, сообществу государств в целом или какой-то его части; во-вторых, противостоять аналогичным устремлениям других лидеров или игнорировать их, не подрывая при этом основы собственной выживаемости в политическом и страновом качестве. Сообразно тому, тип отношений, построенных на преобладании лидеров при почти ничтожном значении остальных, «фоновых» стран, именуется «лидерским».

В отличие от него, в «пространственной» структуре отношений отдельные полюсы-лидеры почему-либо бывают не в состоянии оказывать определяющее влияние на положение дел, а степень организованности «фоновых» стран, составляющих региональное пространство, приближается к уровню, когда сопротивление этого пространства может нейтрализовать импульсы со стороны одного, наиболее мощного полюса или всех полюсов в отдельности. *Иными словами, под «пространственной» понимается структура отношений, для которой характерна относительно высокая «плотность» регионального пространства, проявляющаяся в способности малых и средних стран выступать в роли «коллективного лидера» и более или менее эффективно влиять на состояние региональной ситуации, как непосредственно, так и через воздействие на отношения между самими лидерами.*

Далее для целей конкретного анализа стоит ввести и понятие «типичное лидерское поведение», основными характеристиками которого, очевидно, являются: тяготение к принятию односторонних решений при минимальном их согласовании с партнерами и союзниками [1]; инициативный, «опережающий», преимущественно наступательный курс в области военно-политической стратегии и дипломатии [2]; стремление расширить участие и повысить свое влияние в мирополитических процессах, убедить или заставить международное сообщество «считаться с собой» [3]; склонность к мессианству (политическому, культурному, экономическому и т.д.) [4].

Конечно, лидеры и пространство неодинаково могут влиять на ситуацию. Всегда существовал разрыв в функциях, которые выполняли в межгосударственных системах лидеры и все остальные государства. Первые фактически направляли или пытались направлять развитие систем, а вторые оставались более или менее безликой

безликой массой, как правило, заполнявшей географические и/или политические ниши между основными игроками. В той же мере, как практически все описанные до сих пор системы отношений строились на бесспорном преобладании разного, но всегда жестко ограниченного круга наиболее сильных государств, они и могут именоваться лидерскими.

Лидерскими были все системы международных отношений, которые возникали и разрушались со времени возникновения вестфальского порядка в 1648 г.¹ до разрушения ялтинско-потсдамского в 1991 г.² Не удивительно, что и аналитики истории и теории международных отношений склонны абсолютизировать субъектный подход. Тем не менее, приходится констатировать, что субъектный подход к изучению стабильности выводит из круга научных интересов проблему пространства — среды, в которой реализуются исходные межполюсные импульсы, которую они «пронизывают» — пронизывают, заметим, претерпевая изменения, искажаясь, теряя часть исходного заряда или, напротив, приобретая дополнительную энергию.

Эволюция мировой системы подвигает к тому, чтобы выйти за рамки оперирования категориями только лидерских систем. Обращение к регионоведению в этом смысле может быть продуктивным. Вряд ли можно считать оправданным сохраняющееся в течение десятилетий положение, при котором результаты исследований общего профиля механистически проецируются на регионы, тогда как приложение данных анализа региональных ситуаций к общим процессам остается единичным явлением. Поворот к пониманию недостаточности прежних аналитических схем только оттеняет необходимость обращения «лицом к регионам», опыт которых способен послужить основой обновления общей теории. Как отмечается в одной из западных работ, «понятие “регионализм” целиком захватило американских аналитиков стратегии, когда они впервые осознали, что холодная война закончилась». Стивен Метц резковато, но откровенно назвал этот сдвиг отходом от «грубого и косного» глобализма³.

Как отмечалось, для анализа региональных ситуаций, в частности, в Восточной Азии, целесообразно выделять наряду с системами

¹ Л.Миллер, как представляется, расширительно интерпретируя принципиальное содержание вестфальского порядка как «laissez-faire» вообще, полагает, что в основных своих параметрах он сохранялся до Второй мировой войны. Он ставит вопрос о существовании «вестфальского порядка как глобальной системы». См.: *Miller L.H. Global Order. Values and Power in International Politics.* Boulder; San Francisco; Oxford: Westview Press, 1994. P. 29, 43, 62.

² Распаду ялтинско-потсдамского порядка посвящена наша работа. См.: *Богатуров А.Д. Кризис миросистемного регулирования // Международная жизнь.* 1993. № 7.

³ *Metz S.K. Transregional Security Concerns // World View: the 1994 Strategic Assessment from Strategic Studies Institute / Ed. by S.K.Metz and E.Tilford, Jr. Strategic Studies Institute Special Report. April 15, 1994. P. 3.*

лидерскими системы пространственные¹. Стоит остановиться подробнее на том, что понимается под различиями структур обоих типов. Можно сказать, что полюсные системы преимущественно воплощают тип организации лидерства, тогда как пространственные, опять-таки преимущественно, — тип организации среды. В полюсных — основную стабилизирующую нагрузку выносят жесткие иерархические связи по вертикали; предельно строгая процедура принятия решений в чрезвычайных ситуациях в НАТО и Варшавском блоке — тому пример². В пространственной — они могут вообще отсутствовать или, во всяком случае, уступают развитости отношений по горизонтали. В Восточной Азии говорить об иерархизации политических отношений вообще нельзя. Неуместна такая постановка вопроса в отношении Манильского пакта³. Об автоматическом подчинении союзнической дисциплине нельзя говорить даже применительно к союзам США с Южной Кореей⁴ и Японией⁵.

¹ Западноевропейская подсистема может казаться лидерской, скорее, на первый взгляд: в том, что костяк ее составляют страны, которые привычно называть лидерами, совпадения больше, чем чего-то другого.

² См. текст Североатлантического договора, по которому участники признают, что «вооруженное нападение на одного или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них на всех» («an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all») [ст. 5] // Documents on American Foreign Relations. Vol. XI. January 1 — December 31, 1949. Princeton: Princeton University Press, 1950. P. 613.

При такой формулировке договор мог вступать в силу без дублирующих согласований или дополнительных санкций законодательных органов стран-участниц, например, сената США. В случае же конфликтов, не затрагивающих национальную территорию государств, такие согласования, как правило, были совершенно необходимым предварительным условием направления войск за рубеж для начала боевых действий. Для сравнения: в тексте Варшавского договора положений, аналогичных формулировкам ст. 5 договора НАТО, не было. Но с учетом монополизации политических решений в политбюро правящих коммунистических партий в социалистических странах ее и не требовалось.

³ В тексте Манильского пакта содержится существенно более мягкая формулировка, не сравнимая имеющейся в договоре НАТО.

⁴ Текст американо-южнокорейского договора см.: Dynamics of World Power. Documental History of the US Foreign Policy. 1945-1973. Vol. 4. The Far East. New York: Chelsea House, 1973. P. 425-426.

⁵ Тексты американо-японских договоров 1951 и 1960 гг. см.: *Вербицкий С.И.* Японо-американский военно-политический союз (1951-1970). М.: Наука, 1972. С. 271-275. Комментарии к его заключению содержатся в той же работе С.И.Вербицкого. Вопрос о перспективах «включения» этого договора в современных условиях обсуждается в одной из наших публикаций. См.: *Богатуров А.Д.* Японо-американские отношения: противоречия в рамках консенсуса // Япония 1990. Ежегодник. М.: Наука, 1991. С. 45-58.

В той мере, как для лидерских структур типично подчинение сильному, в них укоренены традиции поисков союзников. За сателлитов конкурируют, поскольку мобилизационный контроль над сателлитом (то есть возможность мобилизовать в своих интересах принадлежащие ему ресурсы, в том числе геополитические) считается важнейшим условием прочности позиций лидера-полюса.

Разнятся и преобладающие в лидерских и пространственной структурах типы взаимоотношений. В первых преобладает линейный: мощные полюса как бы заранее запрограммированы на излучение прямых адресных сигналов — в первую очередь, другим полюсам-соперниками. Отсыл косвенного сигнала, конечно, возможен и практикуется. Но он не становится для полюса преобладающей формой общения, так как систематическое воздержание от прямых линейных связей может быть воспринято как признак слабости полюса и может привести к нежелательным результатам. Чаще наоборот, полюсы «блефуют», злоупотребляя линейностью в стремлении подчеркнуть свою высокую самооценку (СССР и США в отношениях с друг другом — систематически, особенно с 1946 по 1962 г. и т.п.).

В пространственной структуре преобладающим выступает не линейный, а *опоясывающий* тип связей. Не ощущая твердой (договорно-правовой, структурно зафиксированной) опоры, государства предпочитают или вынуждены больше полагаться на косвенное взаимодействие с более сильными партнерами, на учет неопределенного числа потенциальных противодействующих сил и возможных партнеров — при этом тоже колеблющихся, настороженных и стремящихся избежать четко определенных обязательств. Так, вплоть до начала 80-х годов пыталась продвинуться к решению Курильской проблемы Япония. Похожим путем страны АСЕАН в 70-80-х годах стремились решить проблему Кампучии, а в начале 90-х годов стали искать путь к опосредованному воздействию на пугающий их Китай. Да и сегодня подготовка диалога по безопасности в Восточной Азии ведется не напрямую, между наиболее сильными державами, а «окраинно», косвенно — через обсуждение проблем безопасности прежде всего с малыми странами и через переговоры малых стран между собой.

Разнятся и типы формулирования внешнеполитических задач. Для лидерских, как уже отмечалось, важен контроль, прежде всего прямой, мобилизационный. Так, Россия не изжила стремления сохранить в его пределах такие отделенные и, по-видимому, все равно бесперспективные территории, как Таджикистан. Германия, из опасений упустить шанс легкого проникновения в республики севера бывшей СФРЮ, форсировала ее разрушение. Греция, Албания, Болгария, Сербия и собственно Македония, претендуя с равно сомнительными основаниями на целый ряд спорных территорий, приближаются к предельной черте, за которой может оказаться неизбежным новый конфликт.

В пространственной структуре преобладает борьба за влияние. Через влияние на США и повышение своей роли в японо-амери-

канском союзе за 30 лет Япония продвинулась к статусу «почти великой» державы, при этом не посягая на прямой контроль над какими-либо территориями, кроме крошечных четырех островов у побережья Хоккайдо, обладание которыми для Токио носит символический характер. Вдоль этой же оси сориентированы усилия стран АСЕАН, которые добивались и добились расширения своих возможностей регулировать политико-военную обстановку в своем регионе не собственными усилиями, а через воздействие на Вашингтон, Токио, Канберру, а в последнее время — и Москву.

Лидерские системы составляют по-прежнему костяк мировой структуры и опоры международной стабильности. Было бы неразумно принижать их значение. Но они перестают быть универсальной моделью отношений для всех регионов мира. В каком-то смысле, они начинают устаревать морально, обнаруживая свои слабости и приближаясь к пределам заложенных в них колоссальных (как мы видим на примере России), но не безграничных запасов прочности.

Возникновение «пространственной» структуры в Восточной Азии вряд ли можно объяснить только типичным для западной и советско-российской литературы указанием на ослабление традиционных мировых лидеров¹. Не кажется исчерпывающим и более развернутое объяснение взаимосвязей между ослаблением одних лидеров и возвышением других, предложенное Полом Кеннеди в его эпическом труде на тему великодержавия². Материалы самого П.Кеннеди иллюстрируют не столько процесс упадка могущества мировых полюсов, сколько его относительный характер³. Речь ведется фактически о подтягивании более слабых лидеров к более сильным.

¹ Кокошин А.А. О буржуазных прогнозах развития международных отношений. М.: Международные отношения, 1978; Лукин В.П. Центры силы. Концепции и реальность. М.: Наука, 1983. Из этапных западных работ на эту тему, помимо уже упоминавшейся книги П.Кеннеди, см.: *Nye J.S. Bound to Lead*; а также статью того же автора: *What New World Order? // Foreign Affairs*. Vol. 71. № 2 (Spring, 1992).

² *Kennedy P.* Op. cit. Пожалуй, любопытно, что по прочтении этой в самом деле впечатляющей и, несомненно, блистательно написанной работы остается стойкое впечатление, что автор задумывал ее главным образом как эпическую попытку исторической систематизации пяти последних веков. Между тем, рецензенты работы, выхватив из всей «эпопеи» Кеннеди всего один (заключительный) сюжет — возможно наиболее доступный для журналистского понимания в силу своей приближенности к современности, — фактически осуществили своего рода «перекодировку» смысла всей книги, сведя его к, в сущности, банальному прогнозу междержавных соотношений в XXI веке. Сегодня эта книга, к сожалению, в основном так и воспринимается читателями. Возможно, по-своему характерно и то, что сам автор этого труда, ставшего национальным бестселлером, так никогда и не высказался против столь очевидного, как представляется, обеднения смысла проделанной им работы³. См. подробнее гл. 8 книги П.Кеннеди (с. 438-536).

Уже упоминавшийся Ч.Доран, специально занимавшийся сопоставительным аспектом понятия «могущество», на большом фактическом материале и математически обработанной статистике привел в своем исследовании достаточно убедительных аргументов в пользу относительного характера ослабления позиций лидеров при сохранении ими преобладающих абсолютных позиций¹. «Упадок США — это относительный феномен, более связанный с тем, что другие государства оказались способными достигнуть, особенно в Азии, чем с экстенсивным (и постоянным) разрушением экономической или военной мощи США», — пишет он².

По-видимому, в ключе такой интерпретации и следует рассматривать интересующий нас феномен возникновения наряду с лидерскими структурами отношений пространственных: в его основе не столько ослабление лидеров, сколько консолидация пространства и, как следствие, *неспособность лидеров сохранять традиционный тип мобилизационного контроля над ним*. Интерес к выявлению роли пространства, строго говоря, подразумевается и в многочисленных в литературе и публицистике построениях на тему демократизации международных отношений. В задачи этой работы не входит их разбор. Важнее предложить структурное обоснование необходимости выйти за рамки анализа лидерства.

Имеется в виду, что при всей основополагающей значимости полюсов и исходящих от них импульсов, ситуация в том или ином регионе зависит не только от самих этих импульсов (их силы и направленности), но и от того, как эти импульсы преломляются региональной средой, через которую они должны пройти, чтобы достигнуть адресата. Местная международно-политическая среда выступает в качестве передаточного звена или канала информации. Эта среда может быть разряженной, проницаемой, или, наоборот, плотной, концентрированной. В первом случае межполюсные импульсы пронизывают среду, почти не меняясь или меняясь незначительно, и классический субъектный подход оказывается более корректным. Во втором — пространство может играть существенную корректирующую роль, само по себе приобретая черты субъектности.

В ряде случаев «помехами в канале» межполюсного обмена можно пренебречь. В других — игнорирование роли пространства способно привести к ошибочным интерпретациям. Основная сложность здесь в том, чтобы уловить момент, когда региональная среда из разряженной начинает превращаться в плотную, чтобы со временем претендовать на роль большую, чем та, которую выполняет обычная проницаемая мембрана. Иными словами, задача — в определении момента возможного (но не обязательного) перерастания отдельных элементов пространства или пространства в целом из объектного состояния в субъектное.

¹ Doran Ch. Op. cit. P. 13-14, 18-21.

² Ibidem. P. 10.

Так, Китайская Народная Республика, и в США, и в СССР воспринимавшаяся в 40-х и 50-х годах как элемент проницаемой (для СССР) политико-стратегической среды¹, с начала 60-х годов резко поменяла свою структурную роль. Подобным же образом страны, объединившиеся впоследствии в АСЕАН, в первые послевоенные десятилетия не могли оказывать даже слабое «преобразующее» влияние на междержавные импульсы, а к началу 90-х сделали заявку на роль регионального пространства такой плотности, что его сопротивление может блокировать общерегиональные стратегические начинания — что на практике и происходило неоднократно на протяжении 70-х и 80-х годов, когда государства АСЕАН заблокировали создание военно-политического «тихоокеанского сообщества».

Обозначив различия между лидерскими и пространственными системами, важно оговорить их соотношение с ключевыми для этой работы понятиями динамической и статической стабильности. Заметим, что такие характеристики, как «лидерская» или «пространственная», применительно к системам межгосударственных отношений указывают на тип генерирования движущих импульсов, моментов движения системы. В отличие от них, определения «статический» и «динамический» в приложении к типу обеспечения стабильности выражают не столько исходный момент, сколько способ самоадаптации системы к противоречиям, возникающим в процессе ее развития. Иначе говоря, «лидерство» и «пространственность» характеризуют источник направляющих или корректирующих толчков, а «динамичность» и «статичность» — процесс их самопреобразования в конкретные отношения.

На первый взгляд, опыт дает основания думать, что лидерские системы отношений тяготеют к статическим формам стабильности. Вероятно, это в реальности так и было — однако только на уровне многосторонних отношений. На двустороннем — сегодня мы видим, как минимум, два случая (отношения США с Японией и России с Украиной), в которых сочетается лидерский тип отношений с их пребыванием в динамической стабильности. Следовательно, корректнее было бы постулировать, что лидерский тип самоорганизации систем может сочетаться как со статическими, так и с динамическими видами стабильности.

Меньше ясности в вопросе о пространственных структурах — возможно, в силу незавершенности процесса их складывания и связанной с этим ограниченностью эмпирического материала. По-види-

¹ Несмотря на, казалось бы, достаточную изученность этого вопроса, продолжают выходить работы на эту тему. С точки зрения новейших американских оценок истории вопроса интересна работа патриарха американского китаеведения Р.Скалапино. См.: *Scalapino R. The China Policy of Russia and Asian Security in the 1990s // East Asian Security in the Post-Cold War Era / Ed. by Sheldon W.Simon. Armonk, NY: M.E.Sharpe, 1993. P. 148-166.*

димому, можно считать фактом, что восточно-азиатская подсистема, тяготеющая к самоорганизации по пространственному типу, реально развивается по модели динамической стабильности. Но значит ли это, что пространственный тип системы не совместим со стабильностью статической? Для однозначного ответа на этот вопрос оснований пока нет.

Можно только предположить, что динамическая стабильность способна более органично сочетаться с пространственными системами. Типологически они кажутся более сходными между собой, поскольку та и другие акцентируют роль системных регуляторов и принижают роль волевых. Имеется в виду, что состояние динамической стабильности возникает как результат не просто взаимодействия двух политических волей — скажем, страха одного лидера перед более сильным соперником, — но их общего признания отсутствия рациональной возможности пожертвовать объединяющими обе стороны интересами. Аналогично, в пространственном типе системы движущие импульсы исходят не столько непосредственно от отдельных центров, сколько от их формальных и неформальных взаимодействий. Роль «индивидуальных волей», как видно, в этом случае, условно говоря, принижается.

Сказанное, однако, пока остается теоретическим допущением. В реальности же имеется возможность наблюдать пока одну «живую» и «работающую» систему — восточно-азиатскую, которая тяготеет к самотрансформации в пространственную, развиваясь при этом по принципу динамической стабильности.

Помимо пространственной структуры, которая вырисовывается в Восточной Азии, таковой можно было бы считать, строго говоря, подсистему трансатлантических американо-западноевропейских отношений, не будь ее выделение из общего комплекса внутризатлантических отношений слишком искусственным. Возможно, в отдаленной перспективе, предпосылки для пространственной организации региональной структуры возникнут на Арабском Востоке.

В чем теоретический и практический смысл предлагаемых классификаций? В том, что вырисовывающаяся в Восточной Азии структура отношений не укладывается в понятия многополярности или биполярности, поскольку для региональной стабильности и безопасности сегодня ключевыми являются не столько отношения между лидерами-полюсами (США, Россией, Китаем и Японией), сколько отношения между одной крупной державой — КНР — и рядом более мелких государств, ни одно из которых не в состоянии претендовать на роль полюса в одиночку и которые все вместе тоже не могут рассматриваться даже как рудиментарный региональный полюс. Та структура, которая складывается в Восточной Азии, построена вокруг контролируемого противостояния ревизионистского лидера, Китая, и неперсонифицированного регионального пространства в целом, основное структурообразующее звено которого — малые и средние страны.

Постановка проблемы в плоскость отношений «лидер — пространство» позволяет задаться далеко не академическим вопросом о мере структурной заданности стабильности в Восточной Азии. Иными

словами, насколько отсутствие или наличие споров и конфликтов в регионе и, что особенно важно, характер их протекания были обусловлены более или менее случайным набором обстоятельств, а насколько это зависело от особенностей региональной структуры.

В лидерских структурах основным фактором, придающим отношениям устойчивость, являются, как правило, формализованные межгосударственные обязательства в форме союзов, коалиций и блоков. Отношения между ними и в их рамках представляют собой строго заданные каналы диалога по вопросам стабильности. Как показывает опыт, такой механизм стабилизации эффективен в условиях поляризации сил в мире или регионе, когда роль «фоновых» государств остается очень малой (ялтинско-потсдамский порядок).

В случае становления пространственной структуры, с типичной для нее ослабленной формализованностью связей, роль нормативных каналов диалога существенно ниже, а сам диалог менее эффективен. Центр тяжести стабилизирующих усилий смещается в область «точечных» урегулирований конкретных, субрегионально- или даже локально-специфических проблем. В результате складывается не новая региональная структура сдерживания возникающих или устранения старых нестабильностей (как диалог НАТО — ОВД в Европе), а, скорее, негласно признаваемые и более или менее строго соблюдаемые правила международного поведения в интересах «кодификации» конфликтов. Последние при этом встраиваются в такие рамки, при которых, с одной стороны, несогласные стороны продолжают сохранять возможность взаимного выяснения отношений на основе «традиционного», то есть доступного их уровню политико-культурной организации, инструментария внешнеполитической борьбы; с другой — конфликт спорящих не имеет возможности излиться в окружающее (и в этом случае «уплотняющееся» против него) международно-политическое пространство в такой мере, чтобы представлять угрозу для существования региональной структуры в целом.

В рамках политической рефлексии, воспитанной на ялтинско-потсдамском стандарте, такой тип стабилизации может казаться недостаточно гуманным и не радикальным. Но представляется, что он воплощает иную (культурно-цивилизационно и геополитически мотивированную) тактику продвижения к предупреждению «большой войны», не через попытки устранить неустранимое — множественные территориальные, этнические и иные конфликты и противоречия в условиях «запаздывающего» социально-культурного развития азиатских регионов, — а через постепенное наращивание потенциала позитивных, прагматических, взаимноперекрещивающихся интересов, в том числе и интересов конфликтующих сторон в отношении окружающей среды и друг друга. В долгосрочной перспективе (и, возможно, не только в Азии) такой тип стабилизации может быть не менее результативным, чем он оказался в АТР.

Наконец, постановка проблемы «уплотняющегося» пространства как равноценного элемента структуры стабильности позволяет внести

больше ясности в вопрос о рациональных параметрах самоидентификации восточно-азиатских государств. Опыт показывает, что «исторические комплексы неполноценности» молодых государств давно уже стали большой проблемой, затрудняющей выработку решений по упрочению стабильности. В Восточной Азии претензии на «восстановление утраченного» присущи малым государствам (от Кореи и Вьетнама до Таиланда и Индонезии) ничуть не меньше, чем Китаю. Между тем, за исключением КНР, Японии и России, ни одно из государств Тихоокеанской Азии не способно выполнять роль чего-то иного, кроме элемента «пространства». Для региональной подсистемы не безразлично, к какой функции будут тяготеть эти страны и как они будут формулировать свои задачи — исходя из ориентации на амбициозную и сомнительную цель превращения в мини-центр силы или выбирая менее броскую, но не менее эффективную роль передающего звена, активного и влиятельного настолько, чтобы корректировать с учетом своих интересов те мощные межполюсные импульсы, подобных которым само оно производить не в состоянии.

Тем важнее — теоретически и практически — осмыслить предпосылки, историю и особенности становления восточно-азиатской структуры стабильности как структуры преимущественно пространственной, а значит, способной обладать еще не вполне понятными функциональными возможностями; проанализировать международные отношения в Восточной Азии не как сумму внешних политик больших и малых государств, а как пространственную структуру, в рамках которой четко различимо стремление к некоей не поддающейся пока точному определению коллективной субъектности.

ГЛАВА 15. «ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКАЯ ОДНОПОЛЯРНОСТЬ»

А.Д.Богачуров

«Рывок к Западу», определивший суть новой, «солидарной с США», дипломатии Путина после осени 2001 г., не отменяет объективной потребности разобраться в вопросе о международно-политической структуре современного мира. Сегодня даже пылкие антизападники в России перестают понемногу вслух убеждать в существовании в нем реальной многополярности: слишком сомнителен этот постулат на взгляд даже не больно искушенной публики. Они, напротив, стали брать на вооружение прямо противоположный тезис — идею «американского мира», *Rex Americana*, то есть пост-новой глобальной американской империи, в которой Вашингтон выступает единоличным верховным и неоспоримым вершителем мировых дел.

Содержание дискуссий вокруг проблемы «полярности» изменилось, накал же их остался по-прежнему высоким. Обилие альтернативных точек зрения указывает на серьезность отношения к этому вопросу всех главных политических сил России, основных звеньев аппарата выработки российской внешней политики, работа которых все еще остается не очень слаженной. Тем более важно спокойно проанализировать обстановку, в которой придется действовать российской дипломатии, независимо от того, кто будет задавать тон на Охотном ряду и в Кремле в ближайшей перспективе. Задача предлагаемой статьи — соотнести устремления России с объективной стороной мирополитического процесса и в самом общем виде наметить рациональные пределы назревшей, по мнению автора, модификации ее внешнеполитического курса.

I

Прежде чем решать, «с кем быть» (если с кем-то быть, конечно!), хорошо было бы разобраться в том, а что, собственно, вообще происходит. Начать уместно с вопроса о внутренней организации современного мира. Большинство исследователей полагает, что биполярной модели мира, в классическом виде сохранявшейся приблизительно с 1945 по 1991 год, не существует. Меньше единомыслия в том, какая структура международных отношений возникает на обломках прежней. Версии разноречивы. В России, однако, популярнее та, что пытается не то фиксировать, не то предвещать наступление эры многополярности.

Почти за заданность, к примеру, принимает многополярность один из ведущих отечественных экспертов стратегического анализа, С.Рогов. Его мнению созвучны подходы работающего в ключе гео-

политического анализа К.Сорокина¹. К многополярному видению если не сегодняшнего мира, то его перспективы склоняется часть зарубежных коллег. На этой точке зрения стоят серьезный американский историк (и популярный политолог) Джон Гэддис и известные в США международники Чарльз Кэгли и Грегори Раймонд, с компьютерной скрупулезностью собравшие и опубликовавшие в 1994 году своего рода «антологию многополярности» в форме развернутых цитат предшественников, перемежаемых собственными комментариями, причем, не слишком отягощенными аналитичностью². Несхожесть школ, к которым принадлежат исследователи, не мешает их работам иметь общую и озадачивающую в теоретических рассуждениях черту: отсутствие определений «многополярности» и «биполярности», хотя именно их сравнение между собой в той или иной форме подразумевается во всех обозначенных публикациях.

И тем не менее, было бы, по меньшей мере, странно приступать к анализу, не прояснив категории. Поэтому, повторяя определение, предложенное в одной из наших работ 1993 года³, отметим, что *под биполярной стоит считать структуру международных отношений, которая опирается на отрыв только двух каких-либо держав от остальных членов мирового сообщества по совокупности своих военно-силовых, экономических, политических, идеологических и иных возможностей*. Такой была мировая структура после Второй мировой войны, когда СССР и США, не будучи вполне равными между собой, вместе с тем, «ушли в отрыв» от всех других государств. Соответственно, распад СССР и быстрое сокращение возможностей уменьшившейся в размерах и ослабевшей России дали основание ставить вопрос о разрушении «классической» биполярности в результате упадка одного из ее полюсов.

В отличие от биполярности, ключевой характеристикой которой был *отрыв двух держав, для многополярности характерна примерная сопоставимость совокупных возможностей одновременно нескольких государств мира, ни одно из которых не обладает явно выраженным превосходством над остальными*. Приблизительно такой структура международных отношений была в Европе XIX века, когда европейские великие державы ревниво следили друг за другом, не позволяя ни одной из них усилиться до такой степени, чтобы коалиция всех остальных не обеспечивала им заведомого превосходства над пытающимся «уйти в отрыв» соперником.

¹ *Рогов С.М.* Россия и США в многополярном мире // США: Экономика, политика, идеология. 1992. № 10. С. 3-14; *Сорокин К.Э.* Ядерное оружие в эпоху геополитической многополярности // Полис. 1995. № 4. С. 18-32.

² *Caddis J.L.* International Relations. Theory and the End of the Cold War // International Security. Vol. 17. № 3 (Winter 1992). P. 5-58; *Kegley Ch.W., Raymond G.* A Multipolar Peace? Great-Power Politics in the Twenty-First Century. N.Y., 1994.

³ *Богатуров А.Д.* Кризис миросистемного регулирования // Международная жизнь. 1993. № 7. С. 30.

Если принять за основную черту биполярности *наличие крупного разрыва* в возможностях между двумя лидерами и остальными странами, а за типическую характеристику многополярности — *сопоставимость потенциалов* более или менее многочисленной группы лидеров, то можно хотя бы отчасти «заземлить» наши представления о текущей ситуации, то есть приблизить их к удручающей русское сознание, но реальной действительности.

Попробуем отыскать признаки многополярности в военно-силовой сфере. За последние полвека ни одна из стран мира, кроме СССР, не смогла приблизиться к рубежу военных возможностей Соединенных Штатов. Сегодня об относительной сопоставимости военных потенциалов можно с долей условности говорить лишь применительно к США и России (так называемая остаточная биполярность — очень важная, кстати, в структурном отношении). Но Соединенные Штаты имеют преимущества перед Российской Федерацией, как минимум (но не только), по таким показателям, как эффективность управления военным комплексом, его защищенность, способность к качественному совершенствованию оборонного потенциала при сохранении его количественных параметров.

Иной, но аналогичной остается ситуация в области экономики. Правда, прояснить ее сложнее из-за наличия целой подотрасли индустрии массовой информации, не менее четверти века зарабатывающей деньги на спекуляциях по поводу «упадка лидерства Америки» и ее отставания от Японии и Германии по показателям эффективности производства и темпов роста. В основе этих разукрашенных фантазиями и отягощенных скрытыми расчетами рассуждений лежат, конечно, факты. В последние 20-30 лет в самом деле происходит замедление экономического роста США на фоне более быстрого развития Японии, Германии, новых индустриальных стран (НИС) и Китая. Гигантский перевес возможностей, который существовал у США, например, по сравнению с разрушенными войной Японией и западноевропейскими странами в конце 40-х годов, сегодня уменьшился. Это позволяет говорить об ослаблении позиций США по отношению к некоторым другим индустриальным странам, или, точнее, об относительном укреплении позиций последних по отношению к США.

Но на фоне *относительного* «упадка» американской мощи сохраняется колоссальное *абсолютное* превосходство США над конкурентами. Огромная по своим параметрам американская экономика не стоит на месте. Сколь бы много ни говорилось об усилении могущества Японии, Германии или Китая, экономики этих стран по округленным исчислениям составляют от 17 (Германия) до 38 (Япония) процентов американской. Здравое ли принимать за «сопоставимость» ситуацию, когда экономически США в два с половиной — пять раз превосходят самых мощных своих конкурентов? Укрепление роли новых экономических лидеров происходит. Но оно, как представляется, сегодня все еще позволяет говорить только об истончении запасов американского превосходства над другими странами, а

не о равновесии их возможностей. Может быть, втайне понимая это, сторонники гипотезы многополярности и предпочитают уклоняться от обсуждения ее объективных критериев.

Но попытки доказать, что экономическая многополярность — не просто романтическое ожидание, все же предпринимаются. Обычный прием в этом смысле — сравнивать несравнимое. Утверждается, скажем, что многополярность в мировой экономике существует, если иметь в виду, что конкурентом США может выступать не какое-либо одно государство, а, скажем, Западная Европа в целом. Но очевидно, что в этом случае национальный центр мощи (одно государство) без долгих колебаний сопоставляется с межгосударственным конгломератом, который находится еще только на пути к приобретению надгосударственных качеств в сфере принятия международно-политических решений. Корректность такого сравнения даже не хочется обсуждать.

Да и дело не только в методе. Если все же вопреки логике добросовестного анализа сравнить США сразу со всеми западноевропейскими странами, аргумента в пользу гипотезы многополярности извлечь не удастся. Конечно, чисто формально по таким совокупным показателям, как население, территория и размер ВВП, разрыв между Соединенными Штатами и «объединенной Европой» будет не столь разительным, как при собственном межстрановых сопоставлениях. Но вопрос о соотношении влияний между несколькими источниками импульсов, регулирующих развитие мировой системы, — а именно в нем состоит смысл той или другой конфигурации международной структуры — несводим только к вопросу о наличии или отсутствии суммарного превосходства ресурсов. Ключевым условием международного влияния является прежде всего способность этими ресурсами эффективно распоряжаться, по первому требованию мобилизовывать их на нужном направлении. И в этом смысле национальное государство обладает неоспоримыми преимуществами над межгосударственным формированием, если только последнее в самом деле не приобрело способности выступать в мировой политике в качестве единого целого.

Способность Вашингтона мобилизовать сегодня американские ресурсы в интересах общенациональных задач несоизмеримо превосходит возможности Брюсселя убедить «единую Европу» выступить в мировой политике в качестве единого целого — и тем более, целого, способного бросить хоть что-нибудь похожее на политический вызов Соединенным Штатам. Судя по трудностям, с которыми сталкивается политическая интеграция стран Западной Европы, и темпам этой интеграции (35 лет понадобилось, чтобы от начавшейся с Римского договора 1957 года интеграции экономик выйти к уровню политического сближения), США, вероятно, всю первую четверть наступившего века смогут сохранять свои организационные преимущества над западноевропейским конгломератом наций, даже если тому удастся справиться с собственными противоречиями и поглощением новых претендентов на вхождение в европейское интеграционное поле.

Искусственной видится и апелляция поборников многополярности к Китаю и России. Россия намного превосходит США по территории, а США не идут ни в какое сравнение с КНР по населению. И тем не менее, по совокупности возможностей и Москва, и Пекин не могут считаться сопоставимыми с Вашингтоном. Китай и Российская Федерация при своей естественной «геополитической одаренности» способны, конечно, выполнять весьма важные роли в масштабах Восточной Азии (КНР и Россия) или даже Евразии в целом (Россия). Но они не могут выступать на равных с США комплексно, то есть по всему кругу вопросов глобальной политики и экономики. О многополярности отношений России, КНР и США можно говорить в основном только применительно к Азиатско-тихоокеанскому району. Но такая многополярность, очевидно, относится к региональному уровню и не определяет конфигурации общемировой структуры.

Возможно, больше оснований говорить о тенденции к многополярности в этнокультурном и идеологическом смысле. Заметно, что Европа, «устав» от американского культурного проникновения, поворачивается к консервированию своих традиционных культурных ориентаций. Одновременно — что серьезнее — под натиском латиноамериканской и азиатских эмиграций заметно меняется генетический код самой американской культуры, из которой с каждым поколением вымывается изначальный европейский компонент.

Но этот новый внутренний полицентризм в культуре того, что в России по традиции нерасчлененно воспринимается как «Запад вообще», во многом уравнивается доминированием американских стандартов в политике, праве и международном поведении. Американская идеология либерализма, конкуренции, демократии, плюрализма определяет сегодня стандарты, с которыми вынуждена так или иначе соотносить себя преобладающая часть государств — от Латинской Америки до Японии и от Южной Африки до Скандинавии. Компрометация коммунистических идеалов в бывшем «социалистическом содружестве», осторожная дерадикализация теоретических установок руководства КНР и медленная эволюция практики авторитаризма в странах Восточной Азии (Южная Корея, Тайвань, Филиппины, отчасти Вьетнам и Камбоджа) — все это так или иначе связано с идеологическим влиянием США. Ему пытаются противостоять многие силы. Но ни одна из них пока не в состоянии претендовать на позиции, сопоставимые с теми, что сумел приобрести в мире либеральный демократизм в его американской версии.

Нравится это или нет, США, несмотря на замедление темпов прироста своего могущества, остаются «абсолютным лидером» мира по совокупности своих возможностей. Масштабы американского превосходства не позволяют говорить о сопоставимости потенциала США с потенциалами каких-либо других государств мира. Следовательно, не очевидны основания полагать, что современная мирополитическая структура может быть описана как многополярная. Гипотеза многополярности, по-видимому, воплощает лишь один из нескольких

возможных векторов системного развития, причем не самый вероятный. Потребность определить действительные контуры структуры современного мира подвигает к необходимости преодолеть соблазнительную незатейливость противопоставления «биполярность — многополярность» и обратиться к построениям менее элементарным, но более адекватным усложнившимся реалиям.

II

Отрешиться от элементарности, однако, не так уж легко. Слишком много сказано об американском превосходстве, чтобы в сознании не стало циркулировать манящее простотой допущение: «Если мир перестал быть биполярным, а многополярным он не стал, то не пришла ли пора однополярности?» Может быть, в самом деле на планете установился Pax Americana, об угрозе которого с начала советско-американской конфронтации в 40-х годах были написаны сотни плохих, впрочем, и неплохих тоже, статей и книг?

Думается, едва ли. Нет впечатления, что сами Соединенные Штаты, конечно, не свободные от высокомерия и вселенских амбиций, готовы взвалить на себя бремя *единоличной* ответственности за происходящее в мире. Самоустранение в 1991 г. главного и самого опасного противника, которым для США был Советский Союз, открыло для американской элиты уникальную возможность хотя бы на время сосредоточить максимальную долю усилий на решении внутренних задач — прежде всего на ликвидации структурных слабостей американской экономики, на протяжении ряда лет не позволяющих ей снова увеличить разрыв, отделяющий ее от конкурентов, пытающихся догнать Соединенные Штаты. Администрация Б.Клинтона стремилась в первую очередь заниматься внутривнутриполитическими, социальными, и хозяйственными вопросами, а только потом — международными делами. Отсюда следовала заинтересованность Вашингтона в сохранении стабильных отношений с Москвой, несмотря на имеющиеся разногласия. Отчуждение между США и Россией могло бы затруднить тот грандиозный ремонт «американского дома», на который замахнулась администрация демократов и который она, надо признать, с полным экономическим успехом завершила к моменту перехода власти в 2001 г. к республиканцам — хотя экономические успехи были одержаны, как показали события 11 сентября 2001 г., на фоне крупных просчетов в сфере совершенствования политических институтов, машины государственного управления, политики в отношении этносообществ, взаимодействия государства и граждан, идеологии и практики политики «правильного котла».

Все последние полтора десятилетия, тем не менее, и при демократах (1993-2000 гг.), и при республиканцах (с 2001 г.), Соединенные Штаты стремились предпринимать все самые ответственные международные акции при максимально доступной поддержке — политико-дипломатической, организационной и материальной — со стороны возможно более широкого круга стран. Так было в Сомали и Бос-

нии, Косово и Афганистане. Американская дипломатия настойчиво добивалась, когда это было реально, санкционирования своих шагов наиболее авторитетными формальными (ООН, НАТО, ОБСЕ) и неформальными («группа семи») международными органами. В этом же ключе, несомненно, стоит понимать и «новые» отношения США и Россией (диалог Путин — Буш) в контексте борьбы с афганскими талибами в 2001-2002 гг.

В этом типе поведения, разумеется, есть доля этикета и «дипломатической психотерапии». Но, как представляется, главное все же — стремление разложить бремя ответственности и потерь на нескольких партнеров, даже ценой частичного делегирования им доли властных полномочий. Такой тип политики не характерен для гегемонии одной страны, которая и понимается под однополярностью. Значит, похоже, и версию Рах Амегисана придется признать, как минимум, недостаточной. Наступает черед более экзотических версий. Из них коснемся двух: гипотезы кольцевого строения и теории комбинированной структуры.

В самом деле, альтернативой как биполярности, так и многополярности может быть, например, кольцевая структура международных отношений. Эта концепция построена на наблюдении, смысл которого в том, что после прекращения конфронтации США и СССР в годы перестройки (1985-1991) и начавшегося сближения между двумя сверхдержавами международная структура, представлявшаяся до того в виде двух взаимно противостоящих «вздыбленных» полюсов, «распласталась» — стала плоской. СССР и США стали сближаться друг с другом, увлекая за собой в разной мере поспевавших за ними партнеров и сателлитов.

При этом в центре мировой структуры оказались наиболее развитые индустриальные страны, которые образовали собой своего рода «ядро» — источник основополагающих мироэкономических импульсов и нарастающего политического влияния. Соответственно, на окраине периферии стало складываться «внешнее кольцо» из относительно молодых государств, наиболее сильно отставших в своем развитии. Между этим «внешним кольцом» и ядром начало формироваться «кольцо внутреннее», своего рода «прослойка». Ее составляли бывшие социалистические государства Европы, сам Советский Союз, а также новые индустриальные страны. Такая модель нагляднее других воплощала идею целостности и взаимозависимости постконфронтационного мира и задавала ясную вариантность путей развития государств, входящих в то или другое «кольцо». Применительно к СССР, например, было понятно, что со структурной точки зрения ему было целесообразно стремиться к тому, чтобы закрепиться, так сказать, у внутренней оболочки первого «кольца» и сопротивляться перемещению в «кольцо внешнее»¹.

¹ Вниманию читателя эта версия была впервые предложена в 1992 году. См.: Богатуров А.Д. Самоопределение наций и потенциал международной конфликтности // Международная жизнь. 1992. № 2. С. 5-15.

Распад Советского Союза, конечно, не мог не снизить привлекательности такого варианта мировидения для русского сознания, поскольку концепция «кольцевой структуры» невольно травмирует его мучительным вопросом о реальном месте России в мировой системе (еще «внутреннее» или уже «наружное»?). Вместе с тем, она и ориентирует его на то, чтобы «пробиться» ближе к центру — цель, не достижимая без завершения начатого процесса самореформирования.

Если русского читателя такой вариант мировидения «коробит» мыслью об окраинности места России, то японского, по всей видимости, он разочаровывает «растворением» возвышающейся роли Японии в «ядре», состоящем из относительно многочисленной группы развитых государств. Во всяком случае, именно японскому теоретику Акихико Танака принадлежит концепция, в соответствии с которой мир предстает в качестве трехслойной сферы, все три пласта которой взаимно проецируются, а взаимодействие их проекций определяет фактическое положение основных мировых игроков по отношению друг к другу. В такой картине мира, естественно, оказывается тщательно выписанной специфика миросистемной роли каждой из ведущих стран, и Япония в этом смысле не может быть обойдена вниманием.

По схеме А.Танака, предложенной в 1993 году, современный мир является одновременно одно-, трех- и пятиполярным. Он является однополярным в том смысле, что только США обладают абсолютным превосходством над всеми странами мира по совокупности своих возможностей. Международные отношения трехполярны, если речь идет об экономике, причем роль экономических полюсов выполняют национальные государства (методически автор безупречен!) — США, Япония и Германия. Наконец, мир предстает пятиполярным в организационно-политическом отношении (такой критерий, насколько можно судить по доступной литературе, ранее никем не предлагался). США, Россия, Китай, Британия и Франция являются организационно-политическими полюсами мира в той мере, как эти страны обладают, как полагает А.Танака, во-первых, обширным опытом участия в управлении мировой политикой и принятии ключевых международных решений; и, во-вторых, наличием каналов и возможностей для участия в миросистемном регулировании¹.

Соразмерная элегантность такого построения лишает запала критику, которую стоило бы ему адресовать. И все же обратим внимание: автор, в сущности, предлагает — лучший из известных — вариант рассуждения в русле все той же многополярности. Делает это он, опять-таки уклоняясь от определений, избегая разговора о критериях и благоразумно предпочитая вести речь не о наступлении

¹ Tanaka A. Is There a Realistic Foundation for a Liberal World Order? // Prospects for Global Order. Vol. 2 / Ed. by Seizabiro Sato and Trevor Taylor. L.: Royal Institute of International Relations, 1993. Название «теория комбинированной структуры» предложено нами. Сам А.Танака свою концепцию не именуется никак.

многполярности, а только о распаде биполярной структуры. Поэтому, отдавая должное свежести авторских классификаций, я лично склонен ценить в теории комбинированной структуры прежде всего косвенное указание на переходность нынешнего этапа мироструктурной трансформации и, что особенно важно, предощущение *комбинированного, усложненного характера будущей миросистемной самоорганизации*. В этом интуитивном или сознательном интересе к осмыслению структурных реалий в ключе сочетания одновременно нескольких типов взаимных расположений видится достоинство теории А.Танака. И все же, как представляется, не его объяснение отражает контуры реально складывающейся модели современной структуры.

Думается, что подходящим названием для последней может быть «плюралистическая однополярность». Типологически эта структура может быть отнесена к комбинированным. Но она складывается преимущественно, в основном в рамках вектора *однополярного развития*. Это, конечно, не однополярность в чистом виде — в той мере, как источником *направляющих импульсов в мировой политике оказываются не единолично США, а Соединенные Штаты в плотном окружении стран «семерки»,* сквозь призму или фильтры которой преломляются, становясь более умеренными, так или иначе меняя свою направленность, собственно американские национальные устремления. Новая однополярность обещает быть однополярностью смягченного, «плюралистического» типа, в рамках которого сильнейшая держава мира, по-видимому, не будет обладать возможностями жесткого контроля над происходящим в той или иной части мира, хотя сможет пользоваться труднооспоримым влиянием.

На первый взгляд, такая структура походит на ту, что выше была описана под названием «кольцевой». Однако, как представляется, плюралистическая однополярность отличается от нее в двух существенных чертах. Во-первых, для «кольцевой» структуры одним из наиболее значимых конструктивных элементов было «внутреннее кольцо». Присутствие в этой «прослойке» такой мощной державы, как Советский Союз, придавало ей, казалось бы, устойчивость, усиливало ее роль, повышало, так сказать, плотность «обрамляющей» среды, внутри которой ядро индустриальных демократий могло принимать свои решения. В сегодняшней структуре мира роль «прослойки» ниже, а сама эта «прослойка» «рассыпается», «растаскивается», поскольку составляющие ее страны либо переходят на положение сателлитов «ядра», либо скатываются к позиции явных аутсайдеров. Во-вторых, и это вытекает из первого, шансы России занять отвечающую ее (завышаемым) представлениям о «надлежащем» месте позицию в формирующейся структуре хуже, поскольку ядро «плюралистически однополярной» структуры плотнее, чем «кольцевой», в той мере, как доминирование США в ней стало сильнее, а сама Россия, перестав быть Советским Союзом, — слабее.

III

Добиваться равенства прав в такой структуре, не имея равенства возможностей, тяжело. Тем труднее рассуждать о том, какой вариант внешней политики для России лучше. Возможно, правильное говорить о том, какой из них менее плох, чем остальные. Версий может быть много. Но сводимы они к трем: тот или иной вариант антизападного курса (необязательно предусматривающего открытое противостояние); «равноудаленность» между несколькими центрами международного влияния — прежде всего США и Китаем; новый вариант партнерства с Западом.

По поводу первого варианта стоит напомнить, что он-то и обрек Россию на ее нынешнее ослабленное состояние. Он может снова толкнуть страну к противостоянию с тем центром мирополитического влияния, который обещает в обозримые десятилетия оставаться самым мощным в смысле способности быть как источником угрозы, так и ресурсом технологии, капиталов, производственного и организационного опыта для российской модернизации.

Теоретически шансы восстановления антизападной перспективы в России сохраняются. Отчасти, как представляется, это связано с неспособностью умеренно либеральных сил российского общества найти правильную форму взаимодействия с волной национально окрашенных устремлений большинства населения, канализировать стихийно формирующийся русский национализм в реформистское русло. В самом деле, российские умеренные силы в обращении с национальными идеями стали не намного менее беспомощными, чем они были, проигрывая жириновцам думские выборы 1993 года. Национализм в России, между тем, делается радикальней, и оживление фашиствующих и бритоголовых в крупных и малых городах о том печально свидетельствует.

В наиболее резкой форме антизападные идеи развивают коммунисты. Это не удивляет. Любопытным кажется другое: будучи по идеологическим установкам стопроцентно *наднациональной* — в этом смысле «антинациональной», — компартия в антизападной пропаганде стремится «подмять» под себя русскую национальную идею. Поразительно и то, что простые граждане России сегодня, как никогда, чувствительные к национальной тематике, склонны выказывать поддержку этой партии, порой не отдавая себе, очевидно, отчета во вненациональном смысле ее призывов, замаскированных условно национал-патриотической риторикой. И уж совсем обескураживает то, что умеренно-либеральные силы как будто даже не пытаются обратить внимание российской аудитории на очередные несообразности между национально окрашенными ожиданиями масс и наднациональными лозунгами как левых, так и неоимпериалистов. Тем самым центристские силы общества без конкуренции уступают крайним флангам контроль над тем, что, по-видимому, будет оставаться наряду с экономической неудовлетворенностью одним из главных движущих моментов политических процессов в России — новым национальным сознанием русского большинства.

В какой-то мере это объяснимо. Сознание российской элиты отчасти еще смутно понимает различие между национальным и наднациональным началами в российской политике, отчасти в силу разных соображений не стремится его акцентировать. Между тем, на уровне государственной идеи выражением первого является установка на развитие Российской Федерации как *национального многоэтнического государства*, подобного вполне жизнеспособным Франции, Великобритании, Канаде. Воплощением же второго были погибшие империи (Романовых и Габсбургов), а также построенный на наднациональной идее пролетарского братства и тоже не выживший Советский Союз. Такое сопоставление само по себе указывало бы на уязвимость программы КПРФ и, соответственно, способно было отвлечь от нее какую-то часть избирателей, если бы, конечно, умеренно-реформистские силы имели собственную сколько-нибудь продуманную и учитывающую ожидания масс программу в национальном вопросе.

Со своей стороны на Западе, похоже, не видя разницы между коммунистическим и неоимперским вариантами государственного строительства в России, с одной стороны, и национально-государственным — с другой, с одинаковой подозрительностью относятся к любым попыткам осмысления российской патриотической темы в позитивном ключе, характеризуя их как «националистические», а в западной традиции этот имеет остро негативный смысл.

Между тем умеренно-либеральная версия национализма в России — своего рода «русский голлизм» — могла бы, как мне думается, стать консолидирующей политической философией, по крайней мере, для того этапа реформ, на котором вероятность внутреннего раскола особенно велика. Такой национализм мог бы сочетаться с концепцией развития России по пути национального государства, а не наднациональной империи, типологически в большей мере, чем национальное государство, предрасположенной к саморасширению и в этом смысле более угрожающей для международного сообщества. Наконец, этот вариант лучше бы сопрягался с потребностью сохранить конструктивные экономические и иные отношения с передовыми странами. Если потребностью и перспективой России остается модернизация, то стране требуется сотрудничество, а не противостояние с западными государствами. Об этом свидетельствует даже опыт Китая, страны гораздо более, чем Россия, «антииностранный» вообще и антизападный в частности. Но, словно по иронии, именно на Китай ссылаются противники «прозападной ориентации» России как на пример удачного проведения внешнеполитической линии «равноудаленности», следовать которой призывают представители не только зюгановцев, но даже «Яблока».

В самом деле, «равноудаленность» как схема может обладать привлекательностью. Во-первых, она легка для усвоения: в памяти сразу всплывают «ученое» выражение «баланс сил» и мысль о приписываемой ему способности обеспечивать мир и стабильность. Во-вторых, эта схема как бы подразумевает многополярность — а в позиции

слабости, в которой находится Россия, многополярность искушает иллюзией многообразия выбора. Но реальность грубее. Вероятно, в Пекине это сознают предметнее, чем в Москве. Во всяком случае, несмотря на слова о «равноудаленности», произносимые в КНР, по крайней мере, с 1982 года, никакого «равенства» в отношениях Китая с Россией, с одной стороны, и западными странами и Японией — с другой, не существует. Пятнадцать лет происходит быстрое наращивание экономических, научно-технических, а избирательно — еще и военных, связей КНР с Вашингтоном. Все это — на фоне сначала враждебных, затем дружелюбных, но ни в какое сравнение не идущих с китайско-американскими, связей Китая с Москвой. Совокупный уровень сотрудничества КНР с США, Японией и западноевропейскими государствами настолько явно превышает развитие отношений КНР с Россией, что ни о каком «выравнивании» в этом смысле просто не может быть речи. Да в Пекине никто и не скрывает, что именно развитие сотрудничества с Западом и Японией, а не с Россией, является для КНР приоритетным.

В России же энтузиасты сближения с КНР «назло Америке», как видно, готовы перейти грань разумного. За последние три года Россия подписала с КНР два соглашения о военном сотрудничестве, в соответствии с которыми осуществляются поставки в Китай российских вооружений и технологии. Детали этих соглашений держатся в секрете, подобно тому, как в середине 50-х годов секретными были советско-китайские соглашения о сотрудничестве в области использования ядерной энергии, открывшие путь к китайской ядерной бомбе. Оправданны ли попытки прийти к «равноудаленности» между Китаем и Западом таким рискованным образом, и чем это может обернуться в будущем для безопасности Российской Федерации?

Единственное преимущество, которое сегодня Россия имеет перед Китаем в области международных отношений, — ее более тесные политические связи с Западом. Этот относительный выигрыш стоил нам больших потерь, но все же это выигрыш. Ошибкой было бы лишиться его просто из желания продемонстрировать Западу свое раздражение его политикой. Нельзя не видеть, что огромный, набирающий силы и перенаселенный Китай представляет собой вызов в первую очередь не для США и стран НАТО, а для самой России, по отношению к которой КНР объективно выступает в роли самого грозного геополитического соперника, которого она когда-либо имела на Евразийском материке со времен татаро-монгольского нашествия.

Даже с «чисто» структурной точки зрения «равноудаленность» по отношению к США и КНР предстает абсурдом: удалиться Россия может разве что от США, но Китай с его четырьмя тысячами километров границы с Россией всегда останется «нависать» своей демографической громадой над полубезлюдными территориями русского Дальнего Востока. Можно понять стремление найти альтернативу раздражающей зависимости от США. Но на сегодняшний день «равноудаленность» — это только словесная фигура для обозначения того,

что на практике не может не оказаться заменой зависимости России от (передового, насытившегося и не угрожающего потерей территорий) Запада на зависимость от (относительно отстающего и склонного к «мирной колонизации» русских земель в Приамурье и Приморье) Китая. Назревшими для России кажутся размышления не о перспективе «отдаления» от западных партнеров, а о выработке тех темпов, форм и условий сотрудничества с ними, которые учитывали бы текущую ситуацию, исторические озабоченности, национально-психологические особенности и фундаментальные интересы России, не меняя принципиальной установки на сотрудничество с передовой частью мира.

Такая линия может означать рационализацию политики Кремля в духе философии «разумного эгоизма» и национального интереса, усиление ее привязки к специфическим устремлениям России, а также признание неизбежности сопутствующих трений, разногласий и противоречий в отношениях с западными странами. Эти противоречия сегодня вполне различимы — от несовпадения позиций сторон в отношении игнорирующей тревоги Москвы расширения НАТО на восток, подключения России к западным структурам безопасности до, в общем-то, второстепенной для российско-западных отношений, но болезненной проблемы балканского конфликта или вопроса о ситуации в Чечне. Вопросы национальной психологии, государственного престижа, реально или мнимо ущемляемых интересов безопасности, остро переживаемый рост уязвимости по отношению к внешнему миру — все это сплавлено в современной российской политике с потребностью завершить реформы, модернизировать страну, вывести ее из состояния слабости, не разрушая рационального ядра национальной идентичности. В таком сложном политико-психологическом контексте России и ее партнерам предстоит найти обновленную формулу своих отношений.

Можно предположить, что темпы взаимного сближения сторон в обозримой перспективе могут замедлиться, а связи — временами даже топтаться на месте. Процесс взаимной адаптации слишком сложен, чтобы и Россия, и западные партнеры были и дальше готовы легко соглашаться друг с другом буквально во всем. По-видимому, этап эпически грандиозных, исторических решений в основном пройден. Началась пора кропотливой, упорной работы по взаимной притирке, в ходе которой приходится признавать, что России как более слабой стороне, по всей видимости, придется уступать больше. Но это не значит, что российская дипломатия не должна спорить, проявлять упорство и настойчивость, «до хрипоты» торговаться по каждому конкретному вопросу, решение которого может ущемлять интересы Федерации. Тем более что психологически перспектива политики «вечно-го согласия» с более сильными партнерами начинает вызывать внутри страны достаточно острое эмоциональное отторжение. Оттого, вероятно, и стоит предвидеть замедление темпов сотрудничества с целью выиграть время, необходимое для психологической адаптации.

Значит ли это, что пришло «время уклоняться от объятий» (Еккл., 3, 5)? Видимо, нет. Как не пришло оно и для того, чтобы в

объятия бездумно бросаться. Категоричные обобщения не кажутся здесь уместными. Думается, России важно сохранить себя в качестве партнера Запада. Но стоит отдавать отчет в том, что партнерство будет трудным. Из не в меру покладистого «нового знакомого» нашей стране, возможно, предстоит вырасти в разумно строптивного, но совершенно необходимого Западу надежного партнера. Партнера, который будет вправе рассчитывать на какие-то привилегии. «Особость» партнерских отношений с Западом, которой, по-видимому, следовало бы добиваться Кремлю, вероятно, не будет равнозначна восстановлению сверхдержавного статуса Москвы. Но положение пусть самого «трудного», но постепенно набирающего «вес» партнера Запада кажется предпочтительнее роли его озлобленного и слабеющего соперника. Во всяком случае, до той поры, когда возможное саморазвитие мирового расклада и/или интригующе противоречивая внутренняя эволюция самих Соединенных Штатов не откроют иных альтернатив.

* * *

В истории бывали и, возможно, будут и впредь ситуации, когда лучшая политика — не зависеть ни от кого. Сегодня, когда Россия слаба, а мир, следуя собственной логике, стремится преодолеть разобщенность в неприятной для нас форме «плюралистической однополярности», упования на самодостаточность и нестесненность во внешнеполитической сфере представляются утопичными. Нравится это кому-то или нет, США — лидер современного мира и опора его нынешней «плюралистически однополярной» структуры. Это может (и, наверное, должно) быть кому-то не по вкусу и тревожить. Но это было бы неосторожно игнорировать. Формы новой модели мира еще не затвердели. Задача России может состоять в том, чтобы внести свою лепту в ее формирование, попытавшись сделать новую международную структуру более плюралистической и менее однополярной.

ГЛАВА 16. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ОТ МИРОПОРЯДКА К МЕЖДУНАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МИРА

Н.А.Косолапов

Глобализация, интенсивно развернувшаяся с последней трети XX века (как бы ни определять ее сущность, направленность, текущие и перспективные итоги), есть некий порядок современных отношений в мире (подчеркнем: отношений, не тождественных международным и не сводящихся только к последним). Всякий же порядок предполагает организацию и невозможен помимо нее. В этом смысле порядок есть всегда конкретная форма организации или самоорганизации. Поэтому и глобализация не только может потребовать со временем некоего организационного оформления, но уже сама объективно создает его.

Поскольку глобализация мировой экономики, политики, военного дела, коммуникаций, науки и культуры так или иначе затрагивает все важнейшие сферы современной жизни, то и привносимые ею новые организационные вызовы, факторы, последствия наблюдаются также во всех сферах: во внутренней жизни государств, в международных отношениях и на «стыке» внутренней, внешней и международной деятельности государства¹. Из многообразия организационных аспектов и последствий глобализации предметом анализа в данной статье является лишь одна, но крайне важная их разновидность — международно-политическая, прямо и непосредственно связанная с оформлением глобализации как определенного мирового порядка.

Вопрос: что это за миропорядок, как можно определить его тип и природу, общую направленность и наиболее вероятные тенденции развития на пересечении теории международных отношений (поскольку речь идет прежде всего о них), теории организации (поскольку мы говорим о некоем порядке) и политической теории (поскольку этот порядок предполагает, скорее всего, некое его оформление в праве, механизмах и институтах глобальных политических отношений)?²

В российской литературе и политической публицистике заявлены на протяжении 1990-х годов три взгляда на природу глобализации и характер ее международно-политического оформления. Одни (главным образом геополитики и выраженные националисты) усматривают в глобализации лишь форму мирового лидерства, доминирования или даже господства США, сложившуюся к концу XX века преимуществен-

¹ Внутреннее подпадает под данный суверенитет; внешнее — то, что под данный суверенитет не подпадает; международное — то, что не подпадает ни под один из суверенитетов.

но вследствие исчезновения бывшей второй сверхдержавы — СССР, — и трансформации тем самым биполярного мира в монополярный.

Значительно более многочисленная и внутренне разнообразная когорта исследователей (включающая экономистов, международных политологов, экологов, видных представителей естественных наук) видит в глобализации обусловленный объективными причинами процесс и качественный этап мирового развития, не зависящий или в малой степени зависящий от эгоистических интересов, побуждений, политик отдельных стран или групп государств, не исключая США.

Наконец, третьи (к их числу принадлежит и автор) полагают, что имеет место сочетание объективной динамики мирового развития с более или менее четко заявленными, подкрепляемыми практически претензиями США на направление такого развития, лидерство (а по возможности и необходимости — прямое доминирование) в нем. В рамках этого подхода нередко высказывается мысль, что современный мир слишком многогранен и сложен, чтобы в нем стало возможным господство какой-то одной державы (что в принципе не исключает, однако, возможности «коллективного господства» группы ведущих стран, своего рода «государств-олигархов»).

Каждый из названных подходов фактически является гипотезой предстоящего мирового развития и диктует свои, разные до противоположности, выводы и рекомендации для политики России в вопросах национальной безопасности, выбора стратегии развития и отношений с внешним миром, включая отношение к глобализации.

Если «глобализирующийся мир» — не более чем эвфемизм для обозначения мирового доминирования или господства США, то все остальные государства (включая Россию, ВВП которой не превышал на протяжении 1990-х годов 7-8 процентов от американского), могут существовать в такой системе лишь в подчиненном, подавленном, угнетенном положении. Не обладая экономическим потенциалом, чтобы напрямую противостоять давлению и диктату США, такие государства не должны быть заинтересованы и в том, чтобы излишне ревностно включаться в процессы глобализации (кроме случаев, когда выгоды участия реальны и несомненны, или же когда нажим США не оставляет этим странам иной альтернативы). Если глобализация — лишь форма мирового господства США, то в долгосрочной перспективе все или большинство государств должны быть заинтересованы в свержении их господства, подрыве процессов глобализации, обращении их вспять. А значит, должны крайне сдержанно относиться к политическому закреплению глобализации как миропорядка, блокировать, де-факто саботировать по возможности его формирование и функционирование.

Если же глобализация — обусловленный объективными причинами процесс и качественный этап мирового развития, то в интересах любой страны по возможности раньше, полнее присоединиться к нему, войти в него, занять в нем значимое для себя место и использовать открываемые глобализацией возможности в целях собственных

роста, развития. Такая заинтересованность стран в глобализации не только законна, неэгоистична; она закономерна и, более того, необходима для естественного продвижения самой глобализации. А государства должны быть заинтересованы и в том, чтобы придать глобализации такое международно-политическое оформление, которое позволяло бы максимизировать позитивную отдачу глобализации в пользу стран-участниц подобного глобального миропорядка, одновременно сводя до возможного минимума ее сопутствующие издержки. Конечно, мир не был бы ни идеальным, ни свободным от конфликтов; в нем еще долго сохранялось бы фактическое доминирование и, вероятно, лидерство США; но он принципиально отличался бы от описанной выше «модели» господства одной державы.

Наконец, сочетание более или менее выраженного доминирования США с теми элементами глобализации, что обусловлены объективным ходом исторического развития, ставило бы большинство стран мира перед необходимостью как-то ограничивать имперско-эгоистические притязания и поползновения США (что, очевидно, будет непростой задачей) и одновременно содействовать процессам глобализации в той их части, которая наиболее отвечала бы интересам конкретных государств. Поскольку, однако, эти интересы существенно различны, можно уверенно прогнозировать неизбежность стратификации стран по социально-экономическим, политическим, многим иным критериям, что объективно открывает для США возможности проведения классической политики «разделяй и властвуй» с закреплением наиболее важных для США и Запада в целом ее аспектов в нормах международного права и институтах мирового порядка (включая «принуждение к миру» и управление последствиями международных конфликтов).

Проблема международно-политической организации все более глобализирующегося мира, таким образом, актуальна политически и практически; многовариантна по возможным траекториям ее эволюции; неизбежно сопряжена с самыми серьезными последствиями и выводами для национальной безопасности и перспектив развития всех стран современного мира (включая, разумеется, Россию); и при этом не ставилась и не исследована специально как проблема организации и/или самоорганизации в отечественной и мировой литературе.

Цель статьи — проанализировать в предварительном порядке методом «идеальной модели» (М.Вебер) проблему международно-политической организации глобализирующегося мира; оценить наличие необходимых и достаточных к тому предпосылок, достигнутый к рубежу XX-XXI веков уровень (этап) такой организации; а также теоретически возможные пути формирования и типы (модели) его потенциальной организации в среднесрочной (в пределах 2010 г.) перспективе. Это предполагает, что будут определены ключевые для нашего анализа категории: «организация» (а также «социальная» и «международно-политическая организация»), понятие организации применительно к международным отношениям, категории «мировой порядок», «международные отношения», «глобализация».

Заявленный анализ потребует также рассмотрения (вынужденно общего) понятия и сущности глобализации; диалектики глобализации и целостности мира; основных, отчасти противоборствующих, но и взаимодополняющих тенденций в постсоветской системе международных отношений — исторически непрекращающейся борьбы между субъектами мировой политики и международных отношений (геополитической), в целом стихийного, но закономерного развития мира (эволюционной) и осознанно направляемого развития (интеграционной); а также тех форм (моделей), которые могут принять в обозримой перспективе процессы самоорганизации и организации в международной сфере. Статья не ставит цели и задач систематизации или анализа научных и особенно политических подходов к рассматриваемой проблеме.

I. Международные отношения как процесс самоорганизации социально-исторического развития

Вопрос, как правило, игнорируемый специалистами по проблемам мировой политики и экономики — на какой шкале времени должны или фактически рассматриваются международные отношения¹. Они могут анализироваться в четко обозначенных временных рамках (текущее состояние отношений; их эволюция или тенденции за определенный, но не «безразмерный» период). Тогда изучаемые отношения предстают как некий комплекс взаимодействий между их субъектами, чаще всего государствами. При этом конкретные государства в силу исторически значительной продолжительности их существования (за отдельными, подтверждающими правило исключениями) предстают как относительно неизменный или медленно, редко меняющийся компонент международных отношений, тогда как сами эти отношения на подобном фоне кажутся весьма динамичными, подвижными, изменчивыми. Это впечатление подкрепляется непосредственным опытом: исчезновение лишь одного (правда, заметного) государства — СССР — в корне изменило всю систему международных отношений, хотя во всех остальных странах даже отдаленно похожих перемен не произошло.

Но международные отношения можно, правомерно и необходимо рассматривать также в рамках исторического процесса, как явление, а не только привязанную к определенным эпохе, периоду, этапу конкретизацию этого явления. При таком подходе ясно обозначаются принципиально значимые функции и свойства, качества международных отношений, трудно улавливаемые или неразличимые в повсе-

¹ О роли времени в социально-исторических процессах, о теории и методологических аспектах проблемы социального времени см. первую в отечественной и одну из лучших в мировой литературе работу И.М.Савельевой и А.В.Полетаева «История и время. В поисках утраченного» (М., 1997). См. также: Косолапов Н.А. Политико-психологический анализ социально-территориальных систем. М., 1994. Гл. 5; Политическая психология. М., 2000. С. 62-88.

дневности. Весь пройденный человечеством путь — это история становления одних социумов, этносов и государств и разрушения других. Причем и то, и другое неизменно происходило и происходит через сферу международных отношений, в теснейшем переплетении и взаимовлиянии внутренних для данного общества, внешних по отношению к нему и международных факторов. При этом как отдельные общества, особенно наиболее сильные и влиятельные из них, воздействуют на характер, структуру, специфику международных отношений своего времени (но никогда не определяют все это целиком и полностью), так и сами международные отношения влияют на положение, развитие, внутреннюю жизнь каждого общества, причем сильнее всего именно тех обществ и стран, которые играют наибольшую роль в данной системе отношений.

Социально-историческое развитие народов, стран, государств и развитие международных отношений оказываются неразделимы. Нетрудно показать, что без и помимо международных отношений никакое социальное развитие отдельно взятых этносов, равно как и мировое развитие в целом были бы невозможны¹. Международные отношения при этом обеспечивают стимулы, мотивацию, а во многом и ресурсы для развития; оказываются специфической сферой общения, посредством которой становится возможным и реализуется развитие их субъектов и самих международных отношений; и одновременно выступают верификатором и мерилom развития, расставляя субъекты сообразно их реальным духовным и материальным достижениям. Таким образом, международные отношения оказываются во всех этих смыслах осязаемым путем и процессом социально-исторического развития: не его умозрительной, концептуальной схемой, но реальной жизнью во плоти и, очень часто, крови.

В таком случае всякая организация международных отношений тем самым выступает и как организация социально-исторического процесса, мирового развития. Естественно, эти взаимосвязи никогда не были и вряд ли будут механическими — слишком сложны и крайне растянуты во времени процессы, о которых идет речь. Тем не менее, такие взаимосвязи не могут не существовать. Отсюда следует вывод принципиального значения: невозможно понять, охарактеризовать с научными полнотой и достоверностью международные отношения любого конкретного периода (их содержание, направленность, специфику), не соотнося их с соответствующим этапом социально-исторического развития мира и его основных субъектов, а также с исторической эволюцией международных отношений как явления в целом.

В нередком игнорировании необходимости такого соотнесения — причины незавершенности, неубедительности всех попыток опре-

¹ См. статьи автора: Международные отношения как специфический тип общения // *Мировая экономика и международные отношения*. 1999. № 6; Развитие международного общения и кодификация международных отношений // Там же. 1999. № 10; Международные отношения и мировое развитие // Там же. 2000. № 2.

делить международные отношения, исходя из них самих, как явление в себе. Вот несколько весьма характерных в этом плане примеров (в порядке их появления в печати). В самом конце 1950-х гг. один из иерархов теории международных отношений К.Уолтц центральный их признак усматривал в «беззаконной анархии», отсутствии здесь какого-либо общепринятого закона¹. Десятилетие спустя другой американец, Р.Мастерс полагал, что «мировая политическая система во многих отношениях напоминает первобытную», хотя и замечал, что «уж если мы говорим о международной анархии, хорошо бы не забывать, что мы имеем дело с анархией все-таки упорядоченной»². Его статья так и называлась: «Мировая политика как первобытная политическая система». Мощную поддержку оказывала подобным взглядам — и сама на них держалась — господствовавшая всю вторую половину XX века теория «политического реализма». Ее основоположник Г.Моргентау в шестом издании давно числящейся классической работы повторил то, что провозгласил еще в первом: «Государственные деятели мыслят и действуют в терминах интереса, определяемого как сила. [Поэтому — Н.К.] Мировая политика есть политика силы»³. Там, где правит сила, международные отношения не могут быть ничем иным как анархией, хотя и «относительной», соглашается новый авторитет американской теории международных отношений М.Нинчич⁴ уже на финише 1980-х. Наконец, вышедший в 1998 г. словарь «Международные отношения» определяет свой предмет как «все виды взаимодействий между базирующимися в пределах государства субъектами, осуществляемые с пересечением государственных границ (all interactions between state-based actors across state boundaries)»⁵. Парадоксально, но межгосударственные отношения, кажется, вообще выпадают из подобного понимания отношений международных, интуитивно воспринимаемых авторами «Словаря» явно как хаотические (а иными они и не могут быть, если включают все — от политики до частной активности граждан, в том числе преступной).

Все приведенные определения (и десятки других, им подобных) объединены несколькими общими признаками. «Международное» для их авторов и сторонников тождественно или синоним «трансграничного». «Международные отношения» отождествляются с «мировой политикой», то есть рассматриваются в предельно конкретных их выражениях, а не как явление. При этом сами отношения оказываются абсолютно или решающим образом лишены какого-либо упорядочи-

¹ Waltz K. Political Philosophy and the Study of International Relations // Fox W.T.R. (ed) Theoretical Aspects of International Relations. Notre Dame, 1959. P. 51.

² Masters R. World Politics as Primitive Political System // Handrieder W. (ed) Comparative Foreign Policy: Theoretical Essays. N.Y., 1971. P. 229, 230.

³ Morgenthau H. Politics Among Nations. 6th edition. N.Y., 1985. P. 37.

⁴ Nincic M. Anatomy of Hostility. N.Y., 1989. P. 24.

⁵ Evans G., Newnham J. Dictionary of International Relations. L., 1998. P. 274.

вающего их начала, любых, даже наиминимальных и наислабейших форм их организации. Но тогда неизбежен вопрос, чем международные отношения древнего мира принципиально отличались от современных? Если же возникновение международных отношений связывать лишь с появлением современного государства (то есть изолировать их по существу от всей истории, за исключением последних 300-200 или даже менее лет), то тогда тем более непонятно, как такие, уже достаточно развитые отношения между относительно высокоразвитыми субъектами вписываются в те их определения, что цитировались выше?

В любом случае, при взгляде на международные отношения в их отрыве от мирового развития и эволюции этих отношений как явления неправомерна сама постановка вопроса о международно-политической организации чего-либо. Кроме того, неизбежны и серьезные сомнения по поводу того, имеет ли глобализация какое-либо значение для международных отношений: ведь если последние до сих пор никак не зависели от достигнутого уровня социально-исторического развития мира и субъектов международных отношений, логично ожидать, что подобное положение сохранится и впредь. Несостоятельность каждого из этих допущений представляется самоочевидной.

Но в теории международных отношений существует иной подход к определению ее предмета. При многих различиях между школами и авторами этого направления (основу которого составляют различные вариации системного и системно-структурного подходов) истоки его восходят к работам М.Каплана, взявшего за основу взгляды У.Росс Эшби. Международные отношения предстают тут некоей целостной системой (следовательно, им изначально присущи как способность к организации, так и потребность в ней, и некоторый ее, пусть даже минимальный, уровень). В рамках целостной системы (как бы она не определялась и не описывалась) ведущую роль играют подсистемы и структурные компоненты — а значит, международные отношения по определению не могут быть тождественны ни межличностным, ни любым трансграничным. Это отношения особых качества и сложности, возможные и возникающие только между специфическими субъектами: государствами, интеграциями, транснациональными корпорациями, международными организациями. Главный объединяющий эти субъекты признак — все они сами являются достаточно продвинутой, сложной (притом самой сложной для своего времени) формой социальной организации¹. Принципиально значимой чертой международных отношений оказывается, таким образом, то, что они осуществляются между социальными структурами, сложными социальными

¹ О системных подходах к исследованию международных отношений см.: Современные буржуазные теории международных отношений. М., 1976. С. 216-251, 301-333; Поздняков Э.А. Системный подход и международные отношения. М., 1976; Система, структура и процесс развития современных международных отношений. М., 1984.

субъектами¹ (о других признаках ниже). Тогда постановка вопроса о международно-политической организации процессов международной жизни не просто правомерна, допустима; она неизбежна и необходима для понимания международных отношений, логики и направленности их эволюции в реальном и историческом времени.

Автором было в свое время предложено следующее определение: международные отношения суть отношения, связи, вообще любые взаимодействия внутренне хотя бы минимально оформленных, организованных социумов, осуществляемые в духовном, социально-политическом и физическом пространствах, в которых еще не выработаны, не установились никакие стандарты, критерии, нормы общности либо процессы их выработки, признания и закрепления носят еще исторически начальный характер, а фактические итоги и продукты таких процессов качественно, как минимум, на порядок отстают от достигнутого во внутрисоциальных отношениях². Суть и смысл международных отношений, однако, не в закреплении навечно подобного порядка вещей, но в том, что по мере их осуществления и через них осуществляется развитие каждого из участников отношений и мировой системы в целом.

Тогда международные отношения как явление возникают, когда появляются хотя бы два внутренне оформленных социума, добровольно или вынужденно вступающие в постоянные взаимодействия, отношения друг с другом. Международные отношения как явление исчерпывают себя, если и когда ранее участвовавшие в них социумы объединяются в единое, властно оформленное целое, где все связи, отношения и взаимодействия формально с момента объединения, а фактически даже раньше (иначе не возникало бы необходимости в объединении) принимают внутренний характер. Естественно, оба эти крайних состояния — идеальные модели; реальные международные отношения и их субъекты обычно пребывают в промежуточном между описанными «полюсами» положении.

Одно из преимуществ приведенного выше определения — в том, что оно приложимо к (так понимаемым) международным отношениям любой эпохи и тем самым открывает путь к дефиниции яв-

¹ Под сложным социальным субъектом часто понимают организацию, выражая такую трактовку в праве — категорией «юридического лица», в экономике — «хозяйствующего субъекта», в теории политики — «субъекта политического процесса», в теории международных отношений — «актора». В традиции советского истмата было принято считать субъектами народ как творца Истории, класс, партию и т.п. Вместе с тем совокупность некоторого числа людей не обязательно образует целостный социальный субъект. Анализ этого вопроса см.: Косолапов Н.А. Политико-психологический анализ социально-территориальных систем. М., 1994.

² См.: Косолапов Н.А. Теория международных отношений: предмет анализа и предмет теории // Мировая экономика и международные отношения. 1998. № 11.

ния (а не только его конкретных случаев) и увязке анализа текущих отношений с изучением исторической эволюции явления в целом.

Если некое организованное и организующее начало неотъемлемо присуще международным отношениям, то принципиальное значение обретает вопрос, вносится ли оно в фактические отношения стихийно или же возникает как следствие и/или результат целенаправленной и осознанной деятельности людей (институтов, государств). Иными словами, о каком типе организации — стихийной самоорганизации, направляемой организующей воле или сочетании того и другого, — должна идти речь применительно к рассматриваемой проблеме.

Вопрос соотношения стихийного и осознанного начал в истории, включая международные отношения — одна из сложнейших философских проблем, вряд ли имеющая решение в нынешней, механистической ее постановке. Тем более неразрешима она в рамках отдельной статьи. Но поскольку вопрос «глобализируется ли мир “сам”, или же его преобразуют в этом направлении люди?» принципиален для нашего анализа, ограничимся изложением нескольких общих предположений.

Стихия начинается (или сохраняется) за текущими пределами сочетания знаний, информированности, практических возможностей и потребностей социума. Ключевые слова — «текущие», «сочетания», «социума». Знания, информированность, возможности человека хотя исторически возрастают, но в реальном масштабе времени нередко переживают периоды регресса. Мера их действительности определяется сочетанием, одновременным наличием всех необходимых предпосылок: информация нуждается в опоре на знания; знания «не работают» без конкретной информации и опоры на реальные возможности (включая социальные условия); последние могут дать ожидаемый результат лишь если применяются сообразно знаниям и предметной информации. Чтобы такое применение состоялось, в нем должна быть социальная потребность. Все элементы для достижения результата должны быть в распоряжении данного социума, а не «человечества вообще», притом быть доступны ему «здесь и сейчас».

Правомерно предположить, что при прочих равных условиях, чем о более масштабных и сложных процессах идет речь; чем крупнее вовлеченные в них социальные, материальные и иные ресурсы; чем более отдален во времени ожидаемый результат; чем более долгие и масштабные усилия нужны для его достижения — тем проблематичнее достижение сочетаемости всех перечисленных выше условий «здесь и сейчас» применительно к обществу, государству, региональной группировке, тем более мировому сообществу; тем, следовательно, большую роль будет играть стихийное начало; и тем значительнее, по всей вероятности, должен быть эффект «аккумуляции стихии» и приносимых ею итогов по мере удаления во времени от начального момента приложения человеком некоего направляющего воздействия на те или иные процессы.

Конечно, человеку свойственно стремиться к тому, для чего в его современности нет (а возможно, никогда не будет) необходимых

условий. Социальные утопии, химеры, одержимости — не только опыт самонадеянности, невежества, нравственного примитивизма, а подчас и преступлений. Это еще и путь социально-исторического познания, и плата за него: опровергая свои более ранние неверные гипотезы, человек выходит не только на новое знание, но и на новые иллюзии, заблуждения и гипотезы. Насилюя историю, ставя социальные и иные эксперименты, время которых не пришло или никогда не наступит, мы не избавляемся от стихийности, но умножаем ее, добавляя к стихии естественной и неизбежной ту, что порождена реакцией внешнего мира на человеческие авантюризм, полужнание, безответственность.

Применительно к явлению и процессам глобализации, о сути которой ниже, такой подход позволяет видеть наличие и субъектов, заинтересованных в глобализации, стремящихся продвигать ее в желаемом для них направлении (а примерно с рубежа 1980-х гг. — и «антиглобалистов», стремящихся затормозить, повернуть ее вспять), и многочисленные и многообразные объективные процессы, толкающие мир в сторону глобализации. Не отрицая и не преуменьшая роли осознанного, целенаправленного, субъективного начала, автор все же убежден, что по крайней мере до настоящего времени стихийному началу принадлежала в процессах глобализации ведущая роль.

Прежде всего, весь ход мирового развития, включая развитие государств и иных социумов, субъектов международных отношений, на всем протяжении истории были и пока остаются в целом стихийными. Человек способен осознанно ставить и преследовать свои интересы и цели в конкретном масштабе времени. Он постепенно раздвигает его рамки — от сиюминутных к средне- и даже долгосрочным. Однако он до сих пор не получил (и, видимо, в обозримом будущем не получит) всего комплекса условий, которые позволяли бы сделать осознанной и направляемой (не говорим «управляемой», это еще более трудная задача) его деятельность в историческом масштабе времени. Только в самые последние десятилетия (и пока в небольшом числе случаев и с весьма скромными итогами) человек начал пробовать выстраивать свою активность с учетом возможных последствий и ожидаемых результатов с расчетом на 30-50 лет вперед.

Но и на конкретной шкале времени даже наиболее развитым и могущественным странам подвластно далеко не все. Мир не стал пока колонией Соединенных Штатов; а если бы это произошло, у США и в мире нет пока теории управления столь громадной системой (одна из причин распада СССР — отсутствие такой теории и для управления достаточно крупным государством); не нашлось бы у США достаточных ресурсов для удержания своего господства насилием. Но главное, подобная суперимперия рухнула бы по тем же причинам, что и все прочие империи в истории: от того, что ее элиты, уверовавшие во всемогущество и безопасность свои и своей страны, погрузились бы в сведение собственных внутриэлитных счетов.

Другими словами, глобализация — не заговор злонамеренных сил, но в основе ее объективный процесс, конечно, допускающий его

эгоистическое использование отдельными участниками, группами участников. Однако «оседлать» и использовать можно лишь реальный, не искусственный процесс. Мир глобализируется, а не его глобализируют; и мир сопротивляется вторжению нового.

II. Понятие организации и социодинамика международных отношений XX века

Организацию как явление можно рассматривать в трех аспектах:

— как некоторый порядок в отличие от хаоса — вид, тип такого порядка, то есть организации;

— как процесс продвижения к некоему порядку, постепенно нарастающего ухода от хаоса — стадия, этап, фаза организации. Такой уход может быть стихийным, направляемым или смешанным;

— и как промежуточное состояние, достигаемое и удерживаемое в ходе этого процесса — уровень организации. Хаос не вполне преодолен, но некий порядок уже просматривается¹.

Ясно, что на пути от хаоса («ноль порядка») к порядку («ноль хаоса») неизбежны промежуточные качественные состояния (условно, 90% хаоса и 10% порядка; 70 и 30; 50 и 50; 30 и 70; 10 и 90). Каждое из таких состояний качественно отличается от смежных, тем паче далеко от него отстоящих. Промежуточное состояние, которое затягивается на достаточно длительное время, может казаться и объективно выступать стабильной формой порядка: его переходность станет очевидной лишь спустя десятки, иногда сотни лет.

Международные отношения, возникнув глубоко в древности как «дикое поле», в котором не было и не могло быть никаких законов, никакой власти (хотя бы лишь власти обычая), где допускалось все, стали движением от «100% хаоса» к некоторому условному «порядку», конечные контуры которого еще неясны, однако сам факт нарастания которого при историческом взгляде на мировое развитие не вызывает сомнений. Постепенно складывались обычаи торговых обменов, войны и перехода к миру, поддержания «дипломатических» контактов. Позже наступило время «длительных переходных состояний», причем каждое из них становилось своего рода международным порядком: империи древности и их распад; формирование региональных, а затем мировых религий; возникновение христианства с позднейшей секуляризацией созданных им социальных институтов, включая международные (Европа начиналась как Христиания); «классический» военно-экономический колониализм; европоцентристский миропорядок 1815-1938 гг. (с Венского конгресса до Мюнхена); США-центристский миропорядок, переход к которому открыла вер-

¹ Различные подходы к пониманию явления организации и ее типов см. в трудах М.Вебера, Н.Винера, У.Росс Эшби, У.Тоффлера, а также А.Н.Аверьянова, Н.М.Амосова, А.А.Богданова, И.В.Блауберга, И.Пригожина, В.Н.Садовского, М.И.Сетрова, Э.Г.Юдина и др. См. также интересный для нашего анализа сборник «Концепции самоорганизации в исторической ретроспективе» (М., 1994).

сальско-вашигтонская (1918-1939) и продолжили ялтинско-потсдамская (1945-1989) и постсоветская (с 1991 г.) системы международных отношений.

Вряд ли необходимо здесь доказывать, что по мере развития международных отношений с древнейших времен и до конца XX века в них в целом нарастал уровень упорядоченности, организации (другой вопрос, какими средствами это достигалось, какие формы принимало, какой ценой и кем оплачивалось и к чему приводило). На этом пути стихийно возникали достаточно продолжительные периоды устойчивого состояния важнейшей для данных эпохи, периода части международных отношений. Со временем такие периоды обретали характер некоторого международного (со становлением капитализма — мирового) порядка, даже получали собственное наименование. В этом смысле миропорядок можно определить как четко идентифицируемый во времени, в физическом и международно-политическом пространствах период, на протяжении которого остаются неизменны состав системообразующих субъектов международных отношений; конфигурация отношений, связей и взаимодействий между ними; а также те пределы и возможности, которые этот порядок объективно устанавливает для всех остальных субъектов и участников системы международных отношений.

Начало очередного миропорядка задавалось исторически итогами крупнейших войн и/или связанными с ними внутренними переменами в ведущих (то есть в прошлом просто сильнейших) странах: поражениями одних, возвышением других, распадом или образованием империй. Как следствие, в сравнении с предшествующим миропорядком прежде всего резко менялся состав ведущих субъектов международных отношений: на смену одному набору «великих» приходил другой. Не менее важно и то, что менялась конфигурация связей между участниками такого набора: бывшие союзники становились соперниками, прежние враги нередко вступали в союзы друг с другом. Состав группы ведущих субъектов международных отношений мог оставаться неизменным, а становление нового миропорядка обуславливалось переменами в типе и содержании отношений между ними (так произошло при переходе от версальско-вашигтонской системы к ялтинско-потсдамской). Конец данного миропорядка наступает, когда начинается зримый процесс взрывообразных нарастающих перемен в его главных характеристиках, подготовленный накопленными итогами эволюционного развития в период и условиях господства этого миропорядка. Исторически крах текущего миропорядка наступал с началом крупных войн между его участниками и/или распадом некоторых из них.

Специфика миропорядка как явления в том, что он сочетает в себе черты устойчивости, стабильности, то есть собственно порядка, и переходности как периода накопления и реализации предпосылок для очередного продвижения в сторону более высоких форм организации, соответствующих усложняющейся (У.Росс Эшби) и развивающейся общественной жизни, как внутренней, так и международной.

Различие между миропорядком и системой международных отношений — в мере и месте в процессе усложняющейся стихийной самоорганизации: порядок предполагает относительно высокие ясность и четкость структур, связей зависимости, правил; система отношений в этом смысле более лабильна, но именно поэтому одна система может пережить несколько смен порядков. Поэтому с позиций организационной науки система международных отношений не может быть производна от мирового порядка: система способна переживать смену порядка; но порядок вряд ли может менять системы — тогда это были бы уже другие как система, так и сам ее порядок. Система международных отношений в целом меняется с качественными переменами не столько в составе ее субъектов, сколько в их внутренней природе¹.

Однако международные отношения есть отношения социальные, а потому к рассмотренным выше аспектам следует добавить критерии и признаки особого вида организации — социальной.

Понятие «социальной организации» употребляется также в трех смыслах (от узкого к широкому):

— как функциональный элемент в обществе — институт экономики, политики и пр.;

— как вид деятельности, ведущей к созданию такого рода институтов и/или повышению упорядоченности существующих в обществе связей;

— и как степень, уровень внутренней упорядоченности, согласованности всех и/или определенных связей, отношений, структур в обществе.

Важнейшими функциями любого типа социальной организации обычно называют интеграцию и социализацию субъектов в систему отношений данного общества; упорядочивание и социальный контроль действий и деятельности субъектов в важнейших для общества сферах; выработку и осуществление единых для данного социума целей, власти, а также средств его сплочения².

Международные отношения на всем их протяжении развивались именно как социальные, обнаруживая все перечисленные выше тенденции и признаки, совокупность которых ведет к формированию собственно социальной организации. Однако для завершенности этого процесса им не хватает пока целостного общества, в котором и по отношению к которому функции социальной организации проявились бы в полных объеме и качестве. Но развитие международных отношений идет исторически в этом направлении. XX век и особенно его вторая половина стали временем, когда исторически аккумулярованные итоги такого развития не только проявились со всей очевидностью, силой, но и, в свою очередь, интенсифицировали само это развитие.

¹ Система, структура и процесс развития современных международных отношений. М., 1984.

² См.: Новейший философский словарь. Минск, 1998. С. 652.

Если вынужденно кратко, в одном абзаце суммировать итоги мирового развития и динамики международных отношений за весь XX век, то при всех колебаниях и зигзагах это развитие шло по пути:

- формирования взаимосвязанности и целостности мира;
- становления и последующей эволюции формальных структур международных отношений (ООН, ВТО, МВФ, ОЭСР и др.);
- демократизации внутреннего устройства основных субъектов международных отношений и самих этих отношений;
- нарастания диапазона, масштабов и объемов регулирования различных сторон международной жизни;
- признания в принципе права всех народов на суверенитет, но и одновременно нарастающее ограничение фактической возможности государств использовать суверенитет как оправдание произвола;
- постепенного смещения акцента с межгосударственных войн на создание и развитие систем международной безопасности;
- ухода от неопределенности как способа предотвратить или отсрочить агрессию к стабильности и предсказуемости отношений и мирового развития в целом.

В последней четверти века в мировом развитии возникли новые, исторически беспрецедентные проблемы: устойчивого развития мира и перехода к нему; предотвращения межцивилизационных конфликтов; противодействия международно-организованной преступности; поиска подходов к взаимоувязанному достижению стабильности, безопасности и развития. Оставляя в стороне вопрос, как могут и будут решаться эти проблемы, подчеркнем главное для этого анализа: международные отношения и мировое развитие в целом на протяжении XX века не только обретали все более многочисленные, глубокие и необратимые признаки и функции, свойственные явлению социальной организации, но и к концу века явно подошли к качественно новому их рубежу. Не в последнюю очередь рубеж этот обязан своим появлением процессам и первым последствиям глобализации.

Что вносит в международные отношения и в мировое развитие явление глобализации, как воздействует оно на течение, сущность и формы их (само)организации, какие требования к ним предъявляет?

III. Понятие и сущность глобализации

Существование глобализации как явления само по себе не вызывает сомнений и никем не оспаривается. Однако определение глобализации представляет немалые научные трудности, усугубляемые политическим звучанием проблемы, стоящими за ней беспрецедентными по масштабу и концентрации интересами как материального, так и в не меньшей степени идеологического характера. Наличие этой мощной заинтересованности в глобализации обуславливает явно намеренную переоценку реального значения глобализации в современном мире. Данное утверждение не следует понимать как отрицание явления и его значимости: и то, и другое присутствует, но искусственно раздувается и однобоко, наигранно-оптимистически оценивается в угоду

крайне эгоистическим финансово-экономическим и идеологическим интересам.

Осознание того, что человечество вступило в эпоху глобализма и стоит перед принципиально новыми для себя проблемами, началось на рубеже 1960-х гг. с известных докладов Римского клуба и было продолжено в 1970-е гг. экологами в русле работ по устойчивому развитию. Однако в те десятилетия представители обоих направлений не связывали или лишь минимально связывали свои предупреждения с проблематикой международных отношений.

Первыми об явлении глобализации в связи с мировой политикой и международными отношениями заговорили с 1970-х гг. экономисты. Все они так или иначе зафиксировали главное, что возникло к этому времени в изучаемой ими сфере: транснациональные корпорации, этот закономерный итог концентрации производственного и финансового капитала, достигли оборотов, в разы превышавших ВВП большинства государств; а кроме того, через свою транснациональную деятельность получали возможность уходить из-под национального регулирования, контроля со стороны государственных и общественных структур «материнской» страны, манипулировать уплатой налогов. Их ресурсы позволяли ТНК влиять (как объективно, так и намеренно) на внутреннее положение в десятках государств, темпы и направление их развития, фактически ограничивая тем самым суверенитет таких государств. В совокупности все это означало, что в международной жизни утверждаются новые центры принятия решений и практической власти, способные влиять на правила игры и даже формировать их на глобальном уровне, притом не только в сфере экономики. Появление электронных финансовых инфраструктур, открывших возможности за считанные часы и минуты перебрасывать десятки и сотни миллиардов долларов спекулятивного капитала из одних стран и/или регионов в другие де-факто перечеркнуло суверенитет большинства государств современного мира¹.

1980-е и особенно 1990-е гг. стали периодом нарастающей критики сложившегося положения с позиций идей социал-демократии, экологизма и научного неприятия неолиберализма как неспособного

¹ О финансово-экономической глобализации и ее влиянии на роль государств и международную систему см.: *Bryan L., Farrell D.* Market Unbound: Unleashing Global Capitalism. N.Y., 1996; *Cerny Ph. (ed.)* Finance and World Politics. Aldershot, UK, 1993; *Dicken P.* Global Shift. Transforming the World Economy. N.Y., 1998; *Held D., McGraw A., Goldblatt D., Perraton J.* Global Transformations. Oxford, 1999; *Smith D.A., Solinger D.J., Topic S.C. (eds.)* States and Sovereignty in the Global Economy. N.Y., 1999; *Stubbs R., Underhill G. (eds.)* Political Economy and the Changing World Order. N.Y., 1994; *Wallerstein I.* The Politics of the World Economy: The States, the Movements, and the Civilizations. Cambridge, 1984; *Yergin D., Stanislaw J.* The Commanding Heights. The Battle Between Government and the Marketplace That is Remaking the Modern World. N.Y., 1998.

по сути его справиться с проблемами, выдвигаемыми глобализацией¹. Тем самым объективно расширились понимание первопричин и последующих процессов глобализации, представления о масштабах и направленности этого явления, его последствиях и связанных с ним опасностях и угрозах, равно как и открываемых им возможностях. В целом итоги этой, еще только разворачивающейся дискуссии можно суммировать в позитивной их части следующим образом.

Объективное содержание глобализации составляют разнородные по их происхождению, сферам проявления, механизмам и последствиям процессы, что позволяет и требует рассматривать глобализацию как качественно самостоятельную, сложную систему явлений и отношений, целостную в ее системности, но внутренне весьма противоречивую. В литературе чаще всего указывается на несколько зримых источников всех или части тех процессов, которые в совокупности и образуют явление глобализации в целом. Это:

— стабильные, долговременные отрицательные экологические и иные последствия хозяйствования человека на Планете, достигшие во второй половине XX века масштабов, чреватых опасностями не только осязаемо близкого истощения невозобновимых природных ресурсов, но и непрогнозируемой по ее последствиям мутации всей биосферы Земли, включая человека (геоисторически сложившийся экологический баланс необратимо сдвинут, смысл и содержание стихийно идущего ему на смену еще предстоит постигать);

— развитие всех и всяческих коммуникаций, инфраструктур и отношений, ведущее к такой степени социальной взаимосвязанности и взаимозависимости мира, когда весьма многочисленные еще признаки социально-исторической дикости личности, конкретных обществ и современного человека как рода в целом перестают быть проблемами изолированных «медвежьих углов» и становятся общей проблемой всего человечества, угрожающей его безопасности, перспективам его восходящего развития и самому сохранению жизни на Планете;

— появление первых субъектов мировой экономики и политики (транснациональных корпораций; государств; межправительственных организаций), сочетание интересов, способностей и возможностей которых требует от них и позволяет им действовать глобально в одной или нескольких сферах жизнедеятельности на повседневной основе («субъектов глобальных отношений»);

¹ Сошлемся лишь на несколько из десятков работ последних лет: *Baker D. et al. (eds.) Globalization and Progressive Economic Policy. Cambridge, Mass., 1998*; *Falk R. Predatory Globalization. A Critique. Oxford, 1999*; *Germain R.D. (ed.) Globalization and its Critiques: Perspective from the Political Economy. Basingstock, 2000*; *Henderson H. Beyond Globalization: Shaping a Sustainable Global Economy. L., 1999*; *Mander J., Goldsmith E. (eds.) The Case Against the Global Economy and for a Turn Toward the Local. San Franc., 1996*; *Martin H.-P., Schumann H. The Global Trap. L., 1997.*

— отдельные действия и в целом активность таких субъектов (прежде всего США, но не только), направленные на обеспечение их текущих интересов и целей, но главное, на закрепление и упрочение их доминирующего положения в мировой экономике, политике и/или отдельных их сферах через монопольную конкурентоспособность таких субъектов на глобальном уровне соответствующей деятельности.

Но все это — лишь зримая часть явления глобализации, основу которого образуют, как представляется, единство капитализма в его наивысшей к настоящему времени стадии развития; техносферы как наивысшего материального результата всей предшествующей эволюции человечества; и начавшихся процессов функциональной стратификации государств в зависимости от того, какое место они занимают в системе обеспечения потребностей техносферы.

Капитализм, далеко эволюционировав от того, каким он был еще 30-40 лет назад, не говоря о более ранних периодах, в самом конце XX века завершил формирование целостного мирового хозяйства, вобрав в сферу его действия весь земной шар, чем вплотную подвел планету и прежде всего самого себя к необходимости политического оформления этих новых реалий. Беспрецедентных масштабов достигли концентрация и централизация капитала, повлекшие (наряду с иными факторами) появление сложных организационных структур, потребных как для обеспечения жизнедеятельности капитала в современных условиях, так и для контроля государства и общества за ним — и с его стороны за обществом и государством в десятках стран мира.

Главным итогом XX века и всего развития цивилизации за все время ее существования стало пришедшее именно на XX столетие становление техносферы как искусственной среды жизнедеятельности человека. Ее специфика — не просто чрезвычайно высокий уровень развития технологий и техники, материального производства, науки, вооружений; не просто обусловленные всем этим уровень и качество жизни населения образовавших техносферу государств. Центральные особенности техносферы как явления тройки. В ведущих промышленно развитых государствах население не имеет реальной возможности вернуться в случае социальной катастрофы к доиндустриальному образу жизни, не рискуя при этом физическим вымиранием огромных масс людей. Ведущие экономические центры техносферы (США, Япония, ЕС) способны сохранить свое значение и само существование, лишь опираясь на освоение и использование пространственно-ресурсного потенциала всей планеты, подстраивая его под свои потребности и интересы, подчиняя целям, задачам, процессу этого освоения свои связи с экономиками других стран и регионов, а следовательно (в разной мере), и сами эти экономики. Наконец, техносфера конца XX века и все с ней связанное в корне изменили природную среду обитания человека, причем возврат к доиндустриальной глобальной экологии уже в принципе невозможен (некоторые авторы в этой связи говорят не просто о техносфере, но техноценозе, теснящем биоценоз — биологические формы жизни на планете).

Техносфера служит материальной основой явления и процессов глобализации в нескольких отношениях. Она возникает на базе уже достаточно масштабных и развитых международного разделения труда, кооперации, интернационализации различных видов деятельности. Она вызывает к жизни и развивает новые глобально взаимосвязанные виды и типы деятельности во всех сферах экономики, науки, культуры; порождает необходимые ей финансовые потоки, организационные структуры, не останавливаясь перед границами государств; делает глобально ощутимыми многие традиционные проблемы (ибо культура субъектов стала важным фактором функционирования и надежности техносферы¹); рождает свои специфические экологические и иные глобальные последствия. Она ведет к закреплению иерархии государств по их месту в системе функциональных связей техносферы с внешним для нее миром; меняет место государства во всем описанном комплексе отношений, включая международно-политические, встраивая государство в новую для него систему глобальных связей и зависимостей, размывая традиционный суверенитет государства и дополняя его регуляцией по «вертикали» от внутригосударственного района, региона через само государство — к региону международному, к межгосударственной интеграции и глобальному регулированию (уже в ряде сфер существующему).

Техносфера тяготеет к формированию концентрических кругов ее обеспечения. Такие круги образуют: (а) собственно техносфера как совокупность наиболее развитых («постиндустриальных») государств, находящихся друг с другом в определенных структурных отношениях; (б) страны-реальные претенденты на скорое вхождение в техносферу по достигнутому уровню развития или по исполняемым для техносферы жизненно важным функциям; (в) страны, необходимые техносфере как источники энергоресурсов и сырья и/или как наиболее емкие рынки и незамещаемые другими странами в этих качествах; (г) замещаемые страны, функции которых по отношению к техносфере могут выполнять (вместе или по отдельности) другие страны и/или территории на, в принципе, тех же для техносферы экономических и иных условиях и с теми же практическими результатами; (д) страны, безразличные для существования и жизнедеятельности техносферы (ныне или вообще); (е) страны, ныне или в перспективе враждебные к техносфере и/или входящим в нее государствам и подкрепляющие эту враждебность действиями и/или наличием потенциала нанесения ущерба.

Было бы самонадеянно полагать, будто становление техносферы как явления направлено лишь на обеспечение комфорта и процветания человека. Да, какие-то социальные слои и страны обеспечивают

¹ См.: Fukuyama F. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. N.Y., 1996; Lal D. Unintended Consequences: The Impact of Factor Endowments, Culture and Politics on Long-Run Economic Performance. Boston, 1999; Lodge G., Vogel E. (eds.) Ideology and National Competitiveness. Boston, 1987.

себе благополучие в рамках современных капитализма и техносферы. Но это — не более чем частное использование стихийного процесса, по природе его не могущего иметь целей. Одно из двух: или цель будет поставлена — и тогда процесс из стихийного должен быть превращен в осознанный и полностью управляемый, глобально регулируемый (для чего нет и в обозримом будущем не возникнет необходимого знания, не говоря об иных предпосылках). Или же процессы глобализации еще долго будут сохранять в основе их стихийный характер — и тогда долговременные их объективные итоги и последствия не могут и не будут измеряться в категориях осознанно поставленных целей.

Полагая последнее более вероятным, сущность глобализации как явления правомерно, видимо, усматривать в том, что она объективно влечет человека к неизбежности необратимой смены среды обитания и жизнедеятельности с естественной на искусственную. Подводит и тем, что создает необходимые для этого познавательные, технологические, материально-культурные заделы. И тем, что все более сильно и необратимо разрушает естественную экологию Земли, исчерпывает исторически наиболее доступные человеку природные ресурсы Планеты. И тем, что в обозримой перспективе оставляет ему две генеральных стратегии хозяйственного поведения, не требующие безусловного отказа от капиталистической общественной модели: массивное освоение Мирового океана и/или массивный же хозяйственный выход в Космос (причем, по-видимому, первое должно предшествовать второму; но то и другое невозможно без создания искусственной среды обитания и жизнедеятельности человека). Часто упоминаемая с рубежа 1980-х гг. третья стратегия — «устойчивого развития» — нереализуема в рамках неолиберализма и объективно требует перехода к своего рода «пост-капитализму»¹.

Научное понимание глобализации должно, видимо, исходить из осознания общности и различий группы явлений (и соответствующего им понятийного ряда), непосредственно смежных глобализации. Таким понятийным рядом, на мой взгляд, является «интернационализация — регионализация — единый и целостный мир — глобализация». Явления, отраженные перечисленными понятиями, объединены тем, что все они суть выход множества ранее внутривострановых процессов за пределы границ отдельно взятого государства. Различия же — в условиях и времени возникновения соответствующих явлений, в их сущности, конкретных и социально-исторических функциях, в наборе субъектов процессов, в масштабах, глубине и интенсивности явлений, а также в их непосредственных и долговременных

¹ См.: *Hawkins P., Lovins A. Natural Capitalism. Creating the Next Industrial Revolution.* Back Bay Books, 2000; *Henderson H. Creating Alternative Futures: The End of Economics.* Kumarian Press, 1996; *Rugman A. The End of Globalization: A New and Radical Analysis of Globalization and What it Means for Business.* L., 2000.

итогах и последствиях. Здесь нет возможности подробно остановиться на всех перечисленных параметрах, поэтому обрисую лишь контуры названного понятийного ряда и вошедших в него категорий.

Интернационализация предполагает выход чего-то ранее сугубо внутреннего за начальные рамки; или же объединение действий нескольких субъектов мировой экономики, политики вокруг общих для них задач, целей, вида деятельности. Она в принципе универсальна по охватываемым субъектам и пространству, хотя не обязательно вовлекает всех или почти всех участников международной жизни. В некоторых случаях она способна достигать (и достигала) подобных масштабов. Но чаще и эффективнее интернационализация развивается на локальном уровне и/или в приложении к отдельным сферам, видам, направлениям деятельности. Интернационализация как явление должна была исторически проявиться весьма рано, по сути одновременно с появлением первых четко оформленных социально-территориальных структур (городов, прагосударств, т.п.). Конкретно-функциональные ее аспекты и последствия доминируют над структурными. Главная ее функция — обеспечение устойчивых международных связей в реально существующем мире.

Регионализация часто рассматривается как характерный признак мировой экономики и политики конца XX в. (что справедливо). Но без и помимо явления регионализации вряд ли могли сложиться и устоять средние и крупные государства древности и средневековья, да и нового и новейшего времени. Видимо, история складывается как последовательность циклов «стягивания» и разрушения государств, иных субъектов мировой экономики и политики; и регионализация — одна из форм стадий «стягивания», суть которой в формировании на основе и посредством развития интенсивных и глубоких для своего времени интернациональных связей новых, более крупных интеграций (социально-территориальных систем) — союзов, конфедераций и пр. Субъектами регионализации могут быть только ведущие для своего времени субъекты международных отношений и их агенты, действующие на основании полученных от таких субъектов прав и полномочий.

Единый и целостный мир тоже, скорее всего, не порождение XX в.: в каких-то формах он должен был периодически заявлять о себе и раньше. Единство и целостность мира — не мгновенно обретаемое качество. На пути к тому и другому возможны и неизбежны различные этапы и степени достижения того и другого. Кроме того, объективно складывающиеся единство и целостность мира могут долгое время не осознаваться как таковые современниками; и напротив, восприятие (религиозное, идеологическое, нравственно-этическое, иное) мира как цельности может далеко обгонять реалии. Единый и целостный мир — качество не только мира, но и ведущих в нем цивилизаций, признак их духовной и/или материальной экстравертности. Такой мир — как и регионализация — возможный, но не неизбежный результат развития процессов интернационализации в различные исторические эпохи; результат, циклически пересматриваемый, чтобы

оказаться воспроизведенным вновь на новых витках исторической спирали.

Глобализация содержательно охарактеризована выше. Интернационализация — историко-эволюционная подготовка глобализации, в операциональном смысле — прямое и непосредственное преддверие последней, которая не могла бы возникнуть, если бы ей не предшествовали масштабные, долговременные, всеохватные процессы интернационализации, подготовившие материальную, когнитивную, политическую основу для глобализации. Если явление интернационализации различных видов деятельности, отношений, процессов обмена и развития существует столько, сколько сами международные отношения, то глобализация как явление сложилась во второй половине XX в. Причем субъектами глобализации, как и в случае с интернационализацией, оказываются в принципе весь спектр субъектов современных экономики, политики, международной жизни (но разные типы субъектов играют в процессах глобализации далеко не одинаковую роль).

Но все это — лишь зримая часть явления глобализации, основу которого образуют, как представляется, единство капитализма в его наивысшей к настоящему времени стадии развития; техносферы как наивысшего материального результата всей предшествующей эволюции общества и его производительных сил; и начавшихся процессов функциональной стратификации государств по месту, которое они занимают в системе обеспечения потребностей развитой части мира.

IV. Глобализация и целостность мира как его самоорганизация

Глобализация есть и следствие ранее достигнутой целостности мира, и сама интенсифицирует процессы становления и развития такой его целостности. Последнюю можно рассматривать во многих аспектах. Очевидно, в одних сферах и смыслах мир был целостен всегда и в ином качестве просто не мог бы существовать: физические единство и целостность планеты, взаимосвязанность и взаимообусловленность идущих в ней и на ней процессов, включая климат, геологию и т.п.

В других целостность мира находится в процессе становления и/или развития, пребывая в некотором умозрительном промежутке «от... до» (биологические формы жизни не всегда прямо и непосредственно соприкасаются друг с другом); отсюда вопрос, является ли экология мира целостной по ее внутренней биологической природе, а не по внешним воздействиям на экологию в целом.

Но совершенно особый пласт целостности мира составляет все связанное с человеком и его деятельностью. Духовно мир целостен тысячи лет, с тех пор как древние люди попытались охватить все мироздание своим воображением, дать ему некое общее истолкование. Духовная целостность мира должна была пройти через несколько качественно разных этапов. Первая «арена» такой целостности — психика индивида, впервые поднявшего голову к звездам. О чем он «думал», что чувствовал, мы уже никогда не узнаем. Но ясно, что такая мироцелостность заканчивается со смертью индивида и не имеет

объективированного продолжения. Видимо, сменились сотни поколений, прежде чем идея целостности мира отразилась в наиболее ранних, дорелигиозных формах веры: у всех так называемых «примитивных» народов есть легенды о сотворении мира и рождении этого народа как едином акте творения.

Первые мировые религии придали этим легендам завершенность, отлили их в социально устойчивые формы, которые уже не исчезали с гибелью человека или народа, но достаточно надежно передавались из поколения в поколение, от народа к народу. Особую роль в том, что идея целостности мира и Вселенной органично вошла в наше сознание, сыграло на заре европейской цивилизации христианство с «заложенными» в него основами рационалистической мысли и, главное, с присущей ему «дихотомичностью» отношений между Богом и людьми. С одной стороны (исторически именно она надолго оказалась на переднем плане), человек — высшее из живых существ, между ним и Богом уже никого нет. Сын Божий, как известно, был человеком. Отсюда идут психологические и когнитивные корни антропоцентризма, приведшие в конце XX века к глобальной экологической катастрофе («человек — царь природы»). С другой — которая в последнее время привлекает повышенное внимание специалистов и верующих — Бог создал (организирующее начало) из хаоса мир, в том числе самого человека. То есть человек — неотъемлемая и подчиненная часть акта Творения и его результата — мира и жизни. Христианство в этом смысле — предельно «мироцелостная» и «эколого-ориентированная» из мировых религий.

По мере исторического развития общества, знаний и опыта духовная целостность мира выступает одновременно в трех взаимосвязанных ее качествах: как результат опыта и познания (средствами эмоции и рациона); как совокупность идеологических систем (религиозных, донаучных, пострелигиозных, др.); и как саморазвивающаяся система индивидуальной и социальной психики, способная существовать только в условиях и в процессе развития. Но духовная целостность мира сама по себе еще не достаточна для возникновения феномена глобализации. На ее пути лежат огромные исторические преграды, преодоление каждой из которых требует качественных сдвигов в развитии мира и человека.

Первая такая преграда психологическая: готов ли человек в повседневной его жизни и деятельности реально следовать тому, что мы сегодня называем «общечеловеческими интересами и ценностями»? Или же в его психике, сознании и поведении на первом плане были и остаются интересы и ценности, нормы и критерии личные, клановые, групповые, классовые, этнические, конфессиональные — какие угодно, но не общечеловеческие? Ответ применительно к началу XXI века самоочевиден (о более ранних эпохах не говорим). И дело не в «несознательности» человека и не в «ложности» общечеловеческих начал, но в привязанности человека к определенному месту в физическом, социальном и когнитивном пространствах, в локальности всех жизненно необходимых ему связей и отношений.

Здесь и скрыта вторая преграда к реальной мироцелостности. Пока жизненно необходимые человеку связи и отношения не обретут глобального или хотя бы мирового масштаба и характера, сознание и поведение его будут неизбежно противоречить той мироцелостности, что вытекает из его же мировоззрения, веры, идеологии. Условия жизни в материальной их части должны вначале достичь мировых масштабов, сформировать соответствующие психику и поведение; лишь при этих условиях материально-деятельностная мироцелостность в практике человека сможет соединиться с духовной.

Освоение целостности мира через материальную деятельность человека сильно отстало от духовной мироцелостности. По сути, оно пришло с капитализмом: началось с хозяйственной колонизации им планеты (то есть с эпохи колониальных захватов) и только во второй половине прошлого, XX века стало обретать те современные черты и проявления, которые на уровне здравого смысла обычно воспринимают как признаки глобализации (экономическая взаимосвязанность мира, всеохватность и всезначимость главных его финансовых потоков, коммуникаций, стандартизация образования, культуры и т.п.).

Особым воссоединением духовной и материально-деятельностной целостности мира стало появление ядерного оружия, а также опасных и крупномасштабных производств и инфраструктур (металлургия, химические производства, трубопроводы, АЭС, открытые карьеры и пр.): они заставили элиты осознать необходимость самоограничений, в противном случае последствия могут оказаться катастрофичны для них самих и их социального положения (мир в целом их никогда по-настоящему не волновал; не заботит и сегодня).

Нет необходимости доказывать, что рассматриваемая подобным образом и одновременно на трех качественно разных уровнях анализа — неживой мир как физико-химическое явление; живой мир во всех биологических его формах; социальный мир, выступающий, в свою очередь, как (а) духовная деятельность человека, (b) материальная его деятельность и (с) организационные формы жизнедеятельности — мироцелостность предстает явлением внутренне противоречивым во многих смыслах: внутри каждого из уровней; на стыках между ними; и в разных масштабах времени (кратко-, средне-, долгосрочном; историческом; геофизическом и др.). Внутренняя противоречивость, видимо, не просто нормальна для любой сложной системы, но служит неперенным условием ее способности к развитию.

В дальнейшем изложении, если не оговорено иное, нас будет интересовать прежде всего социальная целостность мира, притом в ее международно-политических проявлениях, формах, компонентах. Это обусловлено природой и формами современной глобализации, в центре которой политические, правовые, иные противоречия между институтом суверенного государства и взрывающимися этот институт социально-экономическими силами: транснациональными корпорациями, организованной преступностью и сепаратизмом. В совокупности все это и создает специфику современных международных отношений

как исторически переходных от системы суверенных государств к более сложной организации человечества.

Правомерно полагать, что глобализация и целостность мира — две диалектически взаимосвязанные стороны современного мирового развития. Интернационализация всех сфер деятельности человека во второй половине XX столетия, вкупе с научно-, военно-технической, информационной революциями, качественно меняла взаимозависимость мира, вызвав к жизни, поддерживая и усиливая тенденции к его целостности. Но последняя невозможна в завершённом ее виде вне и помимо глобализации, которая выступает как видимая и осознаваемая часть объективной целостности мира; как такая часть практики человека, которая непосредственно материализует для него явление мироцелостности и все его последствия.

Глобализация есть продвижение к большей, более высокой целостности социального мира; но одновременно и определенный этап такого продвижения (никоим образом не последний). По-видимому, глобализация подготавливает социальный (в отличие от научного, исследовательского, военного и т.п.) выход человечества в космос: в противном случае она была бы этапом «проедания» и «доедания» им невозобновимых ресурсов планеты, началом весьма долговременного (на поколения вперед) периода торможения мирового развития или даже нисходящего развития человека как рода.

Процесс формирования материальной и социально-политической целостности мира и его глобализационные составляющие, видимо, носят циклический характер. И хотя графики их циклов неочевидны, здравый смысл подсказывает, что за этапом достаточно интенсивного продвижения глобализации должен следовать период относительного: внешне — торможения, отката; а по сути закрепления достигнутого. Такое закрепление и отделяет просто изменения от развития.

Но и с поправкой на цикличность процесса, и с оговоркой, что отдельные этапы циклоподобного движения могут растягиваться на десятилетия, целостность не может рано или поздно не востребовать какой-то ее организации: именно наличие последней отличает всякую целостность от хаоса, ибо целостность предполагает обретение этим целым свойств и качеств, не присущих образующим его частям по отдельности. Глобализация как процесс, охвативший все важнейшие сферы (экономику, финансы, безопасность, культуру), не может не затребовать международно-политической ее организации: появление в мире множества центров принятия решений о правилах игры и центров фактической власти является не хаосом, как часто думают, но одной из стадий Истории как процесса социальной самоорганизации рода. Вопрос не в том, произойдет международно-политическая организация глобализирующегося мира или нет, а когда и в каких формах. Другой вопрос — о каком из рассмотренных выше типов организации должна идти речь и что именно является объектом и предметом организации: глобализация как таковая (в какой ее части?), межгосударственные отношения (в части, непосредственно связанной с глобализа-

цией) или международные отношения, как мы определили их выше? Напомним, что нас в данном случае интересуют международно-политические аспекты процессов организации или самоорганизации глобализирующегося мира.

V. Самоорганизация глобализирующегося мира: постиндустриальный колониализм, стихия или направляемое развитие?

Очевидно, нарастающая целостность мира и глобализация как ее высшее практическое выражение в принципе не могут быть совместимы с представлениями о международных отношениях как «диком поле», динамика которого определяется лишь борьбой за власть и влияние, а качественная эволюция международных отношений как явление по этой причине вообще отсутствует. Во-первых, как было показано выше, международные отношения уже давно ушли от состояния «дикого поля». Во-вторых, если бы они продолжали в таком поле пребывать, то хаос и броуновое движение, чем является любое подобное поле, исключают целостность и могут длительно сохраняться, лишь если поддерживаются (удерживаются) внешними для них силами. В-третьих, в международные отношения «пускают не всякого», они доступны для определенного типа субъектов данной эпохи. А это значит, что они по определению предполагают наличие какой-то упорядоченности и ее критериев, каковы бы ни были то и другое, позволяющих различать, что относится в данных исторических условиях к таким отношениям, а что нет (так, убийство американца в России или россиянина в США не влечет риска войны между двумя государствами, хотя способно иногда вызывать на время сложности в их взаимоотношениях).

С образования государств как ведущей формы территориальной организации социумов и до настоящего времени межгосударственные отношения остаются важнейшей частью международных отношений. На какое-то время они даже практически затмили собой международные, вытеснили собой почти все конкретное содержание последних. При этом в собственно межгосударственных отношениях долгое время еще продолжали действовать законы если не «дикого поля» в полном смысле слова, то минимальный набор сдерживающих сил и факторов, особенно социального свойства (нормы, правила, институты). Модель «международных — суть — межгосударственных» отношений правомерно назвать «двухмерной» или «плоскостной», поскольку: (а) участники отношений однотипны — государства как институт (хотя и разные при этом по специфике их внутреннего устройства); (б) отношения разворачиваются в еще не сложившемся социальном пространстве, где «ничего нет» (норм, правил и пр.) или почти нет; (в) конкретное содержание отношений меняет со временем набор участников и связи между ними, но на шкале текущего (не исторического) времени как бы оставляет без изменений саму эту модель отношений в целом.

Коль скоро отношения в рамках двухмерной/плоскостной модели складываются стихийно, а единственный регулятор стихии — сила,

то такая модель наиболее адекватно описывается геополитическими концепциями с их упором на баланс сил. Социальное содержание этой модели с организационной точки зрения минимально (но все же не равно нулю, поскольку на практике какие-то фактические нормы и правила существуют даже здесь).

Строго говоря, такая модель неадекватна даже применительно к далекому прошлому, когда диктат силы в международных отношениях был абсолютен, и факт этот не вызывал сомнений ни у современников (от древнейших времен до рубежа XX века), ни у исследователей. В частности, непонятно, как в условиях голого и грубого баланса сил могли долго существовать и играть заметную роль в международных отношениях своего времени государства (даже города-государства), военной силой не отмеченные. Модель баланса сил может объяснить отношения между ведущими, соперничавшими друг с другом «центрами силы». Однако она не объясняет все иные (в том числе между такими центрами и их клиентами), в целом и составляющие международные отношения данной эпохи.

Но развитие капитализма, стягивая мир воедино, постепенно и как бы исподволь вводило в международные отношения иерархический принцип. Появилось и утверждалось деление на метрополии и колонии и протектораты; на народы и страны цивилизованные, полу- и совсем не цивилизованные; на «великие» и просто державы. Со временем какие-то из таких делений уходили в прошлое, но принцип иерархии государств не только оставался, но и упрочивал свое положение. Его закрепляла, в частности, практика разного качества стран-членов международных организаций и союзов (постоянные и сменяемые; полноправные и ассоциированные и т.д.). Заметим, что иерархия — основа любой организации и один из главнейших ее признаков.

Во второй половине XX века в международных отношениях официально (в документах ООН) утверждается имеющая объективную природу иерархия государств по комплексу качественных признаков их развития (высоко-, средне- и слаборазвитые). Одновременно на международную арену выходят новые типы субъектов мировой политики и международных отношений: транснациональные корпорации (ТНК), международные организации, движения разного толка. Вместе взятые, они существенно теснят межгосударственные отношения, ставят перед этими отношениями и самими государствами принципиально новые проблемы, что объективно уже означает придание былой плоскостной модели международных отношений «третьего измерения».

Начавшаяся глобализация прежде всего четко размежевывает мир на центр и периферию¹, на «золотой» и прочие миллиарды. Она движется прежде всего процессами в наиболее развитой части мира: именно тут сосредоточены все ТНК, производится львиная доля

¹ См.: Постиндустриальный мир: Центр, Периферия, Россия. В 4-х тт. М., 1999.

ВВП, сконцентрированы все обслуживающие мировую экономику финансовые корпорации. Здесь самые развитые и мощные во всех отношениях государства, заинтересованные в глобализации и способные двигать ее во всех сферах жизни; здесь же образуется самая большая часть загрязнений окружающей среды. Нарастающий разрыв между бедными и богатыми странами усиливает миграционное давление на последние и делает все более нетерпимыми сохранение на планете голода, нищеты и отсталости. Прорыв глобализации в государства «третьего мира» взрывает здесь традиционные отношения, порождает грозящие быстрой интернационализацией конфликты, уже не поддающиеся урегулированию без вмешательства мирового сообщества. Но, с другой стороны, лишь с глобализацией и развитием связывают на протяжении 1970-1990-х гг. надежды на преодоление или хотя бы ослабление всех перечисленных мировых проблем.

На протяжении 1970-1990-х гг. происходит еще одна важнейшая перемена. Международные организации, созданные когда-то с целью решения достаточно узких задач, набирают силу, верно почувствовав в глобализации тот «питательный бульон», который даст им основу для расширения сферы деятельности, повышения собственных роли и значения и, в конечном счете, большую политическую перспективу. На первых ролях здесь организации, прямо связанные с финансовой и экономической глобализацией — Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирная торговая организация (ВТО, ранее ГАТТ — Генеральное соглашение по торговле и тарифам). Глобализация все более движется теперь не только стихийно и не только волей и интересами США, Японии, ЕС и крупнейших ТНК, но и международными организациями, быстро выросшей численно и весьма влиятельной международной финансово-экономической бюрократией, чьи решения все чаще становятся уже не только де-факто, но и юридически обязательными для номинально суверенных государств.

Глобализация получает тем самым институциональное оформление — что означает организацию наиболее значимых процессов мирового развития, не только закрепляя этим становление третьего измерения системы международных отношений, но и придавая ему (значимостью и мощью идущих на этом уровне процессов) системообразующую роль. Эти качества проявились еще в системе «холодной войны»; с распадом СССР они становятся ключевыми в формировании нового миропорядка. Конечно, совокупность международных организаций сама по себе еще не есть международно-политическая организация глобализирующегося мира. Эта совокупность, однако, выполняет важные подготовительные функции для такой организации: создает массивы потребностей, без удовлетворения которых нормальная жизнь государств и человечества уже невозможна; закладывает институциональные основы под будущую, уже политическую организацию; «накапливает» противоречия и самые различные

проблемы, которые со временем потребуют политического их решения, притом на глобальном, то есть международном уровне.

По этим причинам мир первой трети XXI века не может быть адекватно понят и описан при помощи таких традиционных и наиболее влиятельных моделей внешней политики, как «политический реализм» или геополитика. Он предполагает не отыскание оптимального для данного государства баланса фокусирующихся на нем внешних сил, но встраивание всех без исключения государств в только начинающиеся складываться неформальную иерархию субъектов международных (а тем самым и внутриглобальных) отношений и более официальную (но тоже лишь начинающую формироваться) вертикаль глобальных властных и международно-правовых связей и отношений. «Трехмерная» же модель уже по природе ее не может быть моделью только международных, тем паче только межгосударственных отношений, ибо предполагает некую «социальность» в той реальности, моделью которой она является.

Социальность, в свою очередь, невозможна без организации. Социум тем и отличается от стада, что в нем всегда есть, пусть в самых зачаточных формах, «вертикаль» и «горизонталь»; источники и центры авторитета, примера, морали, нравственности, власти — и зоны следования авторитету, примеру, подчинения власти; есть, как минимум, административно-распорядительный или властно-политический центр, и направляемая им периферия; есть некие общие правила, а значит, и санкционированные исключения из них, и нарушители таких правил; есть санкции за нарушения и механизмы их применения.

Специфика современного этапа глобализации в том, что она является собой социальность лишь формирующуюся, становящуюся; что процессы формирования этой социальности решающим образом опираются на современные международные отношения со всеми их компонентами; и что формирование такой глобальной социальности в части ее международно-политического оформления и закрепления не сможет ограничиться лишь сферой международных отношений, а должно будет со временем непременно пойти дальше; и что первые тенденции такого продвижения уже наличествуют в современном мире.

Мир, несмотря на его качественно возросшую на протяжении XX века целостность, остается разнообразен, во многом разделен по этноконфессиональным, цивилизационным, социоэкономическим и иным признакам. Он внутренне противоречив и конфликтен, сопротивляется всем покушениям на традиционализм и патриархальность, привычен к двойным стандартам и не прочь при возможности прибегнуть к силе. Иными словами, социальной целостностью мир еще не обладает, и это вряд ли нуждается в доказательствах. Как и то, что продвижение к такой целостности займет не одно десятилетие. Но движение мира в сторону обретения социальной целостности уже началось.

«Стягивание» мира в единую, хотя и противоречивую, чреватую множеством проблем и конфликтов социальную целостность одним из последствий будет непременно иметь становление (в дополнение к

исторически давно существующим внутривосточным и международным) принципиально нового типа отношений — внутривосточных. Ткань этих отношений образуют, по-видимому, межгосударственные, однако властная вертикаль внутривосточных отношений будет формироваться вокруг наиболее дееспособных практически государств, их союзов и интеграций, а также международных организаций.

Глобализация ставит в принципиально новое положение институт суверенного государства в системе международных отношений и во внутренней, исторически монополярной его сфере. Появление транснациональных корпораций, миграция по миру огромных капиталов и спекулятивных средств давно создали для государства проблему отношений с этими субъектами и явлениями, не решенную и поныне. Международные отношения конца XX века перевели в практическую плоскость и проблему ограничения суверенитета государства извне. Глобализация идет много дальше: экономическими, информационными, международно-правовыми и иными средствами она активно проникает во внутривосточную сферу и там превращается в один из важнейших, в большинстве случаев главный, определяющий фактор внутренней жизни, мощь которого все чаще и сильнее превышает возможности данного государства. Последнее тем самым все более трансформируется из исторической и этнокультурной самоценности в корпорацию по управлению социально-территориальной системой. Эффективность этой корпорации все более зависит от того, сколь успешно вписалась она в глобализацию и функциональные связи с технологической структурой, сумела ли позитивно связать с ними все наиболее значимые области и процессы своей внутренней жизни. Чем полнее выполняются названные задачи, тем императивнее такое государство должно быть политико-правовыми средствами вписано в миропорядок и нести ответственность, в том числе материальную, за его серьезные нарушения. Не исключено, что и платить своего рода международные «налоги» на поддержание этого миропорядка (миротворчество на добровольной основе может скоро захлебнуться в нехватке средств).

Глобализация создает также иллюзию ненужности, иногда даже вредности национальных правительств и государств. Современная экономика в принципе способна обеспечить все население планеты достаточным количеством еды, одежды, жилья, социальных услуг. Современные инфраструктуры технически способны доставить все это в любую точку планеты. Что и кто мешает? — Стремящиеся сохранить свои власть и господство локальные элиты, опирающиеся ради этого на инструмент национального государства. В подобных рассуждениях вольно или невольно взаимоподменяются понятия элит и государства; но сами такие рассуждения служат обоснованию дальнейшего развития глобализации, мерой продвижения которой становится международное право, создаваемое наиболее развитой частью мирового сообщества или навязываемое ему явочным порядком наиболее дееспособными субъектами глобализации (со стороны США подобные попытки обрели в последние годы регулярный и обвальны́й ха-

рактер): именно право не только гарантирует обеспечение соответствующих интересов, но и «тянет» за собой на длительных отрезках времени шлейф социальных, культурных, политических и иных последствий, в их совокупности фактически и формирующих социальность (здесь — глобальную).

В условиях глобализации возникают явления, невозможные ранее в принципе. Ресурсы ТНК, некоторых общественно-политических движений, а также международной организованной преступности во много раз превосходят ВВП десятков государств. Это теоретически позволяет новым субъектам международных отношений предпринимать в данной сфере весьма нетрадиционные действия (вплоть до получения оружия массового поражения, создания альтернативной — теневой — информационно-поисковой и даже банковской систем и т.п.). Ресурсы и возможности даже крупнейших государств оказываются недостаточны для эффективной борьбы с этими явлениями, а межправительственная и межведомственная координация официальных усилий лишает действия властей необходимого динамизма. Создание глобальных структур для поддержания правопорядка в мире может оказаться необходимостью.

Все перечисленное и многое иное, вынужденно оставшееся здесь без внимания, позволяет сделать вывод, что положено практическое начало процессу становления внутриглобальных отношений как отношений внутренних (или более близких по их природе внутренним, нежели международным, хотя во многом вырастающих из последних). В системе внутриглобальных отношений межгосударственные сохраняют и увеличивают объемы, значение; но перестают быть международными, становясь частью внутренних (разумеется, это пока тенденция, а не заверченный факт). Становление внутриглобальных отношений не будет прямолинейно хотя бы потому, что государства сопротивляются девальвации их суверенитета. Кроме того, как доказывает ряд работ самого последнего времени, глобализация ведет, по-видимому, не к унификации мира (как полагали изначально), но к нарастанию его внутреннего разнообразия¹.

В итоге международно-политическая глобализация будет, скорее всего, развиваться в сложной взаимосвязи с процессами локальных суверенизаций, равнодействующей чего станет, вероятно, укрепление тенденций к регионализации в отношениях между малыми и/или средними государствами; внутри многонаселенных, многонациональных государств; а также между малыми и/или средними государствами и регионами крупных государств. Социальная опора глобализации в современном мире имеет отчетливо западные происхождение и формы; все прочие окрашены в локальные цвета. Она западоцентрична по

¹ См.: *Anighi G. et al. Chaos and Governance in the Modern World System.* Minneapolis, Minn., 1999; *Berger S., Dore R. (eds.) National Diversity and Global Capitalism.* Ithaca, 1996; *Palan R., Abbott J. State Strategies in the Global Political Economy.* L., 1999.

происхождению всех важнейших ее компонентов (знания, средства, технологии, структуры и т.п.) и американоцентрична по роли в ней экономики, национальной валюты и военной силы США. Ведущая к становлению трехмерной модели мира глобализация может и, скорее всего, будет стимулировать процессы размывания и распада наиболее крупных многонациональных государств и интеграций и образования новых региональных интеграций преимущественно экономического типа на базе мелких и средних государств и неосуверенных территорий.

В этих условиях международно-политические отношения начала XXI века становятся не чем иным, как процессом непосредственного формирования глобальной социальности и ее неперенного признака — комплекса внутриглобальных отношений, а нынешний миропорядок — зародышем будущей политической организации такой социальности на первом этапе ее вероятного существования. Для понимания сути и направленности этих процессов важно характеризовать их в терминах и понятиях современной науки: лишь тогда можно правильно оценить происходящее и корректно ставить новые задачи перед самой наукой. Политические и описательные категории способны лишь затруднять анализ и без того сложнейших явлений и процессов.

Выдвижение США на роль «мирового лидера» (что бы под ней не понималось и как бы она не исполнялась), единственной страны с подлинно глобальными интересами и возможностями во всех сферах жизни объективно означает, что для США проблемы глобализации (в том числе влияния на явления и процессы, составляющие содержание мирового развития или существенно воздействующие на него) стали уже вопросами повседневного управления. Было бы неверно видеть причины возвышения США лишь в самоликвидации второй сверхдержавы. Распад СССР снизил (но не снял вообще) возможности ограничения политики США в мире. Но главные свои позиции США создали во всех сферах современной жизни задолго до исчезновения Союза. Именно это определило становление в 1990-х гг. американоцентристского миропорядка, фактически претендующего на определенный тип политической организации глобализирующегося мира в отсутствие сил или держав, способных эффективно уравнивать США.

Политико-организационный тип нынешней системы международных и межгосударственных отношений в категориях современной теории политики следует охарактеризовать как зародышево-авторитарный (доминирование, но не господство Запада, а в нем — США), закамуфлированный под олигархический («семерка», «восьмерка» или даже группа из 10-15 ведущих государств, фактически определяющих решения важнейших вопросов мировой политики и экономики). Это тип еще зарождающийся, поскольку ни США, ни Запад не управляют ходом мировых экономики, политики, развития. Но это тип уже действующий — Запад, особенно США, на протяжении 1990-х гг. все более активно реализует их притязания направлять (если нужно, то силой) ход мировых экономики, политики, порядка и развития.

Все более откровенные на протяжении 1990-х гг. тенденции к усилению роли НАТО, стремление поставить альянс выше международного права, ООН и ее Совета Безопасности указывают в направлении нарастающего авторитаризма. Это тип, закамуфлированный под олигархический (но не олигархический в чистом виде) потому, что в «большой семерке» или «восьмерке» резко различаются реальные вес и возможности США, с одной стороны, и иных участников группы, с другой. Формальное равенство прав пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН (иной возможный состав группы «государств-олигархов») ослабляется размыванием веса и роли Совета Безопасности и ООН в целом по сравнению с «большой семеркой» и НАТО.

Но одновременно такое положение значит, что в мире появился реальный центр фактической глобальной власти (в лице США и НАТО), стремящийся и способный осуществлять эту власть если не везде и повседневно, то в наиболее значимых для него местах и ситуациях (иной вопрос, сколь легитимны сам центр и присваиваемая им власть и сколь эффективна последняя). Наличие центра дееспособной власти (или, как минимум, военно-политически оформленного союза государств и отдельно взятого государства, готовых и способных претендовать на роль подобного центра), позволяет говорить о начале (но только начале) процесса создания политической системы глобализирующегося мира как единого целого. Единственность этого центра указывает на авторитарность формирующейся системы.

Вышеописанная система функциональных кругов жизнеобеспечения техносферы носит отчетливо выраженный иерархический характер и в этом смысле объективно подкрепляет и питает авторитарное начало в системе международных и межгосударственных отношений. Само по себе это просто одно из объективных последствий существования техносферы как таковой. Но в случае эволюции техносферы по линии усиления представленных в ней эгоистических интересов такая схема отношений техносферы с внешним для нее миром может стать основой для попыток внедрения элементов тоталитаризма во внутриглобальные (но не непосредственно в международные и межгосударственные!) отношения. С другой стороны, экономика и рынок (в широком смысле этих понятий) требуют сочетания авторитарного и демократического начал. Такое сочетание становится императивным, если допустить, что в искусственную среду обитания и жизнедеятельности человека должна быть превращена, по существу, вся планета.

Если неформальная стратификация субъектов внутриглобальных отношений определяется их общими мощью и влиянием, масштабами их достижений в социальной и других областях, а также их особенными заслугами в отдельных сферах, то процесс выстраивания властной и правовой вертикали политической организации глобализирующегося мира может пойти различными путями и привести по прошествии 20-30 лет к принципиально разным для будущего мира результатам: от авторитарно-олигархической организации внутриглобальных отношений до утверждения в них основ демократии.

Переходный период, который займет, видимо, всю первую треть XXI века, будет нести в себе признаки и качества как традиционной «двухмерной», так и глобальной «трехмерной» моделей, периодически усиливая то одни, то другие, но в целом на долговременных шкалах отсчета все сильнее подчиняя мировое развитие логике последней. При этом внутренняя организация каждой из моделей международных и межгосударственных отношений допускает ряд собственных вариантов.

«Двухмерная» геополитическая модель объективно делает упор на силовых механизмах эволюции международной системы, а значит, на стихийном характере предстоящего развития. Социальная стихия в истории неизменно вела к авторитаризму, а в век информационных технологий, когда Интернет можно встретить в провинции чаще, чем теплый туалет, чревата беспрецедентным тоталитаризмом. Лидерство США и масштабы их отрыва от ближайших конкурентов делают такой вариант самоорганизации миропорядка возможным, но маловероятным: распад СССР, помимо прочего, указывает на отсутствие пока знаний и средств, которые позволяли бы управлять (тем паче жестко) столь крупными социально-территориальными системами. Кроме того, в таком жестком управлении каждым «медвежьим углом» планеты просто нет необходимости ни для какого потенциального лидера глобальной тоталитарной системы (разве что гордыня взывает).

В рамках «двухмерной» модели при сохранении преимущественно межгосударственного содержания международных отношений дальнейшая эволюция постсоветской международной системы может пойти по пути: (1) ее трансформации в более жесткую авторитарную, отказа даже от показной олигархичности. Это может сигнализировать о начале фазы, предшествующей подрыву экономического здоровья, места и роли США в мировой экономике и политике; (2) эволюции к большей олигархичности при расширении числа государств-олигархов до 10-12 и росте вероятности появления серьезных разногласий меж олигархами; (3) постепенной демократизации системы международных отношений и политического миропорядка, если и когда США в политической борьбе с другими государствами-олигархами сочтут для себя необходимым опереться на ведущие из развивающихся стран.

«Трехмерная» интеграционная модель неизбежно варьировалась бы, совершая колебательные движения между фазами центробежности и центростремительности. Но тем самым открывались бы возможности влиять на направленность, содержание, темпы, формы организации внутриглобальных отношений. Последние и при такой модели могли бы выродиться в авторитарные формы. Однако поскольку тут доминирует тенденция к интеграции мира на почве глобализации, авторитаризм, вероятно, тяготеет бы к некоему аналогу конституционной монархии: государства второго и третьего иерархических уровней стремились бы сдерживать США, не давая им «зарываться» — но категорически не проявляли бы интереса к «свержению» мирового лидера, особенно средствами и в формах, способными всерьез и надолго ослабить их собственное положение в мире и своих регионах.

В рамках «трехмерной» интеграционной модели при постепенном усилении тенденции к трансформации части международных отношений во внутриглобальные отношения целостного и взаимосвязанного мира, с вычлениением в них политических межгосударственных отношений как сферы придания миру большей организованности и управляемости, эволюция постсоветской системы международных отношений может «избрать» иные содержание и направленность: (1) резкая достаточно продолжительная анархизация международных отношений в целом и/или отдельных региональных подсистем в случае быстрого, обвального (посткризисного) распада лидирующей роли США; (2) становление (с опорой на вес, роль и возможности США и НАТО) необходимых самим США и Западу механизмов глобального регулирования, обладающих высокой степенью надежности обеспечения желаемых результатов и способных ограничивать при необходимости суверенитет отдельных субъектов международных и межгосударственных отношений; (3) расширение реального содержания и диапазона международной жизни и международных отношений так, что отношения межгосударственные будут постепенно все более отступать с монопольного положения, которое они пока занимают, на роль одного из объектов и предметов регулирования формирующихся внутриглобальных отношений.

При этом социально-политическое качество внутриглобальных отношений может оказаться принципиально различным. Утверждение жестко авторитарного или тоталитарного начала во внутриглобальных отношениях, в их организации одним из основных объективных его последствий имело бы, скорее всего, усиление и «выпячивание» (политическое и практическое) таких черт и аспектов глобализации, которые дают основания рассматривать ее как новый, исторически позднейший, отвечающий современному развитию производительных сил и иных факторов вид колониализма. Один из важнейших ее аспектов заключается еще и в том, что капитализм силой транснациональных экономики и финансов подчиняет себе то, что не удалось удержать в подчинении ни оружием, ни политическими средствами только. И это по-своему закономерно: победившая в мире формация должна освоить все ее потенциальное физическое, экономическое, политико-правовое и социальное пространство, а такая территория для современного капитализма — вся планета. Формально суверенитет государств при этом не затрагивается (хотя фактически положение иное). Но если глобализация навязывается извне через компрадорские бюрократию и буржуазию — а не принимается самими обществом и государством под влиянием их реальных интересов, потребностей, представлений и выбора, — она может быть, по сути, ее только видом колониализма.

Организация внутриглобальных отношений, аналогичная, скорее, «конституционной монархии», могла бы оказаться оптимальной для того тяжелейшего и опаснейшего, длительного периода международных отношений, когда взаимное притирание культур и цивилизаций будет происходить в условиях нарастающих глобальных проблем, все

более острой конкуренции за ресурсы, рынки и возможности развития, а также неизбежного в долговременной перспективе снижения удельных веса и возможностей США в мире. Такая модель позволила бы США достаточно плавно вписаться в будущие мировые реалии, а группе из 20-50 ведущих государств подготовиться к практическому принятию роли и ответственности по реальному участию в дирижировании (а возможно, и управлении) жизнедеятельностью планеты. Коль скоро завершение американоцентристского мира неизбежно, необходимо уже сейчас продумывать и готовить меры к тому, чтобы кажущийся пока нереальным переход к постамериканскому миропорядку был мирным, эволюционным и конструктивным; гарантирующим самим США надежное и безопасное будущее.

Исторически «мгновенный» сброс роли государств в мире, какие бы причины его не продиктовали (в том числе их отказ от будущих роли и места во внутриглобальных отношениях), стал бы фактором огромной неопределенности, ибо оставлял бы сферу глобализации принципиально новым ее субъектам. История знает два подхода к организации социума: при доминировании территориального или же сферо-деятельностного начал. В первом случае возникли государства и тон задает иерархизм организации; экстраполяция этой тенденции ведет к «мировому правительству». Во втором возникали цехи и корпорации, градо- и регионообразующие хозяйственные субъекты; а организующие тенденции во многом опирались на рыночное начало. В XX веке рождается сетевой принцип организации, распространяющийся в экономике и допускающий взаимодополнение территориального и отраслевого (корпоративного) начал в организации жизни общества¹. Воспользуется глобализация этой моделью, создаст ли нечто новое или окажется отброшенной к отношениям и моделям прошлого, покажет только время.

VI. Глобализационный вызов и дилеммы России

Что выгодно не входящей в техносферу и многими на Западе рассматриваемой как враждебная по отношению к ней России — тема особая. Но объективное содержание глобализации надо отделять от конкретных ее моделей и концепций. Критика американской концепции должна вестись ради поиска демократической модели глобализации, а не с позиций антиамериканизма, антизападничества или, хуже того — антиглобалистской политической реакции.

СССР изначально и абсолютно проиграл возможности участия в становлении глобализации, когда его руководство, не способное и не желавшее всерьез решать, даже признавать важнейшие проблемы внутренней и внешней политики страны 1960 — середины 1980-х гг., по существу, попыталось отсидеться от глобализации в стороне. Рос-

¹ См.: Hollingsworth J.R., Schmitter Ph., Streeck W. (eds.) *Governing Capitalist Economies*. Oxford, 1994; Whitley R. *Divergent Capitalisms. The Social Structuring and Change of Business Systems*. Oxford, 2000.

сия под влиянием как полученного постсоветского наследия, так и собственного авантюристического подхода к реформам объективно является пока аутсайдером глобализационных процессов. Она еще не субъект, но объект глобализации, тем более желанный для внешних сил, что обладает уникальным комплексом экологических и природных ресурсов. Объективно Россия — последняя значительная по размеру, расположению и природным ресурсам территория планеты, минимально включенная в процессы колонизации Земли капитализмом. Главная задача России на всю рассматриваемую перспективу — вписаться в глобализацию, не став жертвой глобалистского неокOLONиализма.

Глобализационный вызов чаще всего рассматривается с точки зрения того, удастся ли России сохранить в условиях все более целостного, глобально организующегося мира не только суверенитет, но и ее специфическое место «великой державы». Если оставаться в рамках сугубо научного анализа поставленной проблемы, последний вопрос фактически звучит так: сможет ли Россия в длительной перспективе удержаться в группе государств-олигархов, куда ее условно допустили в награду за разрушение СССР и в надежде на соответствующее поведение самой России в будущем?

Однако при всей серьезности этого вопроса (обсуждать который мы здесь не будем в силу его политической заданности), думается, что суть глобализационного вызова для России все же не в этом. До сих пор не только российские элиты, но и многие аналитики как-то упускают из поля зрения то обстоятельство, что целостный мир, опирающийся на глобальную (в отличие от мировой) экономику, будет неизбежно означать радикальное изменение роли государства не столько в международных отношениях, сколько в его отношениях с собственным обществом.

Когда капиталы и труд получают возможность свободно (пусть не без технических сложностей, но в принципе все же свободно) мигрировать из страны в страну, с течением времени неизбежно возникнет положение, когда капитал и люди начнут «переливаться» туда, где качество их жизни и деятельности окажется наилучшим. Собственно, это давно происходит: отток специалистов и капитала из России с начала 1990-х годов — факт общеизвестный.

Процесс этот закономерен: «мировой город» предлагает гораздо более широкий выбор занятий, лучшие условия труда, самореализации и качество жизни, чем периферийные районы мира — точно так же, как любой обычный город в любой стране предлагает человеку больше возможностей и искушений, чем деревня. Еще вчера люди ехали из деревни в город; теперь они едут из крупных городов в мировые центры науки, культуры, образования и деловой активности. Причем когда войны уступают авансцену экономике, государство вынуждено превращаться в корпорацию по социально-экономическому управлению территорией и ее развитию. И чем менее эффективно оно в этом качестве, тем вероятнее, что наиболее динамичная

часть населения просто уйдет туда, где больше возможностей самореализации, выше качество жизни и где лучше платят. Необходимости покушаться на номинальный суверенитет государства при этом просто не возникнет.

Суть глобализационного вызова для России заключается в том, что она при таком развитии событий рискует превратиться в одну из «мировых деревень» — номинально суверенную и номинально великую, но, по сути, все менее дееспособную вследствие потери качества ее населения (как все менее дееспособна российская деревня из-за аналогичного процесса, развивающегося внутри самой России).

В рамках «двухмерной модели» (то есть геополитического, военно-силового, «политреалистического» видения) будущего мира у России при любом политико-идеологическом повороте ее развития нет благоприятных внешних перспектив: она слишком слаба экономически и в военном отношении; слишком велики «ножницы» между ее формальным статусом и реальными возможностями; слишком малы шансы на изменение ее относительных положения и веса к лучшему в ближайшие 10-15 лет (ранее 2010-2015 гг.). В мире голой силы уважать РФ не за что, основанием считаться с ней служит лишь ядерное оружие (причем политическая действенность этого основания может потребовать подтверждения, а значит, объективно повышает риск применения ядерного оружия в ближайшие годы). Стратегической надеждой РФ в пределах этой модели были бы особо доверительные, тесные и привилегированные отношения с США (вряд ли возможные при сохранении ядерного потенциала России); и/или же упование на развал США и Запада изнутри — тогда относительный вес России в Евразии и мире может возрасти, ее положение укрепиться.

В рамках «трехмерной модели» Россия пока политически и, что важнее, функционально находится за пределами техносферы, а потому ее стратегическая задача: из системы обслуживания техносферы (где Россия с ее энергосырьевым экспортом объективно находится ныне, и где ее хотели бы закрепить, но без ядерного оружия и без способности создавать технологии будущего) перейти со временем в саму техносферу, но в условиях параллельного создания и развития демократического мирового сообщества государств (в ином случае вхождение в техносферу может сопровождаться опасным ослаблением фактической самостоятельности России). Возможно, сперва на статус и роли не ведущего плана, но все же не остаться за ее пределами. Стартовые позиции для этого у России еще есть. Возможность занять и удержать такое место будет определяться не только отношением США и Запада, но и способностью самой России устойчиво и надежно выполнять значимые для техносферы, не символические функции, совместимые с интересами ее собственного восходящего развития и способствующие последнему и национальной безопасности страны. Долговременным интересам РФ и целям ее развития более всего отвечала бы плавная эволюция современной системы международных и межгосударственных отношений в сторону демократизации, разворота к слу-

жению интересам «среднего» слоя государств, занимающих в социально-экономической статистике ООН примерно 20-70-е места.

Центральная и самая серьезная дилемма России: то, что в целостный глобализирующийся мир, где правят экономика и финансы, она входит, внутренне пока не готовая к конкуренции на тех уровнях и в тех сферах, которые определяют положение государств в иерархии современных мировых экономики, политики, развития. При этом не готовая в самой опасной для нее сфере: в качестве ее социальной и политической элит, их компрадорском характере, в господстве перераспределителей над производителями.

Россия, дающая менее 1,5 процента мирового ВВП, фактически входит в систему глобализирующегося мира примерно с такими же возможностями влиять на формирование международно-политической его организации, с какими дотационный субъект РФ, занимающий 30-35-е место из 89, может претендовать на формирующее влияние по отношению ко всей внутренней и внешней политике Кремля. Уйти от существенного усиления направляющих воздействий извне в системе внутриглобальных отношений не только невозможно — вредно с точки зрения перспектив развития страны. Важнее суметь встроиться в систему и использовать ее возможности в интересах подъема России.

Самым трудным будет первое десятилетие XXI века: США все еще пребывают в эйфории собственного могущества; статус регионов и стран «второго эшелона» (ЕС, Япония) заметно упал с распадом СССР и вызванными этим последствиями; а сама Россия слаба не столько экономически, сколько в степени самостоятельности ее социального и политико-стратегического мышления.

ГЛАВА 17. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК «СИНДРОМ ПОГЛОЩЕНИЯ» В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКЕ

А.Д.Богатуров

Первое десятилетие в отсутствие горько-бесславно почившей в 1991 г. биполярности приблизилось к завершению. После недолгого этапа наступившего затем кризиса миросистемного регулирования, когда управлять миром по-старому державы уже не могли, а дирижировать им по-новому — еще не умели, в международных отношениях с середины 90-х годов утвердилось плюралистическая однополярность. Тон под ее сенью стали задавать США и теснее примкнувшие к ним «старые» члены большой семерки — страны Западной Европы, Япония и Канада. Эта группа, умело взаимодействуя с ООН и используя «карту НАТО», за несколько лет между Дейтоновскими соглашениями (декабрь 1995) и операцией в Косово (май 1999) произвела в международных отношениях своего рода бескровный переворот, выстроив рядом с прежней системой мироуправления, создававшейся вокруг ООН, новую вертикаль принятия и реализации решений («семерка» — НАТО). За неполные десять лет устоялся параллельный неформальный механизм международного регулирования, эффективность которого оказалась выше официального, ооновского.

Несмотря на остерегающие сөгования Пекина и эхом отзывающиеся в Москве призывы к строительству многополярного мира, сообщество стран и народов сделалось еще более иерархичным. На вершине новой пирамиды утвердилось США и их ближайшие союзники, которые стали энергично проецировать свое лидерство на разные уголки планеты, не особенно церемонно прибегая при необходимости к использованию силы. Наиболее развитые страны, преодолев колебания, спешно ринулись реализовывать исторический шанс для, пользуясь терминологией классика британской школы теории международных отношений Хэдли Булла, ускоренного преобразования «международной системы» в «мировое общество».

I

Поясним некоторые термины. «Впечатав» в международный интеллектуальный оборот понятие мирового общества в конце 70-х, Хэдли Булл считал, что на всех исторических периодах внутри *международной системы (international system)*, охватывающей все государства мира, существовало некое протоядро международного общества (*international society*). Разница между первым и вторым заключалась в том, что страны, входящие в «международное общество», в отношениях между собой руководствовались не только практическими

интересами момента, но и некоторым более или менее общепризнанным кодексом поведения, наличие которого, в свою очередь, определялось существованием в отношениях между ними пласта всеми признаваемых и разделяемых нравственных ценностей. В качестве классического примера античного «международного общества» Булл считал совокупность греческих полисов, подчеркивая, что в международную систему того периода помимо этих полисов входили еще и негреческие государства — Персия и Карфаген¹. Рассматривая разные виды «международных обществ» («христианский», «европейский» и др.), Булл в конце концов и пришел к формулированию идеи «мирового международного общества» (world international society), по-прежнему четко отделяя его от совокупности всего «остального», что составляет международную систему.

Для ясности изложения важно уточнить словоупотребление. В значении буллова «world international society» — букв. «мировое международное общество» — далее в предлагаемом анализе будет использоваться выражение «мировое общество», а вместо сочетания «международная система» (international system) мы предпочтем писать «международное сообщество». Первая замена подсказана чисто переводческой интуицией и связана с соображениями удобства для восприятия русским читателем. Вторая — значима содержательно. Свойственное Буллу видение международных отношений через призму системности было характерным и новаторским для 60-80 годов. В 90-х оно перестало казаться единственно адекватным достигнутому уровню методологии знания — во многом благодаря диффузии в науку о международных отношениях понятий и логики синергетики, подходы которой не укладываются в системное видение. Это побуждает избегать расширительного употребления слова «система»², тем более что, как будет показано ниже, видение международных отношений как системы по меньшей мере не полно в отрыве от их рассмотрения в качестве глобального конгломерата.

Ставшая достоянием читающей публики в 1977 г., но по достоинству оцененная только на рубеже 90-х годов, в пору «перестройки», концепция Булла не имеет, конечно, статуса официального «догмата веры» для западных политиков. Но идеи ее автора, а еще более —

¹ Bull H. The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics. New York, Columbia University Press, 1995. Chapters 1, 2. С. 3-50, особ. С. 36, 39.

² Из отечественных журналов гуманитарного направления лидерство в обсуждении синергетики принадлежит «Вопросам философии». См., напр., серию статей на эту тему в № 3 упомянутого журнала за 1997 г. Из российских методологов международных отношений пионером в практическом использовании аналитических возможностей синергетики является М.А.Чешков. См. его обобщающий свод «Глобальный контекст современной России. Очерки теории и методологии мироцелостности» (М.: МОНФ, 1999). В этом же ряду следует назвать Л.Я.Бородкина, который, однако, работает преимущественно на материале исторических исследований.

их переосмысления позднейшими авторами представляются едва ли не ключевыми для понимания смысла сегодняшнего мирополитического процесса и основного противоречия современных международных отношений.

Несомненно, самого Булла прежде всего и в основном занимал вопрос не о структуре современного ему мира, а о правилах поведения государств на международной арене и о том, как эти правила действуют (в тех случаях, когда они действуют на самом деле). Взаимоотношения «мирового общества» и «международного сообщества» были для него вторичны, и уж совсем мало его волновал вопрос о перспективах и методах «преподавания» этих правил государствам, которые в силу каких-то причин (еще?) не вошли в круг индустриальных демократических стран, составляющих, по Буллу, немного идеализированный праобраз мирового общества, его ячейку в международном сообществе, из которой на весь остальной мир распространяются импульсы благотворного влияния, результатом которого в самом деле может быть постепенное распространение норм международного права в результате взаимодействия государств.

В картине мира по Буллу страны-носители сознания мирового общества составляли меньшинство, но они представляли передовую часть международного сообщества, обладая не только военно-техническим и экономическим, но и моральным превосходством, в значительной мере в силу принадлежности к демократической традиции. Естественно, что для мыслителя либеральной школы самодостаточная ценность этой традиции проверке сомнением даже не подлежала — подобно тому, как не подлежала таковой до 1991 г. «социалистическая перспектива» в Советском Союзе, — интеллектуальная ситуация, может быть, нормальная для западного сознания, избалованного десятилетним победоносным шествием либерализма, но озадачивающая в России, где здоровое аналитическое сознание привыкло беречь в себе способность к сомнению, помноженную на аллергию к истинам, не подтверждаемым опытом конкретных страновых и исторических условий. Вот почему русского читателя превосходная по стройности мысли и абсолютно антитоталитарная концепция Булла обескураживает некоторыми логическими параллелями: вольно или невольнo, «мировое общество» по Буллу воспринимается ни чем иным, как «авангардом международного сообщества», до грустно-комичного сходно с тем, как в качестве революционного авангарда рабочего класса в работах В.И.Ленина фигурирует незабвенная коммунистическая партия¹. Правда, так же как Ленин не считал нужным «поднимать весь класс до уровня авангарда», Булл — к его достоинству — тоже в сущности не настаивал на распространении мирового общества на все сообщество наций.

Он справедливо полагал, что и в международном сообществе между странами может быть много общего — например, стремление

¹ Ленин В.И. Что делать? // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 6 (раздел Д).

избежать потерь в войнах и поэтому снизить вероятность самих войн. Но только в мировом обществе, настаивал Булл, государства спаяны глубокой приверженностью единым стандартам этики и морали. В мировом обществе войны как таковые, считал он, утрачивают смысл, поскольку они противоречат принципиальному настрою государств на уважение в отношениях друг с другом ценностей рационально понимаемых свободы, демократии и мира для каждого как условия процветания всех. Отсюда знаменито романтический вывод: демократии (по определению) не воюют (и не могут, не предназначены для того, чтобы воевать) между собой.

Булл в самом деле не помышлял об «экспорте мирового общества», то есть о его взрывном распространении на весь мир, хоть и не исключал чего-либо подобного в принципе. Идея мировой пролетарской революции была, по-видимому, слишком отвратительна Буллу, чтобы он не постарался уберечь свою схему от вульгарного прозелитизма. Да и в целом дух его работы был преимущественно оборонительным: автор скорее стремился отграничить «авангард» мира от его «арьергарда», чтобы постулировать ценность избранности демократических стран, даже если она была избранностью меньшинства. (В подсознании звучат цветаевское возвышенно-трагическое «гетто избранничеств» и одновременно — «снижающее» раннесоветское «лучше меньше, да лучше»¹.)

Самозащитный пафос Булла соответствовал духу первой половины 70-х годов, с естественным для западного интеллекта шоком от поражения США во Вьетнаме (1973), с одной стороны, и дерзкой «нефтяной атакой» арабских стран на Запад (1973-1974), с другой. В такой обстановке идея мирового общества ориентировала на ценность консолидации рядов развитых стран: раз демократии не воюют друг с другом, то они рождены для сотрудничества, которое и есть залог благоденствия — для «мирового общества» прежде всего, но и всех остальных тоже.

Хотя до «перестройки» Булл не дожил, его идеи, похоже, «оплодотворили» целое поколение писателей глобализации, интерпретации которых в силу изменившейся обстановки утратили оборонительно-мобилизующий настрой оригинала, обретя черты наступательности настолько, что в совокупности многообразные теории глобализации сегодня вызывают ассоциации не с «гетто избранничеств», а с призраком «мировой либеральной революции» — зеркально отраженной и перекодированной сообразно реалиям конца XX в. коммунистической химерой всемирной революции пролетариев.

Мировое общество, которое исходно мыслилось привилегированным клубом цивилизованных стран, после распада СССР и разворота пост-социалистических государств к сотрудничеству с Западом, стало почитаться безальтернативной перспективой всего челове-

¹ Цветаева М. Поэма конца // Сочинения. Т. 1. Стихотворения. Поэмы. Драматические произведения. М.: Художественная литература, 1980. С. 393.

чества, если только таковое не вознамерилось бы во вред себе предпочесть остаться за порогом райской обители индустриальных и постиндустриальных культурности и благополучия. Из вполне искренних побуждений странам международного сообщества стали предлагать поскорее «подрости» до уровня мирового общества, обещая при этом помощь и поддержку, с одной стороны, и попугивая «все равно неизбежным» рано или поздно поглощением сверхмощной экономической машиной Запада (вследствие глобализации), с другой. Международное сообщество стало выглядеть как внешняя оболочка разбухающего ядра мирового общества, которую последнее должно неминуемо заполнить.

Концепция «расширения демократии», которую весной 1993 г. огласил помощник президента США по национальной безопасности Энтони Лейк, стала политико-идеологическим обрамлением этико-теоретической платформы для практической реализации той интеллектуальной парадигмы, которая выросла на Западе из синтеза исходной идеи мирового общества и наслоившихся поверх нее концепций глобализации. Начало переговоров о расширении НАТО в 1997 г. и параллельное распространение на восток европейских интеграционных структур стали рубежными событиями с точки зрения осуществления того, что предначертали теоретики. *Распространение, экспансия мирового общества на планете стало главной тенденцией международной жизни 90-х годов.* В Восточной Европе, на пост-советском пространстве, кое-где в Азии и вообще всюду, где это было возможно, стали культивироваться слабые и неустойчивые пост-тоталитарные плюралистические режимы рыночной ориентации, каждый из которых претендовал на звание демократического.

II

Экспансия (термин употребляется безоценочно, как синоним «распространения» и «расширения») мирового общества в сферу международного сообщества, конечно, не была результатом только мыслительных упражнений теоретиков и конъюнктурных побуждений политиков. Ее фундаментом во многом служили как материальные, так и виртуальные новации, обобщаемые в обыденном политологическом дискурсе расплывчатым словом «глобализация»¹. Этим неточным сло-

¹ В отечественной литературе проблематика глобализации стала обсуждаться с отставанием, по меньшей мере, на 2-4 года по сравнению с Западом. Сегодня на страницах российских изданий представлены, по крайней мере, три типа публикаций — переводные статьи иностранных авторов, фактически являющиеся их адаптированными вариантами работы русских по происхождению авторов, постоянно работающих за рубежом, и публикации собственно российских исследователей, которые стремятся посмотреть на глобализацию через призму отечественных экономических и политических реальностей. Хотя практически никто из российских авторов не решается оценивать глобализацию отрицательно, в русских публикациях отчетливо звучит мотив тревоги по поводу

вом в литературе 90-х годов обозначалось в различных сочетаниях, по меньшей мере, восемь основных взаимосвязанных тенденций и явлений:

1) объективное повышение проницаемости межгосударственных перегородок, выражающееся в феноменах «преодоления границ» и «экономического гражданства»¹;

2) резкое возрастание объемов и интенсивности трансгосударственных, транснациональных перетоков капиталов, информации, услуг и человеческих ресурсов;

3) массированное распространение западных стандартов потребления, быта, само- и мировосприятия на все другие части планеты;

4) усиление роли вне-, над-, транс- и просто не-государственных регуляторов мировой экономики и международных отношений²;

5) форсирование экспорта и вживления в политическую ткань разных стран мира тех или других вариаций модели демократического государственного устройства;

6) формирование виртуального пространства электронно-коммуникационного общения, резко увеличивающего возможности для социализации личности, то есть для непосредственного приобщения индивида в пассивном или интерактивном качествах к общемировым информационным процессам, независимо от его местонахождения;

7) возникновение и культивирование в сфере глобальных информационных сетей образа всеобщей ответственности и ответственности каждого индивида за чужие судьбы, проблемы, конфликты, состояние окружающей среды, политические и иные события в любых, возможно, даже не известных человеку уголках мира;

8) наконец, возникновение «идеологии глобализации» как совокупности взаимосвязанных постулатов, призванных обосновать одновременно благо и неизбежность тенденций, «работающих» на объединение мира под руководством его цивилизованного центра, под которым так или иначе подразумеваются США и «группа семи».

преувеличенных оценок позитивных последствий глобализации для международных отношений и развития отдельных стран. См., напр.: Володин А.Г., Широков Г.К. Глобализация: истоки, тенденции, перспективы // Полис. 1999. № 5; Коллонтай В. О неолиберальной модели глобализации // Мировая экономика и международные отношения. 1999. № 10.

Впрочем, трезво-критический настрой к анализу глобализации и исследованию ее противоречивых последствий для международных отношений представлен и в доступных российскому исследователю западных работах. См., напр.: Cox R.W. A Perspective on Globalization // Globalization: Critical Reflections / Ed. by J.H.Mittelman. Boulder; London: Lynne Rienner, 1997. P. 21-32; Mittelman J.H. The Dynamics of Globalization // Globalization: Critical Reflections / Ed. by J.H.Mittelman. P. 1-20.

¹ Sassen S. Losing Control. Sovereignty in the Age of Globalization. N.Y.: Columbia University Press, 1996. P. 31-33.

² Julius D. Globalization and stakeholder conflict: a corporate perspective // International Affairs. 1997. № 3. P. 453-455.

Простой обзор проявлений «глобализации» позволяет подразделить их на материальные (объективные) и виртуальные (манипуляционные). К первым относится все, что касается реального движения финансовых потоков и его обеспечения, трансферта технологий, товаров и услуг, массовых миграций, строительства глобальных информационных сетей и т.п. Ко вторым — содержательное наполнение этих сетей, распространение определенных ценностей и оценочных стандартов, формирование и продвижение предназначенных международному общественному мнению психологических и политико-психологических установок. Очевидно, «глобализация» — это не только то, что существует на самом деле, но и то, что людям предлагают думать и что они на самом деле думают по поводу происходящего и его перспектив.

Последнее уточнение представляется важным. В самом деле, если материальные проявления глобализации не вызывают сомнений, так как они ежедневно подтверждаются жизненной практикой, то ряд «выводов», формально апеллирующих к материальной стороне глобализации, не кажутся ни безупречными, ни единственно возможными вариантами понимания действительности. Во всяком случае — в той мере, как об этом позволяет судить опыт и анализ ситуации на пространстве новых государств зоны бывшего СССР и в России, равно как и размышления о необходимости анализировать международные отношения выходя за рамки милого (сердцам моего поколения), но уже недостаточного исключительно системного взгляда на реальность.

Из спорных постулатов теорий глобализации изнутри российской политико-интеллектуальной ситуации наиболее сомнительными кажутся три: а) кризис и устаревание государства, б) модернизация и вестернизация как естественно предназначенный результат глобализации, в) «демократическая однополярность» как предпочтительный способ самоорганизации международной структуры.

III

Идея отмирания государства хорошо известна в отечественной традиции по трудам русских коммунистов и левых социал-демократов, заимствовавших представление о возможности замены старого государства «свободно самоуправляющимися» сообществами граждан из западноевропейских источников. Правда, с победой советской власти в России и возникновением «реального социализма» гипотеза отмирания государства была отодвинута в неопределенное будущее, а укрепление социалистической державы стало считаться важнейшей национальной задачей — как то было и при Романовых применительно к организму империи. Ситуация не менялась в принципиальном плане до конца 80-х годов, когда руководство М.С.Горбачева вынужденно и боязливо приступило к реформе государственной системы СССР. Речь пошла об изменении отношений компартии с государством и о модификации основ самой советской федерации.

Но попытка отхода от презумпции ценности государственных начал окончилась для СССР плачевно, хотя лично Б.Н.Ельцину

циничная игра на антигосударственной волне принесла успех, позволив ему прийти к верховной власти в Российской Федерации в результате ее «отделения» в 1991 г. от СССР. Последовавшие за тем смутные годы всеобщей суверенизации и кризисов самоопределения (первая чеченская война 1996 г.), нестабильности государственных институтов (октябрьское восстание и обстрел Белого Дома в 1993 г.) инерционно проходили под знаком отрицания «старого» государства, что оборачивалось отрицанием государства вообще и единого государства в частности, вплоть до формирования в сентябре 1998 г. правительства Примакова, обозначившего поворот к возвращению видоизмененной государственнической идеологии. Вторая чеченская война (1999) символизировала придание российскому государственничеству воинственно-реставрационной формы. Страна стала возвращаться к опоре на сильное государство как все еще главному, хотя уже далеко не единственному и не монопольному инструменту защиты национальных интересов.

События 1998-1999 гг. в России позволили организационно оформиться тенденции, которая и до того выделяла ее на фоне европейских процессов, для которых в 80-90-х годах был характерен последовательный, добровольный и даже несколько самоистязательный (на русский и — в меньшей мере — на американский вкусы) напор интеллигентов и политиков на отрицание национально-государственных начал и идеализацию начал надгосударственных, интеграционных и регионалистских. Западная Европа, присоединяя к себе, прежде всего в лице бывшей ГДР, Европу Центральную, готовилась к отречению от отдельных германского, французского, итальянского или британского государств ради консолидации коллективной субъектности Европейского Союза, непосредственными участниками которого *вместе* (а со временем и *наряду*) с историческими государствами (Францией, Германией, Испанией и Соединенным Королевством) смогли бы стать сегодня входящие в них исторические области — Корсика, Савойя, Бавария, Страна Басков, Шотландия, а может быть и вовсе новообразования в виде «трансграничных еврорегионов» вроде украино-русино-венгерских Карпат, австро-итальянского «Притиролья», польско-германской Померании или — как знать — русско-литовско-польско-немецкой «Пруссии-Калининграда»¹.

Таким образом, Европа, начавшая движение к превращению в современный мировой центр в результате революций национального самоопределения XIX в., прошла в нынешнем веке через порожденные национализмом войны 1914-1918 и 1939-1945 гг., чтобы снова столкнуться с угрозой национализма в конце XX в. в условиях мира, благополучия и даже богатства. Реагируя на возобновление националистической угрозы «изнутри», западноевропейские интеллект и политическая воля стали вырабатывать собственный, точно учиты-

¹ Зонова Т.В. От Европы государств к Европе регионов // Полис. 1999. № 5.

вающий региональную специфику рецепт профилактики возобновившейся угрозы и управления вызревающим конфликтом. Отсюда почти ажиотажный интерес «евролибералов» к разработке темы «устаревания» национального государства, в форме «индуцированного невроза» распространяющийся в США и по всему миру¹. Европейский проект кажется поистине отважным и грандиозным, заставляя следить за попытками осуществить его не только с академическим интересом, но и с замираньем сердца: чему он научит Россию в случае своего успеха — и неуспеха тоже?

Смысл европейского рецепта — в попытке растворить проблему самоопределения отдельных этнических групп в интеграции всех европейских народов. Чем острее ощущают в Лондоне шотландскую и североирландскую угрозы, в Париже — корсиканскую, в Мадриде — каталонскую и басконскую, а в Риме — южнотирольскую и ломбардийскую, тем с большим нажимом политики соответствующих стран говорят об ускорении интеграции. В укреплении наднационального начала западноевропейские страны хотят видеть инструмент обуздания радикального самоопределения. Устремление понятное, до тех пор, пока западноевропейцы работают над решением своих собственных проблем, и угрожающее, когда те же методы наднационального регулирования экспортируются за пределы «Интегрированной Европы» — на Балканы или в зону бывшего СССР.

Стоит заметить, что теории глобализации с их безапелляционным акцентом на модернизационном векторе мировых тенденций, преодолении «отсталости» по известным лекалам, в сущности, предлагают в качестве универсальных образцы решений, выработанные из грандиозного, но и во многом специфичного опыта западного индустриального ядра. Когда речь идет о пропаганде такого опыта и его воздействии на умы через демонстрацию собственной привлекательности, места для возражений нет. Но если речь идет о насаждении стандартов «мирового общества» силой, то следует называть вещи своими именами и заключать, что форсированные попытки исходить из «вторичности» и ненужности государственного суверенитета там, где забота об его укреплении объективно является главной задачей момента, влекут за собой кровавые конфликты. Пример насильственного проецирования стандартов мирового общества на не входящие в него, хотя и «приграничные», зоны — ситуация на Балканах.

Понятно, что европейские лидеры болезненно воспринимают обострение проблем самоопределения в этой части мира, потому что из западноевропейских столиц она видится ближайшим периметром границ и естественной сферой влияния «Большой Европы» — почти в точности так же, как именно таковыми считает зону СНГ (как теперь уже явно) большинство российской элиты. Но типологически «не-интегрированная» Европа существенно отличается от «интегрированной».

¹ См.: *Lauterpacht E. Sovereignty — myth or reality?* // *International Affairs*. 1997. № 1. P. 137-139.

И дело не в коммунистических стереотипах ее лидеров: отказавшийся от коммунизма покойный хорватский президент Туджман ни в теории, ни на практике ничем не отличался от «условно коммунистического» сербского президента Милошевича, но Хорватию произвольно зачислили в партнеры Запада, а из Сербии сделали изгоя из-за того, что в Косово она пыталась сделать как раз то, что Хорватия при поддержке Запада на несколько лет раньше сделала в Сербской Крайне. Но Хорватия и Сербия дрались, не жалея себя, за то, что они считали самым главным, за свое новое государственное «я», с точки зрения которого либеральные трактаты об отмирании государства как об общемировой тенденции казались лишь вычурным конструктом утомленного сытостью интеллекта.

Со стороны западноевропейских стран разумно спешить в «над-Европу», готовя теоретическую и политико-идеологическую почву для грядущего слияния: во-первых, фрагментация существующих государств «старой» Западной Европы для западноевропейцев — вполне реальная угроза, на которую они должны реагировать; во-вторых, Западная Европа созрела для «преодоления» традиционной государственности, пройдя перед этим с 1870 по 1945 через три изнурительные войны (франко-прусскую и две мировые), которые как раз и были борьбой за окончательное оформление системы европейских национальных государств.

Большинство новых государств Юго-Восточной, Восточной Европы и зоны бывшего СССР испытывает не столько страх перед национализмом, сколько благодарность к нему как основной движущей силе возникновения этих государств на карте мира. Ни одна из таких стран, включая Россию, не имела западноевропейского опыта «пресыщения» государственностью и «усталости» от нее. Из недр российской жизни западноевропейские предписания о желательности «преодолевать» государственность через интеграцию и регионализацию кажутся просто либерально-утопическим аналогом провалившейся советской концепции развития отсталых обществ из средневековья непосредственно в современное индустриальное общество («социализм» и «коммунизм»), минуя промежуточные стадии рыночных отношений и начального промышленного производства. Даже в новой России, выкарабкавшейся из-под обломков Союза, ощущается страх перед новой эскалацией территориального распада — на него-то и среагировала в 1999 г. российская элита, попытавшись — возможно временно — вернуться к идее укрепления государственности.

В принципе, теоретики упрекают государство справедливо. Во-первых, они выражают сомнения в нужности государства в условиях, когда каждый гражданин в отдельности может непосредственно обратиться для защиты своих интересов в международные правозащитные, судебные и другие органы — от Международной амнистии до Международного суда. Во-вторых, в условиях внутренней устойчивости на западе Европы убедительно звучали слова о необходимости защищать не всепоглощающее налоги государство от людей, а людей

от всемогущего бюрократизированного государства. В-третьих, в современных условиях надгосударственные и трансгосударственные субъекты (международные финансовые институты и МНК) в самом деле обладают ресурсами, намного превосходящими возможности большинства государств, и поэтому суверенитет последних, во всяком случае, экономический, становится фиктивным. Наконец, в-четвертых, как отмечают исследователи, «обычное» государство утрачивает способность регулировать межэтнические отношения, проблемы которых, как предполагается, могут быть лучше разрешены в рамках надгосударственных общностей.

Вряд ли кто-либо взялся бы всерьез спорить по сути любого из этих замечаний. Эти и другие пороки государства очевидны и россиянам. Но в России иным остается соотношение потребностей в защите граждан *от* государства и защите граждан *при его помощи*. Найти управу на произвол российского чиновника хоть и с трудом, но можно хотя бы и в Гааге (в Москве выросла целая агентская сеть по оказанию гражданам соответствующей помощи). Но как при помощи санкции извне России защитить от изгнания из родных домов, похищений людей, взрывов, террора и ракет жителям Ставрополя, Ростовской области и даже Москвы?

Там, где ситуация остается нестабильной и опасной, идея отмирания государства не имеет под собой почвы. Ослабление государственного начала в России угрожает распадом страны. Игнорировать эту опасность в конце 90-х годов не решаются даже и убежденные радикал-демократы. Не случайно откровенно прозападный по приоритетам Союз правых сил (СПС) России — преемник демократического движения начала 90-х годов — осенью 1999 г. в политическом плане решительно перешел на государственноческие позиции, в экономическом отношении продолжая отстаивать идею свободного рынка.

Не менее показателен опыт стран СНГ и большей части восточноевропейской зоны бывшего социалистического лагеря, где преобладающей является тенденция не к «преодолению» государства, а к его всемерному усилению, как правило, в интересах силового регулирования внутренних гражданских отношений (Хорватия, Сербия, Румыния, Латвия, Эстония, Белоруссия, Грузия, Казахстан, новые государства Средней Азии), противостояния гипотетической или реальной внешней угрозе (Албания, Македония, Армения и Азербайджан) и задачам социально-экономического развития (Украина). Наконец, абсолютно для всех перечисленных государств наступательная государственноческая философия политики является инструментом утверждения (часто избыточного) новой идентичности. Надо ли искать новые аргументы для констатации: важнейший постулат глобализации — «одоление» государства надгосударственностью — по своему значению остается локальным, и для огромного пространства Евразии к востоку от Словении, Венгрии и Польши — равно как и, заметим, той части Североамериканского материка, которую занимают Соединенные Штаты, — его применимость сегодня вызывает больше сомнений, чем понимания.

IV

Как и расхожее объяснение неместимости международных реальностей в русло теорий глобализации посредством отсылки «просто» к фактору исторической асинхронности — отставания России и связанной с ней поясной зоны Центральной Евразии от опережающе развивавшихся ареалов Западной Европы и Северной Америки. Рискнем усомниться в обоснованности глобализаторских построений с методологических позиций.

Очевидно, что при всей мощи внешнего демонстрационного эффекта теорий глобализации они исходят из единственной версии понимания мирового развития — линейно-прогрессивной. Если полагаться на нее, то действительно следует ожидать, что «отставшие» страны со временем «подтянутся», просветятся, избавятся от ненужной (?) архаики традиций, осовременят себя по образу и подобию передового Запада. Так они подготовятся ко «вхождению-интеграции» в мировое общество. При таком взгляде в самом деле трудно возражать против «естественной обреченности» всего мира рано или поздно стать «сплошным Западом», а международного сообщества — мировым обществом. Не придется сомневаться и в надежности нынешней однополярной структуры международных отношений, которая объективно наилучшим образом приспособлена для содействия распространению импульсов глобализации в ее вестернизаторской версии.

Всякая теория склонна к упрощениям, и глобализаторская — не исключение. Так, на языке структурных понятий краеугольный постулат глобализации о перспективе общего уподобления постиндустриальному западному обществу строится на понимании связей между субъектами как связей жестких и лучевых. Имеется в виду, что такие связи проникают повсюду и все видоизменяют на своем пути. Им и отводится роль инструмента унификации мира, формирования в нем единообразных пластов социальной, международной и иной реальности (общие стандарты потребления, поведения и быта, единые ценности, сходные политические практики, модели поведения, родственные художественные вкусы и т.п.).

Но распространение импульса по лучу — не единственный возможный тип связей в социальной и международной среде. Связи не обязательно должны быть жесткими, пронзающими и лучевыми, они могут на деле оказываться мягкими, гибкими и опоясывающими. Значит, передаваемое через них воздействие не обязательно будет «вонзаться вглубь», а может растекаться по поверхности, вдоль внешних мембран-оболочек объекта — как оно и происходит в действительности. Конечно, и через мембраны-оболочки видоизменяющие импульсы могут просачиваться внутрь, оказывая свое влияние, но только медленно, постепенно, дозированно и — в меру большей или меньшей проницаемости мембран. Внешние импульсы смогут воздействовать на внутренние структуры объектов, но не обязательно сумеют радикально изменить их, уподобляя источнику первичного импульса.

Следуя такой логике, не входящие в «гетто избранничеств» мирового общества страны (Россия в том числе), испытывая воздействие внешнего мира, не обязательно должны поддаваться ему настолько, чтобы видоизменялась их (геополитически, культурно-традиционалистски, исторически и проч.) заданная сущность. Причем они могут избегать уподобления, не отказывая себе в прагматическом использовании тех или других благоприятных элементов внешних воздействий, допуская их в одни и не допуская в другие секторы своей внутренней жизни. Так, Япония и Корея, освоив западные стандарты бизнеса, не позволили внешним влияниям разрушить традиционные модели производственного поведения японцев и корейцев (отношение к работе как к сакрализованному долгу; соотношение потребления и отдыха, с одной стороны, и накопления и трудовых затрат, с другой, в пользу последних и т.п.). Более того, сумев найти оптимальные сочетания новаций и архаики, эти страны сами приобрели черты новой субъектности в смысле способности служить образцом подражания для западных обществ, которые в этом смысле стали реципиентами влияния.

Общества, исторически сложившиеся в относительной удаленности от «мирообщественного центра», которые и были объектами приложения усилий модернизаторства (цивилизаторства, глобализаторства), развили в себе особую внутреннюю структуру, которая позволяет успешно совмещать новое (современное) и архаичное (традиционное), не позволяя ни тому, ни другому уничтожить друг друга. Подобная структура представляет собой *конгломерат* одновременно и архаичного, и современного, каждое из которых образует в обществе отдельный анклав¹.

Анклавы со-полагаются рядом и влияют друг на друга, но не сливаются, не образуют общего однородного качества через традиционную (для любезной марксистам диалектики) цепочку: разрушение исходных качеств — слияние-сплав — синтез и образование нового свойства. Анклавы устойчивы — потому, что они устойчиво востребуются обществом на протяжении исторически весьма продолжительных периодов, каждый — в своей исключительном качестве. Поэтому три века модернизации России так и не сделали (и не могли сделать!) ее «современной» в западном смысле слова, хотя и позволили ей развить в себе обширный анклав «современного», который продолжает сосуществовать наряду с еще более масштабным анклавом традиционного типа неформальных общественных отношений, быта, моделей экономического и политического поведения.

Конгломеративная структура (которая типична для России, большинства других так называемых переходных обществ восточноевропейского и пост-советского ареалов, Китая, Индии, Японии и

¹ Анклавно-конгломеративной структуре обществ посвящена наша с А.В.Виноградовым специальная работа. См.: Модель равноположенного развития: варианты сберегающего обновления // Полис. 1999. № 4.

целого ряда других незападных государств) сама по себе не обрекает общество на отставание и застой. Она может быть превосходно приспособленной для восприятия новаций. Просто новации воспринимаются каждым анклавом в отдельности, и, сообразно тому, каждый из них изменяется в пределах собственной структуры. Общий накопленный потенциал новаций в обществе при этом увеличивается, но его дву- (или много-) анклавная структура не разрушается, и соотношение между пластами обоих анклавов остается более или менее устойчивым.

Поэтому «человеческий фактор» — феномен по определению архаичный — в отношениях между российскими губернаторами и членами федерального правительства сегодня не тождествен отношениям между приказными дьяками и просителями времен Алексея Михайловича, хотя в обоих случаях эти отношения вполне архаично регулируются не столько писанным законом, сколько неформальными связями и симпатиями-антипатиями, апеллирующими к землячеству, родству, знакомству, совместному обучению на ранних этапах карьеры, принадлежности к клубам и гласным и негласным объединениям по интересам.

Точно так же «современные» по критериям своего времени методы бюрократического управления при Петре Великом отличаются от сегодняшних процедур прохождения документов для регистрации новых общественных организаций в Минюсте РФ, но методы круговой обороны чиновников перед и сегодня бесправными просителями-гражданами принципиальных изменений не претерпели, и фактический механизм преодоления бюрократических тупиков зависит от наличия или отсутствия у заявителя каналов неформального воздействия на разрешающую инстанцию так же, как и триста лет назад. Чиновнику выгодно выступать носителем «современного», агитируя в соответствии с новыми законами в пользу избрания «своего» депутата в законодательное собрание, и здесь он ведет себя «современно». Но ему не выгодно обеспечивать прозрачность прохождения через его ведомство тех или иных бумаг, и он ведет себя «традиционно», вымогая, например, мзду с очередного просителя.

Примеры легко умножить. Для нашего рассуждения важнее зафиксировать: общество и элита нуждаются в современном и архаичном в равной мере, и до тех пор пока это будет мотивировано подобным образом, «многокамерная», конгломеративная структура общества не изменится, как она принципиально не изменилась в структурном плане за последние три столетия. По этому поводу можно сокрушаться или ликовать, но нельзя и дальше исходить из того, что «скоро» все станет по-другому. Думается, один из главных недостатков современной российской политологии состоит в том, что она снова задержалась на (продолжающемся уже 10 лет) этапе изучения зарубежных наработок, забыв о необходимости наряду с освоением западных открытий углубленно изучать фактическое развитие российской действительности такой, какая она есть, чтобы затем на базе

накопленного материала прийти к обобщениям, способным уточнить и дополнить в ряде существенных положений и зарубежные теории.

Можно ли считать, что современные международные отношения имеют анклавно-конгломеративную структуру? Отвергать эту версию лишь потому, что образованное сознание привыкло полагать иначе, нет оснований. Как нет их для того, чтобы считать единственно возможным понимание единства мира как единства системного, основанного на представлении о жесткой внутренней взаимосвязанности образующих систему элементов и ее тяготении к однородности в силу действия внутрисистемных связей по мере движения по шкале линейного времени.

Ни практически, ни теоретически мир не утратит цельности, отказавшись от линейно-прогрессивного *credo*. Движение-развитие, как хорошо известно в том числе благодаря работам по синергетике, может происходить по колебательным, спиралеобразным и даже более сложным траекториям. С точки зрения не линейного, а спиралевидно-циклического взгляда на историю, например, легко объясняется устойчивый рост безграмотности среди определенных категорий населения в пост-индустриальных США и новой пост-тоталитарной России.

Взгляд на мир как на конгломерат взаимодействующих, но не обереченных на взаимное уподобление (*через фактическое поглощение одного — другим, Не-Запада Западом*) анклавов представляется адекватным живой реальности. От «обратно-идеологизированного» видения мира через призму глобализации-вестернизации конгломеративный подход отличается в трех отношениях.

Во-первых, он органичнее сочетается с фактическим многообразием мира, находя естественное структурное местоположение и функцию для западных и незападных его составляющих. Мир перестает, как сегодня, делиться на «Запад» и «недо-Запад», который должен стать Западом, но еще этого не сделал в силу неразумия, «отсталости» и злонамеренного (коммунистического) упрямства.

В идеале мир-конгломерат предстает состоящим из нескольких равноположенных частей-анклавов, не похожих и не стремящихся походить друг на друга, но взаимно влияющих и взаимно приспособливающихся. Причем «по поверхности» в таком мире на самом деле постепенно формируется общий стабилизирующий пласт разделяемых всеми ценностей (мира, например). Но внутренняя организация каждого анклава не разрушается только потому, что ситуативно анклав (в данном случае — анклав мирового общества) — более выгодно (экономически, экологически, ресурсно) максимально быстро освоить пространство расположенных рядом других анклавов, хотя бы и ценой видоизменения-разрушения последних.

Во-вторых, достоинством анклавно-конгломеративного видения является его миролюбивый, примирительный характер — контрастирующий с воинственностью теорий глобализации, с их нескрываемой ориентацией на поглощение «отсталого» — «передовым» и подразу-

меваемой борьбой цивилизационных разносущностей на выживание. Анклавно-конгломеративный взгляд избавляет от необходимости исходить из неминимости нового мирового антагонизма и намечает пути его предупреждения через отказ от форсирования попыток модернизации — даже и движимой благородным побуждением поддаться лучшими стандартами политического устройства, хозяйствования, потребления и быта.

В-третьих, предлагаемый в работе взгляд по сути дела является вариантом средоохранной (и в этом смысле экологической) рационализации. Он представляет оппозицию инструменталистско-преобразовательскому подходу мирового общества к международному сообществу как среде своего обитания и призывает считаться с ней как с равнозначной составляющей международных отношений, а не как с бессильным объектом «мирообщественных» устремлений. Миру, может быть, стоит помедлить, чтобы лучше понять, куда ведет вектор пост-индустриализма и устойчивого развития на базе расширенного потребления ресурсов и ценой обеднения культурно-духовного многообразия планеты.

Анклавно-конгломеративный подход по-своему, несомненно, воплощает идею целостности мира. Он строится на представлениях о наличии в планетарном организме единых естественно-материальных закономерностей, задающих некоторые общие параметры поведения человеческой общности в целом. Но он противостоит попыткам представить единственный, хотя и соблазнительный с позиций современной культуры потребления, вариант рационализации этого поведения в качестве высшего достижения людского интеллекта.

Объективно современная рациональность с сопутствующим ей типом конкретизации понятий добра и зла неразрывно связана с ресурсопоглощающим, потребительским отношением к среде — социальной, страновой, межстрановой и т.п. Продление этого вектора развития, в пользу которого работают колоссальные материальные интересы и сверхмощные движущие силы МНК, переросшие страновые рамки, — наиболее вероятная перспектива. С этой точки зрения теории глобализации выполняют вполне прикладную роль, они обосновывают наименее затратные пути бесконфликтного расширения природной базы такой модели роста. Однако ресурсоемкий тип развития устаревает, и природно-ресурсный — прежде всего экологический — кризис на планете может неожиданно ускорить этот процесс.

V

Возможно, западным политикам такой оборот событий кажется более реальным, чем они любят в этом признаваться. Во всяком случае, очевидно, что Запад спешит, торопится использовать ту ситуацию, которая сложилась в международных отношениях на рубеже нового века, и закрепить за собой наиболее благоприятные позиции в мире на будущие, по крайней мере, двадцать-пятьдесят лет. Обзор зарубежной литературы убеждает, что в целом Запад удовлетворен

положением международных дел и намечающаяся фронда Китая, России, Индии и, возможно, каких-то еще меньших стран его не слишком пугает. США, как отмечают с подкупающей откровенностью американские коллеги, добились решающего преобладания над всеми своими соперниками и ныне смело проводят «ту же самую стратегию достижения превосходства, которой они следовали с 1945 по 1991 г.»¹. Если же говорить о мнениях западноевропейцев и японцев, то они вполне довольны «просвещенным авторитаризмом» американского лидерства в мире, но опасаются, что США «могут увлечься» и перестанут считаться с мнениями своих более слабых, но в общем очень лояльных к Вашингтону партнеров². Между тем, извне мирового общества картина кажется менее умиротворительной. Гармонию нарушает прежде всего несоответствие методов и процедур управления современными международными отношениями их объективной природе.

Действительность 90-х годов обнаружила ряд важных закономерностей. Во-первых, изменилась и продолжает меняться структурная конфигурация мира. После распада биполярности в 1991 г. условно биполярным мир можно считать только в военно-силовом отношении, да и то при понимании асимметрии возможностей США и России как двух составляющих этой конструкции. Хотя США остались единственным комплексным лидером, мир не приобрел черт классической однополярности. Новый полюс оказался «плюралистичным», и его функции приняли на себя вместе с США шесть других старых членов «группы семи», среди которых Соединенные Штаты, конечно, являются партнером, «более равным, чем остальные». Эти страны фактически образовали орган политического управления мировым обществом, а в той мере как последнее задает тон обстановке в международном сообществе — то и орган мироуправления вообще.

Во-вторых, не успев окрепнуть, однополярная структура мира стала испытывать значительное давление со стороны дебютировавших в 90-х годах в роли глобальных игроков Китая и Индии, первый из которых резко нарастил свои экономические и военные возможности, а вторая, вопреки сопротивлению «старых» великих держав, прорвалась к обладанию ядерным оружием (одновременно с Пакистаном). От этого существенно изменилось соотношение военно-стратегических возможностей в Центральной Евразии.

И Индия, и Китай, но прежде всего последний, обнаружили беспокойство по поводу негласного стремления США начать подго-

¹ Layne C. Rethinking American Grand Strategy. Hegemony and Balance of Power in the Twenty-First Century? // World Policy Journal. 1998. Summer. P. 8.

² Вполне показательная в этом смысле работа французского автора Ж.-М.Гэнно. Давая вполне объективный анализ противоречий современного развития, он, кажется, ничем не обеспокоен так сильно, как кажущимся ему нарастающим нежеланием Вашингтона разделить бремя лидерства с Европой. См.: Guhenno J.M. Globalization and the International System // Journal of Democracy. 1996. № 4. P. 30.

товку для возможного в будущем распространения зон влияния НАТО глубоко в центр Евразии посредством избирательного подключения к системам пара-военного сотрудничества с альянсом центральноазиатских государств и России. Ответным шагом Китая, исходившего из желания помешать дрейфу Москвы к Западу, была попытка предложить России декларативный «антиоднополярный пакт», который и был заключен в 1996 г. в форме российско-китайской Декларации о многополярном мире, трактовки которого российской и китайской сторонами носят антизападную направленность.

Хотя по фактическому значению российско-китайское сближение, улучшение китайско-индийских отношений и оживление российско-индийских связей не дают оснований говорить о становлении в мире многополярной структуры, можно констатировать, что в рамках однополярности уровень централизованности принятия и реализации решений стал ниже, чем он был в условиях биполярности 1945-1991 гг., и продолжает понижаться за счет «рассеянной фронды» по отношению к Западу со стороны арабо-исламского мира, а также активно акцентирующих субрегиональные аспекты своей политики стран Латинской Америки. Есть основания полагать, что, оставаясь «плюралистически однополярным» по методам управления, мир становится одновременно все более децентрализованным, фрагментарным.

В-третьих, реагируя на децентрализацию, в которой старые члены «семерки» увидели вызов своему влиянию, Запад с 1996 г. ужесточил свою политику. Были приняты меры для переобоснования американского присутствия в Европе при видоизменении его материально-технических основ (сокращение американских контингентов и вывод ядерного оружия), начались широкомасштабные мероприятия по выдвиганию передовых рубежей безопасности НАТО к востоку (Венгрия, Польша, Чехия), дважды апробировались натовские механизмы кризисного принятия решений по военным вопросам и непосредственного использования вооруженных сил Альянса в наступательных целях — то есть за пределами национальной территории государств-членов.

Действия НАТО, в свою очередь, оказали провоцирующее воздействие на другие государства, в числе которых Россия впервые после провозглашения независимости прибегла к целенаправленному применению силы на Кавказе, возобновив осенью 1999 г. регулярные боевые действия против мятежа в Чечне, вожди которого попытались распространить зону своих террористических акций на сопредельный Дагестан. В мире произошло понижение порога применения силы, и вооруженные конфликты перестали рассматриваться в качестве экстраординарных явлений.

В-четвертых, произошел серьезный концептуальный сдвиг в понимании того, что является и что не является элементами международного порядка. После «третьей и четвертой» балканских войн в Боснии и Косово произошел фактический, хоть и не формализованный, отказ мирового общества от принципа разрешительности

(*lasser-faire*), считавшегося системообразующим со времен Вестфальского мира 1648 г. и предусматривавшего неограниченную свободу суверенных государств в вопросах внутренней политики в пределах, не угрожающих непосредственно безопасности других стран.

После войны в Косово, когда страны НАТО вмешались во внутренние дела Сербии, не граничившей ни с кем из членов Альянса, стало ясно, что «группа семи» фактически приняла к руководству новую доктрину международного порядка — доктрину «избирательной легитимности». В соответствии с ней страны НАТО присвоили себя право самостоятельно определять параметры легитимности действий суверенных правительств в вопросах внутренней политики и самые пределы государственного суверенитета других государств. Отход от устоявшегося принципа упорядочения международных отношений стал возможен на фоне военного превосходства НАТО над странами-потенциальными объектами политики «избирательной легитимности». От этого в международной политике возрос потенциал недоверия и конфликтности.

И все же, несмотря на противоречивый характер развития, есть основания полагать, что в 90-х годах в целом в мире утвердился новый международный порядок. Для такого вывода есть необходимые основания. Во-первых, появился — плохой или хороший — принцип «избирательной легитимности», которым фактически начинает руководствоваться международное сообщество под давлением «группы семи». ООН и другие международные организации все чаще в каждом отдельном случае рассматривают вопрос о «законности» или «незаконности» политики конкретных правительств государств мира. Расширяется и закрепляется практика принятия практических шагов (санкций, разнообразных форм парасиловых и силовых интервенций) на основе результатов таких обсуждений. Раз за разом создаются прецеденты нарушения классической нормы невмешательства во внутренние дела суверенных государств — эта новая черта, несомненно, является одной из основных характеристик современного международного порядка. Во-вторых, существует ясное соотношение сил и возможностей, которое определяет четкую иерархию стран в мировой политике. Все более или менее хорошо понимают, какие государства и группировки занимают верхние ступени пирамиды и какие теснятся у подножья. В-третьих, большинство стран мира, соглашаясь или не соглашаясь с фактическим положением дел, принимает его в расчет и соответствующим образом строит свою международную политику. В-четвертых, в мире существует согласительный механизм — пусть слабый и несовершенный — в лице ООН, при помощи которого фактическиедемиурги главных международных решений могут при желании устранять наиболее конфликтные несоответствия в ходе реализации попыток мирового общества руководить международным сообществом. В-пятых, по крайней мере отчасти, институты реального (неформального) регулирования международных отношений в лице «семерки» остаются полуоткрытыми — в них формально может

участвовать Россия, к которой (об этом уже ведется речь) может в будущем присоединиться Китай. И хотя сомнительно, чтобы новые члены группы могли скоро сравняться со старыми, их взаимодействие в рамках этой конструкции лучше отсутствия диалога и откровенной разобщенности. Скверное управление миром не хуже отсутствия управляемости вообще, хотя это и недостаточное утешение: однополярность, может быть, и предпочтительней по сравнению с химерами многополярного мира с его неизбежным тяготением к большим войнам, но она неорганична в том смысле, что не соответствует объективной структуре мира. В этом может оказаться одна из причин ее недолговечности.

Нынешний порядок не кажется надежным. Слишком многие страны отчуждены от участия в его регулировании, и слишком откровенно его поборники полагаются на силу. Концепция «избирательной легитимности» в этом смысле не внушает оптимизма, так как игры, в которых участники меняют правила по ходу игры, редко кончаются ко всеобщему благу. В стремлении Запада устанавливать правила, полагаясь на свой интерес, состоит главный риск современной ситуации. Она терпима в той мере, как ведомые мировым обществом остальные члены международного сообщества не имеют ресурсов сопротивляться или полагают, что неудобства пребывания в положении младших партнеров лучше других мыслимых альтернатив. Но эта ситуация противоречит структуре мира-конгломерата. В этом смысле она искусственна и уязвима. Это неизбежно противопоставляет международное сообщество мировому обществу.

Современный порядок не благоприятен для России, роль которой в процессе как его складывания, так и регулирования пассивна и ограничена. Россию учитывают в мировом раскладе — в силу ее огромного геополитического потенциала и остаточной военной мощи. Но отдавая должное ее потенциальным возможностям, партнеры в равной мере учитывают ее неспособность эффективно распорядиться имеющимися ресурсами, сформулировать цели, отвечающие ее реальным потребностям и одновременно соответствующие имеющимся ресурсам, включая организационные ресурсы, характеризующие способность правительства в нужный момент сосредоточить необходимые средства национальной мощи на приоритетных направлениях.

В силу геополитической природы Россия как страна с преобладанием пространственно-ресурсного, а не инструментально-преобразовательского начала является хрупким образованием. Нынешняя формула включения в экономико-производительную сферу мирового общества в краткосрочной перспективе способна обеспечить рост материального благосостояния ее населения, как она и сегодня обеспечивает рядовым россиянам уровень жизни более высокий, чем у граждан безресурсных Болгарии, Грузии или Армении. Смущает не роль сырьевого придатка более развитой части мира, а отсутствие свободы решить, хочет ли страна быть таковой, накапливая богатство в зарубежных банках, или она предпочтет тратить ресурсов меньше,

держат деньги дома и жить богаче, чем по среднесоветским, но скромнее, чем по среднезападным стандартам затрат и потребления.

Втиснутая в нынешний мировой порядок Россия не только не выбирает, но даже теоретически не осмысливает издержки и преимущества альтернативных выборов. В нынешних российских условиях, как продемонстрировал феномен «завещаемого президентства», свобода выбора условна. Но обстоит ли дело иначе в международном сообществе?

* * *

Рубеж веков отмечен десятилетием самого успешного в XX веке этапа экспансии мирового общества в отдаленные и закрытые для внешних влияний уголки планеты. Восемь десятилетий споров, войны, сотрудничества и интеграции спаивавшее себя демократическое ядро международного сообщества с выгодой использовало эпохальный шанс распада биполярности и сделало рывок к преобразованию международного сообщества в мировое общество планетарно-вселенского масштаба.

Но прошедшие годы обнаружили и определенную исчерпанность ресурса исходных ожиданий. Постулировавшаяся долгие годы упрощенная картина мира, источником «неправильного» развития которого считалось идеологическое противоречие прежних, политико-идеологических, Запада и Востока, обнаруживает свою неполноту. Реальный мир, не утрачивая единства, стал проявлять себя организмом, склонным развиваться не только по законам линейного восхождения. Избавившись от страха быть втянутыми в ядерную схватку между двумя супергигантами, страны мира стали обращаться внутрь себя, осмысливая и пытаясь капитализировать внутренние культурно-традиционные, социальные и иные ресурсы, в которых многим из них видится шанс стать более конкурентоспособными перед растущим давлением-соблазном «стать частью Запада».

Ставшая более заметной эта тенденция в случае ее нарастания способна затормозить глобализацию, по крайней мере, в ее поверхностных скоротечных формах уподобления культурных, бытовых и поведенческих стандартов. И хотя, не будучи концептуализированной и не обретя организационно-политической институционализации, эта тенденция вряд ли сможет приостановить глобализацию как таковую, она кажется способной ограничить влияние глобализационных импульсов, которым для сохранения прежних параметров влияния придется искать не просто более изолированные, но и более адекватные формы воздействия — прежде всего в смысле их совместимости с интересами государств, объективно ощущающих себя главным образом объектами международного влияния.

Как долго может сохраняться вектор таким образом направленного развития? Ответить на этот вопрос — захватывающе масштабная задача, встающая перед современным аналитиком международной реальности.

ГЛАВА 18. «СТРАТЕГИЯ ПЕРЕМАЛЫВАНИЯ» ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ США

А.Д.Богатуров

Современную глобальную политику США — при многообразии ее главных аспектов — трудно понять в отрыве от выявившихся в 90-х годах трех новых «вводных»: снижения для США силовой конкурентности со стороны международной среды, связанного с этим измененного целеполагания в отношении западноевропейского, постсоветского и дальневосточного материковых пространств и опережающего роста значения восточноазиатских составляющих Евразийского материка в американской системе внешнеполитических, экономических и военно-стратегических приоритетов.

Россия в политике, формирующейся под воздействием этих факторов, утратила универсальную и самодовлеющую роль, которой в глазах американского истеблишмента обладал Советский Союз. Но российско-пост-советское, а в меньшей степени и восточно- и южно-европейское «пост-социалистическое» направления приобрели для американской внешней политики новое и тоже важное значение в связи с изменением конфигурации интересов США в Евразии, на тихоокеанских рубежах которой возвысились Китай и Япония, отношения с которыми в следующем веке станут, по-видимому, представлять для американских интересов полифонию сплетения дополнительных возможностей и граничащих с угрозами вызовов.

Задача статьи — исходя из главных процессов мировых трансформаций, выявить наиболее устойчивые, глубоко мотивированные характеристики политики США в отношении России и ее по-прежнему спазматических попыток найти оптимальную линию в отношении наступления во утверждение своего лидерства, которое победоносно разворачивают США в последние 10 лет.

I

За эти годы внешняя среда активности американской дипломатии сильно изменилась. *Во-первых*, при ее участии «явочным порядком» была осуществлена реорганизация глобальных структур мироуправления таким образом, что наряду с универсальным по охвату и официальным по статусу ооновским механизмом вырос полужакрытый (по избранности допущенных в него членов) и неформальный (по типу принятия решений) тандем «семерка»-НАТО, который по практическому воздействию на мировую политику стал вровень с ООН. Между двумя ветвями мирополитического регулирования — формальной, ооновской, и неформальной, «семерко-

натовской», разворачивается конкуренция, в которой вторая обладает рядом преимуществ.

Прежде всего, «неформальная» ветвь эффективнее в принятии решений. Старые члены «семерки» представляют собой однородные в политико-идеологическом и экономико-социальном отношениях государства, и им проще «притираться» свои интересы, чем разнородным субъектам, составляющим большинство ООН. Страны «семерки» имеют возможность заранее согласовывать свои позиции по важнейшим международным вопросам, а затем отстаивать их в ООН коллективно. Такая двухступенчатая дипломатия довольно точно — но не «зеркально» — воспроизводит двухступенчатую модель выработки решений, характерную, что любопытно, для дипломатии стран АСЕАН в отношении их партнеров. Государства этой группировки еще с начала 80-х годов начинали переговоры с более сильными западными партнерами и Японией только после того, как предварительно договаривались между собой за закрытыми дверями совещаний на уровне министров иностранных дел или глав государств и правительств¹. Двухступенчатая модель повышает эффективность дипломатии любой группы стран, выступающих с позиций «прогнозируемого меньшинства» в процессе коллективной выработки решений, что и учитывается странами «семерки» в их политике.

Другим преимуществом механизма «неформального регулирования» является его замкнутость на военную организацию НАТО. ООН не имеет собственных вооруженных сил, в силу чего любое потенциальное решение Совета Безопасности о силовых санкциях грозит перерасти в громоздкое многоканальное согласование, способное отсрочить действия на неопределенный срок. Страны «семерки», напротив, могут мобилизовать свои военные ресурсы сравнительно быстро, руководить ими слаженно и применять по своему усмотрению, учитывая собственные политические интересы, равно как и задачи испытания боевой техники, «обкатки» и «обстрела» военных формирований на случай последующих конфликтов.

Правда, «семерка»-НАТО вроде бы предпочитает действовать с санкции ООН, но, как показали события в Косово весной-летом 1999 г., она не считает получение мандата ООН «категорическим императивом». Более того, речь, скорее, идет о формировании странами «оси» цепочки прецедентов, способных стать вешками на маршрутах утверждения практики принятия международных решений «в обход ООН». Имеется в виду, по-видимому, двуединая установка: с одной стороны, легализовать, морально оправдать в глазах общественного мнения действия «семерки»-НАТО, принимаемые вопреки ООН, с другой, оказать психологическое давление на ООН, которая, понимая собственную слабость и невольно реагируя на силовое

¹ Об этом механизме подробнее см. нашу работу «Великие державы на Тихом океане. История и теория международных отношений в Восточной Азии после второй мировой войны. 1945-1995». М., 1997.

преимущество и превосходство политической воли «оси», стремится, «сохраняя лицо», избежать противостояния с «семеркой» за счет движения навстречу ее требованиям.

Ситуация усугубляется положением внутри ООН. Затянувшееся обсуждение вопроса о ее реформировании не дает позитивных результатов. Оно привело лишь к тому, что разговоры об устаревании ООН и ее неадекватности стали рефреном речей и текстов на ооновские темы. Острые критики направлены против Совета Безопасности, внутри которого в соответствии с Уставом сохраняется преимущественный статус ограниченного круга пяти постоянных членов (США, России, Китая, Франции и Великобритании), обладающих привилегией вето в отношении рассматриваемых решений. Соответственно, предложения о реформе так или иначе концентрируются вокруг возможности увеличения числа постоянных членов СБ (за счет принятия некоторых других крупных держав, например, Индии, Германии, Бразилии, Японии и т.д.) и «размягчения» консенсусной формулы принятия решений таким образом, чтобы, по крайней мере, некоторые решения СБ принимались простым большинством без учета согласия или несогласия всех пяти постоянных членов.

Не вдаваясь в частности вопроса о реформе и ее необходимости, заметим, что дискуссия о неадекватности ООН косвенно работает на «моральную делегитимацию» ООН и основанной на ней системы мирополитического регулирования. Международное общественное мнение вольно-невольно подготавливается к вероятному вбросу тезиса о непригодности ООН для выполнения регулирующих функций в международных отношениях и о неизбежности передачи ее роли тем механизмам, которые де-факто уже и так перенимают существенную долю ее прежде исключительных функций.

Во-вторых, после переходного периода, длившегося не более полутора-двух лет после распада СССР, в мире в основном утвердился пришедший на смену ялтинско-потсдамскому новый международный порядок. В литературе была предпринята не лишняя логика попытка назвать его «мальто-мадридским»¹ — по советско-американской встрече на Мальте в 1989 г., когда советское руководство, как принято считать, согласилось признать право стран Варшавского договора развиваться по несоциалистическому пути; и сессии Совета НАТО в Мадриде в декабре 1996 г., на которой было в принципиальном плане решено начать расширение НАТО на восток с включением в него бывших социалистических государств.

¹ Бабурин С.Н. Мировой порядок после СССР и территориальный вопрос // Национальные интересы. 1998. № 1. С. 8-15. Есть основания полагать, что к формулированию основных положений этой работы имел отношение д.и.н. Борис Николаевич Занегин (скончавшийся в январе 2000 г.), видный российский международник марксистско-фундаменталистской, как он сам ее именовал, школы, долго выполнявший при С.Н.Бабурине роль аналитика и советника по международным вопросам.

Этот порядок официальные власти и часть научных кругов в ряде стран, но прежде всего в Китае и России, стремятся вопреки очевидному видеть многополярным. Однако более основательным, как представляется, является мнение о том, что современный мир приобрел характер однополярной структуры, полюсом которой является не одна страна, а их узкая группа оси «семерка»-НАТО. В одной из наших публикаций было предложено именовать такую структуру «плюралистической однополярностью». Появившийся вскоре вслед на страницах русской печати термин американского исследователя Айры Страуса «униполярность»¹ представляется менее удачным, так как, во-первых, он представляет собой грубоватую транслитерацию английского слова, построенного к тому же на латинской основе, а во-вторых, что существеннее, затушевывает те процессы внутри единственного полюса, которые важно ясно видеть. Речь идет о том, что параллельно с укреплением позиций группы «оси» в целом по отношению к остальному миру внутри нее развивается весьма любопытный процесс децентрализации.

Этот процесс (его иногда описывают как частное проявление общей тенденции к фрагментаризации современного мира) имеет несколько проявлений. Прежде всего, в рамках «оси» продолжает отвердевать собственно европейское начало, пытающееся равноположить себя по отношению к атлантическому. Ускорившийся с 1998 г. бег стран Западной Европы в поиске западноевропейской военно-политической и оборонной идентичности, настойчиво повторяемое желание иметь мощную европейскую основу для того, что когда-то должно стать единой оборонной политикой Европейского Союза, — самый заметный из этого ряда признаков.

Другим является давно нарастающий крен в пользу пересмотра некоторых положений американско-японского союза. Речь по-прежнему вряд ли идет об изменении ориентации США или Японии на развитие двусторонних отношений. Интересы двух держав слишком тесно переплетены, чтобы какая-то из них помышляла о разрыве или переводе отношений на более низкий уровень. Но эволюция представлений и США, и Японии о возросших возможностях Токио оказывать влияние на международные отношения и объективное укрепление позиций страны в международных отношениях в 90-х годах создали основания для устранения асимметрии обязательств обеих сторон по связывающему их договору безопасности 1961 г. (США обязаны защищать Японию, но Япония согласно своей мирной Конституции не обязана защищать США). Это может выразиться в переподписании прежнего договора и заключении аналогичного, в котором однако может быть зафиксировано расширение как объема

¹ См.: Плюралистическая однополярность и интересы России // Свободная мысль. 1996. № 2. С. 25-36. Для сравнения см.: Страус А. Униполярность (Концентрическая структура нового мирового порядка и позиция России) // Полис. 1997. № 2. С. 27-44.

встречных обязательств Японии, так и ее прав в рамках союза с США, которые сегодня существенно ограничивают японский суверенитет в сфере внешней, военной и даже технологической политики.

Еще одним признаком децентрализации в рамках «оси» можно считать подчеркиваемое стремление США избежать фронды в своих рядах. Ради этого американская дипломатия стремится не только закрепить за собой основные рычаги лидерского управления миром, но и обеспечить согласие на это со стороны самих управляемых — по крайней мере, той их части, которую составляют «старые» члены «семерки» и даже Россия. Не позволяя усомниться в воле следовать собственному видению перспектив международного развития, Соединенные Штаты одновременно перешагивают через «комплексы величия», стремятся методами убеждения, посула, экономического стимулирования добиться принятия или хотя бы понимания их позиции теми странами, отношениями с которыми Вашингтон считает нужным дорожить.

Действуя в таком векторе, США прилагают усилия для удержания России и Китая в режиме конструктивного диалога с собой, хотя спектр расхождений между этими странами и США не является секретом. В русле этой же тенденции стоит понимать спокойствие, с которым Вашингтон говорит о трансформации «семерки» в «восьмерку» и о возможном присоединении к ней в перспективе Китайской Народной Республики, в случае чего «девятка» станет уже и внешне (по составу и консенсусной процедуре принятия решений) напоминать Совет Безопасности ООН, будь он реорганизован согласно некоторым из обсуждаемых проектов с той разницей, что за его рамками останутся, скажем, Индия и Бразилия.

В-третьих, новый международный порядок характеризуется сменой основополагающей идеи, оставшейся базой межгосударственных отношений с Вестфальского мира. Вместо принципа *laissez-faire* («разрешительности», «невмешательства»), в соответствии с которым каждое государство хотя бы теоретически было свободно в своей внутренней политике до тех пор, пока это не начинало угрожать безопасности других государств, 1999 год принес утверждение принципа «избирательной легитимности», в соответствии с которым государства-лидеры (страны «оси»), могут сами определять параметры законности или незаконности того или иного правительства в зависимости от соответствия или несоответствия его политики интересам и представлениям государств-лидеров. Смена концепции связана со сдвигом, который один из коллег охарактеризовал как «достижение демократией “критической массы” (силового? — А.Б.) превосходства над автократией»¹, или — добавим — иной формой политического устройства, которую удобно и неопасно объявить автократической, апеллируя к стандартам либеральных норм.

¹ Кулагин В.М. Мир в XXI в.: многополюсный баланс сил или глобальный Pax democratica (гипотеза «демократического мира» в контексте альтернатив мирового развития) // Полис. 2000. № 1. С. 24.

Первой жертвой реализации новой концепции стала по определению не способная представлять угрозу для НАТО Югославия во время конфликта в Косово. Показательно, что «пороговая» в ядерном отношении, и в этом смысле более опасная, Северная Корея, потенциально угрожающая и Южной Корее, и Японии, в разряд объектов применения силовых мер против «нелегитимных» режимов не попала, хотя ее политика в области прав человека (за неудовлетворительность которой была будто бы подвергнута бомбардировкам Югославия) не соответствует нормам, принятым даже в кругу советских сателлитов времен «реального социализма»!

В-четвертых, утверждение нового порядка произошло на фоне длительного благоприятного периода развития пост-индустриальной экономики и ее экспансии в новые ареалы. «Демонстрационный эффект» этой экспансии не был парирован даже «азиатскими» финансовыми кризисами 1998 г. и угрозой обострения проблемы международной задолженности. Устойчивый рост экономик США, Японии, стран Западной Европы, бум в Китае, объясняемый как результат отхода от жесткостей государственного хозяйствования, — эти обстоятельства способствовали укреплению «психо-энергетического потенциала» усилий Запада ради продления жизни действующей модели экономического развития. Экономическое благополучие развитой части мира стало решающим аргументом для обоснования мнений о безальтернативности избранного Западом пути. В политологии стали набирать популярность концепции переходности: от госрегулирования — к свободному рынку, бедности — к процветанию, тоталитаризма — к демократии, унитарности — к федерализму, национального государства — к свободной ассоциации регионов и территорий и т.д.

Финансово-экономическая подпитка таких интеллектуальных построений, а в ряде случаев и их эмпирическая убедительность, привели к тому, что для международных отношений, и это *в-пятых*, стала неожиданно характерна «обратная идеологизация». Она выразилась в ужесточении либерально-моралистской «догматики», абсолютизации опыта западной демократии и связанных с ней хозяйственной и социально-политической систем. Соответственно, реальный опыт (неудачный ход реформ и коррупция в России), неуместимый или не вполне востребованный в клише соответствий-несоответствий теоретическим ожиданиям, стал восприниматься как признак неспособности или нежелания (России) «исправиться» и должным образом следовать моделям поведения, которые, в числе прочего ценой почти непрерывных малых и больших войн с конца XVIII до середины XX в., Запад «внутри себя» согласился считать нормативными.

Наконец, *в-шестых*, над «реал-политическими» сдвигами в международных отношениях был водружен по-своему величественный «либерал-идеалистический» полог гипотезы о том, что главное содержание современной эпохи определяется переходом большинства стран мира на путь созидания гражданского общества на базе либерально-демократического синтеза. Пробегая эти строки, читатель среднего и

старшего поколения невольно вспомнит «научкомовский» постулат «неизбежности перехода от социализма к коммунизму» из Программы КПСС в редакции 1961 г. и — весело или горько — ухмыльнется. Но молодой читатель, погруженный в современную либеральную теорию, но не знакомый с советскими догмами, лишен материала для сравнений. Он может не уловить иронии доктринальных параллелей, и оттого ему ценнее просто наложить печатаемое в теоретизирующих текстах на жизненные реальности и подумать над неувязками.

Тем, например, что разрушение тоталитарных обществ в большинстве случаев дало не прирост «цивилизованных» демократических мотиваций, а обнажение *традиционных, в том числе архаичных и анти-цивилизованных*, структур в поведении и мышлении людей, государств и народов. Примером тому — внешнеполитическое поведение послетитовской Хорватии, нынешних Азербайджана, Армении, среднеазиатских государств. Или тем, что псевдо-демократические и явно авторитарные составляющие *политики* фактически вполне гармонично сосуществуют, дополняя друг друга, в пост-тоталитарных обществах конгломератного типа, к числу которых принадлежат Россия с Украиной и абсолютное большинство других стран, образовавшихся на месте прежнего социалистического содружества. И, наконец, тем, что в итоге тенденция к распаду классических тоталитаризмов на деле пока что сработала на увеличение в мире архаико-традиционалистского потенциала.

Эти наблюдения могут показаться спорными. Но незавершенность дискуссии о смысле перемен в современном мире, противоречивость их природы и отсутствие ясности в представлениях о векторах преобладающих тенденций (ясно — что от тоталитаризма, не ясно — куда) не позволяют говорить о шестом сдвиге как реальном и свершившемся. Но это и не важно. Значимо, что в сфере общественного сознания представление о реальности этого сдвига внедрено прочно. Поэтому в сфере идеологии международного общения тенденция к демократизации, будь она полу-виртуальной или действительной, оказывает действенное влияние на отношения между государствами и в этом смысле подлежит учету при анализе.

II

Сдвиги оказались благоприятными для Соединенных Штатов. Сознвая это, американская элита стала откровенно формулировать заявки на руководство мировыми процессами, обобщенным образом которых в глазах образованных слоев сегодня выступает «глобализация». В ее основе лежат глубокие объективные перемены прежде всего экономической природы, которые оказывают на современные международные отношения всестороннее влияние. Вместе с тем, на базе экономических процессов глобализации в последние годы выросла своего рода политическая идеология и даже своего рода «виртуальная надстройка». В развитие идейной составляющей глобализации уместно понимать и установку президента Б.Клинтона, который

в январе 2000 г. в ежегодном послании Конгрессу провозгласил содействие распространению глобализации главной задачей международной политики США. «Глобализация — это не только экономика. Нашей целью должно стать объединение мира вокруг идей свободы, демократии и мира для противостояния тем, кто не разделяет эти понятия. В этом состоит фундаментальный вызов, с которым Америка, я уверен, должна справиться в XXI веке»¹.

Американской дипломатии нельзя отказать в умении. Глобальное лидерство Вашингтон старается, скорее, «настойчиво проецировать», чем грубо навязывать. Для сдержанности, правда, имеются основания. Вашингтонские аналитики просчитывают потенциал антиамериканского сопротивления. Его составляющими являются, во-первых, высокая стратегическая самостоятельность, как минимум, двух ядерных держав — Китая и Индии, во-вторых, неоднозначность политических ориентаций исламского мира, внутри которого не ослабевает, меняя очертания, антиамериканский запал; в-третьих, хронические антиамериканские сетования (на бесцеремонность и авторитарность) в кругу западноевропейских союзников и Японии; в-четвертых, подозрительность России, кое-где прямо и косвенно связывающей угрозы своему выживанию с американской поддержкой антироссийских тенденций в зоне бывшего СССР; в-пятых, «дисперсный антиамериканизм», присутствующий в разных регионах мира, прежде всего в Латинской Америке. Показательный курьез: самыми «верными» сторонниками США сделались самые недавние из них — «новообращенные» государства, жаждущие американской помощи (Латвия, Польша, Азербайджан, иногда Украина). Но их декларативная поддержка может выполнять в основном роль «психологического громомотвода» от непопулярных шагов США, но не всерьез облегчать проведение американского курса.

В Вашингтоне стараются осмысливать положение дел прагматично, не тратя ресурсы на преодоление лобового сопротивления там, где его можно было ослабить и нейтрализовать косвенно и постепенно. Желание предупредить «фронтальную» конфронтацию с несогласными — последовательная линия США. «Америка не может лидировать, если другие за ней не следуют», — раздраженно признает зарубежный коллега, критикуя администрацию за ее чрезмерную, по его мнению, щепетильность в диалоге с иностранными партнерами². Оглядываясь на внутренних оппонентов, Вашингтон, тем не менее, упрямо и терпеливо одновременно увещевает несогласных и оказывает на них «неадекватное давление», применяя такую тактику к отношениям с Россией, Китаем, Индией и даже — в последнее время — Ираном. Логика американского поведения понятна — помочь в осуществлении долгосрочных планов США эти государства, может

¹ The State of the Union Address // Washington Post. January 27, 2000.

² Lake D. Entangling Relations. American Foreign Policy in its Century. Princeton: Princeton University Press, 1999. P. 298.

быть, и не могут, но они могут помешать, резко повысить издержки американской политики. Здравая логика, пригодная, заметим, для объяснения причудливой линии Москвы в попорченных семейным неблагополучием связях с братской Украиной — которая, лавируя и изворачиваясь, неуклонно, тем не менее, движется к приобретению в глазах США роли главного геополитического рычага воздействия на российскую политику с юго-западного и западного направлений.

Современная политика США рассчитана на разрешение двуединой задачи: во-первых, обеспечить «мягкую мобилизацию» ресурсов союзников в интересах их использования для достижения общеамериканских («семерочных») целей под своим руководством и, во-вторых, раздробление, измельчение потенциала реального и латентного противодействия западным устремлениям — в том числе через «стратегию перемалывания», под которой понимается линия на формирование и поддержку на пространстве бывшего социалистического мира сети не особенно сильных и не слишком устойчивых новых государств, вовлеченных в сотрудничество и отношения «асимметричной взаимозависимости» с Западом, дорожащих помощью США, делающей их податливыми к американским рекомендациям. Понятная сама по себе, эта политика не без оснований воспринимается с тревогой в России.

Геополитический смысл американской стратегии заключается в принципиальном повороте США к реорганизации всего пространства западной и отчасти центральной зон Евразии в интересах придания ему новой государственной и коммуникационной структуры, максимально соответствующей желанным перспективам поступательного развития мировой экономики и национального хозяйства промышленно развитых стран в первых десятилетиях XXI века. По сути дела речь ведется о перезакладке фундамента для сохранения и совершенствования ресурсно-пространственных оснований той модели развития, которая в понимании зарубежной политологии принесла успех Западу и достойна поэтому переноса с соответствующими модификациями в новое столетие.

При постановке задачи такого масштаба не думать о естественном сопротивлении материала — то есть международно-политической страновой среды — невозможно. В меру ясности этого обстоятельства очевидна объективная заинтересованность «мирового ядра» в минимизации возможного сопротивления и, стало быть, в размягчении, разрыхлении среды. Подобное разрыхление вообще-то влечет за собой повышение конфликтности международных отношений — правда, конфликтности в дисперсной форме, в виде множественных конфликтов уровней ниже региональных. Это — по своему опасная игра. Но на фоне силового превосходства в отсутствие соперничества с чей-либо стороны Запад не тревожится. Тем более, что выигрыши от расчетного успеха реорганизации восточно-европейского пространства могут существенно превзойти риски от потенциальных потерь.

Не то чтобы США и страны НАТО специально прилагали усилия для разрушения относительно крупных государств вроде Югославии и России, которые не только в силу особенностей преодоления наследия коммунизма, но и в силу размеров были менее проницаемы для импульсов внешних влияний. Но Запад предпочитает иметь дело с меньшими и более слабыми государствами. Ресурсов для оказания им помощи у него достаточно, а иметь с ними дело проще. Слабые страны покладисты и чувствительны к западным рекомендациям, в части реконфигурации пространства — тоже. Отсюда — по своему закономерный выбор Запада к пользу «малых» против «больших», а не наоборот. И отсюда же — напор «малых», домогающихся помощи Запада, даже если оборотной стороной этой помощи является гражданская война и раскол прежних (то есть прежде — своих собственных) государств. «Стратегия перемалывания» не основана на прямых подрывных действиях, но в ее основе, несомненно, лежит принцип *индуцирования* центробежных тенденций в потенциально «несогласных» с реконфигурацией Евразии государствах. Это не всякий раз автоматически прямая поддержка сепаратизма, но это неизменно игра на грани таковой.

Важно избежать упрощений. Ни в политическом, ни в интеллектуальном отношении американский истеблишмент не представляет из себя монолита. В США существует значительный разброс мнений относительно роли и места России в мировой политике и американо-российских отношений. Наряду с традиционно антироссийскими группировками в стране существуют не менее влиятельные силы, симпатизирующие России и российским реформам. Более того, именно в 90-х годах настроения в пользу сотрудничества с Москвой были в Соединенных Штатах наиболее сильны: увидеть в России партнера США стремились и романтики-либералы из числа демократов, и одновременно республиканцы, включая некоторую часть их правого крыла. Однако, при всех различиях между ними, и те, и другие понимали партнерство с Россией, в сущности, в едином ключе — как партнерство доброго учителя с прилежным учеником. Если же оказывалось, что ученик «домашнее задание» выполнял худо или неумело, то и за учителем оказывалось право среагировать соответствующим образом.

А поскольку со своим «домашним заданием» — проведением рыночных реформ и построением демократического общества — Россия, как известно, хронически не справлялась, то и отношения «ученика» с «учителем» давали искры взаимного раздражения, позволяя Соединенным Штатам действовать односторонне в тех вопросах, где Москва прежде всего хотела бы иметь право решающего голоса на равных — расширение НАТО, например, или политика на Балканах. Причем, в сущности, и в вопросе распространения Североатлантического альянса на восток, и в отношении операций НАТО в Югославии основная часть американского истеблишмента была все-таки едина, несмотря на ясное понимание принципиального несогласия России с политикой Вашингтона. Складывается любопытная ситуа-

ция: на фоне дебатов, разногласий и дискуссий в отношении перспектив американо-российского сотрудничества в США на уровне принятия ключевых практических решений, затрагивающих интересы Москвы, в стране всякий раз возникает двухпартийный консенсус.

Конечно, никакого единого, рассчитанного на десятилетия стратегического плана-заговора в отношении России на Западе нет. Есть цепь не всегда зависящих от США обстоятельств — прежде всего спазматическое развитие самой России, — вызывающих конкретные шаги-реакции Вашингтона и его союзников. Из этих шагов, тем не менее, складывается некоторая объективная закономерность, из фиксирования и анализа которой и вырастает обобщение относительно «стратегии перемалывания», которая, конечно, не представляет из себя писанную доктрину, официально принятую к исполнению американской дипломатией.

«Разрыхление» евразийского пространства — не самоцель, а промежуточная задача Вашингтона. В долгосрочной перспективе цель состоит, конечно, в создании на этой части материка более или менее устойчивого и хорошо управляемого (международными институтами?) пространства. Но к этому искомому состоянию международных отношений легче прийти через «выравнивание» прежде хорошо «перепаханного» международно-политического поля», чем через преодоление сопротивления мощных «слежавшихся» государственных слоев, вроде России. Вот отчего готовность США оказывать помощь национальному самоопределению на пост-социалистическом пространстве — инструмент рыхления местного пространства, а установление тесных связей с молодыми государствами и содействие их переориентации с России на Запад — средство его «выравнивания». По-своему умно и грамотно. И все-таки тревожно.

Соединение того и другого методов в руках американской дипломатии образует главный инструмент формирования в Евразии новой структуры обеспечения стабильности и безопасности, «отцентрированной» под США, НАТО и связанные с ними системы меньших региональных и двусторонних союзов, партнерств и квази-союзных комплексов межгосударственных отношений. На сей раз таким путем американская дипломатия движется к реализации в новых условиях исторически традиционной стратегической задачи США: предотвратить появление в Евразии гегемона, способного поставить под удар американские интересы¹.

Ресурсно-материальных условий для формирования на вновь осваиваемом пространстве нового по-настоящему мощного проамериканского ядра в США — что справедливо — не видят. Поэтому-то НАТО и остается краеугольным камнем евразийской политики Вашингтона. Но к востоку от «старой зоны» Альянса все же могут

¹ См. в основе своей не устаревшую ни в чем, кроме названия, классическую работу Г.А.Трофименко об эволюции стратегической мысли США «США: политика, война, идеология» (М., 1976).

сформироваться прото-ядрышки новой системы, которые будут составлять вовсе не «санитарный кордон» или сферу передового базирования Атлантического мира (против России — как полагают коллеги-аналитики крайне левой и резко правой ориентации), а «всего только» — в точном соответствии с теориями интеграции — его *новый фронтир*, что не одно и то же и, может быть, гораздо хуже для тех стран, которые остаются за порогом этого по-своему поразительного и непредсказуемого процесса — освоения-интеграции.

Подобными прото-ядрышками при определенных обстоятельствах могли бы стать, например, структура трехстороннего эстона-латвийско-литовского партнерства в Прибалтике, азербайджано-турецкий союз, система перекрестных итальянских и турецких гарантий Албании на одновременно антисербской и анти-ирредентистской основе, сеть балтийско-черноморского сотрудничества от Финляндии до Грузии и т.п. В ряд с такими прото-структурами — в зависимости от ситуации внутри России — могут помещаться, *но могут и не помещаться* отношения Вашингтона с Москвой. От этого и зависит очертание внешних границ новой зоны освоения-интеграции.

Непроясненность этого вопроса и отсутствие основ для однозначных суждений о перспективе российско-американского взаимодействия — основной источник неустойчивости структуры межгосударственных отношений в Центральной-Северной Евразии и одна из причин беспокойства США. Поэтому американская политика «на всякий случай» строится в расчете на два сценария: Россия — партнер США (неважно — более покладистый или более упрямый, сопротивляющийся и норовистый) или Россия — американский соперник, готовый, не возобновляя конфронтации, одновременно совместно с другими недовольными странами воспользоваться любым промахом и любой трудностью администрации США для ограничения и ослабления американского влияния в мире.

Американцы не лгут, говоря, что желают России стабильности. Но более стабильности для нее Соединенные Штаты желают распространить свое влияние на восток от старой зоны ответственности НАТО. Инструментом и условием их утверждения в новых пространствах является благожелательное отношение местных правительств к американскому пришествию. Вот отчего Вашингтон заинтересован в возникновении в зоне потенциального распространения своего влияния покладистых государств больше, чем в поддержке неуспешных попыток Москвы сохранить сферы своих преимущественных интересов в поясе бывшего СССР.

Поэтому, сколь бы ни подчеркивались общие и параллельные интересы Москвы и Вашингтона, США принципиально заинтересованы в «геополитическом разукрупнении России». Вряд ли США станут активно содействовать разрушению Российской Федерации, но они окажут поддержку всякому режиму, который сможет добиться от Москвы хотя бы своей частичной легитимации в форме признания де-факто.

России важно сохранить с трудом завоеванный статус демократической страны еще и потому, что если Россия — демократическая страна, то пытающийся отколоться от нее мятежный режим трудно рассматривать как демократический, а его борьбу — как справедливое движение за национальное самоопределение. Следовательно, по крайней мере теоретически, сепаратистов будет сложно отнести к разряду сил, заслуживающих американской поддержки на основании известной «концепции Лейка» 1993 г. («концепция расширения демократии»), в соответствии с которой США провозгласили задачей своей политики содействие распространению демократических режимов по всему миру. (Расширение НАТО на восток, заметим, — главный результат этой концепции.)

Америка — не враг России, что ясно так же, как и то, что сохранение собственной территории — дело самой Москвы, а не ее зарубежных партнеров. Мы сами виноваты, что построили за десять лет тот строй, который существует, и сами должны попытаться выбраться из трясины, в которую угодили из-за собственной гражданской безответственности. США не симпатизировали Советскому Союзу и желали его распада, но Ельцина выбирали не американцы, а российские граждане. И не американцы убеждали нас в начале 90-х, когда жирела дудаевщина и матерел ее невидимый финансовый спрут в Москве, полагаться на чье-то благородство и помощь в отстаивании интересов своей безопасности на Кавказе.

Острые американской стратегии направлено на обеспечение себе наиболее благоприятных конкурентных позиций в XXI веке, исходя из того, что наиболее мощным и одновременно закрытым для американского влияния государством в будущие десятилетия будет оставаться Китай, для которого отношения с Россией могут оказаться как мощным активом, так и обременительным пассивом.

Этой способностью Москвы увеличивать или уменьшать конкурентоспособный силовой, экономический и иной потенциал КНР сегодня на уровне практической политики определяется реальная заинтересованность Вашингтона в конструктивных отношениях с Москвой. Как соображениями реорганизации пространственных тылов определяется политика США в Восточной Европе: в случае гармонизации российско-американских устремлений этот регион может стать частью общей российско-европейской опорной платформы США в экономической и иной конкуренции с Китаем, а в ситуации роста противоречий между Вашингтоном и Москвой — превратиться в передовой форпост, с которого Западу будет проще удерживать Россию в нейтральной позиции на случай острого противостояния Китая с Соединенными Штатами.

В целом в «стратегии перемалывания» можно выделить несколько основных черт: 1) избирательное индуцирование центробежных тенденций в многоэтнических крупных государствах пост-социалистического пространства; 2) вовлечение наиболее привлекательных для США новых государств в партнерские отношения с Западом; 3) содействие

формированию местных структур безопасности и сотрудничества под покровительством США; 4) интеграция-включение России как главной страны пост-социалистического мира в невраждебные отношения с Соединенными Штатами, при исключении гарантий со стороны США территориальной целостности России в случае ее неспособности контролировать ситуацию в пределах своих границ. Это еще не конфронтационная версия политики США в отношении России. Объективно она рассчитана на ее «надежное» включение в орбиту американской политики в качестве одного из самых важных партнеров США. Однако партнеров младших. Потому что никаких других партнеров американская внешнеполитическая традиция не знает, не хочет и не умеет признавать.

III

Россия же, со своей стороны, прилагать к себе аршин младшего партнерства не соглашается. Виноватого вне страны никто не ищет, но соблазн огрызнуться на США и международные институты силен. Политико-психологический фон российско-американских отношений особенно благоприятным не назовешь. Тем острее кажутся имеющиеся разногласия. Их можно распределить, по меньшей мере, по четырем основным группам.

Первая касается противоречий по вопросам конфликтов самоопределения по внутренней и внешней стороне границ России, а в более широком смысле — на пост-советском пространстве вообще. По текущей ситуации болезненная проблема — положение на Кавказе. Война в Чечне и положение в Грузии, фактически втянутой в эту войну; способная в любой момент детонировать ситуация в разделенном между Россией и Азербайджаном историческом Лезгинистане; армяно-азербайджанский конфликт вокруг Карабаха и неспособность Москвы найти разумную развязку своих военно-стратегических и нефтяных интересов в треугольнике Азербайджан-Грузия-Армения с назойливо маячащей за ним Турцией; активность американских нефтяных корпораций в зоне кавказских нефтепроводов и американские посулы расширить сотрудничество НАТО с бывшими республиками советского Закавказья — все вместе это образует клубок косвенных российско-американских противостояний. Кавказ фактически стал зоной «превращенной» конфронтации США и России, хотя это конфронтация носит политический характер и отличается «малой интенсивностью».

К этой же группе разногласий, конечно, тесно примыкает вопрос о роли США в «хронически двусмысленных» отношениях России и Украины. Но этот аспект противоречий, при всей его значимости, в текущей ситуации менее важен, чем напряженность вокруг кавказского сплетения.

Второй по порядку и значению сферой российско-американских противоречий уместно считать спор вокруг договора ПРО, возможностей, перспектив и путей сохранения стратегического паритета, равно как и шансов спасения сорок лет складывавшегося режима контроля

над вооружениями, который в случае выбора Вашингтона в пользу односторонних шагов в сфере обороны может совсем разрушиться.

Третья группа разногласий — вопрос о геополитическом статус-кво, отказе США его соблюдать и систематических шагах Вашингтона к приобретению позиционных преимуществ над Россией посредством расширения НАТО. О логике американской позиции было сказано достаточно. Добавить стоит лишь то, что Москва несогласна с политикой «свершившихся фактов», которая, сказать правду, в самом деле отчасти вернула российско-американские отношения к практике, существовавшей в советско-американских (классически конфронтационных) до появления М.С.Горбачева с его новым политическим мышлением, по утверждению которого США и СССР торжественно провозгласили приоритет согласованных действий по отношению к односторонним — о чем теперь никто не вспоминает.

Действия Вашингтона дают российскому руководству перевес своеобразных морально-психологических преимуществ: не Москва, а Вашингтон выступает ревизионистом, не она, а он занимает наступательную позицию, пользуясь растерянностью России, и, стало быть, не ее можно будет обвинить в отчуждении, случись такое между Россией и США в результате очередных натисков с Запада и/или ужесточения российских ответов, ожидать которых, возможно, придется не особенно долго. Отметим попутно, что перелом в российском общественном мнении в пользу «ре-интеграции» Белоруссии, несмотря на карикатурность ряда черт правления А.Лукашенко, психологически был отчасти мотивирован инстинктивным желанием «отгородиться» и «обезопаситься» от выдвинувшейся вглубь российско-го пояса безопасности военной машины НАТО.

Четвертый блок трений, как видится, легче всего образно охарактеризовать как «битву за организационный ресурс». Имеется в виду, что Россия стремительно теряет возможности реально влиять на принятие ключевых международных решений по мере того, как, во-первых, «группа семи» все решительней перенимает у ООН функции регулятора мировой политики, и во-вторых, сама Организация Объединенных Наций приближается к внутренней реформе, при любом варианте которой «удельный вес» голоса России в массе приобщаемых к принятию решений стран уменьшится даже при сохранении в какой-то форме ее привилегированного статуса в Совете Безопасности. Таким образом «выпаривается» один из двух последних ресурсов проведения глобальной политики, который оставался у России после распада СССР.

Ситуация в российско-американских отношениях характеризуется столь разительным перевесом США в обеспеченности внешнеполитическими ресурсами, что говорить о равноправном партнерстве между двумя странами приходится только как о желанной и недостижимой цели. То, что российская дипломатия может сделать на американском направлении фактически, можно описать разве словами «пассивное сопротивление», при этом сопротивление избирательное. Противодействовать напору США по всем азимутам трудно, как минимум,

по трем причинам: из-за ограниченности ресурсов России, ее зависимости от финансовой поддержки Запада и сильно разросшегося проамериканского слоя финансово-деловых кругов и магнатов индустрии массовой информации.

Вряд ли поэтому правление В.Путина принесет резкие перемены в отношениях России и США. Скорее всего, их развитие продолжится в рамках квази-партнерского, квази-союзнического вектора, сохранение которого не исключает периодических всплесков трений. В этом, строго говоря, нет ничего фатального. Ведь всплески разногласий, говоря языком медицины, можно расценивать как своего рода «спазмы аккомодации», сопровождающие трудное приспособление российской внешней политики к изменившимся внешним и внутренним условиям для ее проведения.

Соединенные Штаты и их союзники за десять лет много вложили в Россию — политически, идеологически, морально и даже экономически. Одновременно Западный мир получил от развития сотрудничества с Москвой выигрыш, составляющими которого являются улучшение условий доступа к энерго-сырьевым ресурсам, использование высококачественного интеллектуального и людского потенциала, высвобождение средств оборонных бюджетов и другое. Запад получил неоценимые преимущества в конкуренции с азиатскими центрами мировой экономики и политики. Перспективы сохранения или, наоборот, частичной утраты этих преимуществ прямо ассоциируются в глазах американской элиты с возможностью или невозможностью удержать Россию на платформе сотрудничества с Западом. Это обстоятельство при любом исходе выборов в США будет служить амортизирующей подушкой, снижающей вероятность резких перепадов в западно-российских отношениях.

Это не предвещает, конечно, беспроблемности взаимодействия России и США. Повестка дня вырисовывается сложная и конфликтная. Не стоит преуменьшать трудности, хотя их не следует и преувеличивать. Легкий этап российско-американских отношений, когда Москва без нажима уступала Западу, полагая уступки не угрожающими для себя, закончился. Запас прочности истончился, и стали другими представления о достаточности такового у российского политикоформирующего слоя. Затянувшееся отсутствие успехов экономического развития и рост внутренних политических трудностей делают элитные группы чувствительными к вопросам как «чистого» престижа, так и реальной безопасности страны.

Реагируя на новый «элитно-массовый» запрос, руководство страны стремится четче сформулировать национальные интересы (отсюда — внимание к военной доктрине и концептуальным посланиям президента) и превращать переговорную «торговлю» за них в норму внешнеполитической деятельности. При таком подходе можно ожидать разногласий в содержательной программе отношений между двумя странами. Но прогнозируемый рост трений в этом смысле кажется естественным показателем поступательного развития, его перемещением на новую стадию.

Однако повод для серьезного беспокойства все же есть. Он связан не с существованием между Россией и США противоречий, а с неуспехом попыток сформировать в российско-американских отношениях достаточно мощную сферу взаимопроникающих и переплетенных торгово-хозяйственных и финансово-экономических устремлений, которые могли бы «изнутри» комплекса двусторонних связей уравнивать и нейтрализовать противоречия, рост которых прогнозируем.

Об оптимальной линии России в отношениях с США с учетом сказанного говорить не просто. Она должна, по-видимому, являть собой довольно виртуозное сочетание твердости с изворотливостью и умением находить компромисс в условиях превосходства партнера по диалогу. Уход в оборону, разрыв прежде достигнутых договоренностей, о чем время от времени говорят в высоких кремлевских кабинетах и на пресс-конференциях, в таком положении — крайний вариант. Вспомним, тактика самоизоляции и ухода с переговоров, принятая Ю.В. Андроповым в 1983 г., пусть и «в ответ» на размещение американских ракет средней дальности в Европе, не дала Советскому Союзу выигрышей, а только осложнила его международное положение и поспособствовала росту настроений внутри «предперестроенной» части руководства страны махом решить все «тупиковые» проблемы советско-американских отношений методом «прорывов».

* * *

Мальто-мадридский порядок, который начал складываться как модификация биполярного, в начале нового века функционирует как порядок плюралистически-однополярный и отцентрованный под «группу семи». Стратегия перезакладки экономических и военно-политических оснований, которые в наступившем веке призваны гарантировать ведущим странам Запада сохранность их преимущественного положения в международных отношениях, является объединяющей целью, которая сплачивает усилия большинства ведущих государств мира. Эта стратегия, реализуемая в наступательных внешнеполитических концепциях, предусматривающих использование силы, объективно ущемляет интересы России, исторически сложившейся в качестве сверх-крупного многоэтничного государства и закономерно стремящейся сохранить свои основные страновые характеристики.

Запад не закрывает ни для себя, ни для России путь к сотрудничеству и взаимному сближению вплоть до интеграции в перспективе. Болевая проблема ситуации — в качестве партнера для сотрудничества и интеграции Запад с готовностью и легкостью принял бы и существенно иную Россию — меньшую в размерах, имеющую иные границы и не такую сильную в ядерном смысле — в то время как для самой России «вхождение» в цивилизованное сообщество имеет смысл лишь в той мере, в какой оно совместимо с сохранением традиционной российской идентичности, радикального изменения которой, похоже, вряд ли можно скоро ожидать.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. БРЮССЕЛЬСКО-ВАШИНГТОНСКИЙ ПОРЯДОК?

Международно-политическая среда последних полутора десятилетий претерпела изменения, по своей значимости сравнимые только с ломкой международной структуры после Второй мировой войны. За краткий отрезок исторического времени протяженностью менее 60 лет в мире дважды происходила смена международных порядков — впервые по окончании Второй мировой войны в 1945 г. и затем — после распада СССР в 1991 г.

В огне Второй мировой войны к 1945 г. бесследно исчезла довоенная многополярность, на смену которой пришел биполярно организованный мир. К 2001 г. погиб и он: *Ялтинско-потсдамский порядок*, при всех своих пороках уберегавший мир от угрозы третьей мировой войны в течении более, чем полувека, остался в прошлом. На его месте к середине 90-х годов обрело очертания, а затем стало крепнуть, проявляя свои достоинства и пороки, новое, пост-биполярное, а по сути дела, *однополярное мироустройство*, лозунгом которого стала «глобализация». Посредством массивированных усилий США и союзники Соединенных Штатов стали развертывать по своему грандиозную работу в целях создания на планете универсальной межгосударственной и трансгосударственной общности — «мирового общества», — основанной на западных идеалах и ценностях, опирающейся на экономическую, политическую и военную мощь Западного мира, а также привлекательность его жизненных стандартов и образцов поведения в бизнесе, обеспечении безопасности, в политике и быте. Сдвиги, зародившиеся в мировой системе недавно, наложились на долговременные тенденции мирового развития, уходящие корнями в середину прошлого века — послевоенную эпоху, подготовившую условия для нынешних перемен.

Окончание Второй мировой войны ознаменовало важнейший рубеж развития международной системы в ее движении от множественности главных игроков международной политики к уменьшению их числа и ужесточению иерархии — то есть отношений соподчиненности — между ними. *Многополярная* система, сформировавшаяся во времена Вестфальского урегулирования и сохранявшаяся (с модификациями) до Второй мировой войны, преобразовалась по ее итогам в *биполярный* мир, в котором безоговорочно доминировали США и СССР. Эта структура, просуществовав более полувека, в 90-х годах в свою очередь уступила место миру, в котором уцелел всего один абсолютный, «комплексный лидер» — Соединенные Штаты Америки.

Как должно описывать это новую организацию международных отношений с точки зрения полярности? Без выяснения различий между много-, би- и моно-полярностью корректно ответить на этот вопрос нельзя. В нашем рассуждении под многополярной структурой международных отношений понимается организация мира, для которой характерно наличие нескольких (четырёх или более) наиболее влиятельных государств, сопоставимых между собой по совокупному потенциалу своего комплексного (экономического, политического, военно-силового и культурно-идеологического) влияния на международные отношения.

Соответственно, для биполярной структуры типичен отрыв всего двух членов международного сообщества (в послевоенные годы — Советского Союза и США) от всех остальных стран мира по этому совокупному показателю для каждой из держав. Следовательно, если налицо отрыв не двух, а всего одной державы мира по потенциалу своего комплексного влияния на мировые дела, то есть влияние любых других стран несопоставимо меньше влияния единственного комплексного лидера, то такую международную структуру нельзя не считать однополярной — как бы сильно это не травмировало сознание, склонное предпочитать демократически организованные отношения между государствами, интуитивно и эмоционально кажущиеся «по определению» чем-то противоположным жесткой иерархии соподчиненности государств, ассоциируемой с однополярностью.

Точности ради важно заметить, что современная система не стала в чистом виде «американским миром» — Pax Americana. США реализуют в ней лидерские амбиции, не чувствуя себя, так сказать, в абсолютно разряженной международной среде. На политику Вашингтона в известной степени влияют семь других важных субъектов международной политики, в «плотном окружении» которых действует американская дипломатия. В круг избранных семи партнеров США формально входит и Российская Федерация — хотя пока еще с ограниченными правами. Все вместе США со своими союзниками и Российской Федерацией образуют «группу восьми» — наиболее престижное и влиятельное неформальное межгосударственное образование современности. Страны НАТО и Япония образует в нем группу «старых» членов, а Россия представляет пока единственного нового.

Для понимания действительного соотношения позиций на высших уровнях международной иерархии важно иметь в виду, что из семи членов «восьмерки» помимо США — пять (Великобритания, Германия, Италия, Канада и Франция) являются союзниками Вашингтона по военно-политическому союзу НАТО, а еще одна (Япония) связана с США двусторонними военно-политическими обязательствами. Система этих взаимных обязательств при явном военно-политическом и экономическом преобладании США над своими партнерами делает последних очень чувствительными к американскому влиянию.

Россия, не связанная официальными союзническими отношениями ни с кем из этой группы, обладает вследствие этого относительно

большей автономией. Но она, как было сказано, не обладает всем объемом прав и привилегий полноценного членства в «восьмерке» и не участвует в обсуждении ключевых экономических проблем.

Из, условно говоря, «аутсайдеров» на роль ведущей мировой державы в 90-х годах сделал заявку Китай, добившийся к началу XXI в. впечатляющих экономических результатов. Но по совокупности возможностей КНР в обозримой перспективе не может выйти на уровень сопоставимости с США и поэтому не является для Соединенных Штатов реальным соперником в глобальной политике.

На фоне такого соотношения возможностей между ведущими мировыми державами очевидно, что говорить о серьезных ограничениях американского доминирования в мире можно лишь с долей условности. Разумно полагать, конечно, что современной международной системе присущ плюрализм — в том смысле, что ключевые международные решения реально вырабатываются в ней не единолично Соединенными Штатами. К процессу их формирования, как в рамках слабеющей ООН, так и вне их, имеет доступ относительно широкий круг государств. Но с учетом рычагов влияния США плюрализм международно-политического процесса не меняет структурного смысла текущей ситуации: *Соединенные Штаты ушли в огромный отрыв от всех остальных членов международного сообщества по совокупности своих возможностей*, следствием чего и является тенденция к росту всестороннего американского влияния на мировые дела.

Разумеется, уместно предполагать углубление тенденций к дальнейшему наращиванию потенциала других мировых центров — Китая, Индии, России, объединенной Европы, если последней все же суждено стать политически единым целым. В случае разрастания этой тенденции в будущем возможна новая трансформация международной структуры, которая, не исключено, приобретет многополярную конфигурацию. Но пока констатируется иное: международная структура в том виде, в каком она сформировалась к началу XXI в., — *структура плюралистического, но однополярного мира*.

Эволюция международных отношений после 1945 г. от биполярности к «плюралистической однополярности» происходила в рамках двух сменивших друг друга международных порядков — сначала биполярного (1945-1991), затем плюралистически-однополярного, который сформировался после распада СССР. Первый известен в литературе под названием Ялтинско-потсдамского — по названиям двух ключевых международных конференций (в Ялте 4-11 февраля и в Потсдаме 17 июля — 2 августа 1945 г.), на которых руководители трех главных держав антинацистской коалиции (СССР, США и Великобритании) в общих чертах согласовали базовые подходы к послевоенному мироустройству.

Второй — не имеет общепризнанного названия помимо прочего оттого, что его параметры не согласовывались ни на какой универсальной международной конференции. Это порядок *fait-accompli*, порядок «свершившихся фактов». Он сформировался де-факто — на

основании цепи прецедентов, представлявших собой односторонние инициативы Запада (Вашингтона и других стран НАТО), главнейшими из которых были решение администрации США о содействии распространению демократии в мире (оглашенная в 1993 г. доктрина «расширения демократии» помощника президента США по национальной безопасности Энтони Лейка); распространение Североатлантического альянса на восток за счет включения в него новых членов, начавшееся с Мадридской сессии Совета НАТО в декабре 1996 г., утвердившего график расширения и последовательность принятия в Альянс новых членов; и, наконец, решение Парижской сессии НАТО в 1999 г. о расширении зоны ответственности НАТО за пределы Северной Атлантики.

Отметим, что в отечественной литературе была предпринята попытка назвать пост-биполярный международный порядок Мальто-мадридским — по советско-американскому саммиту на о. Мальте в 1989 г., когда, принято считать, советское руководство впервые согласилось признать право государств Варшавского договора самостоятельно решать вопрос о следовании или неследовании по пути социализма, и упоминавшейся выше Мадридской сессии НАТО. Это название кажется неудачным. Считать итоговым рубежом Ялтинско-потсдамского порядка 1989 год — не точно, потому что в то время СССР еще оставался мощным международным субъектом и вел переговоры с США лишь о частичной ревизии Ялтинско-потсдамского порядка. Сам порядок продолжал существовать, речь о его сломе не шла, а биполярность устраивала и Москву, и Вашингтон. Ялтинско-потсдамский порядок перестал существовать лишь после распада Советского Союза в 1991 г., когда исчезла держава, бывшая наряду с США одним из двух главных гарантов этого порядка.

Если следовать традиции наименования каждого нового международного порядка по географическим названиям, то нынешний — уместно назвать Вашингтонско-брюссельским или Брюссельско-вашиingtonским — по двум главным центрам фактической выработки мирополитических решений — Вашингтону как столице страны-«комплексного» мирового лидера — США и Брюсселю как месту пребывания штаб-квартиры НАТО — главной военно-политической организации современности.

Но привязка к географическим названиям, по сути, несущественна. При любом наименовании *суть нынешнего мироустройства выражается термином «глобализация», структурный смысл которого состоит в реализации проекта создания всеобъемлющего, универсального миропорядка на базе формирования экономической, политико-военной и, по возможности, этико-правовой общности преобладающего большинства наиболее развитых стран мира посредством максимально широкого распространения зон влияния современного Запада на остальной мир.*

Этот порядок фактически существует на планете уже около 10 лет. Как видно из опыта, его распространение происходит преимущест-

венно, но отнюдь не исключительно мирным путем: через рассеивание в различных странах и регионах современных западных стандартов экономической и политической жизни, образцов и моделей поведения, представлений о путях и средствах обеспечения национальной и международной безопасности, а в более широком смысле — о категориях блага, вреда и опасности — для последующего их там культивирования и закрепления.

В таком виде современный международный порядок на самом деле складывается как **порядок глобальной общности, порядок на базе глобализации, в буквальном смысле, глобальный порядок**. Весьма далекий от завершенности, несовершенный и во многом травматичный для России этот все еще переходный международный порядок и занял место прежней биполярной структуры, прорисовавшейся в мире по окончании Второй мировой войны.

За без малого шесть десятилетий с момента окончания Второй мировой войны международная система претерпела коренные изменения. Мир XXI века, как и мир века XX, не стал царством гармонии и всеобщего благоденствия, хотя третья мировая война, термоядерная война на всеобщее уничтожение, страх перед которой отравлял атмосферу всей второй половины XX века, была все-таки предотвращена. В этом, едва ли не самом главном результате развития международной системы последних шести десятилетий видится источник исторического оптимизма и надежды, что в будущие десятилетия более образованное, сплоченное и искушенное испытаниями истории человечество окажется, по крайней мере, не менее умелым в преодолении стоящих перед ним вызовов, чем поколения 40-90-х годов века прошлого.

*Алексей Богатуров.
18 мая 2002 г.*

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Богатуров Алексей Демосфенович — 1954 г.р., окончил МГИМО МИД СССР в 1976 г., доктор политических наук («Конфронтация и стабильность в отношениях США с СССР и Россией после второй мировой войны 1945-1995», Институт США и Канады РАН, 1996), профессор (1999). В 1977-1988 гг. — стажер, младший, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока АН СССР, 1988 — н/в — старший научный сотрудник, зав. сектором, зав. отделом, ведущий, главный научный сотрудник, зам. директора Института США и Канады РАН (ИСК РАН).

С 2000 г. — директор Научно-образовательного форума по международным отношениям. С 2001 г. — зав. кафедрой мировой политики и международных отношений Факультета мировой политики на базе ИСК РАН (ГУТН).

С 1991 г. преподает в МГИМО МИД РФ. В 1994, 1995 и 1997 гг. преподавал внешнюю политику России в Принстонском и Колумбийском университетах (США).

Автор 160 работ общим объемом свыше 180 п.л.

Косолапов Николай Алексеевич — 1942 г.р., окончил МГИМО МИД СССР в 1970 г., кандидат исторических наук («Социально-психологические факторы в эволюции политики США во Вьетнаме, 1945-1975», Институт мировой экономики и международных отношений АН СССР, 1976). В 1972-1985 гг. — младший, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, зам. гл. редактора журнала «Мировая экономика и международные отношения». В 1985-1990 гг. — помощник секретаря ЦК КПСС. В 1990-1991 гг. — руководитель группы аппарата Президента СССР. С 1992 г. — зав. отделом международно-политических проблем ИМЭМО РАН. С 1999 г. — ведущий научный сотрудник Совета по изучению производительных сил.

В 1992-1998 гг. преподавал на философском факультете МГУ им. М.В.Ломоносова. С 1993 г. преподает в МГИМО МИД РФ.

Автор более 100 работ общим объемом свыше 300 п.л.

Хрусталеv Марк Арсеньевич — 1930 г.р., окончил Московский институт востоковедения в 1953 г., доктор политических наук («Системное моделирование международных отношений», МГИМО, 1992), профессор (1993). В 1963-1997 гг. — преподаватель, доцент, директор Центра международных исследований МГИМО МИД РФ. С 1997 г. — профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО.

Автор и разработчик (совместно с к.и.н., доц. А.А.Злобиным) первого в СССР и России учебного курса «Теория международных отношений», поставленного в МГИМО МИД СССР в 1973 г., и первых учебных пособий по этому курсу.

Автор около 40 работ общим объемом около 60 п.л.